

ISSN 0130 — 1527

ЗВЕЗДА ВОСТОКА

1988

5



ЗВЕЗДА ВОСТОКА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
УЗБЕКИСТАНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ 56-й

№ 5

1988 ГОД

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма

В номере:

ПРОЗА

- КАМИЛ ИКРАМОВ. Все будет хорошо. Повесть 8
АСКАД МУХТАР. Аму. Роман. Окончание. Перевод с узбекского А. Наумова 55

ПОЭЗИЯ

- В. ТКАЛИЧЕВ. Уходим в десант 3
И. МОРОЗОВА. Дорожные размышления. Саперам 4
Ю. БЕЛЬСКИЙ. Наша служба 5
С. ПАВЛОВ. Моя дорога. На афганской земле 6
Р. ТЕРЕНТЬЕВ. Ведущий и ведомый 7
БАРОТ БАЙКАБУЛОВ. Сонеты. Перевод с узбекского К. Усманова 49
ТОЛЫБАЙ КАБУЛОВ. День Победы. Перевод с каракалпакского Д. Паттерсона. Рост. «Я при-
были от слова видел мало...». «Пески и горы, лес и воды...». «Выйдешь в степь...». Перевод
с каракалпакского Н. Базарова 114
ШАВКАТ РАХМОН. Панорама Аравана. «От прогорклого воздуха наши дети...». Перевод с уз-
бекского И. Кутика 117
АЛИМ КУЧКАРБЕКОВ. Когда алеют вишни. Сорок пять рубашек. Перевод с узбекского З. Ту-
мановой 119

ПЕРЕСТРОЙКА: ИДЕИ И ПРАКТИКА

- И. БОГДАНОВ. Учиться правде 122

БОЕВОЙ ПУТЬ ТУРКЕСТАНЦЕВ

- ЛЕВ ШИПОВСКИЙ. Труженики войны 132

НЕРАЗГАДАННЫЕ ТАЙНЫ ВОСТОКА

- ЕВГЕНИЙ БЕРЕЗИКОВ. Могила Тахира и Зухры 144

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Л. ЛЕВИНА. Начало ли перемен? 152

ПУБЛИКАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

КИБРИЯ КАХХАРОВА. Четверть века рядом с Каххаром. Окончание 158

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Л. ТАРТАКОВСКАЯ. Болевые точки бытия 175
О. САДУЛЛАЕВА. «И дождь идет, и солнце светит» 177
С. КАГАНОВИЧ. И это поэзия завтрашнего дня? 179

САТИРА. ЮМОР

К. ДУБОВСКОЙ. Книгоман 183

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

НИКОЛАЙ ГАЦУНАЕВ. Пришельцы. Повесть 184

К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Н. ВАЛИУЛИНА. Воспринимать мир в гармонии 182

О наших авторах 208

Главный редактор С. П. ТАТУР.

Редакционная коллегия: В. А. АЛЕКСАНДРОВ (ответственный секретарь), А. Р. БЕНДЕР (зам. главного редактора), Е. Е. БЕРЕЗИКОВ, Г. П. ВЛАДИМИРОВ, М. МУХАММАД-ДОСТ, В. П. НЕЧИПОРЕНКО, А. А. ОСМАНОВ, Т. И. ПУЛАТОВ, О. В. СИДЕЛЬНИКОВ, Н. В. СТРИЖКОВ, А. А. УДАЛОВ, Р. Х. ФАРХАДИ.



Среди советских военнослужащих, выполняющих свой патриотический и интернациональный долг на земле дружественного Афганистана, стихи пишут многие. Публицистичность в поэзии сегодняшних воинов-интернационалистов рождена глубокой внутренней потребностью тех, кто принял из рук старшего поколения эстафету революционных традиций Великого Октября.

Весной 1987 года в г. Кабуле состоялся первый слет молодых самодеятельных поэтов из ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Стихи воинов-интернационалистов публикуются как в военной, так и в гражданской печати. Некоторые из этих стихов предлагаем нашим читателям.

В. Ткаличев,
майор

Уходим в десант

Устремилась ракета в зенит,
Наше время, ребята, настало,
«По машинам» — команда летит.
Как всегда, очень времени мало.

Мы уходим опять на «броню»,
Снова группа к десанту готова.
Здесь все так, как на прошлой войне:
Риск и вера без лишнего слова.

Отдается последний приказ,
И уже запыхала колонна.
«Ждем, ребята, с удачею вас».
«К черту!» — слышно сквозь шум шлемофона.

Срок придет — мы вернемся назад.
Гор чужих нам не надо и даром.
А пока что уходим в десант,
Нас прикрой, винтокрылая пара.

Дорожные размышления

Кругом одни развалины дувалов,
И деревца горелые вокруг.
В «Афгане» повидали мы немало.
Почетно здесь и трудно нам, мой друг.

Вокруг дороги рваные воронки
Не закрывают чахлые кусты,
Но тихо тут, меня враги не тронут,
Пока не дремлют шурави посты.

Вокруг лишь горы, лишь песок и камень,
А на вершине белые снега,
Лишь птицы разговаривают с нами,
Не высмотреть ни друга, ни врага.

Я мчусь на «бэтээре» по дороге,
И друг мой АКС всегда в руках.
От скоростного ветра мерзнут ноги,
И мысль моя не только о врагах.

Я временами думаю о доме,
О Ялте и о маме дорогой,
Чтоб поваляться в солнечной соломе,
И к пальме чтоб притронуться рукой.

Чтобы поплавать снова в теплом море:
И, покачавшись на родной волне,
С прибоем, как с дружкой своим, поспорить...
Эй, Черное, ты помнишь обо мне?!

Чтоб походить по пояс в пьяных травах,
На горных на Ай-Петринских лугах,
И позабыть о трассерных дорогах,
И позабыть о жестких сапогах.

Все существо пронизано Уставом,
В глазах мечта, а автомат в руках.
И женщина, и прапорщик по праву:
В бронежилете, в каске, в сапогах.

Замолкнет от испуга птичий гомон,
Когда вернусь на Родину свою:
С улыбкой незнакомой и знакомой
Все кипарисы выстрою в строю.

Ну, хватит. Все. Отброшу ностальгию —
Она мне сердце выела дотла.
Пусть знают кипарисы дорогие:
Останусь я такой, какой была.

Саперам

Счастье саперное...
Ночи дозорные, пыль да сухая земля.
Бывшие мирными,
Ставшие минными — стонут от горя поля.

Наши — разведчики,
По-человечески снимут войны урожай.
Было бесплодное,
Снова свободное, поле, — дыши и рожай.

Руки натружены,
Горло простужено: строят саперы мосты.
Тянут дороги
Через отроги, рвут для тоннелей хребты.

Смерть презирая,
Покая не зная, бросив тепло и уют,
Щупая склоны,
Автоколонны снова Салангом ведут.

Ю. Бельский,

старший сержант сверхсрочной службы

Наша служба

Мы нелегкую службу
Сегодня несем
Вдалеке от дворов,
Где прошло наше детство.
От родных городов,
От озер и лесов,
От задумчивых глаз
Никуда нам не деться.
А в далекой дали,
Там, где солнце встает,
Кто-то так же, как мы,
Наше время считает.
Не волнуйтесь, родные,
Наше время придет,
Мы вернемся домой,
Мы же вам обещали!
Как отцы наши, деды
В те давние дни,
Защищаем и мы
Интересы народа.
Защищаем без страха,
Пусть знают враги,

Сколько может солдат
За каких-то два года.
Нам всего лишь по двадцать,
Гордитесь, отцы!
И медали у нас
Из того же металла.
Как и вы, мы сводили
С концами концы,
Когда смерть трассерами
Над жизнью свистала.
Мы терпели,
Зубами всю злобу зажав,
И комок тот, что в горле,
Нервно глотали.
Это страшно,
Когда беспощадная смерть
В двадцать весен из жизни
Друзей вырывала.
Мы выросли,
Поняв, что случайностей нет,
То, что может случиться,
Продумано каждым,

Мы давали присягу, Священный обет. Кто себя испытал, Тот по праву отважен. Мы нелегкую службу Сегодня несем	Вдалеке от дворов, Где прошло наше детство. От родных городов, От озер и лесов, От задумчивых глаз Никуда нам не деться.
--	---

С. Павлов,
лейтенант

Моя дорога

Не эхо ли гремит Афганистана
Среди российских песенных полей...
Я никогда мечтать не перестану
О той судьбе единственной моей.

Такая мною выбрана дорога —
У каждого на свете свой рейхстаг,
Друзья мои, не верящие в бога,
Давно уж боги яростных атак.

В суровый край за тем и подались мы,
Чтоб жизнь была, как в песне, — не игра,
И чтоб Россией пахнущие письма
Читать у осторожного костра.

В тумане предрассветном утопая,
В свой первый бой пехоту поведу,
Чтоб написать вернувшись — «Дорогая,
Ушедший день — мой главный день в году».

И пусть чужие манят, манят дали,
В которых дня без риска не прожить.
Россию для того и покидаем,
Чтобы ее сильнее полюбить.

На афганской земле

На афганской земле
 так же в муках рожают детей,
На афганской земле
 так же матери ждут сыновей.
Так же ценится жизнь,
 как на всей беспокойной планете,
Так же верят в любовь,
 как в далекой России моей.
Чутко Родина спит.
 Пелена из снежинок густая

Укрывает от нас
 гроздь алые тихих рябин.
Мирный сон на заре —
 мы о нем, как о счастье, мечтаем,
Но до этой мечты далеко,
 как до горных вершин...

Р. Терентьев,
рядовой

А тот, который во мне сидит,
Считает, что он истребитель...
В. С. Высоцкий.

Ведущий и ведомый

Прирос штурвал к моим рукам:
То от себя, то на себя.
Кресты... кресты, то тут, то там,
Не ты его, так он тебя.
Померкло солнце от крестов,
Кромешный ад среди небес.
Следы от трасс и от винтов,
И мой ведомый, словно бес.

Ну, я пошел, прикрой, браток,
Глубокий крен, крутой вираж,
В прицеле крест, снаряды в бок,
И полетели клочья аж.
А вот второй, ну что ж, молись,
Дымится, вроде бы попал,
Прости, такая наша жизнь.
Кто не успел, тот опоздал.

Но что за черт, горю, кажись,
В огне крыло и фюзеляж.
Ну что ж, ведомый, ты держись,
А я пошел на абордаж.
Теперь мне нечего терять,
Как Гамлет — быть или не быть.
Ну что за жизнь, ни дать ни взять,
Прощай, ведомый, будем жить!

Камил Икрамов

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

ПОВЕСТЬ

Ровно в девять утра, ни одной минутой позже, из стены бетонной проходной выдвигалась ажурная решетка ворот. Стальные прутики, окрашенные алюминиевым серебром, прихотливо переплетались в символы: атомы с электронами на орбитах, реторты и концентрические круги, изображающие одновременно и нашу солнечную систему, и нечто похожее на радар или радиотелескоп.

Вахтер Кирилюк, пожилой смуглый горбоносый украинец, был педантичен и неумолим. Опоздавшие автомобилисты оставляли свои машины на улице и пешие должны были идти через главный вход. Кто-то пустил слух, что Кирилюк до пенсии тоже запирает ворота, но в другом месте, где правила соблюдались куда строже. По этому поводу много острили.

Эркин Махмудов всегда въезжал во двор института последним, без одной минуты девять, и всегда приветливо и чуть-чуть ехидно приветствовал вахтера. Он и сегодня козырнул ему, когда тот уже встал с табурета, чтобы дотянуться до кнопки, включающей электромотор.

До самого последнего времени Эркина все называли Эриком, он постепенно отучал от этого. Сначала друзей, потом девушек, потом всех остальных.

Эркин поставил машину в тень, выключил радио, поднял стекло, запер дверцы и медленно двинулся по аллее, увитой виноградом. Пожалуй, только сегодня он со всей отчетливостью понял, что именно во время этой механически повторяемой процедуры, припарковки и закрывания дверец, к нему приходят одни и те же неприятные, досадные и в сущности глупые и бесплодные соображения. Дело в том, что Эрик был самым молодым в институте владельцем собственного автомобиля — «Жигулей» шестой модели. Самым молодым по возрасту, по должности и к тому же без степени. Кандидатскую он делал в Москве, но защищать ее предстояло, кажется, здесь, а новый директор с назначением защиты почему-то не торопился. Эркин оглянулся на машину, и новая волна досады плеснулась в душе.

Теперь он досадовал на бывшего директора, ныне покойного. Это по его совету Эркин пошел в физику, хотя мог бы заняться философией, как отец, или историей, политической экономией, литературоведением. Там все, на его взгляд, было проще. Там связи действуют вернее, там и

внешнее впечатление имеет больше значения. Конечно, бывший директор был замечательным человеком, талантливым организатором науки и энтузиастом во многих областях физики. Его имя никогда не будет упоминаться в ряду с Энштейном, Ферми, Бором или Ландау, но в том, что Ташкент стал в ряд городов, известных всем физикам в мире, есть его заслуга. Это бесспорно.

Сюда стали ездить со всего света, когда двор института еще только начинал превращаться в сад. Теперь же это был уже не сад, парк. Садовники и ботаники, архитекторы и художники трудились над воплощением первоначальной идеи, а идея эта становилась все более богатой и прихотливой. Каштаны и хурма, дубы и сосны, розы, ирисы, гладиолусы... Виноград лучших сортов укрывал все аллеи, поднимаясь по шпалерам из полых алюминиевых трубок, по которым в случае нужды подавалась вода, чтобы мельчайшим туманом оросить зелень. Фонтанов в парке было четыре, и все с намеком на физические символы.

Спортплощадки института, почти всегда пустующие, могли бы осчастливить любой клуб, тут могли проходить международные встречи и проходили бы, если бы не весьма строгая система пропусков. Впрочем, ничем секретным этот институт не занимался, а строгость с пропусками была задумана вместе с устройством парка и фонтанов как фактор престижа. Главный корпус с просторным мраморным вестибюлем и конференц-залом получил когда-то приз на всесоюзном архитектурном конкурсе, а строители не обошлись без крупных неприятностей, ибо не могли уложиться в смету. Однако и это считалось бесспорным, затраты должны были окупиться, ведь аксиома, что вложения в науку дают самый высокий процент отдачи. И хотя отдачи пока вроде бы не было, зато иностранцы хвалили институт и его парк. Особенно сильно хвалили американцы. Правда, один венгерский физик высказался в том смысле, что великие научные открытия делают обычно в самых скромных стенах, а когда стены эти облицовывают мрамором, то открытия почему-то начинают делать в других местах. На что старый директор возразил сразу: так было прежде, когда наука была пасынком общества, особенно в условиях капиталистического мира. Теперь все будет иначе.

Да, было в том старом директоре и настоящее обаяние, и способность мыслить масштабно, с перспективой.

Потому-то Эркин и послушался его совета.

Впрочем, отец Эркина тоже хотел, чтобы сын пошел в точные науки. Именно тогда профессор Махмудов на выборах не прошел в академики. Враги подняли шум вокруг его давней монографии, которая прежде считалась очень правильной, а потом, в семидесятых, оказалась ошибочной. Тогда у отца случился новый инфаркт, тогда-то он и разуверился в незыблемости авторитета общественных наук.

Неприятные мысли, возникавшие у Эркина во дворе института почти каждое утро, отступали, когда он входил в лабораторный корпус, шел по длинным пустым коридорам, поднимался по гулким лестницам. Нескольким лет подряд он носил только джинсы, знал в них толк, платил большие деньги, но прошлым летом простился с ними. Даже кожаный пиджак надевал изредка. Понял, что пора менять стиль. Без подсказки понял это. Теперь он стал подчеркнуто аккуратен, чаще всего появлялся на людях в однотонном костюме, иногда в песочных итальянских брюках и синем английском блейзере. Рубашки носил в стиле «сафари».

В лабораторию он вошел в хорошем настроении, дружески кивнул Диле, снял пиджак, аккуратно повесил его в шкаф на плечики. Затем сел на подоконник, достал сигарету и собрался щелкнуть зажигалкой.

— Вас директор спрашивал, — сказала Диля.

— Когда?

— Ровно в девять. Сказал, чтобы вы зашли, когда появитесь.

Дилю полностью звали Дильбар. Она была математиком, только что окончила университет, и ее прикрепили лаборанткой к Эркину — помогать в работе на ЭВМ, потому что новый директор считал, что диссерта-

ция Эркина, находящаяся на рубеже между чистой теорией и экспериментом, нуждалась в более подробном математическом обосновании. Дильбар нравилась Эркину, нравилось ее лицо, улыбка, нравилось, как современно она держится и одевается. Но больше всего в лаборантке нравилось то, в чем Эркин не отдавал себе отчета. Девушка казалась ему доступной.

Современность и доступность казались Эркину синонимами, поэтому он так ценил в девушках современность. Относительно Дили его надежды подкреплялись кое-какими дополнительными сведениями. Говорили, что у нее был роман с одним студентом-медиком, намечалась свадьба, которая внезапно расстроилась.

Все еще держа в руках зажигалку, Эркин спросил:

— Не знаешь, зачем я ему понадобился?

— Не знаю. Как всегда — сначала по-узбекски поздоровался, потом по-русски спросил.

— А что угадывалось в голосе?

— Наверное, насчет тенниса. — Дильбар улыбнулась.

Эркин сунул незажженную сигарету в пачку, надел пиджак и погляделся в стекло шкафа, как в зеркало.

Нынешнего директора назначили через полтора года после смерти старого. Тот видел свой институт в чертежах, эскизах и макетах, новый пришел на все готовое. Он не был даже член-корром, докторскую защищал в Дубне, несколько лет работал за рубежом и выглядел значительно моложе своих пятидесяти лет. Отцу Эркина он приходился дальним родственником, вроде троюродного племянника, директор всегда справлялся о его здоровье и откуда-то знал, что Эрик играет в теннис.

— Говорят, вы играете в теннис? — спросил он чуть ли не в первом разговоре. Директор был на «вы» со всеми молодыми сотрудниками. Видимо, привык, когда преподавал за границей.

— Играл немного, — ответил Эрик.

— Очень хорошо. Я тоже — немного. А партнера нет. Если хотите, по вторникам в семь утра будем встречаться.

Почему именно по вторникам, почему в такую рань, подумалось тогда Эрику, но он сразу согласился, такой шанс на сближение упустил бы только дурак. Сегодня, к счастью, был понедельник. У Эркина вчера была встреча с друзьями, а нынче ощущалась какая-то слабость в теле и координация наверняка не та. Кстати, на корте они не встречались уже месяц: директор был в командировке в Индии.

Большие электронные часы в кабинете директора показывали шестнадцать минут десятого.

— Азим Рахимович ждет вас, — сказала Мира Давыдовна, пожилая, надменная секретарша. Эркин хотел когда-нибудь в будущем иметь точно такую же. Мира Давыдовна с обычным любопытством смотрела на всех, входивших в кабинет шефа и выходивших оттуда, зато никто не мог угадать, что еще, кроме любопытства, выражает ее собственное, тщательно ухоженное лицо.

Директор стоял у окна. Он был худ и высок.

— Садитесь, Эркин.

Он и сам сел в кресло у низенького столика с чистой, сверкающей в солнечном луче хрустальной пепельницей, в которой, может быть, никогда не побывало ни одного окурка. Директор сам не курил, и никто никогда не курил в его кабинете. Разве что иностранные гости.

Азим Рахимович осведомился о здоровье отца Эркина, и в этом была не только вежливость. Отец недавно вышел из стационара после очередного приступа ишемической болезни. Удостоверившись, что дома у Эркина все нормально, директор сказал, что завтра тенниса опять не будет.

— К сожалению, дорогой Эркин, я еще не готов к разговору о вашей диссертации. Я просмотрел отзывы, они меня устраивают, но подождем математического аппарата. Тогда и решим, когда и где ее защищать, тем более, что летом ни у нас, ни в Москве кворума не соберешь...

Начало разговора было огорчительным. О других защитах в институте говорили конкретнее. Уже назначили две: одну чисто теоретическую, подготовленную грубоватым и самонадеянным Амином Каримовым, киш-лачным парнем из-под Бухары, другую — экспериментальную по космическим лучам; ее сделал хлипкий очкарик Бахтияр. С ними директор говорил, как казалось Эркину, иначе.

— Я о другом, — сказал директор, будто уловив в глазах Эркина какой-то отсвет его мыслей. — Это не в профиле вашей собственной работы и даже не в профиле нашего института. Да и нет у нас института, который занимался бы летающими тарелками. Просто меня попросили установить один факт, проверить одно сообщение, которое кое-кому может показаться актуальным в свете всегдашней любви людей к сенсациям.

Директор встал и перешел к письменному столу, где, как обычно, не было ни одной бумажки. Он вынул из сейфа карту республики и показал Эркину точку в горах, кишлак, находившийся километрах в трехстах от Ташкента.

— Признаться, выбор пал на вас потому, что вы в данный момент заняты меньше других и наверняка поедете своей машиной. А прогулка может быть и приятной и полезной. Вы согласны?

— Конечно, — Эркин пожал плечами, стараясь не слишком удивляться. Странное задание. Очень странное и ничемное даже с точки зрения настоящей науки. Он живо представил себе тот разговор в высших сферах, где директору кто-то из руководителей сказал: «Пусть ваши работники проверят, кто распускает слухи и почему они идут именно из этого кишлака».

— Можете взять с собой одного или двух сотрудников для объективности. Найдете там старика Бободжана Батырбекова, запишите его рассказ.

— Может быть, взять с собой Амина или Бахтияра? — спросил Эркин, чтобы еще раз убедиться в серьезности задания и проверить отношения директора к нему, Эркину.

— Нет, — подумав, возразил директор. — У них сейчас много работы. Возьмите кого-нибудь из толковых лаборантов. Мире Давыдовне скажете, на кого подготовить командировочные удостоверения.

— Азим Рахимович, — решительно сказал на прощание Эркин, — а вы сами верите в летающие тарелки? На сколько процентов?

— Мое мнение тут роли не играет, — сказал директор. — Но если оно вам интересно, то скажу, что не верю. Не на основании теории вероятностей, а потому, что не могу себе представить, что контакт с инопланетянами произойдет именно в тот кратчайший миг истории Земли, который совпадает с годами моей жизни. Не думаю, что мне может так повезти.

Из кабинета директора Эркин вышел с улыбкой, приготовленной для тех, кто мог оказаться в приемной. Там, кроме Миры Давыдовны, сидел замдиректора по хозяйственной части, толстый добродушный человек, под присмотром которого было построено нынешнее роскошное здание. Замдиректора весело кивнул Эркину, и это опять не понравилось ему. Сегодня все заделало самолюбие. Приветливость замдиректора тоже. Ведь ни для кого не секрет, что замдиректора собираются уволить за какие-то хозяйственные провинности. Он сам рассказывал об этом, иронически передавая слова Рахимова: «Надо работать честно». Если бы Рахимов со своими принципами пришел в институт на пять лет раньше, то новое здание построили бы на десять лет позже.

Эркин вошел в лабораторию, твердо решив, что все к лучшему в этом лучшем из миров, что задание и в самом деле приятное. Прогулка в горы в середине лета в компании, которую он сам себе подберет, — это отпуск, а задача, ответ которой известен заранее, не составит труда.

Эркин повесил пиджак на плечики, сел на подоконник и закурил.

— Зачем он вас вызывал? — спросила Дильбар, не отрываясь от работы.

— Диля, — сказал Эркин, твердо решив, что именно ее он возьмет в качестве второго сотрудника своей странной экспедиции, и предвкушая все приятные возможности этой поездки. — Диленька, скажи, пожалуйста, что ты лично думаешь об инопланетянах?

— Только то; что про это пел Высоцкий, — сказала девушка. — Другими сведениями пока не располагаю.

Песня Высоцкого давала основание сразу же установить тон, который полезен будет в поездке.

— Ты думаешь, что они размножаются почкованием?

— Говорят, что мировой конгресс по космическим связям, — сказала Дильбар, — хотел сделать эту песню своим гимном.

— Кажется, именно мне и тебе предстоит проверить гипотезу Высоцкого, — гнул свое Эркин. — Сегодня мы с тобой получим для этой цели командировочные удостоверения. Поедем поездом, потом автобусом, потом на попутках. Оденься соответственно, возьми рюкзак, продуктов на три дня. Встретимся на вокзале в восемь тридцать, возле касс.

Как известно, разговоры о летающих тарелках возникают время от времени все с новой силой, и причины тут самые разнообразные. Кто знает, может быть, есть где-то институт, занимающийся теорией возникновения подобных слухов, может быть, ученые уже исследуют вопрос в целом с точки зрения психологии, но в Ташкенте, по мнению Эркина, прилив интереса к летающим тарелкам объяснялся просто: приезжал лектор по линии общества «Знание», кандидат философских наук из Москвы, и среди нескольких публичных лекций о неопознанных пока явлениях природы прочитал одну, «закрытую», для узкого круга лиц.

Лектор отвергал научную достаточность опыта американских радиоастрономов Цукермана и Палмера, которые обследовали всего лишь шестьсот ближайших к нам звезд и не обнаружили никаких разумных сигналов. Нет, говорил лектор, он лично уверен, что наши братья по разуму скоро обнаружат себя. Попутно лектор коснулся самых известных слухов о тарелках, отрицал это наряду с телепатией и телекинезом. Лектор убедительно просил не смешивать его рассуждения о подлинно научных гипотезах с зарубежными другого толка сенсациями, рожденными безответственными лицами. Он привел наиболее абсурдные известия на этот счет и просил присутствовавших ни в коем случае не повторять эти слухи среди обывателей. И вообще разговоры на эту тему преждевременны, даже если под ними и есть факты.

Отец Эркина, Ильяс Махмудович, известный в республике философ и пропагандист атеизма, был (в числе избранных) на той лекции. Он долго негодовал по поводу лектора, не видевшего четкой границы между возможным и невероятным, между подлинным материализмом и откровенным идеализмом и фидеизмом. Эркин отцовского негодования не разделял, философия его вовсе не интересовала. Но как бы то ни было, после той «закрытой» лекции вновь заговорили о телепатии, о том, будто один человек из Чирчика, уснув после обеда в воскресенье, увидел во сне, что его ребенок тонет. И все подтвердилось: в этот, мол, день и в этот же час мальчик утонул в Крыму. Приводили и другие примеры.

Иногда на эту лекцию ссылались прямо, и то, что лектор рассказывал с очевидной иронией, приобретало совершенно серьезную реалистическую окраску. Одни фамильярно называли тарелки блюдечками, другие уважительно — Неопознанными Летающими Объектами, а те, кто считали себя посвященными, многозначительно произносили три буквы НЛО. Инопланетяне, говорили сведущие, летают на антигравитационных дискообразных кораблях, Землю посещают не зря, а с целью кражи с нашей планеты некоторых химических элементов или минералов, которых у нас пока еще много, а у них нет совсем. Совершенно определенно считалось, что наши «братья по разуму» встречаются двух видов: первые ростом около двух с половиной метров. Кожа у них синяя, глаза голубые.

Это чернорабочие. Вторые — высшая раса — карлики до семидесяти сантиметров, совершенно серые кожей и поросшие седыми волосами. Глаза у них желтые. По характеру карлики очень вспыльчивы и агрессивны. Великаны им подчиняются.

Как-то так получалось, что сенсационные слухи обсуждались больше всего с приятелями и приятельницами, реже с близкими друзьями и с родными, чаще об этом говорили на работе в служебное время. Такая, видимо, это тема, способствующая установлению необязательных контактов. И шуток на этот счет было множество.

Это он хорошо придумал — встречу на вокзале возле касс! Беспokoило только — одни ли там кассы, не разминуться бы. И насчет рюкзака с продуктами на три дня — хорошо.

Дильбар стояла на виду. Она была в выгоревших брюках и кофточке из рогожки. Красивая девочка. Объемистый рюкзак привалился к ногам.

Эрик увидел ее первым. На этот раз и он был вроде бы туристом, блеклые джинсы, выгоревшая куртка.

— Я думала, вы знаете расписание, — огорченно сказала Дильбар. — Поезд ушел в шесть десять, следующий — в четырнадцать с чем-то.

— Я вечером узнал про изменение расписания. Извини, подружка. Это в прошлом или позапрошлом году, когда мы на хлопок ездили... — он не договорил, бесшабашно махнул рукой. — Все к лучшему в этом лучшем из миров!

Фраза годилась на все случаи жизни.

— Все к лучшему, как сказал Вольтер. Мы поедем на моей тачке. Это только по карте близко, а последние сорок километров — горная дорога, и довольно плохая.

Он подхватил ее рюкзак, и они пошли к машине, которую Дильбар раньше не заметила.

Какое-то время ехали вблизи аэродрома. Там один за другим взлетали тяжелые реактивные самолеты.

Эркин протянул Диле пачку жевательной резинки, попросил у нее разрешения закурить. (На работе он курил без ее разрешения.) Потом он нажал какую-то кнопку, и в машине зазвучал нарочито хриплый, мужественный голос Высоцкого.

— Стерео, — сказал Эркин, кивнув на два динамика над задним сиденьем. — У меня есть и поинтересней пленки, но начнем по программе, как я задумал.

— Я давно не слышала Высоцкого, — сказала Дильбар. Она не сомневалась, что «сюрприз» с внезапной поездкой в машине был задуман еще вчера. Ей стало скучно, даже тоскливо, теперь она все знала наперед. Не то чтобы такое было именно с ней, но она точно знала, как это бывает.

...В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан —
Нет, и в церкви все не так,
Все не так, как надо!

Запись была хорошей, динамики работали мягко.

— Я с ним был знаком, — сказал Эркин. — Меня Андрей Вознесенский с ним познакомил. Я был на Таганке с одной очень красивой девушкой. Она их всех знала. Между прочим, он был маленького роста. Никогда не подумаешь, правда?

— Вознесенский? — нарочно спросила Диля, хотя знала, что тот говорит о Высоцком.

— Нет, Володя Высоцкий. Не выше тебя, честное слово.

— Возможно, — сказала она. — А Чехов был высокого роста, метр восемьдесят шесть.

В этой песне Дилю больше всего удивляли слова, набор которых казался случайным, нелепым, даже абсурдным, но именно поэтому, на-

верное, тоска и безысходность стилизованных кабацких куплетов звучала так неотразимо.

Я на гору впопыхах,
Чтоб чего не вышло,
А на горе стоит оль-ха
А под горою — ви-шня.
Хоть бы склон увить плющом,
Мне б и то отрада,
Хоть бы что-нибудь еще...
Все не так, как надо!

«Хоть бы склон увить плющом». Какое странное, нелепое желание.

Они мчались меж хлопковых полей. Эрик курил, Диля жевала мятную резинку. Хлопок был слабый, мелкорослый. Видимо, поздний посев или пересев после частых дождей и града.

— Конечно, Высоцкий устарел, но про таукитян у него с юмором. Например, про размножение почкованием. У Высоцкого тонкое чувство юмора, а у Марины Влади его вовсе нет. Замечала?

— Не замечала. Я вообще ее не помню.

Он сбросил газ, начался населенный пункт, центр большого колхоза. Недалеко от стенда с портретами передовиков и новой чайханы с национальными украшениями в тени карагача стоял милицейский мотоцикл с коляской. Инспектор ГАИ, молодой, но уже с обозначившимся животиком и круглым жирным лицом, сделал шаг из тени на солнце и ленивым движением жезла приказал остановиться.

Эркин подрулил прямо под карагач и вышел навстречу инспектору. Судя по всему, они были знакомы, поздоровались за руку, потом подошли к машине.

— Это мой друг обер-лейтенант Туйчи...

— Арипов, — подсказал милиционер.

— Познакомьтесь. А это моя жена Дильбар.

Во взгляде инспектора проскользнуло удивление, но руку Дильбар он пожал весьма почтительно.

— Поздравляю! Давно женился? — спросил он Эркина.

— В мае. Первого мая сыграли свадьбу.

— Почему не пригласил? — искренне огорчился милиционер. — Я бы без подарка не пришел.

— Разве можно на Первое мая отвлекать ГАИ от работы, — спокойно соврал Эркин.

— Я бы выбрал время. Поздравляю вас! Вы хорошая пара!

— А вы заходите просто так. Будем очень рады. Правда, Дильбар?

— Заходите, заходите, — сказала она, собрав все силы, чтобы не устраивать спектакль при незнакомых людях.

От приглашения посидеть в чайхане Эркин отказался решительно, они закурили с инспектором и, разложив на капоте схему автомобильных дорог, стали обсуждать, как лучше ехать к тому горному кишлаку, в котором жил человек, видевший летающую тарелку. Естественно, про тарелку Эркин ничего не сказал, соврал что-то про строительство в тех местах солнечной энергетической установки.

Дильбар не переставала удивляться тому, как он складно врет. Солнечная энергетика была одной из новых тем в их институте, и директор лично занимался этим. Лабораторию по этой теме он создавал сам и людей туда подбирал тщательно и неторопливо.

Инспектор не отказал себе в удовольствии еще раз пожать руку Диле и пообещал обязательно прийти в гости.

Около часа они ехали молча, потом свернули на разбитую горную дорогу и остановились у въезда в живописное ущелье с тонкой речушкой, бегущей по мелкому веселому галечнику.

— Здесь пообедаем, — сказал Эркин. Он открыл багажник с встроенным автохолодильником и предложил Диле развязать рюкзак. — Будь хо-

зайкой и не обижайся. У тебя юмора еще меньше, чем у Марины Влади. Зато ты много красивее и на тридцать лет моложе. Или на двадцать. Ты не знаешь, сколько ей лет?... И не обижайся. В прошлом году мы были в том колхозе на хлопке, я познакомился с этим Туйчи. Неужели ты думаешь, что он в самом деле придет в гости? И вообще. Если бы я сказал, что ты моя сотрудница и мы вдвоем едем в командировку в горы, что бы он про тебя подумал? Он же не совсем дурак. И потом, это такая ложь, которую легко исправить. Мой отец уже пять лет назад хотел меня женить. Да и ты, как я слышал, собиралась замуж в прошлом году.

Он сам расстелил скатерть, расставил еду, достал из холодильника бутылку шампанского с черной этикеткой. Он опять заговорил о чувстве юмора, которое жизненно необходимо каждому ученому и вообще каждому современному человеку. Дильбар молчала. Она в самом начале пути предчувствовала, что юмор Эркина ей лично веселья не сулит.

Обедали они под песни Аллы Пугачевой. Эркин пересказывал то, что Дия знала из сборников «Физики шутят» и «Физики продолжают шутить». Она понимала, что ее спутник слегка обескуражен. Видимо, он все представлял себе иначе. Потому никак не может сойти с колеи. Эркин содрал серебро с горлышка бутылки, но Дильбар весьма твердо сказала, что пить не будет и с пьяным водителем дальше не поедет.

— С женщинами не спорят. Во-первых, это невежливо, во-вторых — бесполезно.

Ее спутник растерял часть самоуверенности, это успокаивало.

— Кстати, я до сих пор не уверен, что у нашего директора с юмором порядок. Это важный параметр для определения его научного потенциала.

— Во всяком случае, чувство юмора, как вы его понимаете, изменило ему, когда он решил послать нас вдвоем в командировку за летающими тарелками.

— Он тут ни при чем. Он сказал, что я могу взять трех человек. Я предложил Амина и Бахтияра. Он сказал, что они слишком заняты. И дал мне свободу выбора из младших или лаборантов.

— Понятно, — сказала Дильбар. Она собрала посуду и стала мыть ее в речке. Эта работа, свежесть горной воды и красота ущелья вернули ей спокойствие. В конце концов, ничего плохого не произошло и не произойдет, а Эркин потому так противен, что очень похож на ее бывшего жениха. Их вообще много развелось — этих благополучных мальчиков с машинами, купленными родителями, с диссертациями, сделанными руководителями. Ее жених был этой же масти. И «Жигули» у него были, только другой модели. Жениха звали Анвар. Он был уверен, что скоро сменит машину и у него тоже будет «люкс». Бывшего своего жениха Дильбар про себя чаще называла не по имени, а — «жених». У них была общая родня в Самарканде, родня и сосватала. Вначале шло как положено, скромные визиты, вместе ходили в театр, прорывались на закрытые просмотры в Дом кино. Он знал, что модно, как об этом следует говорить: Феллини, Антониони, Бергман. А однажды Дия узнала от подруг, что у ее жениха есть девушка, очень красивая, русская, чуть его постарше, даже дом ее показали. Звали ее Лариса, жила она на Чиланзаре в однокомнатной квартире. Сначала Дильбар не поверила, рассказала об этом старшей сестре Анвара, женщине трезвого ума, разведенной и бездетной. Сестру звали Мухаббат, в доме сокращенно — Мухой.

— Не обращай внимания, — сказала Муха. — Он же не мальчик, ему надо. А тебя он любит и бережет.

Почему-то особенно неприятно было это «любит и бережет». С женихом Дильбар про это не говорила, но и Муха, видимо, ничего не сказала брату. А может, сказала, потому что он стал еще внимательней.

Эркин опять включил Высоцкого. Настойчивость его превращалась в примитивность.

У таукитян
Вся внешность обман,
Тут с ними нельзя состязаться:
То явятся, то растворятся.

Нет, эта песня не была лучшей у Высоцкого, решила Дильбар и тут же услышала противоположную оценку Эркина.

— Обрати внимание:

Я таукитянку схватил за грудки,
А ну, говорю, признавайся!
А та мне — уйди, мол, мы впереди,
Не хотим с мужчинами знаться,
А будем теперь почковаться...

Лариса умерла за две недели до свадьбы. Дильбар сказали, что это самоубийство. Просто подошла на улице какая-то девушка и сказала: из-за вас один человек умер.

Она сразу поняла, о ком речь, и пошла к дому, где жила Лариса. На лавочке сидели старухи, и Дильбар, сама не зная, откуда взялась у нее смелость, спросила:

— Скажите, пожалуйста, это правда, что Лариса умерла?

— Неделю уж. Или поболее, — сказала старуха в грязном коричневом фартуке, с тазиком вишни на коленях и с шпилькой в руке. Шпилькой она ловко извлекала косточки.

— Отравилась?

— Зачем отравилась, — сказала старуха равнодушно. — От аборту. У нее месяца четыре было, уже заметно. Наверно, оставить сперва хотела, чтобы парня удержать. У нее парень был богатый, с машиной. Кольца ей дарил, серьги. Вот она и надеялась.

Дильбар шла с Чиланзара до Комсомольского озера пешком, только там взяла такси и в тот же вечер сказала матери, что свадьбы не будет, чтобы Анвара в дом не пускали.

Эркин сменил кассету, теперь это был ансамбль «АББА».

— Ты почему не женишься? — неожиданно на «ты» спросила она Эркина.

— Тебя ждал, — сказал Эркин.

— Понятно.

Азим Рахимович не собирался заниматься административной работой, институт он принял из чувства долга, про себя решив, что лучше него и в самом деле кандидатуры не найти. Вероятно, с большой пользой для чистой науки он мог бы продолжить свои исследования в каком-то всесоюзном центре, где отлаженный коллектив, хорошая база. В последнее время он занимался новыми для себя направлениями, а собственная докторская диссертация, не говоря уже о старой кандидатской, выглядела в его глазах не более чем характеристикой возможностей и научного кругозора. На новом месте его привлекала не столько возможность вернуть долг родной республике в воспитании кадров, сколько желание связать свои теоретические достижения с практикой, даже конкретнее — с производством. Где, как не в солнечном Узбекистане, следует развивать солнечную энергетику. Именно с помощью солнца решил он построить серию установок для производства чистых металлов. В Москве на самом высоком уровне его поддержали, обещали выделить средства, выражающиеся не только во многих миллионах рублей, но и в определении весьма солидных материальных фондов и круга строительных организаций. Ответственность на него ложилась небывалая, но он, по правде сказать, меньше всего думал об ответственности. Он думал о самом деле.

С этой точки зрения все прочее, что происходило в институте и вокруг, волновало его очень мало. Даже пресловутый балласт, о котором знают все занимающиеся организацией науки, Азим Рахимович воспринимал как данность. Освобождение от балласта в институте дело долгое, понимал он, и к осаде бездельников и бездарностей готовился исподволь, зная, что их присутствие в науке зависит от сложившихся правил, что многие молодые люди превращаются в бездельников и теряют квалификацию не по собственной вине, а по вине руководителей, по неумению занять их

настоящим делом. Человеком, от которого он хотел избавиться в первую очередь, был его заместитель по административно-хозяйственной части Аляутдин Сафарович. Сложность состояла в том, что именно этот человек построил все, что получил новый директор, и теперь всегда мог достать все, что требовалось институту. Он ездил в командировки в центральные институты и в Академию наук за приборами, назначение и название которых знал только по накладным, но справлялся с любым заданием. Секретов из своих успехов он не делал, наоборот, подчеркивал, что каждая поездка стоит ему многих денег и трудов.

— Шесть ящиков гранатов, четыре — «дамских пальчиков», пять ящиков зелени, десять дынь! — так он объяснял причину конкретного успеха. Набор фруктов и овощей иногда менялся. Иногда это была клубника и черешня, иногда персики и помидоры...

Аляутдин Сафарович принадлежал к числу людей незаменимых, но именно его хотел заменить директор, потому что вокруг него и по его хозяйству в институте уже служило несколько сотрудников, которых взяли якобы для улучшения отношений с другими организациями и которые нужны были только заместителю в качестве тех же дынь, помидоров и «дамских пальчиков».

Заместитель директора вначале не подозревал, что его деятельность директору претит, более того, он был твердо уверен, что делает свое дело самым лучшим образом. Сейчас, например, он хлопотал о строительстве базы отдыха в горах, добился участка, ассигнований из местного бюджета и пришел к Азиму Рахимовичу, чтобы попросить директора принять в аспирантуру сына человека, могущего достать весь стройматериал, кирпич, цемент, столярку и даже транспорт.

Аляутдин Сафарович был коротконогим толстяком и, усевшись в кресло возле журнального столика, он прежде всего поправил свой выпадающий из брюк живот. О строительстве базы отдыха он говорил толково и прямо объяснил насчет аспирантского места. Азим Рахимович выслушал заместителя и спросил:

— А что, если мы не возьмем аспиранта? Вы лично его знаете, можете поручиться, что из него выйдет ученый?

Аляутдин Сафарович засмеялся, только глаза его были настоюще, смотрели на пепельницу.

— Я могу, домла, поручиться только за стройматериалы. А парень хороший, видный, вежливый. Не хуже, чем Махмудов.

Азим Рахимович понял, почему именно Эркина назвал теперь заместитель. В институте все знали, что Эркин играет с директором в теннис, и считали его директорским любимчиком.

— Значит, не хуже?

— Такой же. У меня глаз хороший. Точно такой же. Я могу пообещать отцу? Он мне верит.

— Обещать ничего не надо, прошу вас, — сказал директор. — Пусть подает документы, но у нас на одно это место есть четыре кандидатуры. Если будет лучше других — примем. Так и скажите.

Аляутдин Сафарович молчал, но продолжал улыбаться. Такие вежливые и решительные отказы он получал все чаще. Если бы директор знал, сколько стоило добыть техническую документацию на эту базу из Грузии. За путевки на эту будущую спортбазу институт потом мог бы получить от разных людей значительные услуги.

А директор думал о том, как не сбывается в жизни то, что, вроде бы, по логике может быть вполне вероятным. Например, ленивый и неумный руководитель тщательно подбирает себе трудолюбивых и умных подчиненных — и дело идет прекрасно. Или: бездарный ученый окружает себя талантливой молодежью и движет вперед науку. Или: жуликоватый завмаг нанимает кристально честных продавцов... Почему-то так не получается.

Чаще всего так не получается, поправил себя директор. Но иногда получается. Не в магазине, естественно, а в более сложных структурах.

Начало пути Азима Рахимовича было обычным для наших дней. Колхозная школа давалась ему без особого труда. В те пять учебных месяцев, которые оставались от уборки хлопка и весенних работ, он без особого напряжения, но с молодым азартом хватался за учебники и тогда же установил первое весьма спорное для других правило: учиться хорошо легче, чем учиться плохо. Меньше нервов, меньше огорчений. Тот же принцип сохранил он и в университете. Тут единственной трудностью оказался русский язык; в родном кишлаке его преподавали плохо. Наверное, помогло то, что он с детства, кроме узбекского, хорошо говорил по-таджикски — население у них в колхозе было смешанное, а третий язык давался и в обиходе, и по внутреннему заданию. В Ленинграде, куда Азим Рахимов попал в аспирантуру, он хотя и говорил с акцентом, но понимал любую самую быструю и сложную речь, книги же читал совершенно свободно и даже с каким-то языковедческим интересом. Увлекало сравнение грамматических конструкций. Одно время ему казалось, что мог бы пойти и по филологии...

В аспирантуре, пожалуй впервые в жизни, Азим осознал себя узбеком, почувствовал долг перед своим народом. Он четко помнил, как это было. «Если я опозорюсь, то только год или два после отъезда будут говорить, что был у нас аспирант Азим Рахимов, который не потянул. А потом имя и фамилию забудут, останется память, что был тут один аспирант-узбек — учили-учили, так ничего из него и не вышло. Вот это страшно!» Поэтому он защитился первым из тридцати аспирантов-экспериментаторов.

С докторской получилось иначе. Это была осознанная внутренняя установка; чем выше задача, которую ставишь себе, тем больше сделаешь. И тогда возникает рабочая инерция, тогда и дальше не остановишься. Мозг сам работает, внешние психологические стимулы уже без надобности...

Заместитель директора все еще сидел перед ним в низком модном кресле, сидел, чуть наклонившись вперед, и живот его арбузом лежал на толстых ляжках.

— Аляутдин Сафарович, — сказал директор. — Я же просил вас, работайте честно. Это не намек на что-то, это конкретная просьба.

Заместитель встал, опершись короткими руками о полированные подлокотники. Он многое мог бы сказать в ответ директору, очень многое, во что верил, в чем не сомневался. Но Аляутдин Сафарович понимал, что собеседник не захочет внять общеизвестным истинам. Не захочет. Вот в чем все дело. Еще бы можно было сказать: «Посмотрим, как вы без меня обойдетесь, посмотрим, кто сможет на моем месте добывать и выбивать все, что добыл и выбил я». Но и этого говорить не стоило.

— Старость не радость, — сказал замдиректора. — И сердце что-то побаливать стало. Наверное, полечиться лягу, если вы не возражаете, Азим Рахимович.

Директор уже стоял на своих длинных худых ногах. Брюки у него были узкие, хорошо отглаженные, носки ботинок острые.

— Не знал, что у вас большое сердце, — сказал директор. — Это серьезно? Если хотите, моя жена вас посмотрит? Она одно время увлекалась кардиологией.

Аляутдин Сафарович поблагодарил и вышел из кабинета. Сердце у него не болело ни сейчас, ни раньше. Сказал просто так или потому еще, что была на уме у него большая новая больница, куда ему предлагали перейти заместителем главного врача по строительству.

— Мира Давыдовна, — сказал замдиректора в приемной, — у вас мама болеет, я просил вас принести рецепты. Вы принесли?

Он, не глядя, сунул бумажки в карман пиджака.

— Завтра после обеда привезу. — Он не сомневался, что так и будет, именно завтра до обеда решил поехать в Минздрав.

Автомобиль Эркина лез в гору с трудом. Асфальт кончился давно, и разбитая какими-то большими грузовиками гравийная дорога кончи-

лась. Перед радиатором было нечто, похожее на дно ручья с глубокими промоинами от дождевых потоков, с камнями всех размеров, включая весьма солидные валуны. Эркин зло крутил баранку, маневрировать приходилось точно, потому что справа пугающе зияла бесконечная каменная пропасть.

— Хоть бы склон увить плющом, — сказала Дильбар, она сочувствовала.

Эркин не ответил. Думал про Бахтияра и Амина, которых директор счел слишком занятыми для поездки в этот дурацкий забытый богом и людьми кишлак.

Последняя партия в теннис вспомнилась Эркину по закону плохого настроения. Если на душе погано, так сразу лезет в голову все неприятное. Это была всего-то их четвертая встреча на корте. До нее счет выглядел достойно: два-один в пользу старшего. Первую и третью выиграл директор, вторую Эркин. По раскладу и замыслу выиграть четвертую следовало обязательно. Хотелось выиграть красиво, убедительно. Вышло иначе. Первый сет был за Эркином, провел он его в хорошем темпе, крученые мячи летели точно. Зато во втором директор преобразился, видимо, проснулся азарт. «Прорезался» удар, в подачах он не жалел себя и тут же на длинных ногах кидался к сетке, так же быстро отбегал, если Эркин давал свечу. Утешало Эркина лишь хорошее настроение директора. В ответ на искреннюю похвалу во время передышки Азим Рахимович заметил:

— Это благодаря тому, что вы хорошо сыграли первый сет. Задали тон и темп. Обычно слабый противник демобилизует партнера. Не замечали? И еще, как у нас говорят: «Убегающего не догоняй. Догонишь, он тигром станет».

Последний сет был для Эркина еще более неудачным. Утешение заключалось в том, что игра кончилась к девяти и многие в институте видели, как они шли с корта в душевую, оба взмыленные, в белых одинаковых костюмах, с одинаковыми ракетками в чехлах с надписью «Слезингер». И из душевой вышли вместе. Это тоже все видели, а кое-кто и слышал, как директор сказал, что давно не испытывал такого удовольствия от игры.

И все-таки три-один не то, что требовалось Эркину для отношений на корте, которые, как он справедливо полагал, должны в какой-то степени переноситься на его положение в институте.

Вспомнилась еще одна деталь, не из этой игры, а из самой первой. Директор предложил, чтобы все их разговоры на корте проходили по-английски.

— Вы английский учили? Я тоже, а стал забывать. За рубежом была практика, сейчас только читаю, а скоро в Индию ехать.

На свой английский Эркин надеяться не мог и, как ему тогда показалось, уклонился довольно ловко, сказав, что стесняется плохого произношения.

И это вспомнилось сейчас некстати. Отвратительной дороге конца не предвиделось, валуны встречались все чаще.

— Я слышал, что ты совсем уже была готова к свадьбе? — сказал он Диле. — Да и парень, как жетая, хороший. Медик?

— Медик, — ответила девушка. — Тоже аспирант, как вы.

— Почему же расстроилось все? Кто виноват? Он или ты?

— Так получилось, — ответила она.

— А все же?

— Не хочется говорить.

— У нас ведь редко так бывает. Родители потратились, перед родственниками неудобно.

Любопытство Эркина было неприличным, для узбекской среды просто недопустимым. Диле совсем потеряла уважение к своему спутнику. Жалость, свойственная хорошим женщинам даже в отношении плохих людей, перешла в презрение.

— А ты с ним целовалась? — спросил Эркин по-русски.

Дильбар ответила по-узбекски пословицей, он не понял.

— Что ты сказала? Не уловил.

— По-русски это звучит мягче, — строго сказала она. — Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Примерно так.

За крутым поворотом, за скалой, нависшей над пропастью, открылась небольшая долина и в ней освещенный вечерним солнцем кишлак. Сначала две кошары, потом с десятков давней постройки домиков с низкими дувалами, сложенными из обмазанных глиной камней, таких, которых так много было на дороге. Деревья тут росли худосочные. Людей вовсе не было видно. Посередине улицы в раздумье стояли два черных барана. Эркин отрывисто просигнализировал, и тут же из какого-то двора выбежала девочка лет семи или восьми с голубым хулахупом в руках.

— Где тут у вас сельсовет? — спросил Эркин по-узбекски.

— Не знаю, — ответила девочка.

— Как не знаешь? Сельсовет есть?

Девочка пожала узенькими плечиками. Черные близко посаженные глаза под густыми сросшимися бровями смотрели весело и удивленно.

— Почему у вас машина желтая? — спросила она. — Я таких не видела. Разве бывают?

Дия расхохоталась.

— Сестренка, — сказала она, — в вашем кишлаке есть человек по имени Бободжан-ата Батырбеков?

— Нет, — девочка мотнула решительно. — В кишлаке нет, выше есть. Видите, вон там на бугре две белые березы растут?

Она так и сказала «белые березы». Только в Узбекистане, пожалуй, к слову «береза» обязателен постоянный эпитет «белая». Дия посмотрела туда, куда протянулась худенькая ручка, и действительно увидела две слабые березки, а над ними дом за невысоким дувалом.

— Холодно здесь, — сказал Эркин, поднял стекло и зло газанул на первой скорости.

Дия оглянулась. Девочка стояла посреди улицы, изо всех сил крутила голубой хулахуп и смотрела им вслед. Дия помахала ей рукой.

У дувала, сложенного из скрепленных глиной камней, перед неожиданной широкой двустворчатой воротами Эркин остановил машину, и молодые люди вошли во двор. Тут все по высоте соответствовало дувалу: приземистый дом с опрятным ярко освещенным солнцем айваном, хлев с навесом перед ним, тандыр и тахта под невысокой, хотя и старой урючиной. В хлеву стояла корова, тоже маленькая, зато под навесом поодаль от четырех овец был привязан мощный крутолобий баран. Посреди двора грелся на слабеющем вечернем солнце огромный пес. На вошедших в калитку он глянул пристально, но равнодушно.

Эркин и Дильбар остановились у калитки, не решаясь позвать хозяев.

— Идиотизм деревенской жизни, — заметил Эркин. — Баран на веревке, а собака без привязи. — Он хотел было вернуться к машине и просигнализировать, но тут из дома вышел крохотного роста сухонький старичок, за ним старушка под стать ему. Одной рукой старичок прикрыл глаза от солнца, другой сделал приглашающий жест.

— Входите, входите. Добро пожаловать... Не бойтесь, — старик кивнул на собаку. — Она не кусается. Это волкодав. На людей даже лаять не будет. Входите.

Хозяева, видимо, только что поели, пили чай и смотрели телевизор. На экране была карта Атлантики, и голос ведущего на узбекском языке разъяснял что-то про магнитные аномалии.

— Про Бермудский треугольник, — сказал Эркин Диле.

Старик, который и до этого улыбался, тут совсем расцвел.

— Бермуды. Бермуды, — подтвердил он и быстро-быстро заговорил по-узбекски. То ли речь его была слишком быстрой и невнятной, то ли акцент непривычный, но Эркин понял лишь, что старик любит науку и много читает. В подтверждение Бободжан-ата достал толстую пачку журналов «Фан ва турмуш» с закладками.

Переход к цели приезда был естественным, и Эркин сказал, что ему

и его жене Дильбар поручено проверить сообщение о неопознанном летающем объекте. Бободжан-ата так сразу и подумал и заговорил еще быстрее и невнятное. Попадались слова и целые обороты, которые Эркин или вовсе не знал, или не мог вспомнить их значения.

Дили слушала с интересом. Она любила этот язык, отличающийся от нынешнего газетного и литературного. Точно так говорила ее бабушка, знаменитая на всю махаллю отын-оёе — учительница.

Хозяйка внесла блюдо с фруктами, и старик стал говорить, что виденный им предмет был не такой, как этот ляган, а узкий, длинный. При этом он не только улыбался, но и хихикал. А в ответ на какой-то вопрос Дили радостно захохотал. Продолжая смеяться, старик заговорил вовсе непонятно.

Эркину старик нравился все меньше: никакой учтивости, никакого величия. Правда, постепенно Бободжан-ата успокаивался и, когда вспомнил, наконец, о ритуале, то и вовсе вошел в норму, и слова потекли сплошь понятные, обычные, те, что говорят за едой. Так же понятно он объяснил, что идти на то место, где он увидел сияющий предмет, лучше вечером, когда будут видны звезды, особенно Меркурий.

— Мы поедем на машине, — сказал Эркин.

— Нет, — возразил старик. — Не надо. Машину поставьте во двор. Мы пойдем пешком, это триста пятьдесят, триста шестьдесят шагов не по дороге, а чуть в сторону по тропке. Я нарочно сосчитал шаги. Там камень круглый и два куста шиповника.

Эркин загнал машину, принес в дом угощения из багажника и бутылку шампанского с ободраным серебром на горлышке. По телевизору передавали балетный спектакль на музыку известного азербайджанского композитора, на столе стояло блюдо с пловом.

Выпить Бободжан-ата не отказался и очень хвалил вино, говорил, что первый раз пил такое в Вене.

— Где? — переспросил Эркин.

— Город есть около Германии. Мы его освободили, и русские ребята достали много таких бутылок. Потом нас чуть под трибунал не отдали. Я командиром орудия был, весь расчет пьяный, и я больше всех. Вот там я впервые и увидел такой ляган, который в прошлом месяце летел по небу. Узкий, длинный. Оказывается, для рыбы. У них рыбу не кусками жарят, а целиком подают.

— Вы воевали? — удивился Эркин.

— Воевал. Когда моя Кумри третьего родила, на другой день война началась, а мне повестку на шестой день принесли. Я пастухом был, думал, и на фронте лошадь дадут.

— У вас, наверное, наград много?

Старичок засмеялся, махнул рукой.

— Были. Орден Красной Звезды и две медали. Теперь нет.

То, что старик рассказал дальше, вызвало недоверие Эркина. Смешок, сопровождавший этот рассказ, добавлял сомнений. Постепенно Эркин стал догадываться, в чем состояла для него сложность стариковской речи. Кроме старинных узбекских выражений, в ней встречались арабские и таджикские слова и сильно искаженные русские.

Дильбар понимала старика прекрасно и постепенно стала смеяться так, как смеются на выступлениях Райкина или Хазанова. И старушка тоже смеялась, прикрывая совершенно беззубый рот краем платка.

Она глядела на мужа любовно, с молодым восхищением.

Детали рассказа ускользали от Эркина, но главное состояло в том, что у старшины Батырбекова, возвращавшегося с фронта, в бане в Москве украли гимнастерку с наградами и всеми документами.

«Не может быть, чтобы человек, прошедший четыре фронтовых года бок о бок с русскими бойцами, вовсе не говорил теперь по-русски, — думал Эркин. — Не может быть, чтобы человек так легкомысленно относился к утрате наград, если они у него действительно были».

Стемнело быстро.

Эркин встал и спросил про тропу, про камень и кусты шиповника.

— Сейчас еще рано, — сказал Бободжан-ата. — Я возвращался в одиннадцать часов. Я барана искал. Видели, какой у нас баран? Если убежит, долго ловить надо. Не торопитесь, вместе пойдем, посмотрим «Новости» и вместе пойдем.

— Если можно, мы пойдем сейчас, погуляем, а вы потом приходите. — Эркин заявил это достаточно твердо, и старик согласился, посоветовал только одеться потеплее, потому что холодно.

Молодые люди достали из машины стеганые куртки, Дия повязала платок.

Кумри-буви показалась из хлева с подойником.

— Доченька, — сказала она Диле, — я тебе с собой постелила. Если поздно вернетесь, прямо ко мне иди. А Эркинджан пусть в гостевой спит.

Ночь была тихой, лунный свет делал горы сказочными, холодными, кишлак внизу светился лишь тремя или четырьмя окнами. Сверху бросалось в глаза, что над каждым домом торчит телевизионная антенна.

— Мы с тобой стали жертвами плодов просвещения, — Эркин шел впереди. — Фантазия у старика богатая, журналы читает, телевизор у него не выключается. Чего стоит один только рассказ про украденные ордена.

— А я ему верю, — возразила Дия. Она догнала Эркина, и они пошли рядом.

— Почему же он за столько лет не восстановил награды?

— Он же сказал — после войны его сразу бригадиром поставили, не до того было. Он по горам мотался, за каждую овцу отвечал. Он интересно сказал: одна овца тогда важнее была для государства, чем мои награды.

Возле кустов шиповника и круглого валуна они остановились. Дия вынула из кармана куртки блокнот и стала что-то рисовать.

— Пейзаж? — спросил Эркин. — Я и не знал, что ты художница.

— Схема, — ответила девушка. — Он сказал — между этих двух гор посреди была Малая Медведица, а ближе к правой горе и появился продолговатый светящийся предмет удлиненной формы. Я сейчас набросаю, а он уточнит, когда поднимется.

— Не слышал я, чтобы он про Медведицу говорил.

— Ну да, он арабское слово употребил. Так ее Беруни называл и Улугбек. Ад-дуб аль-Акбар.

Эркин промолчал, не спросил, ей-то откуда известно, как в старину назывались звезды. Кажется, этого не проходят в университете. А может, проходят? Может, он пропустил те лекции по истории астрономии?

Схема, которую Дия шариковой ручкой набросала в блокноте, была подробной и походила на рисунок. Очертания гор схвачены точно, обозначен край ледника, ущелье и даже дерево на одном склоне, на другом какое-то строение, видимо, кошара.

— Ты мне очень нравишься, — сказал Эркин и обнял Дилю за плечи. — И доверчивость твоя мне тоже нравится. Только пойми, все это старческий бред, желание обратить на себя внимание. Вот, смотрите, какой я человек, кишлачный бабай, а прославиться могу на всю страну.

Дия осторожно освободилась от руки Эркина, отошла на несколько шагов, присела на камень.

— Знаете, Эркин, что я вам должна сказать?

— Знаю. Что ты не такая, как все. Что ты честная девушка и не позволишь...

— Нет. Совсем другое. Я про вас скажу. Вы...

Он перебил ее:

— Зачем ты сказала старухе, что мы не муж и жена? Мы что, не могли спать в одной комнате? Думаешь, я стал бы приставать. А так меня поставила в дурацкое положение. И себя тоже.

Он говорил, стоя к ней вполоборота, презрительная улыбка должна была скрыть всю обиду, которая накопилась по дороге сюда и, возможно, начала копиться много раньше. Он давно уже замечал, что девушки его

круга относятся к нему холоднее, чем он того хотел. Может, он не умеет с ними обходиться? Может, в случайных романах растерял самые важные приемы?

— Прости меня. Но ты мне очень нравишься. Я даже готов на тебе жениться.

Диля засмеялась.

— Вы так и не дали мне сказать, что я хотела. Вы убеждены, что составите счастье любой девушки, что вы завидный жених и очень умный человек. А ведь все, кроме нашего директора, знают, что вы... пустой орех.

— Что ты сказала?! Повтори! — Эркин шагнул к ней, размахнулся и ударил бы, но не смог, потому что Диля смотрела на него спокойно и внимательно, без какого-либо презрения или отвращения.

— Повтори! — крикнул он. — Повтори... — он грязно выругался.

— Нет, повторять я не буду, — сказала девушка. — Я вам другое скажу. Вы ведь думали примерно так: пусть у меня с ней ничего не получится, но пусть кто-то думает, что получилось. Правильно?

Он стоял перед ней, сжимая кулаки, потом молча повернулся и побежал вниз.

Дильбар проследила за ним взглядом и огорчилась, что все так вышло: ведь не хотела грубить, но очень обиделась за себя и еще за старика. Она раскрыла блокнот и сверила нарисованное с тем, что видела.

Холодно в горах ночью, откуда-то донесся слабый вой: волк или шакал, может, собака. Дильбар подтянула молнию на куртке, пошла вниз. Метров сто оставалось до стариковской усадьбы, когда из ворот задом выехала машина Эркина. Гулко в тишине взревел мотор при развороте, свет фар уперся в склон, усеянный крупными камнями.

Диля с удивлением смотрела, как нервно виляет «Жигуленок» на узкой дороге, как быстро удаляется и становится меньше и меньше. Не разбился бы, подумала она и подосадовала на себя еще раз: нехорошо получилось, нельзя было так. Теперь придется самой проситься в другую лабораторию, а как это сделать? Как объяснить и кому? Проверив на машине расчеты диссертации Эркина, она давно уже пришла к выводу, что многое там высосано из пальца, что правильно лишь то, что заимствовано из давно опубликованных работ, но, с другой стороны, не ей же судить об этом.

Навстречу поднимался по тропинке Бободжан-ата. Он шел мелкими шагами, но легко, и еще издали крикнул:

— Жива? Ну слава богу. Я думал, он тебя убил.

Может, старик и не думал так, потому что в голосе его был добродушный смешок, тот самый смешок, который так характерен был для его речи.

— Пойдем, покажу, где ляган летал.

Они опять пошли в гору.

— Я думал, он тебя убил, — так же весело повторил старик. — Злой прибежал, ничего не объяснил, сразу вещи в машину стал кидать. Спасибо не сказал. Жених твой?

— Нет, не жених, — сказала Дильбар.

— Муж? — удивился Бободжан-ата. — Я не поверил, что муж. И моя Кумрихон не поверила. Она сразу сказала, что не муж, не знала только, как спросить про постель.

— Потому он и разозлился, — ответила Дильбар. — Он думал, я сама вам сказала, что он мне никто.

Старик залился веселым хохотом.

— Никто! Никто! Это верное слово — Никто! Какой дурак, не видит того, что все видят! Разве он тебе пара?

Возле кустов шиповника Диля раскрыла блокнот. Луна уже прошла часть своего пути, тени в горах чуть сдвинулись, но старику рисунок понравился.

— Вот здесь он появился, этот летающий ляган...

Диля остановила острие ручки, чтобы поставить жирную точку на месте, которое она раньше только наметила.

— Нет, чуть правее и выше. Вот здесь. Правильно. Потом полетел еще правее и скрылся вот тут.

Диля провела линию.

— Так?

— Кажется, так, — чуть сомневаясь, сказал Бободжан-ата. — Для меня кажется, что так. Для науки, наверно, точнее надо?

— Он останавливался или просто летел?

— Нет, не останавливался. Я очень хотел, чтобы остановился. Я бы его лучше рассмотрел.

— Может быть, это была падающая звезда? — для верности переспросила Диля.

— Нет, дочка. Звезды падают часто, ни одна не летит так. И потом, он большой был и вытянутый. Я тебе говорил, как ляган для рыбы. Я в Германии видел, больше нигде.

— Значит, все верно? — спросила Диля еще раз. Результат командировки показался ей ничтожным в сравнении с неприятностями этого дня.

— Все верно. Молодец. Так и скажи академикам. Хочешь, я подпишу твой листок.

Диля решила, что это не помешает, и старик поставил под рисунком свою фамилию. Подпись была четкой, все буквы читались.

— Я и по-арабски могу расписаться, — сказал Бободжан-ата. — Старший брат меня научил, он грамотный был, медресе кончал.

Они возвращались к дому, и Диля, подавляя внутреннее смущение, решила задать еще два вопроса, которые вызывали недоверие Эркина. Вежливость вежливостью, уважение уважением, но дело надо доводить до конца.

— А по-русски вы совсем разучились, ата? Раньше, наверно, хорошо говорили, на фронте?

— Раньше мог. Молодой был, не стеснялся ошибаться. А теперь все понимаю, когда говорят, а сам не знаю, как сказать. Тут по-русски не с кем говорить. И еще, дочка, заметил я, что лучше помню слова, которыми совсем в детстве говорил. Иногда такое слово скажу, сам удивляюсь, откуда вспомнил. У меня дочка врачом работает, в Самарканде живет, приезжала, объяснила. Это сикелерос называется. Старое вспоминается, новое забывается.

— Склероз, — поправила Диля. — На мой взгляд, у вас память отличная. Сколько вам лет?

— По документам семьдесят два, а точно никто не знает.

Возле ворот дома Диля увидела старушку, она стояла, приложив руку ко лбу козырьком, беспокоилась. Диля поторопилась задать второй вопрос.

— Жалко, что вы не хлопотали об украденных наградах. Неужели это было так трудно?

Бободжан-ата остановился.

— Конечно, трудно... Я не хотел говорить при этом твоим «никто», я сразу понял, как он ко мне относится. Я ведь бригадиром только полгода поработал, а потом меня посадили. Десять лет дали, я два года в Сибири был, пока разобрались. И при Кумрихон не надо было про это говорить. Она плачет очень. Про фронт можно, про ранения можно, про это нельзя... Знаешь, сорок пятый год, голод был, я вернулся, жить начали кое-как, хлеб стали есть, а один плохой человек украл у меня четыре овцы. Это осенью было. Его поймали, того человека, привезли ко мне, чтобы я опознал овец, подтвердил кражу. Я сказал, что это не мои овцы, не наши, не колхозные. Тогда меня арестовали вместе с ним. Ему десять дали и мне тоже десять. Два года в Сибири лес пилил. Хуже фронта...

Диля верила каждому слову старика, удивлялась, но верила.

— Почему вы не сказали, что ваши это овцы?

Старик молчал.

— Надо было сказать.

— Не сказал... — старик опустил голову. — Не сказал. Мы из одного кишлака. Он до войны председателем сельсовета работал, очень плохой

человек был, очень плохой. Из-за него мой старший брат погиб, он на него донос написал. Очень плохой человек...

— И вы его пожалели?

Старик поднял голову, снизу вверх глянул Диле в глаза.

— Понимаешь, дочка, из одного кишлака! Я не хотел, чтобы люди думали, что я отомстил.

Телевизор забыли выключить, он светился белым экраном, потрескивал.

Диля прошла в комнату, которую ей указала хозяйка. Деревянная кровать, тумбочка и платяной шкаф были новые, на стене висела фотография женщины в белом халате, а рядом был портрет мужчины в форме капитана милиции, и еще одна — групповая: та же женщина, тот же мужчина и четверо детей.

— Это наша дочка, — сказала Кумри-апа. — Врач. Это ее комната. Она в отпуск приезжает, скоро будет с детьми. Я подумала, тебе здесь удобней будет. Ты на полу не привыкла, наверно.

Диля разделась, легла под толстое одеяло и заснула сразу, едва голова коснулась тугой подушки.

Эркин довольно скоро обрел необходимое душевное равновесие. Помогла трудная дорога и еще то, что самые тяжелые участки он миновал с честью. Так боялся налететь на валун или попасть в промоину, так сложно было ориентироваться на узком спуске, когда свет фар в контрасте с черными тенями пугал каждой новой перспективой. Он выбрался на шоссе и с облегчением глянул на часы.

Плохой день кончался. Конечно, предстояли сложности в отношениях с Дильбар. Неизвестно, как себя вести с ней отныне и, самое главное, как она будет теперь помогать. «Пустой орех» — оскорбление, за которое она просто обязана извиниться! Хуже другое — «пустой орех» — слова, которые могут прилипнуть к нему.

Недаром она все время уклонялась от разговора по существу его работы, написала только, что не все пока сходится на ЭВМ, но предположила, что это, возможно, результат неверного программирования. Ну и черт с ней. В конце концов, можно взять командировку в Москву и доделать работу там, если директор будет тянуть. В больших научных центрах всегда найдутся люди, которые, не без оплаты разумеется, готовы поделиться идеями и опытом. Есть такие, что, оставаясь кандидатами, накрутили еще по пятку других кандидатских, а есть и доктора, сделавшие подготовку чужих диссертаций главным источником благосостояния. Идеи и мысли давно стали в мире товаром, их продают и покупают, как джинсы и дубленки.

Так рассуждал Эркин, так утешал себя, заранее предвидя унижительность положения, когда он будет ходить по московским квартирам с дынями, орехами и другими плодами щедрой узбекской земли.

Начался асфальт, и вскоре Эркин догнал большой грузовик, шедший со скоростью сто километров. «Жигуленок» пристроился за ним в почтительном отдалении. Такой лидер устраивал Эркина. Не нужно было следить за дорогой или бояться какого-то инспектора ГАИ, почему-то лишившегося сна в эту лунную ночь. Эркин включил магнитофон, но тут же переключился на радио, пел Лев Лещенко.

Неожиданно он увидел, что грузовик оказался в опасной близости. Эркин сбросил газ и только теперь понял, что они в населенном пункте, том самом, где он сегодня беседовал с милиционером. Поселок спал. Над чайханой горела одинокая лампочка, вторая была у нового здания почты. Карагачи тянулись вдоль дороги, а за ними у домов стояли второй шеренгой тополя.

За поселком грузовик неожиданно прибавил скорость, и тут же что-то ударило в лобовое стекло. Видимо, камешек вырвался из-под задних колес, маленький камешек, летевший с огромной силой. Удар был похож на щелчок, но по стеклу сразу брызнула лучистая трещина.

Эркин выругался вслух, проклял в душе директора, пославшего его в эту никчемную и бессмысленную командировку, выключил радио и, зло сигналив, обогнал грузовик.

Диля проснулась поздно. Хозяева суетились возле тандыра, собирались печь лепешки, хлев был пуст, лишь под навесом, натянув веревку, стоял крутолобый черный баран. Диля уложила рюкзак, вышла из комнаты и долго плескалась у арыка.

Потом ее поили чаем, уговаривали дождаться лепешек и вообще погостить денек-другой или хотя бы до обеда, потому что после обеда обязательно будет какая-нибудь попутная машина. Не исключено, что и сын Кахрамон заедет. Он тут недалеко на руднике работает шофером, он и отвезет ее до автобуса. Она вежливо, но твердо отказалась от всех искренних предложений.

Кишлак утих после утренней суеты, на улице, по которой она шла, были только дети. Мальчишки бегали с бумажным змеем, который почему-то никак не хотел взлетать, девочки держались в стороне. От них отделилась та, что вчера указала дорогу.

— Здравствуй! — крикнула она Диле в надежде, что ее узнают. Диля ей улыбнулась и вправду обрадовалась.

— Здравствуй, маленькая.

— А где твоя желтая машина? — озорно крикнула девочка. — Сломалась?

— Сломалась, — смеясь, подтвердила Диля. — А где твой обруч?

— Сейчас принесу, — ответила девочка и бросилась к дому.

Дорога круто шла вниз и свернула налево.

— А где желтая машина? — услышала Диля и, обернувшись, увидела шустрюю девчонку на крыше дома. Она стояла рядом с телевизионной антенной и изо всей силы мотала на себе голубое пластмассовое кольцо.

— Где желтая машина? Где желтая машина?

Диля помахала ей рукой.

— Где желтая машина? — почти пела девчушка. — Где желтая машина?

Она не дразнила, а просто веселилась.

Рюкзак плотно прилегал к спине, кроссовки ступали упруго, сквозь подошвы ощущалось покалывание острого щебня, на горах вокруг было много зелени, по склону медленно ползло пятно — двигалась отара овец.

«Боже, как хорошо. Как хорошо!» — думала, а может быть, и шептала Дильбар.

До пересечения с большой магистралью было, как ей объяснили, километров пятнадцать, и Дилю радовало, что она долго еще будет идти одна среди красоты, тишины и покоя.

«А где желтая машина?» — вспоминала она голос девчушки, похожей не то на цыганку, не то на армянку. И это продолжало веселить ее.

Навстречу проехал автофургон с надписью на двух языках: «Любите книгу — источник знаний». В раскрытой задней двери она увидела мужчину в белой поварской куртке — продавца, и ящики. Продукты повезли, поняла она. Еще через час ей встретился «уазик» с синим крестом ветеринарной службы.

Становилось жарко. Ей хотелось пить, но ни родников, ни ручьев не было видно. Ей захотелось перекусить, но не стоило менять ритм движения. Она вспомнила о лепешках, которые, наверное, испекли старики, и ей вовсе расхотелось есть позавчерашний городской хлеб, лежавший в полиэтиленовом мешочке среди других не понадобившихся свертков на ее спине.

Асфальтовая лента магистрали издала виднелась как река. Машин не было. Диля села на обочине, а потом устроилась лучше, как ее учили в турпоходах: прислонилась к невысокому столбику, ноги положила на рюкзак.

Мысли ее вернулись к старику с его простой и потому удивительной в подробностях жизни, к тому, как он простил врага семьи, чтобы никто не заподозрил его в мести. Старик упорно напоминал ей ее ушедших из жизни родственников, прабабку, которую она помнила хорошо, и дядю отца, и других стариков. В сущности, она мало знала о них, хотя отчетливо понимала, что таких людей она больше не встречала. Может быть, эти неуловимые качества души лучше всего проявляются в старости, думала она, но потом усомнилась в таком предположении, ибо откуда же они возьмутся в конце жизни, если их в начале не было.

Она почти сознательно не говорила с Бободжаном-ата о летающих тарелках и новых версиях про пришельцев, имевших теперь наименование гуманоидов. Зачем людям нужна эта идея, эта гипотеза? Она читала где-то, что род человеческий возник вопреки невероятно малой статистической вероятности в генетическом и физическом отношении. Естественное состояние вещества Вселенной представляет собой хаос, атомы и элементарные частицы подчиняются лишь неким внутренним законам, а в целом все это выглядит беспорядком и произволом. Жажда объять, осознать, связать воедино все, что не имеет видимых связей, быть может, главное, что характерно для каждого человека. Вот откуда желание верить, что и на иных планетах существует нечто, похожее на то, что мы видим и что понимаем. Но ведь если космические пришельцы есть и если они так развиты в техническом и научном отношении, то почему они не вмешаются в нашу жизнь, почему не отнимут у нас ядерное оружие и вообще все вооружение, почему не накажут тех, кто готовит войны?

В придорожной траве стрекотали кузнечики, затихая в приближении полуденного зноя. Еще Диля думала про семью старика, про фотографии, висевшие в комнате, про сына, работающего на руднике, и про того подлеца, который принес столько горя семье. Очень хотелось, чтобы справедливость торжествовала быстро и каждодневно.

В стороне от дороги появился вертолет. Он летел по каким-то своим делам, и вряд ли пилоты смотрели на девушку, возложившую усталые ноги на рюкзак. Но Диля села поприличнее и тут же услышала нарастающий шум. По шоссе ехал «КрАЗ» с контейнерами. Машина вначале шла на большой скорости, но потом замедлила ход и остановилась возле Дили.

— Эй, сестренка! — окликнул ее шофер. — Автобуса ждешь? Он сломался, я его обогнал.

Шоферу было лет тридцать или чуть больше. Щуплый, скуластый, он чем-то походил на старика, о котором она только что думала. Хотелось, чтобы он оказался его сыном.

— Садись, подвезу до станции.

Диля с трудом взобралась на высокую подножку, села, рюкзак поставила у ног.

— Геолог? — спросил шофер.

— Турист, — ответила Диля.

— Почему одна ходишь?

— Так получилось. А вы здешний?

— Нет, я тут три месяца. Я из Карши. Слышала про такое место? — спросил он с гордостью и, не дожидаясь ответа, еще спросил: — Студентка?

— Да, — почему-то солгала она. — Студентка из Ташкента.

Машина мчалась по степи, уклон дороги почти не ощущался, шум мотора был слабее шума ветра и шума покрышек.

— Почему не замужем? — улыбаясь, продолжал вопросы водитель. — Такая красивая, а не замужем.

Он гордился тем, что угадал, и продолжал:

— А у меня трое растут, четвертого жду. Зачем время терять.

— Подходящего нет, — в тон ему ответила Диля. — Найдите для меня хорошего.

Шофер внимательно глянул на нее. Шутка ему не понравилась.

— А вы Кахрамона Батырбекова знаете? — спросила Диля.

— Кахрамон-ака? — удивился шофер. — У него шесть детей. Или ты его сына присмотрела? Он же в армии. Я его не видел даже. А так хорошая семья. Желаю тебе счастья.

Диля подумала, что может получиться недоразумение, и пояснила, что знает только дедушку и бабушку того парня, а спросила просто так.

Вахтер Кирилук по давней выучке и привычке, поистине ставшей второй натурой, небыстрым черным взглядом отмечал все, что происходило в поле его зрения.

Нынче, например, необычно рано в ворота вкатила желтая машина того богатого парня, фамилию которого Кирилук не помнил, хотя знал, что зовут парня на русский манер Эриком. И уж, конечно, Кирилук обратил внимание на то, что свежeweымытая желтая машина, украшенная всякими цацками, въехала с солнцеподобной трещиной на ветровом стекле.

Дело в том, что Эркин спозаранку побывал на станции обслуживания в надежде заменить стекло, но там не оказалось заведующего складом и того давно ему знакомого мастера, который всегда все ему доставал.

Мелкие неудачи обычно лишали Эркина самообладания. Он даже изменил правилу первую сигарету закуривать на работе, курил в машине и музыку по дороге в институт не включал. Он уткнул автомобиль носом в виноградник, не хотел, чтобы обидное повреждение бросилось в глаза сослуживцам и вызвало нежелательные расспросы. Эркин поднялся к себе, сел за стол и раскрыл папку с диссертацией.

Текст, напечатанный хорошей машинисткой на отличной финской бумаге, и вклейки со схемами и формулами произвели на него успокаивающее действие и привели к мысли, что на директора надо нажать. Бывает же так, что люди меньше заботятся о том, кого лучше знают. Ладно, мол, куда спешить, у этого парня и так все будет в порядке, надо заботиться о том, за кого и хлопотать некому. Работа Эркина, и он отлично это сознавал, не являлась новым словом в науке о природе солнечных вспышек: в ней рассматривались одна частная проблема и одна из методик замера силы тока.

Этим занимались ученые в институтах разных стран. Публикации множились, были среди них и такие, что, по прогнозам крупных специалистов, приближали науку к принципиально новому пониманию процессов, происходящих на нашем светиле, и соответственно влиянию их на погоду и биосферу Земли. Эркин не претендовал на то, что его работа окажется в центре внимания всей мировой астрофизики, однако для защиты кандидатской материала хватало.

В комнате Эркина не было городского телефона, он вышел в соседнюю, чтобы позвонить на станцию обслуживания, и там, набирая номер, глянул в окно.

То, что он увидел, огорчило его больше, чем ответ диспетчера автосервиса, что его знакомый механик неделю назад уволился, а заведующий складом болен. Возле фонтана на скамейке сидели и болтали Диля, Бахтияр и Сережа Бахвалов. О чем они говорили, естественно, не было слышно, но лица у ребят были веселые, а Диля смеялась. Сережа любил смешить окружающих и делал это, не щадя ни себя, ни тех, о ком говорил. Он сдал докторскую по экспериментальной физике и недавно опубликовал в столичном журнале большую статью с послесловием академика.

Эркин посмотрел на часы, они показывали без пяти девять, когда же он опять глянул в окно, то увидел, что к фонтану идет Азим Рахимович. Видимо, и директор пребывал в хорошем настроении, тоже заулыбался тому, что сказал ему Сережа, а потом сказал что-то Диле, и они пошли вместе к главному входу.

Эркин вернулся к себе и вновь углубился в собственный труд. Отсутствие помощницы начинало беспокоить его. Телефон зазвонил в половине десятого. С неизменной своей вежливостью Азим Рахимович попросил

Эркина зайти к нему. В приемной за свободным столом сидела Дия и писала что-то. Блокнот лежал перед ней. Эркин поздоровался одновременно с Мирой Давыдовной и с ней.

— Как съездили? — спросил директор, когда они оба уселись в кресла. Сверкала хрустальная пепельница, на столах не было никаких бумаг.

— Нормально, — ответил Эркин, гадая, как на такой вопрос ответила его строптивая спутница. Не исключено, что ее директор расспрашивал, и более подробно.

— Без особых происшествий, — добавил Эркин и внутренне похвалил себя за осторожную, но дающую возможность не врать фразу. Говорить с начальством он научился. Или всегда умел.

— Дильбар рассказала мне, что Батырбеков произвел на нее очень хорошее впечатление и она абсолютно уверена в его данных. Надеюсь, у вас с ней единая точка зрения?

— Не вполне, — опять хваля себя за предусмотрительность, возразил Эркин. Нужно готовить директора к тому, чтобы он не так уж доверял его помощнице. — Не вполне, Азим Рахимович.

— На сколько процентов? — быстро спросил директор.

— На сорок.

— Разница значительная, — констатировал директор. — Дильбар верит на сто.

— Влияние слухов о летающих тарелках на девушек больше, чем на мужчин, — улыбнулся директору Эркин. — Ей вообще очень понравился старик, он чем-то ей симпатичен, даже его рассказам о военных подвигах Дия верит. Представляете, она уверена в том, что старик потерял свои ордена в бане. Это юмористический рассказ. А восстанавливать награды он не стал, потому что по возвращении больше думал об овцах, чем о боевых орденах, которые добыл кровью. Потом, старик слишком начитан и слишком любит телевизор. Я посмотрел журналы, которые он читает. Там все недостоверное тщательно подчеркнуто, закладки лежат. Например, о Бермудском треугольнике. Знаете, у Шолохова есть такой старик-болтун. Вы видели «Тихий Дон»?

— Дед Щукарь? — спросил директор. — Это в «Поднятой целине».

— Да-да, — поправился Эркин, досадуя на свою ошибку и на то, что сослался на фильм, а не на книгу, которую не читал.

— Хорошо, — директор встал. — Очень хорошо, Эркинджан, что вы поехали вдвоем и что мнения ваши разошлись.

Он постоял минуту молча, затем, подойдя к столу, достал какую-то бумагу, пробежал ее глазами и вновь положил в сейф.

— Вы же сами сказали, что не верите в летающие тарелки, а старик именно в этом нас уверял. По его словам выходит, что летела не тарелка, а целый ляган. Длинный ляган, вернее, блюдо, на котором подают рыбу. Он и это знает.

Эркин продолжал свой рассказ в легком ироническом духе, и, кажется, директору нравилось все, что он слышал.

— Значит, сомнений много? — подытожил Азим Рахимович. Он положил перед Эркином несколько листов чистой бумаги. — Ручка есть? Напишите, пожалуйста, свои соображения по командировке, обоснуйте сомнения.

— Сейчас? — Эркин удивился.

— Да, сейчас, не выходя из кабинета. Не хочу, чтобы вы советовались с Дильбар. Люблю, когда мнения ученых расходятся. Поставим маленький и по возможности чистый эксперимент. Сколько времени вам необходимо?

— Может быть, я у себя напишу, — возразил Эркин. Что-то обеспокоило его, но что именно, он еще неясно сознавал.

— Нет, я бы хотел, чтобы вы написали отчет здесь. Я вернусь через полчаса.

Азим Рахимович вышел, а Эркину очень захотелось закурить.

Он озаглавил лист словами «Отчет о командировке», написал пер-

вую фразу о том, куда и зачем ездил, и остановился. Взяло сомнение, как пишется «в связи», слитно или раздельно. Написано было слитно. Он точно помнил, что «вообще» пишется одним словом, «в общем» раздельно... Но в конце концов, не диктант же он пишет и не экзамен это! В раздражении он написал еще несколько фраз, отлично понимая что теперь-то он просто вынужден изложить свои сомнения, иначе поставит под вопрос все, что рассказал. Эркин остановился и задумался еще раз, когда вспомнил про документ, который директор доставал из сейфа. Нет, сейф был закрыт и ключа в нем не было. Да он и не посмел бы никогда. Что бы ни было в той бумаге, решил Эркин, а я должен держаться своей линии. Хуже нет влиять. Еще отец учил его этому, после того, как сам пострадал на том, что несколько раз менял точку зрения в своих работах. Однако в философии все иначе, а тут только факты, даже просто один всего факт, и объективность серьезного ученого, по мнению Эркина, состояла в данном случае в том, чтобы не доверяться мнению вздорного и буйно фантазирующего старика.

«По моему мнению, сведения о неопознанном летающем объекте вызывают большое не доверие».

Так выглядела последняя фраза отчета. Перечитав ее, Эркин вновь засомневался в написанном с точки зрения грамматики. На всякий случай он поставил черточку, соединив первые два слова. Потом поставил запятую после слова «объект».

Директор вошел в кабинет с заместителем по хозяйственной части.

Аляутдин Сафарович на ходу объяснял про магазин для сотрудников института, который он решил организовать, просил разрешения переделать для этого один из гаражных блоков или же пристроить помещение рядом с проходной. Директор кивал доброжелательно, видимо, идея заместителя ему нравилась.

— Готово? — спросил он Эркина. — Спасибо. Я потом прочту и приглашу вас. — Взял листы и положил на свой стол.

Эркин вышел огорченный, разговор о сроке защиты не состоялся. Ничего не сказал директор и о следующей партии в теннис.

В приемной сидела одна секретарша, Дили не было.

— Мира Давыдовна, «по моему мнению» пишется через черточку? — спросил Эркин.

— Раздельно, в три слова, — отчеканила та. — Вы не беспокойтесь, я все исправлю, когда буду перепечатывать.

Дили вела себя так, будто ничего между ними не произошло, но чаще обычного уходила работать на машине и пообещала, что скоро закончит все, что требуется.

Лишь на следующей неделе раздался долгожданный звонок директора.

— Эркинджан? Как у вас завтрашнее утро? Мы так давно не играли.

Именно на завтра Эркин договорился о замене лобового стекла, ровно в восемь ему следовало заехать в одно место, где знакомый механик... Словом, самое неудачное время выбрал директор для тенниса.

— Да, я тоже соскучился, — сказал Эркин. — Когда, Азим Рахимович?

— В семь, как обычно.

— Прекрасно! Спасибо, Азим Рахимович.

Да, это было прекрасно, что директор не забыл его, и еще более прекрасным казалось Эркину, что при телефонном разговоре присутствовала не только Дили, но и зашедший к ней Сергей Бахвалов.

Они не могли слышать, что разговор о теннисе, зато должны были понять, какие у него отношения с директором.

Однако Сергей огорчил его вопросом.

— Как директор играет?

— На чем? — спросил Эркин, к счастью для себя, с улыбкой.

— На корте, — ответил Сергей.

— Прилично, — ответил Эркин. — Прилично.

— А счет у вас какой?

— Примерно равный.

Он тут же отправился в проходную и оттуда позвонил знакомому теннисисту, уговорил погонять его вечером, чтобы обрести форму.

Спать он лег усталый, в шесть еле встал, но принял холодный душ и без пяти семь на корте ждал директора. Тот приехал вовремя, но пока переоделся, солнце уже пекло вовсю, становилось душно.

— Летом надо играть с шести, — сказал Азим Рахимович, выходя на подачу. — И вообще, плохо, что у нас не травяное покрытие.

Он играл в темных очках, потому что стоял против солнца. Эркин старался изо всех сил, в первом сете добился счета восемь-пять.

Во втором они поменялись местами, директор дал Эркину свои очки и пообещал выиграть. Вначале шли ровно, но становилось все жарче, пот лил с обоих, игра тянулась бесконечно.

Директор выиграл сет, однако на третий времени не оставалось.

— В следующий вторник доиграем? — спросил Эркин.

— Да, обязательно. Только давайте на час раньше. А сегодня после обеда зайдите ко мне. Есть серьезный разговор.

— Насчет защиты?

— Да, Эркинджан.

Жалюзи на окнах директорского кабинета были закрыты, гудел кондиционер.

— Садитесь, — директор пригласил Эркина не к журнальному столику, а к своему большому, на котором лежали папка с диссертацией и еще какой-то листок с машинописным текстом. Почему-то вспомнился любопытный взгляд Миры Давыдовны, когда она сказала свои стандартные слова о том, что директор ждет его.

Директор чуть откинулся в кресле, положил на край стола крупные руки.

— Должен вас огорчить. Собирался сказать утром, но не смог. И вас не хотел огорчать, и вашего отца особенно... Вы понимаете.

— Насчет защиты? — спросил Эркин.

— Да. Вернее, насчет вашей работы...

Гудел кондиционер, но было душно. Эркин молчал.

— С вашим отцом мы почти что родственники. Он старше меня и в молодые годы помогал мне. Знаете, после войны мы все жили очень трудно...

Да, Эркин знал, как отец, будучи деканом заочного отделения в институте, готовящем в основном работников торговли, помогал многим и его нынешнему директору среди прочих других.

— Я очень благодарен Ильясу Махмудовичу и, если вы помните, говорил об этом на его юбилее. Я был студентом, вся моя семья умерла от эпидемии во время войны.

Директор говорил о временах, давно прошедших, потому что никак не мог выговорить того, зачем пригласил к себе молодого человека. Дело в том, что в последние месяцы Азим Рахимович все больше и больше вникал в то, кем и как пополняется наука.

Совсем недавно из института ушел толковый парень, аспирант, опубликовавший две интересные статьи, ушел заведовать складом и после настойчивых расспросов объяснил, что не может строить жизнь и содержать семью на зарплату аспиранта, а потом младшего научного сотрудника, что лучшие годы уйдут на работу, которая и впредь будет давать ему меньше, чем служба на складе, где есть белила и лак для пола, шифер и паркет, цветная плитка и линолеум. Так прямо и сказал, добавив еще такое: вот если бы у меня папа был академик или директор универсама, тогда, конечно.

Московские мерки для Ташкента не годились. Конечно, и там ощущается падение престижа точных наук, конечно, и там толковые кандидаты наук, и даже наиболее толковые из них, все чаще склоняются к мысли о репетиторстве, о других побочных заработках. В Ташкенте же нужда в репетиторах почему-то иная.

Стало модой подчеркивать, что из простых кишлачных ребят, поступающих в вузы без достаточной подготовки, настоящие ученые выходят чаще, чем из отпрысков интеллигентных семей. Азим Рахимович улавливал внутреннюю справедливость подобных суждений, но это была не сама справедливость, понимал он, а лишь жажда справедливости. Разные вещи! Поднять уровень преподавания в сельских школах в принципе можно, но бюджет учебного времени остается и долго еще будет оставаться в пользу горожан. Да, кишлачным ребятам Азим Рахимович симпатизировал и помогал больше, но наука — это производство, производство идей и теорий, это заводы, работающие прямо на завтрашний день. Тут простой и брак не менее губительны, хотя и не так бросаются в глаза. Вчера вечером жена рассказала ему, как погиб больной, которому новоиспеченный кандидат медицинских наук установил неправильный диагноз. Ошибка была элементарной, недопустимой даже для пятикурсника. Помня все это, собрав силы, директор выговорил:

— Я очень недоволен вами, Эркинджан, я думал о вас лучше. Вы росли в интеллигентной семье, не знали нужды, по собственной воле выбрали профессию, а работаете крайне плохо.

— Вам не понравилась диссертация? — спросил Эркин.

— Да. Но об этом после. Прежде всего мне не понравился ваш отчет о командировке. Вы написали, что не все поняли в словах старика Батырбекова, ибо не вполне хорошо знаете узбекский язык.

— Это верно, — согласился Эркин. — К сожалению, это верно. Ведь я учился в русской школе, потом в Москве, книг узбекских читал мало...

— Допустим, это простительно, — перебил его директор. — Но и русский вы знаете очень плохо. В вашей докладной двадцать с лишним ошибок. Я тоже пишу не всегда правильно, но не так плохо, как пишете вы. Я не пишу «треугольник», «мидали», помню, что «например» пишется одним словом, а не двумя, стараюсь выделять запятыми деепричастные обороты и не пропускаю «т» в слове «причастный».

Эркин покраснел, он знал за собой этот грех.

— Должен сказать и по существу отчета. Дильбар оказалась права в оценке свидетельства Бободжана Батырбекова. Вы — нет. Дело в том, что неопознанный летающий предмет был в тот день и час. Неопознанный тоже пишется слитно, это тоже кстати. Предмет был опознан другими наблюдателями, другим ведомством.

— Это оказался летающий ляган? — съязвил Эркин. — И на нем были гуманоиды?

Директор не отреагировал на иронию.

— Это была ступень ракеты-носителя.

— Нашего или ихнего? — спросил Эркин упавшим голосом.

— Для нас с вами это роли не играет. Короче говоря, я не считаю себя вправе допускать к защите человека, который не знает ни одного из трех языков, обязательных для ученого. Это, во-первых.

— А мой английский вы тоже проверили?

— Я посмотрел только, кому вы сдавали экзамен. Вы меня поняли?

— Понял, Азим Рахимович. Пусть будет по-вашему.

— Теперь, во-вторых... — Директор открыл папку с диссертацией. — Я внимательно прочитал ее. С грамматикой тут все обстоит благополучно, все правильно. Но это все, что в ней правильно. Не буду строить догадок, кто именно помогал вам и в какой степени, но это делал халтурщик, не следивший за самыми новыми в момент написания публикациями. Основная часть писалась года три назад?

— Два года, — уточнил Эркин. — Даже менее двух лет.

— Вот видите, значит, помогал вам человек элементарно недобросо-

вестный. Дело не в том, что гипотеза, на которой все построено, отвергнута именно три года назад. Бывает в науке и так, что отвергнутые гипотезы рождают новые и интересные результаты. В данном случае, однако, беда состоит в том, что подсказанный вам путь исследований и доказательств тоже проработан до вас и отвергнут.

Эркин слушал директора, но не вникал в суть его рассуждений. Не вникал, не хотел вникать, потому что не верил, что слабость его работы и грамматические ошибки — причина происходящего. Тут виделась другая подоплека, другая, пока еще скрытая от него основа. Козни, интриги. Сведение счетов. Разве он не знает, что кандидатская это только формальность?

А директор продолжал, будто перехватив его мысль:

— Мы превратили защиту диссертаций в формальность. При такой массовой подготовке научных кадров издержки неизбежны. Общеизвестно, что степень обеспечивает повышенную зарплату, а без этого в науке было бы невозможно сконцентрировать необходимые силы.

Эркину все это было абсолютно неинтересно, и директор опять уловил его.

— Итак, дорогой Эркин, вам не повезло. Вы оказались первым, с кого я решил начать борьбу за качество кадров в науке. Вы, так сказать, первая жертва.

— Почему с меня? Разве моя диссертация хуже других?

— Хуже. Хуже многих. И не это главное. Я мог бы простить плохую работу парню, если бы верил в то, что он будет расти, верил бы в его жажду трудиться, если бы знал, что без научной степени он не сможет содержать семью. У вас все обстоит иначе. У вас есть время, чтобы начать работу заново, у ваших родителей есть средства, чтобы содержать вас столько, сколько потребуется.

Жесткость разговора потрясла Эркина. Ничто не предвещало такого оборота событий. Это была уже не жесткость, а жестокость.

— Значит, я должен взять другую тему и писать другую работу?

— Да, — директор сказал это мягко. — Да, — повторил он твердо. — И не только это. Я подготовил проект приказа, в нем изложены все мои требования. Если вы согласитесь на мои условия, то приказ можно будет сформулировать иначе.

Лист бумаги, лежавший перед директором, двинулся по гладкой поверхности стола.

Эркин взял его в руки.

«...В связи с плохой подготовкой кандидатской диссертации, а также ввиду незнания соискателем родного, русского и иностранного языков перевести м.н.с. Махмудова Э. И. на должность лаборанта с окладом 90 р. Предложить тов. Махмудову Э. И. в течение года сдать заново кандидатский минимум и дополнительно экзамены по узбекскому и русскому языкам...»

Машинописный текст произвел на Эркина впечатление приговора. Педантичная Мира Давыдовна поставила в правом верхнем углу листа слово «проект», но это ничего не меняло.

— Кто-нибудь знает о вашем решении, Азим Рахимович? — спросил Эркин с надеждой.

— Нет. Никто, кроме секретаря. Вряд ли она говорит об этом.

— А ученый совет?

— Эркинджан, — директор продолжал говорить ровно и твердо. — Я намеревался поехать к вашему отцу и предварительно посоветоваться с ним. А сегодня решил, что вы взрослый человек, а я не классный руководитель, чтобы обращаться к родителям. Сами все расскажете, посоветуетесь. Может быть, у вас найдутся другие приемлемые предложения. — Директор поглядел на Эркина и добавил: — Вам сейчас будет трудно ходить на работу. До понедельника я вас отпускаю.

Эркин встал, держа в руке проект приказа.

— Я могу показать это отцу?

— Не следует. Видеть это ему будет слишком тяжело. Подготовьте его бережно, спокойно. Если будет необходимость, он может приехать ко мне домой или я приеду к нему.

Последние слова директора прозвучали в ушах Эркина как лицемерие и ханжество.

— Спасибо, Азим Рахимович, большое спасибо за заботу о моем отце, — Эркин криво усмехнулся. — Надеюсь, он поймет вас лучше, чем я. Позвольте еще один вопрос. Вы уверены, что ученый совет института согласится с вашим решением?

Директор встал, в глазах его был нескрываемый гнев.

— Уверен. Вы не должны были говорить об ученом совете, Эркин. Я не ожидал этого, я думал о вас лучше. Идите.

В приемной сидели человека три. Видимо, разговор с директором слишком затянулся. Эркин глянул на Миру Давыдовну, но та, вопреки своему обыкновению, не посмотрела на выходящего, углубилась в разбор почты.

Версия, по которой произошел конфликт с директором, складывалась у Эркина в мозгу медленно, толчками, которые он принимал с готовностью. А что, если все произошло из-за летающих тарелок? Директор тайно верил в них, а Эркин этого не почувствовал? Кроме того, может быть, сыграл роль его конфликт с Дильбар? А что, если она любовница директора или родственница его жены?

Пользуясь возможностью уехать с работы, Эркин направился на станцию техобслуживания. С небольшой переплатой он добыл стекло. Летний зной в середине дня оказался для него непривычным. Одно дело сидеть в институте с кондиционерами в каждой лаборатории, совсем другое — мотаться по городу, стоять в очереди других машин у светофоров, суетиться вокруг механиков и слесарей, норовящих не выпросить, а отнять у тебя пятерку, трояк, а то и двадцать рублей за смену манжета в тормозной системе, за новый колпак, за лампочку заднего света, за все, что он решил сделать и достать попутно с ветровым стеклом.

Домой он вернулся усталым. Дальняя родственница, издавна жившая у них в качестве домработницы, или даже домоправительницы, накормила его маставой. Он ушел в свою комнату и лег спать. Проснувшись после семи вечера, Эркин с мятым лицом и в мятой рубашке вышел в столовую, мучила жажда.

Он пил холодный чай из носика синего чайника с золотой римской цифрой XX на пузатом боку, когда сначала услышал голоса, а потом увидел в зеркале буфета Аляутдина Сафаровича, отца и еще двух гостей. Один из них удачливый профессор, другой — только что пониженный в должности немолодой кандидат педагогических наук. Они не зашли в столовую, направившись прямо на веранду, увитую виноградом.

Эркин пошел в ванную и долго стоял под душем, меняя температуру воды и обдумывая сегодняшний день и то, выходить ли к гостям и как себя вести с ними. Решил, что пойти он должен, и это даже необходимо.

Не спеша переодевшись во все свежее, Эркин появился среди гостей улыбчивым и вполне благополучным. Оказалось, отец привел приятелей прямо с какого-то заседания в академии. Вначале обсуждалось выступление вице-президента по поводу трудовой дисциплины в некоторых институтах, строились предположения относительно того, почему одному директору досталось больше других и почему Азима Рахимовича ставили в пример остальным.

Соображения Аляутдина Сафаровича сводились к тому, что на ближайших выборах предстоят неожиданности и каждый ждет этих неожиданностей, а Рахимова прочат в академики и даже в руководство отделением.

Отец Эркина заметил, что вряд ли такая скорость продвижения вызовет радость более старых и маститых ученых. Выборы всегда показывают необоснованность прогнозов, а Азим Рахимович действует поспешно и кое-кого уже успел обидеть.

Разговор тянулся неспешно, коньяк пили из маленьких чешских рюмок, но не все.

— Ильяс Махмудович, каким был наш директор в молодости? Неужто таким же, — начал Аляутдин Сафарович и запнулся, — таким же... уверенным в себе.

— Трудно сказать, — ответил отец Эркина. — Я не приглядывался. Правила вежливости по отношению к старшим он соблюдал. Потом, знаете, ему стало везти, попал в струю, в Дубне оказался под крылом больших ученых, все силы тратил только на свои работы, в отличие от нас, вынужденных заниматься и организацией науки, и студентами, и аспирантами.

— Мне кажется, он разбрасывается, — заметил один из гостей, молодой профессор философии, ученик Ильяса Махмудовича, недавно выдвинутый на административную должность. — Даже латающими тарелками занимается.

Информированность молодого профессора пришлась Эркину по душе, и он не преминул вставить словечко.

— Да, это есть, — сказал он. — Самое забавное, что он верит слухам про тарелки. Такое у меня впечатление.

— Верит? — горячо откликнулся отец. — Не может быть! Это ужасно! Сегодня утром на семинаре один парень сказал, что не сомневается в их существовании и считает, что мы представляем для них подопытный материал, ими самими созданный и управляемый. Это чистейший идеализм или фидеизм.

— Почему идеализм? Идеализм — если бог, а тут разумные существа с других планет... — подогрел отца Эркин.

— Идеализм! — перебил отец. — Чистейший идеализм, прикрытый демагогией.

Пожилой кандидат наук, только что потерпевший служебную неудачу и намеревавшийся воспользоваться расположением хозяина дома, решительно подтвердил:

— Идеализм чистой воды! Я слышал своими ушами, некоторые надеются, что тарелки прилетят и наведут порядок.

Эркин счел возможным и тут вмешаться в разговор старших. С привычной иронией, которую он почитал в себе за юмор, он рассказал о старом пастухе, утверждающем, что видел летающий продолговатый ляган для рыбы, но рыбы, к счастью для науки, не увидел.

За словом говорили мало, короткими фразами. Вернулись еще разок к Азиму Рахимовичу, похвалили его жену за мягкость и скромность, и Эркин уловил в этой похвале упрек мужу.

— Они в Ленинграде познакомились? — спросил кандидат наук. — Учились вместе?

— Они познакомились здесь, но Азимджан увез ее туда. Он на четыре года старше, был в аспирантуре, а она училась тогда на первом курсе ТашМИ.

— Я думал, они ровесники? — сказал пожилой кандидат.

— А выглядит она старше, — заметил Эркин. — Он вообще очень следит за собой, одевается модно, спортом занимается, не курит. — Только сейчас Эркин обратил внимание на то, что все сидевшие за столом были грузные, тяжелые, под стать Аляутдину Сафаровичу.

— И тебе пора бросать курить, — сказал отец.

Из этого вечера Эркин сделал главный вывод: его директор не так уж любим отцом и его приятелями, значит, причина появления нынешнего проекта приказа может пониматься по-разному.

Беседу с отцом он отложил. Перед сном решил почитать, попалась на глаза книга, которую он месяц назад взял у Дили. Это был переводной роман о молодом враче-психиатре, женившемся на пациентке. Эркин начал читать его давно, но закладка лежала на сороковой странице. Раньше книга показалась скучной, теперь он принялся за нее с интересом, пытался понять, почему Дильбар так ее хвалила, ибо «скажи, что ты читаешь, и я

скажу, кто ты такой». Пословицы, присловья и афоризмы великих людей Эркин запоминал хорошо и любил в разговоре вставить к месту.

Азим Рахимович никому не говорил о своем разговоре с Эркином, ждал, чтобы его вызвали на него. Ждать пришлось недолго, два дня. Первой его спросила жена. Муршида Галиевна сказала, что звонила супруга Ильяс Махмудовича, беспокоилась о сыне, который просто убит какими-то неприятностями, родителям ничего не объясняет. Муршида Галиевна была мягче мужа, жалостливее и патриархальней. Личные, родственные, земляческие связи казались ей чрезвычайно важными, всех, кого она знала, она считала людьми достойными. Про недостойных людей, а тем более про недостойные поступки знакомых умудрялась как-то забывать.

— Ты уверен, что не обидел его? Он толковый и милый мальчик.

— Ты хотела бы видеть его своим зятем? — спросил Азим Рахимович. У них были две дочери в возрасте невест.

— Разве я об этом. Я бы хотела, чтобы оба моих зятя были похожи на тебя. И дочери так думают, к сожалению. Ты знаешь.

— Почему «к сожалению»? — удивился Азим Рахимович.

— Потому что таких нет, — жена говорила это искренне. — Порой ты бываешь слишком нетерпим. Можешь сказать, что у вас там произошло?

— Если бы Эркин Махмудов был врачом, я бы не доверил ему делать уколы или даже менять судно. Любая медсестра или санитарка сделала бы это лучше. Он бы делал не те уколы, потому что ленился бы заглянуть в историю болезни. А судном брезговал.

Он вернул ей почти те же слова, которые она совсем недавно говорила ему в связи с случаем, происшедшим у нее в клинике.

— Не спеши с выводами, — попросила жена. — Молодые люди имеют возможность исправиться. А ты по должности воспитатель. Не спеши.

На этом разговор кончился. Азим Рахимович и не спешил, он ждал, что Эркин придет к нему и сам найдет, что сказать, что пообещать, что попросить.

Азим Рахимович не спешил, спешили другие. Ранним утром следующего дня он поехал в дом почтенного старика, у которого старший сын погиб в автомобильной катастрофе. Один знакомый пенсионер, провожая Азима Рахимовича до машины, счел возможным сказать такую фразу:

— Наши дети остаются детьми до старости. Они нам дороже всего на свете. Кстати, как там у вас сын Ильяс Махмудовича?

— Кажется, он вполне здоров.

— Слава богу. Дело в том, что сам Ильяс Махмудович очень болен. Он был здесь полчаса назад, бледный, под глазами мешки. На давление жалуются.

В середине дня зашел в кабинет Аляутдин Сафарович. Доложил, что с райпищеторгом договорился, фонды выделены со следующего квартала, пристройку к проходной сделают красивую и удобную, но необходим большой холодильник, который очень трудно достать.

— Вы знаете, сегодня я был в поликлинике на диспансеризации, видел супругу Ильяс Махмудовича. У него давление и предынфарктное состояние, хотят положить в стационар. Он так боится за Эркина, просит его не ездить за рулем. Вот что такое родительская любовь.

— Мне кажется, Эркин довольно уверенно водит машину. Он вообще уверенный молодой человек.

Вернувшись вечером домой, Азим Рахимович застал у жены двух старых, давно не навещавших ее подружек. Увидев его, женщины заспешили уходить. Он удерживал их ровно столько, сколько требуют приличия. Цель визита сомнений не вызывала.

— Насчет Эркина? — спросил он.

— Да. Мне кажется, ты не прав. Он не хуже других... Он поссорился со своей лаборанткой? Обидел ее? В этом дело?

— Ничего об этом не знаю, — искренне удивился Азим Рахимович. — Лаборантка у него умница, деловая, о ссоре мне ничего неизвестно.

— Она красивая? — спросила жена.

— Да, миленькая. Но главное — умница. Из нее получится ученый, если не выйдет замуж за дурака.

— Мои подружки считают, что дело в ней. «Шерше ля фам», как они говорят.

Азим Рахимович возмутился.

— Ненавижу эту смесь французского с маргиланским. Что они знают, твои подружки, кроме этого «шерше»?

В словах мужа было что-то обидное. Про Маргилан упоминать не следовало, Маргилан — ее родина.

Допустив в качестве одной из причин своих бед ссору с лаборанткой, Эркин про себя прорабатывал эту версию все более подробно. Предположение о чисто мужском внимании директора к Диле внутренне устраивало его, казалось все более достоверным, вот почему в разговоре с матерью он позволил себе слегка намекнуть на это. Он не имел дальнего умысла, просто оправдывался. Мать на мгновение сделала круглые глаза и тут же перевела разговор на другую тему.

Вскоре она сама заговорила о Дильбар.

— Узнала я про твою лаборантку. Ты знаешь, что она собиралась замуж, но у нее ничего не вышло?

— Знаю, — сказал Эркин. — Она говорила.

— Родители вначале очень переживали, — сказала мать. — Тот мальчик теперь женится, и мы приглашены на свадьбу. Его сестра Мухабат бывшую невесту не хвалит. Ты попроси Азима Рахимовича, чтобы ее от тебя перевели.

— Попроси! — язвительно сказал Эркин. — Его надо просить, чтобы он меня перевел в лаборанты. Он меня уволить хочет.

То, что Эркин не мог выговорить отцу, он вынужден был подробно рассказать матери.

Вечером в их гостиной появилась Муха. Она принадлежала к тому немногочисленному разряду узбекских женщин, которых в добропорядочных семьях не слишком жалуют. О чем мать говорила с Мухой, Эркин мог лишь догадываться. Часов в десять мать попросила Эркина отвезти гостью домой.

Ей было сильно за тридцать, и никакая косметика не могла скрыть дряблой кожи и одутловатости лица. Вообще косметика в Ташкенте в середине лета мало способствует красоте.

В машине Муха сразу закурила, затянулась с облегчением и жадностью.

— Эта девочка не для тебя, — сказала она, выпустив из округленных губ длинную струю дыма. Родители ловко скрыли от нее цель своих распросов. — Она себе на уме. Ей нужен человек постарше, с положением. Ей доктор наук нужен с солидным багажом, лучше всего привезенным из-за границы. Знаешь, в каких больших чемоданах возят багаж из-за границы.

Эркин рассмеялся, Муха ему начинала нравиться. В ее помятости и поношенности была какая-то привлекательность. Плохо, что появляться с ней на людях будет неловко.

— Кофры, — сказал Эркин. — Такие большие чемоданы называют кофрами.

— Знаю, — кивнула Муха. Она все знала в этой жизни и не понимала, почему ей так не везет. Никто из ее сверстниц, бывших подруг по школе и университету, не чувствовал так приближения старости. Она знала и это.

— Может быть, зайдешь? — спросила она, когда машина остановилась у хорошего кооперативного дома. — Выпьем кофе, у меня кое-что найдется в холодильнике.

Прятели у Мухи были самые разные, но все больше люди в возрасте, любившие хорошо выпить и закусить. Были женатые, были разведенные, все почему-то крупные, отяжелевшие. Мальчик ей нравился.

— Я живу одна, — сказала Муха, хотя это и так было ясно.

— Я лучше запишу телефон. Позвоню обязательно.

— Как знаешь, — пожала плечами женщина. — Тебе видней.

Когда он вернулся домой, у их подъезда стояла неотложка, в квартире пахло лекарствами.

Отец лежал в спальне на спине, врач укладывала в чемоданчик тонометр.

— Видишь, до чего довела твоя глупость, — сказала мать.

Азим Рахимович полдня заседал на юбилейной конференции в Академии, вечером предстояло не меньше времени высидеть на загородном банкете. Пожалуй, из всех обязанностей, вытекающих из все еще непривычного высокого положения, всенепременное присутствие на торжествах было самым обременительным. Требовалась особая привычка к длительному бездействию и безмыслию. Другие как-то приспосабливались; то ли умели думать о своем, то ли вовсе ни о чем не думали, а он с досадой констатировал, что не может отключиться от слышимого, все пропускал через себя, отмечал нелепости, противоречия, оговорки, пустословие. Сидящие в зале могли украдкой просматривать принесенные с собой бумаги, читали журналы, перебрасывались между собой репликами, иногда с озабоченным видом спешно выходили за дверь и решали свои дела в коридорах и фойе. Азим Рахимович сидел в президиуме на виду у всех. Тут не то что поговорить или почитать, тут даже выражение собственного лица надобно было контролировать.

В перерыве он сбежал, как студентом сбежал со скучных лекций, и, как в давние времена, ждал упреков.

В свой институт он влетел с радостным чувством высвобождения, весело поздоровался с Мирой Давыдовной, кивнул на разноцветные телефоны:

— Ничего срочного не было?

— Только это, — секретарша протянула ему несколько библиотечных карточек с впечатанными туда сообщениями о звонках и визитах.

В кабинете жалюзи опущены, кондиционер гудит на максимуме. Как он и ожидал, ничего экстраординарного карточки не сообщили, все, кто мог позвонить «сверху», сидели вместе с ним в президиуме. Лишь две карточки остановили внимание: «Звонила Ваша супруга, просила передать, что профессора Махмудова положили в стационар». И еще: «Звонил Эркин Махмудов, просил отложить встречу в связи с болезнью отца».

Азим Рахимович все эти дни намеренно отгонял от себя мысли, связанные с Эркином. Конечно, по неписаному ритуалу отношений он, возможно, должен был вначале поговорить с Ильясом Махмудовичем. Не то чтобы он не знал этого раньше, просто предполагал, что сын найдет более верные слова, сам все объяснит отцу. «А что, если в этой надежде скрывалась собственная моя трусость?» — подумалось Азиму Рахимовичу.

Он вышел в приемную.

— Мира Давыдовна, вы обедали?

— Да, спасибо, — она поняла это по-своему. — Я обычно не отлучаюсь, обедаю здесь. У меня диета.

— Не смогли бы вы пригласить ко мне Дильбар Мирзабаеву?

Диля вошла в кабинет, предполагая, что разговор будет опять о летающем лягане. Была и еще одна догадка. В последние дни, пользуясь отсутствием Эркина, она работала на машине для Сережи и Бахтияра. Ребята обещали, что поставят вопрос о ее переводе в свою лабораторию. Вот бы про это заговорил директор.

Он усадил ее возле своего большого стола.

— Хотите пить? — он достал из холодильника бутылку минеральной воды, налил ей и себе.

— Спасибо, Азим Рахимович, — она отпила глоток и поставила стакан.

— Вы довольны работой?

— Да, Азим Рахимович. Очень. Особенно в последнее время.

— Вы теперь считаете для Бахтияра?

Оказывается, он знал про это. Что ж, прекрасно. Может быть, сейчас и решится вопрос о переводе. Но директор заговорил о другом.

— Скажите, что у вас произошло с Махмудовым? Вы поссорились? Из-за чего?

Три вопроса подряд требовали точного ответа. Диля заколебалась. Ни одному человеку она не говорила о том, что произошло в горах. Ни одному. Даже намеком. Вряд ли, думала она, и Эркин станет об этом болтать. Не в его пользу. А вдруг он наврал что-нибудь.

— Вы же знаете, Азим Рахимович. Мы разошлись во взглядах на рассказ Бободжана-ата Батырбекова. Может, это считается ссорой. Он оказался в невыгодном положении, он знал, что вы категорически не верите в НЛО, а я не знала. Кроме того, Батырбеков употреблял много старых слов, и я его поняла лучше.

— А сами вы верите в летающие тарелки? — Азим Рахимович задал тот же вопрос, который слышал от Эркина.

Диля смутилась.

— Не могу ответить. Тут столько всякого говорят... Иногда хочется верить, что они есть. И почему-то не страшно.

Она сидела, положив руки на колени, и вдруг напряглась, ожидая вопроса вроде: «Вы не собираетесь замуж?» Или: «У вас есть жених? Беспокойство оказалось напрасным.

— Значит, вы утверждаете, что ничего особенного между вами и Эркином не произошло, никто никого не обидел? — Азим Рахимович смотрел на девушку, и она нравилась ему все больше.

— Во всяком случае, я на него не обижаюсь и считаю, что он не должен на меня обижаться. Я всю работу по его диссертации сделала, как могла. Не все сошлось, но я старалась.

«Если бы у меня был сын, я бы женил его на Дильбар», — подумал директор, но не сказал этого. Для своих дочерей найти женихов и то трудно. Много развелось пустоцветов и любителей легкой жизни. Кто в этом виноват?

Он отпустил Дилю и тут же продиктовал приказ о ее переводе в отдел солнечной энергетики и чистых металлов на должность старшей лаборантки. Теперь следовало бы задуматься об Эркине и его отце, но Азим Рахимович поспешно отогнал от себя эту мысль, она мешала работать.

До самого вечера он сидел над сметой внеплановых работ по солнечной энергетике. Смета была составлена жестко, каждый пункт ее обоснован и обсчитан скрупулезно, ибо итог выражался в семизначной сумме. В глубине души директор лишь мечтал, чтобы уложиться в эту цифру. В данном оптимальном решении смету предстояло утверждать с боями местного и всесоюзного значения. Время от времени директор заглядывал в пухлый том технико-экономических обоснований, не для того, чтобы проверить себя, а для того, чтобы убедиться, что там все изложено достаточно внятно и убедительно.

В половине шестого загудел зуммер переговорного устройства.

— Азим Рахимович, — услышал он голос секретарши. — Вы просили ни с кем не соединять, но по городскому звонит Аляутдин Сафарович. Говорит, срочно.

Он взял трубку. Заместитель по хозяйству в большом волнении сообщил, что магазин в институте открывать запрещают. Возражает отдел торговли. Не дают единицы.

В первый момент волнение заместителя по столь мелкому вопросу показалось смешным. О чем речь? О сотне рублей в месяц? Ну пусть не дают! Потом он спохватился. Магазин нужен сотрудникам, об этом говорили на профсоюзном собрании, и он обещал.

— Если сегодня на банкете увидите Джураева, поговорите с ним. От него зависит,—попросил Аляутдин Сафарович.

Вот зачем люди ходят на банкеты! Тут многое можно узнать и кое-что решить. Жаль только, что коэффициент полезно затраченного времени очень низок.

Насчет сроков рассмотрения сметы Азим Рахимович договорился где-то между восьмым и четырнадцатым тостом, а выбить единицу для торговой точки оказалось куда труднее. Джураев, от которого все зависело, сидел далеко, и к нему со всех сторон подходили самые разные люди.

Азим Рахимович мог бы удивиться тому, что на юбилейном банкете, посвященном одному из математиков далекого прошлого, присутствовал товарищ, ведающий торговлей в городском масштабе. Просто ни один банкет не обходился без этого малорослого, поджарого, похожего на дипломата немолодого уже человека с седой головой и лицом смуглым и чуть тронутым оспинами. Джураев мало ел и мало пил, к концу банкета выглядел так же свежо и подтянуто, как и вначале. Он выслушал Азима Рахимовича внимательно, хотя корректность его отдавала снисходительностью.

— Вообще-то так не делается. Нельзя допускать, чтобы каждое учреждение имело свой магазин. Я подумаю. У меня к вам тоже есть просьба. У вас работает племянник моей жены, очень умный и хороший парень. Кто-то там его обижает. Может быть, вы лично разберетесь, если найдете время.

Легкость, с которой его ставили в положение — услуга за услугу, неприятно поразила Азима Рахимовича.

— Кто этот молодой человек? — спросил он.

— Эркин. Сын Ильяса Махмудовича. Мы женаты на сестрах.

Не зная, что ответить, Азим Рахимович медлил, и его тут же оттер от Джураева другой проситель, бородатый и толстый, не то архитектор, не то художник.

В субботу утром жена сказала ему:

— Нам необходимо навестить Ильяса Махмудовича.

— Сегодня? — Азим Рахимович почувствовал, как у него заныло под лопаткой. Он знал это ощущение. Пять лет назад врачи определили у него стенокардию. Сразу после защиты докторской. Именно тогда он бросил курить, по утрам занимался йогой, научился играть в теннис.

— Нет,—успокоила жена.— Но в ближайшие дни. Уже несколько человек намекали на это. Мы обязаны. Ведь он так много сделал для тебя.

— Надеюсь, ты понимаешь, что сейчас я не могу к нему ехать. Он не будет рад, наоборот. Отрицательные эмоции. И потом, разве к нему пускают? — с надеждой на отрицательный ответ спросил Азим Рахимович.

— Пускают. Я узнала. Это пока, слава богу, не инфаркт, обострение ишемической болезни, подскочило давление. Ему разрешают выходить в сад.

Два выходных дня прошли для Азима Рахимовича под знаком тягостных мыслей о предстоящем визите. Обычно именно в выходные дни ему удавалось поработать для себя. Он запирался в кабинете и анализировал эксперименты, выполненные за неделю, читал диссертации, писал отзывы, отвечал на деловые письма коллег. А тут не работалось, каждый еле слышный из кабинета телефонный звонок наполнял его ожиданием дурных вестей, под левой лопаткой болело все сильнее, боль отдавала в руку, немели пальцы.

Давно не водилось в их доме валокардина, нитроглицерина, других

сердечных средств, а говорить жене о забытой ими болезни он не хотел.

И в понедельник сердце болело не меньше. Он приехал в институт вовремя и отметил про себя, что желтой машины Эркина на стоянке нет.

Не торопясь шел директор к фонтану. Шел и посматривал в сторону ворот, Эркин так и не появился. Директор видел, как за зеркальным стеклом проходной поднялась длинная фигура вахтера, как медленно выдвинулась из стены и отделила институт от города алюминиевая решетка с символическими изображениями популярных физических чудес.

В приемной прямо против Миры Давыдовны со смиренным видом, уложив живот между колен, сидел Аляутдин Сафарович. По тому, как поспешно и подобострастно встал заместитель, как суетливо подхватил он с соседнего стула свою папку, Азим Рахимович понял, что тот готовит что-то не слишком приятное.

Предчувствие не обмануло. Аляутдин Сафарович положил на стол заявление с просьбой об освобождении от работы в связи с переходом в другой институт.

— Не обижайтесь, Азим Рахимович. Вы же сами хотели, чтобы я ушел.

— Я не обижаюсь,— сказал директор.— Видимо, я плохой руководитель, если не оценил вас.

— Да,— сокрушенно вздохнул толстяк.— Вы не плохой, вы молодой еще, неопытный, горячий. Вам трудно будет. Вы обижаете людей и сами не замечаете, что обижаете. Ведь правда?

Азим Рахимович не ответил, он просто взял заявление и написал: «Не возражаю».

— Мне последнее время не удается то, что всегда удавалось. Судите сами. Строительство базы отдыха перенесено на следующий финансовый год. А ведь я предупреждал. Магазин нам тоже не разрешают.— Аляутдин Сафарович взял из рук директора свое заявление, прочитал резолюцию.

— Допишите, пожалуйста, еще, что в порядке перевода.

— Это не я решаю, президиум.

— В президиуме согласовано.

— Тем более.

Азим Рахимович проводил бывшего своего заместителя до приемной. При Мире Давыдовне еще раз пожал руку, пожелал успехов на новом поприще. Не одна лишь обязательная вежливость двигала им, но какое-то чувство собственной вины или, по меньшей мере, возможной неправоты. Толстяк старался, не ленился, сделал много, и можно ли было так проявлять к нему свое отношение, можно ли было говорить «работайте честно»? А как будет работать новый зам?

— Когда у вас был Аляутдин Сафарович, звонил Бахвалов,— доложила Мира Давыдовна.— Просил соединить, хочет о чем-то посоветоваться.

— Спасибо,— от души поблагодарил директор, и секретарша вскинула на него удивленные глаза.— Это очень кстати.

Без пиджака, что он позволял себе крайне редко, директор направился в шестую лабораторию.

Амин, Сергей и Бахтияр горячо спорили о данных самого последнего эксперимента. Результат оказался настолько странным, что определить, положительный он или отрицательный, сейчас никто не мог. Сергей Бахвалов как руководитель темы выглядел явно растерянным, ходил по комнате, время от времени поддергивая джинсы. Он взял со стола несколько листов и протянул директору.

— Вот, Азим Рахимович. Из-за этого я и звонил вам. Мне кажется, тут наврали химики или неверно составлена программа.

Было приятно, что к нему бегут сразу, как к спасителю и провидцу. Могли бы, конечно, подумать с неделю, доложить с предположениями, а они спешат сообщить о неудаче, потому что верят в его способность все решить тут же.

Азим Рахимович пробежал изложенный на трех страницах отчет и убедился в том, что появление неожиданных элементов в пробной выплавке объяснить в данный момент не может и он.

Директор сел за стол и задумался. Все затихли. Думал он долго — минут двадцать, один только раз отвлекся, вспомнив о сердце, удивился про себя, что оно не болит, будто и не болело даже, и вновь углубился в формулы и вычисления. Первая мысль об ошибке, незамеченной молодыми людьми, не подтверждалась. Следовало думать о чистоте эксперимента, о свойствах тигля, в котором велась плавка. Сергей Бахвалов из-за плеча следил за тем, в каких местах текста останавливался Азим Рахимович.

— Металлурги мы молодые, — сказал Сергей. — Вот что! Знаете, как писала одна молодежная газета о доменщиках, — «Ваша сила в ваших плавках».

Директор не понял двусмысленности. Или не хотел шутить.

— Завтра начнем эксперимент по этой же программе, — сказал он. — Я буду с вами от начала до конца. Но если возникнут конкретные соображения по режиму или объяснение происшедшего, можете звонить мне домой до половины двенадцатого.

Он вернулся в кабинет и еще раз с удовольствием отметил, что боль слева исчезла, пальцы слушались. Велика сила динамического стереотипа, решил он. Надо больше заниматься своим собственным делом — физикой, надо всячески избегать всего, что создает психологические нагрузки. Он отлично помнил, почему между защитой докторской и ее утверждением в ВАКе у него случился сердечный приступ. Он был уже старшим научным и его попросили дать отзыв о работе соседнего отдела. Отзыв требовало большое руководство, Азим Рахимович около месяца проверял соседей и написал все, что думал. Один из его недавних оппонентов пригласил тогда Рахимова к себе домой и долго объяснял, почему он должен написать противоположное тому, что написал. Аргументы были далеки от науки, но казались вескими. Речь шла о престиже института, о судьбах коллектива лаборатории в тридцать человек, о финансировании на целую пятилетку. Азим Рахимович должен был учесть и то, что соседи к его собственной работе отнеслись крайне благожелательно, и то, что его докторская может попасть на рецензию именно соседям, либо к их единомышленникам. Он стал переделывать отзыв, убирая, смягчая, выбрасывая абзацами важные соображения по существу дела. Пожалуй, никогда до тех пор он не работал так упорно и тягостно. Курил по две пачки сигарет в сутки, не спал ночами. Через неделю отзыв на двадцати страницах в новом виде был отдан на машинку, и ему показалось, что все кончено. Он вздохнул свободно и пошел купаться на большую прохладную и спокойную реку.

Муршиды не было рядом, она уехала в Маргилан к дочерям, жившим с ее родителями. Отсутствие супруги радовало его, на ее глазах кривить душой было бы еще тягостнее. Он лежал на берегу реки в стороне от шумного пляжа, где отдыхающие группировались по возрастам.

Плавал Азим Рахимович не слишком хорошо, однако до середины реки обычно добирался и возвращался с чувством маленькой победы. В тот день он решил переплыть реку, отдохнуть на противоположном столь же пологом и зеленом берегу.

Он шагнул в воду и стал не спеша набирать скорость. Метров тридцать отделяло его от удаляющегося берега, когда он почувствовал свое сердце. Он не сразу тогда понял, что это сердце. Боль начиналась где-то в середине живота, подступала к горлу, и такая пришла слабость, что он не мог перевернуться на спину, чтобы отдохнуть.

Он повернул обратно и утонул бы, конечно, но когда вовсе изнемог в борьбе с болью и пошел ко дну, ноги ощутили нежный речной ил.

Тут он пожалел, что жены не было рядом, обращаться в поликлинику не хотелось.

Ночь протерпел кое-как. Это была еще одна очень плохая ночь вдобавок к тем, которые он потратил на переделывание отзыва. Тогда-то и пришло понимание того, как дорого стоит насилие над собственной совестью. Тогда-то он и дозрел до мысли, которую, наверняка, человечество

знало задолго до появления профессиональных философов и моралистов. Бесчестность губительна для честного человека, а для бесчестного, быть может, губительна честность. Позже сформулировал он пережитое для себя иначе, объяснил это невозможностью ломать стереотип.

Он сдал первый вариант отзыва, и — удивительное дело — все неприятности, которые предрекал ему старший и опытный товарищ, оказались ничтожными в сравнении с тем, что он пережил, ломая себя.

«Я ученый, — думал Азим Рахимович, — и моя работа — делать науку. Если бы я был портной, я бы шил платье и обязан был делать дело хорошо, я бы презирал того соседа, у которого главной задачей было бы обмануть клиента, вытянуть деньги и еще украсть часть материала. Я ученый, и меня считают ученым. Это главное. Мои ученики ждут от меня знаний, идей, помощи. Того же ждет и мой народ, народ, который имел великую науку и на много веков утратил ее по тысяче причин, из которых не самой последней была объединенная беспринципность людей, толпящихся вокруг дела».

Мысли эти не мешали, а помогали ему думать о той задаче, которую поставили перед ним в шестой лаборатории. В нем зрела уверенность в собственной правоте — основа всякого истинного оптимизма. Не завтра он начнет повторение эксперимента, не завтра, но очень скоро. Он изменит программу и срочно получит новые тигли. Он знал, где они есть, у кого их просить...

— Вам звонит жена, — голос Миры Давыдовны из переговорника прозвучал неожиданно, будто не он включил его, отреагировав на зуммер.

— Слушаю, Муршидахон.

— Ты один?

— Да.

— Как настроение?

— Прекрасное!

— Я хочу тебе кое-что сказать. Я тут много думала и решила, что ты абсолютно прав. Ты не любишь отступать от принятых решений. Я все взвесила, ты прав в этом конфликте.

Жена говорила горячо и искренне. Ему стало совсем хорошо, настолько хорошо, что он решился было сказать, как у него болело сердце. Раньше говорить про это было просто невозможно. Получалось: одного уложил в больницу своим упрямством, а теперь сам жалуется на ту же болезнь.

— Ты прав во всем, — продолжала жена. — Не учел только одного. Мы живем среди людей, мы никому не имеем права причинять боль. Человечность выше всего, ведь и наука для людей, а не против них. В данный момент от тебя требуется найти компромисс не во вред науке, но на пользу людям, которые так много сделали для нас и так теперь страдают.

«Боже мой! Что она говорит!» — застучало у него в висках. Он любил жену, верил не только ей, но и ее чувствам и мыслям. Больше чувствам. Сколько раз бывало, что она в конце концов оказывалась права в спорах, в которых он держался рациональной линии, а она говорила нелогично, противоречиво, слишком пылко, но всегда от души.

— Ну, конечно, плохо, что Эркин не знает родного языка, а наши дочери знают его только потому, что с детства каждое лето живут в Маргилане.

— Но он не знает и русского.

— Разве это его вина? — справедливо продолжала жена. — Ведь как-то подразумевалось всегда, что это второй язык. В это верили учителя и родители.

— Английский он сдал по блату, — опять возразил Азим Рахимович.

— А как ты английский знал после аспирантуры? Если бы не работа за границей, ты бы и сейчас его знал плохо.

Он хотел возразить, что все-таки не так плохо знал английский, если без всяких поблажек сдал его на четверку. Однако возразить не пришлось.

— И нельзя все мерить по себе. Не все так упорны, и не все так способны. Пойми это. Парню нужно дать шанс, надежду на исправление.

Ты обязан, обязан был раньше понять его, а ты гонял мяч, говорил о чем угодно — и вдруг, как гром с ясного неба. Люди не понимают этого.

— Я не знал, насколько... — начал он, но она поняла его мысль и перебила.

— Ты должен был знать, понимать, кто перед тобой. Ты вспыльчив и никогда не думаешь о том, что может породить твоя горячность.

Горячилась сейчас его любимая добрая жена, и он слушал ее с удовольствием. Голос у нее звучал молодо, как в былые годы, когда она точно так же убеждала его в чем-то очень важном для них обоих и для него, в первую очередь. «Ты не должен сейчас думать обо мне или наших детях, ты рожден для науки, и мы прекрасно проживем на твою аспирантскую стипендию; лучше я возьму еще два лишних дежурства в неделю. Разве мне так уж необходимы зимнее пальто или шуба? У меня есть две хорошие кофты, в них даже теплее...» И теперь говорила не про дела, а про свою любовь и веру в него.

— Ты сам придумал проблему, сам загоняешь себя в стресс. Мне наплевать на все слухи, которые распускают твои враги. Я никогда не поверю, что ты сделал это из-за ревности к той девушке, что ездила с Эркином. Ты повысил ее в должности? И прекрасно! Значит, она того заслуживает, но с Эркином нужно быть великодушнее. У нас еще много старых привычек, предрассудков, много злых языков, надо быть выше всего этого, и нельзя ожесточаться. Ты понимаешь, что я говорю? Пусть Ильяс Махмудович и его близкие знают это. Помогите им. Сегодня они не понимают и не поймут, что ты заботаешься об их сыне больше, чем они. Поймут когда-нибудь. Я тебе советую...

Азим Рахимович слушал голос жены, но все меньше вникал в ее слова. У него опять кольнуло в груди, и пальцы руки, державшие трубку телефона стали холодеть. Неужто вскользь упомянутые слухи о его интересе к Дильбар, слухи подлые, ни на чем не основанные, так задела его? И почему от этого должно болеть сердце? Ведь это ложь, глупая, злая ложь, в которую не верит не только его жена, но не поверит никто из нормальных людей.

— Ильяс Махмудович — человек иной формации, эти люди так или иначе выполнили свой долг. Скоро им на смену придут настоящие ученые.

— Когда? — перебил он.

— Скоро! Разве ты не видишь?

— Хорошо, Муршидахон. Ты меня убедила. Завтра я приглашу его. — Он не мог продолжать разговор, потому что очень болело сердце. — Хорошо, не волнуйся. Я найду выход. Думаю, его это устроит. Надеюсь, ты не веришь слухам...

— Никогда! — воскликнула жена. — Никогда! Я знаю, что постарела, что ты моложе выглядишь, но я никогда не поверю, что ты можешь меня обмануть.

— Спасибо, — сказал он глухо. — И не волнуйся. Все будет хорошо. Он положил трубку. Часы показывали шесть.

— Мира Давыдовна, вы еще не ушли? — сказал он в переговорник. — У нас не найдется валокардина?

— Есть корвалол, — ответила секретарша. — Только неполный.

Она принесла пузырек, внимательно глянула на него, тут же налила воды в стакан, отсчитала двадцать капель, протянула со словами:

— Вам надо больше отдыхать. Говорят, вы работаете по ночам. Это очень вредно.

Он выпил, откинулся в кресле и попросил вызвать машину.

«Какой позор, — думал он по дороге домой. — Из-за дурацких разговоров так огорчаться. Может быть, я все-таки не должен директорствовать. Видимо, так. А с парнем надо найти выход. Не компромисс, а выход».

Посетителей к больным пускали в строго определенные вечерние часы. Об этом свидетельствовала застекленная вывеска с золотыми буква-

ми; такая же, как в институте, узорная решетка ворот, только с древней медицинской эмблемой, и седовласый узбек-вахтер в белоснежном халате и очках, которого новички порой принимали за главного врача. Новичков строгая золотая вывеска касалась в первую очередь.

Эркин научился проникать сквозь заслон. Быстрая походка и отсутствие узелков с едой позволяли обходиться двумя словами: «Из Минздрава». Отец сидел в белой беседке, на нем была широкая зеленая пижама с блестящими черными, как у смокинга, отворотами, босые бледные ноги в шлепанцах вызывали жалость.

— Обход был. Давление лучше, — сказал отец. — Внутривенное отменили.

Над ними безмолвно цепенели в начинающемся зное кроны вековых платанов. Журчал арык. В бильярдной кто-то один осторожно гонял шары, два старика, сидя верхом на лавочке, играли в шахматы.

— Сегодня к четырем вызывает, — сказал Эркин, объясняя свой неруемый приход. — Не знаю, что он еще придумает.

— Все будет хорошо, — успокоил отец. — Иди, не бойся. Все будет отлично. Он не злой человек, он немного зазнался. Это называется головокружение от успехов. Наука должна служить людям — это основное требование гуманизма, веление нашего времени.

— Он считает, что люди должны служить науке, — возразил сын. — Тут его не переубедить.

— Диалектику учить надо, сынок. Диалектика — наука. Ты же знаешь наши добрые обычаи. В них очень много мудрого. Он по-узбекски с тобой говорит?

— Когда как.

— А ты по-узбекски, вежливо, очень вежливо...

— Вряд ли это поможет. Ведь именно из-за языка...

Отец перебил его с усмешкой.

— Вежливо, очень вежливо. Ты умеешь. И как ни в чем не бывало. Только по делу. По моим сведениям, он подготовил приказ о твоей командировке. Уедешь на год, может быть, там и защитишься. Время — лучший лекарь, если болезнь не очень серьезная. А твоя болезнь — пустяки, вроде насморка. Кстати, он прав, родной язык надо знать. Ты хорошо знаешь обычаи, но язык надо подучить. Иди, сынок.

Ильяс Махмудович встал.

— Я провожу тебя, мне скоро на укол.

— Тебе ведь отменили?

— Отменили внутривенное, а витамины продолжают, — отец шуточно показал, куда ему делают уколы. — Вечером приезжай, расскажешь. С мамой можешь приехать.

Директор с облегчением посмотрел на дверь, закрывающуюся за Эркином. Разговор он провел точно по плану, никаких уступок, никаких видимых уступок... Вернее, никаких слишком уж очевидных уступок он не сделал. Нет! Это только уловка самоуспокоения. Никто, однако, не сможет сказать, что его заставили, принудили. Не на уговоры он поддался, просто понял, что все это мелочь, что игра не стоит свеч. Да, сомнительна общая идея: заслон для халтуры ставить именно в момент защиты кандидатской. А почему не раньше? При зачислении в аспирантуру, например, или при приеме на работу? Или на всех этапах? Будут говорить, что он сдался в предвидении выборов. Кто этому поверит? Выборы в Академию у нас такая сложная психологическая задача, что ни один прогнозист не возьмется подсказать результаты. Главное, что повлияло на решение, — и в этом Азим Рахимович старался себя убедить, — понимание того непреложного факта, что нельзя одним махом изменить нравы и обычаи, сложившиеся издавна. И еще: избавился он от Аляутдина Сафаровича, но разве для дела стало лучше? Завгар пришел буквально на другой день, нет запасных частей, прораб написал докладную о возможном срыве

строительства экспериментальной установки, а местный комитет настаивает на своем решении о магазине. А ведь толстяк не только все брал на себя, но и все обеспечивал.

Хватит об этом. Азим Рахимович достал папку, которую утром принесли ему Сергей и Бахтияр. Ребята сами обнаружили причину ошибки, разработали новый режим плавки. Он уже просмотрел их расчеты и испытал смешанное чувство радости за молодых и огорчения. Ему не удалось за тот же срок найти ошибку. Конечно, ребята только об этом и думали, а у него для настоящей работы времени было мало.

Он открыл папку. Неведомо как, в ней оказался проект первого приказа об Эркине. Видимо, сунул, когда убирал со стола.

Азим Рахимович перечитал текст, усмехнулся собственной решимости, порвал листок на мелкие квадратики и бросил в металлический ящик для бумаг, подлежащих уничтожению.

Он прислушался к сердцу. Оно почти не болело, чуть давило у горла. Азим Рахимович подошел к окну и убавил кондиционер, слишком шумно от него и даже холодно. Желтый автомобиль выезжал к воротам, Эркин высунулся из окна, оглянулся и притормозил. Наверное, кто-то окликнул его, может быть, попросили подвезти. Так и есть. К машине подбежали трое: Бахтияр, Сергей и Диля. Даже издали было видно — они в прекрасном настроении. Сели. Захлопнулись сразу три дверцы. Желтая машина с номером, состоящим из четырех пятерок, выехала на улицу, и тут же из бетонной стены поползла решетка ворот. Директор стоял, опершись руками о холодный подоконник. Голова кружилась. Последнее, что он видел: была внезапно надвинувшаяся на него решетка ворот, одна только эта решетка с аляповатыми, гнутыми из стальных прутьев символами физических чудес.

Утечка информации — одна из актуальных проблем нашего времени. Можно поручиться, что никто из должностных лиц в институте не сказал ни слова о конфликте между директором и м. н. с. Махмудовым, однако масса людей знала об этом с деталями точными и придуманными. Ведь и жене своей Азим Рахимович ничего не сказал, а лишь разъяснил ей то, что она слышала от других. Часто случается, что сотрудники учреждения узнают о событиях, имеющих отношение к их коллективу, откуда-то со стороны, и знания эти складываются из вопросов типа «а правда, что у вас..?»

— Как дела? — спросил Бахтияр. Он сидел рядом с Эркином.

— Нормально, — ответил Эркин. — Был у дира, он решил, что следует откомандировать меня в столицу нашей Родины город-герой Москву.

— И защита там? — спросил Сергей.

— Возможно. Или вероятно.

Сергей нахмурился, ему не хотелось, чтобы директор уступил.

— Ведь все произошло из-за летающего лягана, — пояснил Эркин. Он теперь твердо стоял на этой версии. — К стати, лягана все-таки не было, а была ступень чьей-то ракеты-носителя.

Диля вмешалась в разговор, хотела хотя бы косвенно защитить директора.

— Жалко, Эрик, — она сознательно назвала Эркина Эриком, — что ты не поверил Бободжану-ата насчет его боевых наград. Все подтвердилось, Азим Рахимович навел справки.

— А почему же старик сам не хлопотал? — спросил Эркин.

— Долгая история. Знаете, ребята, этого Батырбекова сразу после войны опорочил один мерзавец, враг их семьи. Старик его простил. Потом этот подонок еще дважды делал гадости, писал анонимки. Весь кишлак отвернулся от клеветника и изгнал его. А недавно уже совсем старым тот человек вернулся, чтобы просить у односельчан прощения, два дня ходил по дворам, сидел в чайхане, и никто не хотел с ним говорить. На третий день клеветник умер, и люди не пожелали идти на похороны. Бободжан-ата

сказал, что так нельзя. Сам пошел и другим посоветовал. Старик говорит, что умеющий прощать благословен.

— Мудрая мысль, — сказал Сергей.

— Да, мудрая. Это в характере нашего народа. Мне кажется, что никто не умеет так прощать, как мы. Особенно стариков и тех, кого уже нет.

— Точно! — удивился Бахтияр. — Точно! Мой дед с бабкой ни о ком плохо не говорят. Мне кажется, что они и не думают ни о ком плохо. Эркин остановил машину возле станции метро.

— Простите, дальше не могу. Спешу к отцу.

Те, кому плохо, — в палатах, а выздоравливающие и выздоровевшие — в саду. Им теперь хорошо и по контрасту с тем, что было, и в сравнении с другими, оставшимися в постелях с суднами, с капельницами, с кислородными масками, наготове висящими у изголовья.

Слабое движение вечернего воздуха шевелит листву платанов, ароматы цветов смешиваются с запахами еды, в одной беседке шумно, без опаски стучат в домино, в другой идет бильярдная баталия, слышатся восклицания болельщиков.

— Вначале был суров, говорил о неколебимых принципах в науке и жизни, уверял, что все это пойдет мне на пользу, только пользы и хотел... Признаться, мне было его жалко. В самом деле! Я его никогда таким не видел, кажется, у него слегка дрожали руки, знаешь, так, чуть-чуть.

— Ему было стыдно, — сказала мать. Перехватив взгляд мужа и сына, объяснила. — Стыдно, что он так нас обидел.

— Допустим, — с сомнением заметил Ильяс Махмудович. — Пусть это так называется. Важно, что он понял свою ошибку и исправил ее.

Они втроем, не спеша, шли к проходной, обсуждали скорый отъезд Эркина. О перспективах работы в Москве отец предпочитал не говорить. Ему мешала мысль: что значит год для симпатичного и обеспеченного молодого человека, и вовсе без присмотра? Пролетит год, как день и ночь. Надо было женить вовремя, раньше надо было женить. И мать думала об этом.

Им пришлось посторониться. Машина скорой кардиологической помощи медленно двигалась по узкой затененной аллее. Медленно она ехала, слишком медленно, и вяло, с большими интервалами вспыхивал над ее крышей синий сигнальный фонарь.

Машина свернула налево, к отделению реанимации.

Некролог Азиму Рахимовичу подписали самые видные люди, эта внезапная смерть потрясла всех. Возле четырехэтажного дома стояли десятки машин, два инспектора ГАИ помогали им парковаться и отъезжать.

Аляутдин Сафарович вышел из подъезда, поддерживая под локоть Ильяса Махмудовича. Оба были искренне огорчены и даже потрясены.

— Никогда не жаловался на сердце, не курил, занимался спортом, — говорил Аляутдин Сафарович, распахивая дверцу белой «Волги», положенной ему по новой должности. — И выглядел молодо, моложе своих лет. Мне один историк рассказывал: мирза Улугбек не потому погиб, что занимался чистой наукой и этим только вызвал гнев фанатиков, а потому, что предполагал, будто политикой можно заниматься в свободное время. Вывод такой: если ты ученый, занимайся наукой.

— Это не совсем правильно, — возразил Ильяс Махмудович. — Есть другие примеры. Курчатов, Королев, — тут дело в личности. Одни могут совмещать, другие не могут.

— Вам видней, — легко согласился Аляутдин Сафарович. — Вы сами всегда могли совмещать научную работу с административной. Как бы то ни было, Азим Рахимович не выдержал. Даже спорт не помог. А жаль! Очень его жалко.

— Две дочери остались, — заметил Ильяс Махмудович. — Замуж не успел выдать. А видели, как постарела супруга? Просто старуха.

— Вот мы говорим: диета, спорт, режим. Разве это главное? Кому как на роду написано, так и будет... Вас домой или в стационар?

— В стационар. А я думаю о другом. Детство у него было тяжелое, голодное, организм неправильно заложил жизненные силы. Тут никакой теннис не поможет, природу не обманешь. Смолоду надо силы беречь.

Эркин обедал в чайхане Дома кино, а когда вышел на улицу, заметил Муху. Она безуспешно ловила такси. Неторопливо он завел машину, подал ее и распахнул дверцу.

— Прошу вас, подружка!

Муха несказанно обрадовалась.

— На телевидение? — спросил Эркин. — Как всегда опаздываете?

— Как всегда! — улыбнулась Муха, раскрыв сумочку, в два ловких движения поправила что-то в косметике возле глаз. — У вас директор умер? Когда похороны?

— Похоронили, — сказал Эркин. — Это было так неожиданно, просто не верится.

— Говорят, он был большим ученым?

— По нашим меркам — выше среднего, по мировым стандартам... — Эркин запнулся. Смерть обязывала к осторожным высказываниям. — Теперь в физике трудно устанавливать ранги: наука выдает результаты в самых неожиданных местах, а Азим Рахимович был типичным генератором идей.

— А правда, что он верил в тарелочки и космических пришельцев?

Муха и в самом деле слышала, что покойный директор допускал такую возможность.

— Трудно сказать, во что именно он верил.

— А я верю. Я вообще очень доверчивая. Так ждала вашего звонка, к телефону летела на крыльях.

— Я каждый вечер у отца был, сейчас ему полегче. Может, сегодня?

— Может быть. — Муха откинулась на спинку сиденья. — У меня чешское пиво в холодильнике.

— А представь, дорогая Муха, что гуманоиды существуют...

— Кто?

— Гуманоиды, иначе говоря, инопланетяне. И вот они прилетели к нам двух сортов: первый сорт — маленькие, лохматые, злобные, умные и властные. Второй — высокие, стройные, кожа голубая, глаза добрые и абсолютны доверчивые. Кого бы ты выбрала?

Эркин остановил машину возле телецентра. Он впервые сказал Мухе «ты» и момент, кажется, выбрал удачный.

— Кого бы ты выбрала? — повторил он вопрос.

Муха глянула на него.

— Такого, как ты. Ты мне подойдешь.

Все шло правильно, нельзя терять время. Скоро в Москву.



Барот Байкабулов

Сонеты

Различная судьба у разных дней.
Весна мятежна, миротворна осень.
Таков уж мир: то красочность, то просесть.
И серп луны то шире, то острей.

Неповторимы судьбы разных дней.
То колос налитой, то плевел скосим.
Свеча то вспыхнет, то покоя просит.
Смех сменит слезы, ливень — суховой.

Да, если б схожи были наши дни,
Мы б увядали осенью тоскливой
Иль гибли бы под натиском весны,

Луна бы тенью сделалась пугливой,
И одноцветны б были наши сны,
И тщетны б были зодчего порывы.

* * *

Твоей любовью вдохновленный, джан,
По саду жизни я блуждал с любовью.
Цветок такой я отыскал с любовью,
Что улыбнулся древний Самарканд.

Раскрыв свиданья зоревой тюльпан,
Покой луны я нарушал с любовью,
На нить я звезды нанизал с любовью.
Владей же этим украшением, джан.

Сдавил мне шею черных кос аркан.
Как быть? Покой покинул изголовье,
И волны страсти вспенил ураган.

Да, тот цветок, что я сорвал с любовью.
Прими же в сердце, древний Самарканд,
Чтоб нас в себе он созерцал с любовью.

Смерть! Как твои объятья разведу?
 Кровь запеклась над нашими сердцами,
 Тяжелый слезный ком в глазницах замер.
 Нежданно кипарис сгорел в саду.

В горах Ургута — трещины во льду,
 И треснул дома нашего фундамент,
 И в клочья — ткань над ткацкими станками,
 Дождь-плачь весны в горячечном чаду.

Отцовский стан-скалу согнуло горе.
 Седины свои мать рвала в бреду.
 Вернись, сестра!.. Не действуют укоры.

И детям твоим скорбь невоготу,
 Сиротство им распарывает ворот...
 А ты ушла навеки в пустоту.

* * *

Жив Самарканд — мое бессмертно имя.
 Лазурен купол — мгла мне не страшна.
 Как голос Регистана, пой, струна!
 Пой, Рухабад, ресницами моими!

На склонах гор тюльпаном прорости мне.
 Дастан судьбы — Мирзо¹ расадхона.
 Шах-и-Зинда — души моей волна.
 Враги мои мечетями казимы.

Я воспевал тебя, мой Самарканд.
 Как сердце, лягу в грунт Афросиаба
 И, как Муканна², выпрямлю свой стан,

Времен грядущих восприму масштабы.
 Пока течет, струится Заравшан,
 Мой слух не замкнут, зренье не ослабло.

Ургут! В тебе моих свершений суть.
 Ты — звук моих стихов, в тебя влюбленных,
 С тобой взлечу, как беркут, окрыленный,
 Недаром рифма для тебя — бургут³.

Ты — голос радости моей, Ургут,
 Поющий миру саз неугомонный,
 С душой народа разговор бессонный.
 Тебя в сердцах, как солнце, берегут.

¹ Мирзо — Мирзо Улугбек.

² Муканна — букв. «скрытый под покрывалом» (арабск.), прозвище Хакима ибн Хашима, вождя народного восстания в Средней Азии в УШ в.

³ Бургут — беркут (узб.)

Звезда дневная в небе темно-синем,
Хребет твой горный для меня не крут.
Мой отчий край, мой дом, моя святыня!

С тобой меня и беды не берут.
Тебе даю я клятву: в сердце сына
Кавказ и Крым твой облик не сотрут.

* * *

Природы царь! Помилуй певчих птиц.
Прошу, ружье с гвоздя снимай пореже,
В ствол пыж не забивай. Подумай, прежде
Чем птичьи гнезда в пепел обратить.

К провалу смерти не ищи пути.
Свою двустволку на плечо не вешай.
Нет, не спускай курка! Пстой, помешкай.
Не обагрй планету кровью птиц.

Достаточно людской горячей крови
На землю пролил яростный свинец.
Ведь есть же чувство, что зовется — совесть.

Ведь эхо выстрелов — как стоны горных недр.
Природа в наших винах невиновна,
Не обрывай же звонкой песни нерв.

* * *

Да, не бесплодно жизнь моя прошла.
Две дочери и сын — я их оставлю.
Душе души моей родных оставлю.
Я счастье завещал им — и крылат.

Не исчерпал я вечной жизни клад.
Соратникам — мечты рудник оставлю.
Отдам народу песен звездопад.

Клеймом фальшивым я не штамповал
Свою судьбу узбекского чекана,
Любви моей беспримесен металл.

Я сердцем вторил сердцу Регистана.
И ноты, что за ним я повторял, —
Блик золотой на стенах Самарканда.

* * *

Ты шел пешком, мой друг, из года в год,
Но наконец взнуздать коня сумел
И в золотом седле, красив и смел,
Сидишь, не зная горя и забот.

Немногих конных воспитал народ.
Ты возрастал от славных дум и дел.
Как птица, ты над стремением взлетел,
Джигит лихой, один из многих сот.

Ты к небесам направил свой полет.
Но, хоть сверкнешь меж звезд ты, как звезда,
Пусть недоуздок губ коню не рвет.

Тебе любая круча не крута,
Но помни: есть на свете пешеход,
Ему трудней, чем всаднику, всегда.

* * *

Дом Лермонтова. Здесь — скрещенье троп,
Здесь — место встречи многоликих судеб.
Поэта память для великих судеб —
Приют любви, признательности кров.

Весь мир ступает на его порог.
Горенье солнца почва не остудит.
Нетленный стих сердца к дерзанию будит
Здесь, где венчались сердце и перо.

К сердцам влюбленным милостив поэт.
Дар музыки да будет совершенен!
В ком песня воплотилась, тот — поэт.

Пока путь лун на небе неизменен,
Поэта слово не сойдет на нет.
Как небо, вечен Лермонтова гений!

* * *

Когда погасну́, в сердце у тебя
Навек останусь я горячим пеплом.
Сквозь почву прорасту зеленым стеблем —
И вновь меня оплачешь ты, скорбя.

В горах Ургута — беркута судьба.
Я — страж твоей любви на горном гребне,
Хранитель твоей нежности волшебной.
Утрату вновь оплачешь ты, любя.

На небосклоне вечно молодым,
Как молния, сверкну и мир покину
И стану отблеском в зрачке твоём.

Взойду я на последнюю вершину,
В последний раз к тебе мечтой влеком...
Но пусть очаг надежды не остынет.

* * *

Мы по одной с тобой идем тропе.
Едины наших судеб старт и финиш.
Хоть тяжек груз и с плеч его не скинешь,
Но славен финиш в сдвоенной судьбе.

Единство — сила тем, кто ослабел.
Каната мощь — в сплетеньи тонких линий,
Душа душе — оазис в злой пустыне,
И слитность взоров — словно свет небес.

Ах, ласковая! Воют ураганы,
Но караван идет через века,
И дети наши — в этом караване.

Пока ты рядом, мне тропа легка,
И груз любой плечам моим желанен,
Но без тебя — не сделать и шажка.

* * *

Поэзия — рудник вселенских тайн,
Надежды человеческой жилище,
Для пылких духом — огненная пища,
В крошечном мраке молния — мечта.

Поэзия — дневных небес хрусталь,
Ночные небеса, где звезды рыщут,
Ладьи — Луны серебряное днище,
Земли святой любовь и доброта.

Поэзия — прозренья, в Завтра брешь,
Желанный сад, чреватый цветопадом,
Сердец отважных вера и мятеж.

Поэзия — победы и утраты,
Мешок бумажных денег для невежд,
Для знающих — хирман нетленных кладов.

* * *

Злых жеребцов гордыни не седлай,
Не суй своей ноги в стальное стремя,
Сядь на коня, что скромно сносит бремя,
И торный путь, смотри, не потеряй.

Свой дом ты на песке не воздвигай.
Внимай симфонии, чей автор — время.
Не мни, что в небесах — твой род и племя.
Дым пьяной славы в ноздри не впускай.

Вот — жизнь! Будь каплей полноводных рек,
Чтоб берег не грязнить пустой ракушкой.
Без света в ночь не суйся, человек.

Скакун-гордец безногой клячи хуже.
Конь-труженик не устает вовек.
Дом на скале столетья не разрушат.

* * *

Пойдут сыны дорогами отцов.
Они допьют вино из нашей чаши,
Осилят перевал, что нам был страшен,
И сберегут жар наших очагов.

Поймут они души народной зов.
Они, они сады взлелеют наши,

Отцовской гордой славе станут стражей,
Воспримут жребий огненный отцов.

Сыны друзей повязаны любовью,
С детьми врагов вражда им не нужна.
Они своим умом, без суесловья

Отцовских книг поправят письма.
Их смех не смешан со слезой и кровью,
И в них — бессмертны наши имена.

* * *

Наш добрый дом — луч маяка в ночи,
В нем — красоты твоей отображенье,
В нем — твоего искусства отраженье,
Он взор усталый, как бальзам, смягчит.

Наш дом уютный — свет костра в ночи.
В нем — сердца нежного успокоенье.
В нем — путнику привет и уваженье.
Нет слов, его достойных, — стих молчит.

Созвездие мечты наш дом затмил.
В нем ты, любимая, кровинки наши дети,
Как жизнь, ребенок каждый сердцу мил.

Наш дом, мой храм, единственный на свете!
Пусть на святой очаг не ляжет пыль.
Дом отчий — завязь молодых соцветий.

* * *

Не умирают павшие в войну,
Живут в живых, их болью неизменной.
И слиты с болью судьбы поколений,
Как будто бег веков их в цепь сомкнул.

И эхо клятв взрывает тишину.
Священный мрамор — битв святых арена.
Вобрав в себя столбец имен нетленных,
Небесный свод меж молний затонул.

Скрыв солнце, тучи изрыгают пламя,
Как будто содрогнулась ось вселенной.
Салют — о тех, кто грозными годами

За жизнь и счастье выстоял в сраженьи.
И, как Семург, о них бессмертна память,
Высок полет орлиных поколений.

Перевод с узбекского
Киёфа Усманова.

Аскад Мухтар

Перевод с узбекского
Александра Наумова

А М У

РОМАН

Сабир другу своих обид не высказывал: понимал, что творится и в стране, и в душе у него. Но ведь и то правда: дела в изыскательской группе Гуломали забросил совершенно. Будто, вопреки его собственным словам, они не имели никакого отношения к революции и ее реформам! Приятель Сабира сделался заядлым оратором, ездил на выступления в любую погоду, дни и ночи пропадал в поездках по собраниям и митингам, а то исчезал и на целые недели. Самое трудное время, все расчеты заброшены, нужно во всем разбираться, а его нет! Митинги митингами, но ты все-таки в первую очередь гидрогеолог, а? И можно ли, затратив столько трудов, бросить на полдороге такое дело?

Правда, после трехмесячных скитаний, окончательно, видно, выбившись из сил (недаром ходит, привязав к ногам какие-то целебные листья!), Гуломали вернулся на базу, принялся восстанавливать распавшуюся группу. Нашел помещение в родном кишлаке — домик на окраине из нескольких комнатенок. Тихое место, удобное для запутанных расчетов: в кишлаке почти безлюдно, иной раз за целый день голоса никто не подаст, собака не залает. Дехкане с семьями на выпасах, на лугах, в полях. Конечно, их будоражат слухи о событиях в столице, но полевые работы, подготовка к зиме — для дехканаина всегда на первом месте.

Специалисты базы так и поместились в домике на окраине, остальных, включая носильщиков, расселили по домам местных жителей. Сабир и Гуломали заново смастерили из ящичков стол, сиденья, шкаф, пришлось чинить и порванные пологи: жара еще не спала, мухи и комары по-прежнему не дают покоя. По временам откуда-то доносится запах хлеба; неподалеку в грязном пруду часами безмолвно стоят огромные яки, на полумесяцах их громадных рогов сидят галки; птицы зачастую питаются тут же, на косматых спинах меланхоличных громадин.

— Тыфу ты, господи! — время от времени брезгливо сплевывает Гуломали. — Скоро ли мы покончим с этой средневековой идиллией?..

Но Сабиру здесь нравится. За прудом вдали видны холмы. До основной трассы проектируемого ими канала можно идти пешком, и они в иной день по несколько раз туда выбирают, выясняя на месте многие детали. А вечерами при свете керосинового фонаря или лампы корпят над проектом.

Все бы ничего, если б не холодность, возникшая в их отношениях. Гуломали, хоть долгое время к работе и не прикасался, в каждый свой приезд начинал суетиться: дескать, материалы же готовы, проект нужно скорей представлять на утверждение. Сабир возражал, и эти споры оставляли все нарастающий осадок взаимного раздражения.

— Слушай, — сказал сегодня Гуломали, — ведь ты же человек из Советской

страны! Должен же ты понять: сегодня это уже не просто проект, а фактор огромной революционной важности!

— Я-то понимаю, — сказал Сабир. — Мне долгое время казалось, что ты этого не понимаешь. Так все забросил.

— Были дела! — сказал Гуломали сердито. — Ирония твоя ни к чему. Я о другом говорю.

— Почему о другом? О том же. И ты и я говорим о том же.

— Пойми: скорейшее принятие такого проекта означает на деле переход на сторону революции тысяч и тысяч дехкан!

— Я уважаю твой революционный дух и целиком на твоей стороне. Так что ты лучше сядь, а то шея покривится... — Потолки в комнатухах были очень низкие — стоя, они невольно наклоняли голову. Гуломали сел на ящик рядом с самодельным столом. — Я все понимаю, Гуломали, все, но ты говоришь сейчас, как митинговый оратор, как политик, как заинтересованный член своей партии — только не как гидрогеолог!

— Ах, вот оно что! Хорошо, я выскажусь и как гидрогеолог. Кратчайшая трасса выявлена? Выявлена. Аму дважды в год выходит из берегов, тогда избыточная вода и будет накапливаться в Сангкосе¹. Выходит, для водохранилища мы будем брать только избыточную воду, ведь ты об этом все время печешься, не так ли? А переброска воды из Сангкосы в долину обойдется почти без всяких затрат! Эксплуатация русел Чорданахра — это такое открытие, которым ты вправе гордиться! Мы уже выявили одиннадцать русел из четырнадцати — выявили и исследовали. Правильно я говорю?

— Все правильно.

— Ну вот! Готовится указ о земельной реформе. Если к нему приурочить утверждение проекта — знаешь, что это будет? Какое впечатление произведет? Мы дадим дехканам не сухую корку хлеба — хлеб с маслом!

— Постой, постой! Опять политика. Уж ты поверь, меня научили в политике разбираться, и в лозунгах тоже, я в твоей агитации не нуждаюсь, сам кого угодно могу агитировать! Но подумай своей головой: поспешность в нашей работе опасна в первую очередь с политической точки зрения! Конечно, очень эффектно разом издать указ о земельной реформе — и принять наш проект! Красивый ход! Красивый, если последующие ходы правильно просчитаны. А если нет?

— Я уверен, наши расчеты правильны!

— Ты уверен! А я вот не совсем уверен. Здесь нужна точность, а неточность грозит катастрофой. И сколько их было, таких катастроф! Вот ты бросаешься красивыми словами — Каменная чаша, открытие. Мы же — геологоразведчики! Разведчики. Если разведка сообщит неправильные данные, можно целую армию угробить! Хоть бы эта твоя Каменная чаша. Что это такое? Затвердевшие слои песка. Разве мы достаточно точно просчитали уровень возможной фильтрации? А в случае фильтрации — знаем ли мы точно, куда пойдет вода? То-то. А даже, если тут все в порядке, — чтоб действительно образовалась чаша, нужно взрывать слои песка. Так?

— Так.

— А можешь ты определить направление взрывов? Я — не возьмусь, пока не проконсультируемся с «Союзвзрывпромом» — есть у нас такая организация. Кстати, единственная в мире, занимающаяся этими уникальными взрывами. Решать такое дело, с ними не посоветовавшись, — в нашем положении чистая авантюра! Ну и сами русла Чорданахра — то, что ты именуешь так громко «открытием»... Конечно, если удастся их использовать, проект будет очень дешевым. Но прежде чем представить его на утверждение, я хочу узнать мнение о нем Сумбулая. Я ей написал, но такие вопросы в письмах не решаются.

— Короче, тебе хочется поехать домой, — упавшим голосом сказал Гуломали, не сводя глаз с циновки на полу.

— Э, ничего ты не понял. Совсем не в этом дело... — Тон у Сабир был неожиданно грустным.

Гуломали поднял на него глаза:

— Слушай, ты же видишь, какая ситуация. Сейчас день — на вес золота. Может, дни все и решают! На кого работает время — на нас или на наших врагов? А если ты сейчас уедешь — когда-то еще вернешься!

— Я не могу сейчас представить материалы проекта.

— Ишь, какой каменный! Домой торопишься... домой.

Втайне Сабир испытывал угрызения совести. Конечно, причиной его упорства было все то, что он высказал Гуломали, но домой ему хотелось. Хотелось — это

¹. Букв. «каменная чаша».

Гуломали угадал. И всего-то два часа, два часа лету отделяют его от светлого двухэтажного домика с окнами на водохранилище. Два часа — и он среди родных, в цветущем совхозном поселке. Водохранилище! Сейчас самое время искупаться. Он вообразил себе прохладу прозрачной голубой воды. Уже полгода снится она ему по ночам. И еще снится, будто входит он домой через заднюю дверь, с полотенцем через плечо, а мать как раз возвратилась из своего детского сада, она в белом халате, наливает ему чаю, журит за то, что поздно встал, ставит в пример сестренку, которая уже ушла в школу. И Сабир целует мать, приговаривая: «Воспитательница моя дорогая».

Все его детство прошло в детском саду, где мать работала воспитательницей; оттого он и до сих пор так называет ее в шутку. Услышать бы сейчас ее милое ворчание! И Сабир представил себе, как складывает в рюкзак свои вещи — старую фотокамеру, и полевой бинокль, и старую отцовскую флягу, и радиоприемничек «Россия»... Коргар неправ, если думает — а ведь явно так думает, судя по интонациям! — что ему, Сабиру, хочется удрать отсюда, от их сложностей и трудностей. Нет же, нет! Но он действительно устал. От кочевой жизни, напряжения, неопределенности. Ему бы подышать воздухом родного дома, окунуться на неделю-другую, как в голубую влагу водохранилища, в безоблачное существование долгожданного гостя, в атмосферу безгранично-ласковой материнской заботы; сунуть голову под подушку в конце концов — и забыть обо всем на неделю. Забыть, отдохнуть — чтоб снова набраться сил и для громадной работы здесь, и для всех треволений; разобраться в себе самом, наконец! В своих чувствах, в которых, кажется, он все-таки запутался.

Во дворе кто-то набирал воду из колодца. Должно быть, вернулись с гор топографы. Сейчас, сбросив пыльную одежду, они будут поливать друг друга водой из ведра. Так повторяется каждый вечер, это их единственная возможность и освежиться, и порезвиться. Но вдали прозвучал голос муэдзина, возвестивший начало вечерней молитвы, и все сразу стихли. Ну да, многие члены группы, молодые люди, прилежно совершают намаз.

Гуломали, сидевший на подоконничке, вдруг резко поднялся, пошел к двери, сказал с порога:

— Завтра поговорим!

Тон был странный; непонятно, что за ним крылось: обида, раздражение, тревога, усталость?

По кирпичным стенам здесь змеились трещины, штукатурка облупилась, вместо двери висел старый палас, но потолок в этой комнатке был выше, поэтому Гуломали ее для себя и выбрал. Он зажег свечу, закрепленную на перевернутой глиняной каше — и подвинул к себе книги, подаренные ему когда-то Сабиром: старые труды географов и путешественников, изучавших Аму. По правде говоря, у него редко находилась для них свободная минута, но если уж случалась — он, взяв их в руки, всегда чувствовал радость предстоящего общения. Сейчас однако было не так — мысли витали далеко. На майданах кишлаков, на улицах Кабула, Мазари-Шерифа... Все в его жизни, и прежде непростой, теперь многократно усложнилось. Дни, шедшие, казалось, шагом, теперь понеслись — то ли кони по крутым дорогам, то ли сель в горной долине. И все неразрывно сплелось в его сознании и быту — работа и политика, здешние коллеги и товарищи по партии. «Твоя вторая жизнь!» — говорит Сабирджан. Почему вторая? Кто может сказать, что для него важнее? Напрасно Сабир старается в разговорах отделить их одну от другой. Но только б успевать, все успевать! Выдержать этот ритм. Только бы поток с ног не сбил. Он почувствовал боль в колене, сбросил сапог, поправил целебную повязку, снова обулся. Ему вспомнилась раздувшаяся голень Сабира. Да, теперь и сомневаться нечего: подбросили тогда каракурта! А ведь Сабир всего лишь «иностранный специалист».

За спиной у него зашуршал старый палас в дверном проеме. Сабир, значит, тоже обо мне думал. Гуломали приподнялся, чтобы встать навстречу.

— Не двигаться! — резко выкрикнул незнакомый высокий голос.

— Ну, хватит дурака... — начал Гуломали. Но голос снова крикнул:

— Не двигаться! Руки!

Нет, это не шутка. Главное, голоса-то этого он никогда раньше не слышал. Гуломали поднял руки.

— Вот так... — сказал голос.

Гуломали встал с поднятыми руками.

— Я ж сказал: не двигаться!

— Ладно уж, — сказал Гуломали примирительным тоном, — не могу же я с поднятыми руками сидеть.

А голос молодой, думал он; кто бы это мог быть?

Человек за спиной, должно быть, задел палас, зашуршало, и Гуломали тотчас повернулся к нему, не опуская рук.

— Стой! — крикнули от двери, а взгляд Гуломали уперся в наставленный на него черный пустой значок пистолета. Да, это не шутка. Гуломали с трудом заставил себя отвести глаза от дула и взглянуть на того, кто держал пистолет. У двери стоял незнакомый смуглый парень в огромных грубых ботинках, военных брюках, простой черной рубашке. Волосы до плеч, чуть пробивающиеся усики. Глаза из-под густых бровей посверкивали угрожающе, но руки дрожали — значит, опыта маловато; увы, такие-то неопытные еще скорее могут пальнуть, с перепугу. Ну и ну! — думал Гуломали. Ночь вокруг, никого, дом на окраине. Неужто ему уготован такой глупый конец?

И тут — повезло. Скрипнула где-то дверь, шаги послышались, ночной гость на мгновение повернул голову на звук, но Гуломали этого мгновения хватило: в стремительном броске он успел выбить из рук парня пистолет, а остальное было просто; после недолгой схватки свалил парня, скрутил ему руки, прижал к полу посредине комнаты. Парень тяжело дышал, постанывал от боли.

Шаги между тем приблизились, зашуршал палас, вошел Сабир.

— Эй, в чем дело? — спросил он удивленно. — Кого это ты?

— Вот, пожаловал молодой человек... — сказал Гуломали с натугой. — Побеседовали...

Но Сабир увидал пистолет на полу, быстро глянул на обоих — дышат, как загнанные лошади, оба в поту — и все понял; поднял пистолет, осторожно положил на стол.

— Может, отпустишь его? — сказал он. — Теперь не уйдет.

Гуломали отпустил руки парня. Встал, уселся на стул, подвинул свечу так, чтобы освещала прищельца. Сабир стоял между парнем и дверью.

— Вставай... ты! — сказал Гуломали.

Парень неловко поднялся, размяная руки, сгорбился, отворачивая лицо от света.

— Ну! — сказал Гуломали. — Может, объяснишь, что это все значит?

Парень молчал.

— Я тебя спрашиваю! Язык проглотил? Или дать тебе разок, чтоб назад его выплюнул?

— Ну, дайте! — с вызовом сказал парень своим высоким, еще чуть ломким голосом. — Дайте! Что хотите делайте! Я вас не боюсь! Боялся — сюда бы не пришел.

— Это мы поняли, какой ты бесстрашный. Может, хоть скажешь: один ты явился, или твои дружки где-то рядом притаились? Которые не такие смелые! Ну? Скажешь — нет?

— Я один пришел, — сказал парень угрюмо. — Можете верить, можете не верить. — Помолчав, он добавил глухо: — Мне свидетели ни к чему.

— А! Ясно, — сказал Гуломали. — Выходит, ты террорист-одиночка. И что? На самом деле меня убить собирался? Или поугатать? И вообще — чем я тебе не угодил?

Парень снова замкнулся в молчании. Потом быстро повернул голову в сторону Сабира, взгляделся — и принял прежнюю позу.

— Ну? Будешь говорить? — Гуломали терял терпение, в нем вдруг закипела яростная злость на этого чертова молокососа. — Так за что ты меня убить хотел?!

Парень поднял на него глаза.

— Не вас! — сказал он.

— Не меня?! Явился ко мне, целился в меня, а убить хотел не меня! Интересно. Не меня — так кого же?

На скулах у парня заиграли желваки.

— Его! — сказал и мотнул головой в сторону Сабира.

— Совсем хорошо! Слыхал? — спросил Гуломали Сабира. — Его, значит! Ну, а его-то за что?

— За то... — сказал парень, сжав зубы. И вдруг выпалил отчаянно: — Пусть оставит в покое Зулейхо!

Гуломали в первое мгновение опешил — такого поворота он меньше всего ожидал. Потом глянул на Сабира — тот, казалось, переменился в лице, а может и нет, темно в комнате. На языке у Гуломали повисло насмешливое восклицание, но он сдержался.

— Слушай! — сказал он парню. — Ты вообще — кто такой? И при чем здесь Зулейхо?

— При том! — сказал парень.

— А все-таки? Ты-то — кто такой? — И пока он вторично задавал этот вопрос, в мозгу у него уже догадка мелькнула. Ну да... так, наверное, и есть.

— Слушай-ка, — сказал он. — А ведь я тебя, кажется, знаю.
Парень вскинул на него затравленный взгляд.
— Знаю, знаю, — сказал Гуломали. — Ведь ты сын доктора Сухайля, не так ли?
Парень молчал, на скулах опять желваки выступили.
— Тебя же старшие спрашивают. Будешь ты отвечать?!

Видно было: в парне происходит яростная внутренняя борьба.
— Это мой бывший отец! — наконец выдавил он.
— Так я и думал, — сказал Гуломали. — Бывший, значит! Интересно, как это отец может быть «бывшим».
— Так и может. Был, а теперь его для меня не существует!
— Это почему?
— Потому... потому что он трус... и позорно покинул родину! У меня не может быть такого отца! — Парень выкрикивал все это. — У меня другой отец! Приемный, но настоящий! Бесстрашный офицер. Он меня воспитал.
— И сюда послал?
— Нет! Сюда он меня не посылал. Он даже не знает, что я здесь. Но куда бы ни послал — пойду! Потому что люблю его! Горжусь!
Парень тяжело дышал. С полминуты длилось молчание.
— Послушай, — сказал Гуломали. — Только что дуло твоего пистолета глядело мне в лицо.
— Я не хотел вас убивать!
— Допустим. Допустим, ты хотел убить не меня, а вот его — моего самого близкого друга. Но, убей ты его, неужели б меня оставил в живых, а? Если б в твоей власти было! Ты же сам сказал — тебе не нужны свидетели?
— Раз вам так хочется, пусть будет по-вашему!
— Хм... Мне, положим, не очень этого хочется, но так выходит. Выходит, что не зря твой пистолет был в меня нацелен! А раз так, то я думаю — вправе я узнать, что у тебя на сердце? — Гуломали помолчал. — Я тебе вот что хочу сказать. Тебя обманули насчет твоего отца. Доктор Сухайль — никакой не предатель. Напротив, он замечательный ученый... и человек, достойный высокого уважения! Никуда он не уехал, он погиб. Его убили!

Юноша сверкнул глазами:
— Сочинить можно все! А доказательства? Почему я должен вам верить?
— Доказательства... доказательства ты получишь. Мы нашли дневники твоего отца, они были при нем убитом.
— Что? Вы нашли его убитого?
— Нет, убитого нашли не мы.
— А-а! Я так и думал.
— Молчи, мальчишка! Убитого нашли не мы — горцы, которые его и похоронили. А дневник передали нам.
— И где же он?
— Он передан в редакцию газеты, там его напечатают. И когда ты прочтешь...
— Угу! Я уже читал одну такую газету. Потом несколько месяцев ходил в лицее, не смея поднять голову! В той газете говорилось, что он бросил жену, ребенка, родину, от которой отрекся, — и бежал. А что будет написано в этой? Почему этой я должен верить больше, чем той? Газета! Одни лгут одно, другие — другое. — Он передразнил интонацию Гуломали. — Знаменитый уче-еный... уважаемый челове-ек...

Гуломали захотелось его ударить, он едва сдержался.
— Слушай... тебя, кажется, зовут Аурангзеб? Слушай, Ауранг... Я говорю с тобой от чистого сердца. Клянусь хлебом, тебя обманули! Не бери грех на душу, не порочь имя отца.
Глаза парня опять засверкали яростно:
— Это не я — это он опозорил мое имя!
Друзья переглянулись: говорить с ним, кажется, бесполезно.
Сабир сказал, глядя в землю, чтоб не встретиться с парнем глазами:
— Ауранг, ты пришел сюда убить незнакомого тебе, совершенно чужого человека. Скажи, сколько тебе лет?
Парень не ответил, только глянул на него брезгливо. Гуломали вскипел:
— Слушай, ты, молокосос! Человек, которого ты пришел убить ни за что ни про что, вежливо с тобой разговаривает, а ты даже не отвечаешь?! Чему тебя учили, ты, мразь? Ты вообще знаешь, что такое убить человека?
— Не беспокойтесь, знаю. И убивал не раз! И все они были врагами нашего великого Садра!

Ярость Гуломали вдруг улетучилась, в нем воцарилось ледяное спокойствие.
— Ну что ж, — сказал он. — Тогда и мы твои враги. Тебя не зря сюда послали! Не зря! Бери свой пистолет, стреляй, убивай! Ну?

— Никто меня не посылал!

— Посыла-али! Ты и сам, может, не заметил. Ну, глянь на меня, в глаза посмотри: я кто? Преступник? Предатель?

— Не знаю я! И не в вас я пришел стрелять, говорю же! В него! Сам я пришел, сам! Пусть оставит Зулейхо.

— Ну и сосунок же ты... А злой сосунок! Тот, что кормящую грудь до крови кусает. Или — нет! Просто ты глуп. Как же я не сообразил? У пистолета ведь врагов не бывает, ему все равно! На кого повернут — в того бабахнет. Так и ты — просто пистолет в чужих руках. Зулейхо! Да с девушкой тебя так же вокруг пальца обвели, как и с отцом! Может, скажешь еще — ты ее любишь? Если любишь — зачем человека убивать пришел? А если ты убийца — зачем тебе любовь?

— Не оскорбляйте! — крикнул парень срывающимся голосом. Он вдруг сделал движение к пистолету, но Гуломали загремел:

— Стреляй, стреляй! Убивай! Выбрал себе профессию, сын ученого! Видел бы твой отец — второй раз бы умер. — Он задохнулся, перевел дыхание. — Знаешь ты, кто это? — закричал он, указывая на Сабир. — Да ты его мизинца, волоска не стоишь! Я за него с тысячью таких, как ты, стал бы драться! Да он... он научил меня родную землю любить! А ты... ты ее позоришь! Называешь отцом подлого офицера, пославшего тебя убивать!

— Не оскорбляйте! — снова закричал парень, срываясь на визг.

В груди Гуломали словно вулкан извергался — померещилось ему, видно, только что ледяное спокойствие. Весь яростный, дрожащий, он вскочил и со свирепым видом пошел на парня.

— Бейте, убивайте! Терять нечего! — кричал парень рыдающим голосом.

— Во-он! Вон с глаз моих!

Парень смотрел на него расширенными глазами, не понимая или не веря. — Убирайся! Убирайся, чтоб я тебя не видел!

Парень попятился к двери, щупая рукой пространство позади себя, пока не ухватился за край паласа.

— Во-о-он! — кричал Гуломали вне себя.

То ли глаза Гуломали застлало яростью, то ли еще что — не увидел он, как этот гадкий недоросль выскочил: только коснулся паласа в двери — и сразу исчез, будто привидение. Еще мгновение слышен был стихающий топот ног — и все.

Гуломали вернулся к столу, задыхаясь. Черный пистолет так и лежал на столе, лоя вороной гривой отблеск свечи.

— Не стоило его гнать... Ведь мальчишка еще! И сын доктора Сухайля! Может, смогли бы его убедить, — сказал Сабир.

— Оставь ты! Что сын Сухайля — так потому и отпустил. А убедить — поздно его сейчас убеждать. И времени нам для этого не оставили! Из таких злобных недорослей, из гаденьшей этих, и создают все проклятые организации — «Родина», «Борцы за веру», «Львята». Не-ет, их словами не убедишь — неужели не понял? Отец у него, видишь ли, настоящий. Ах ты, дрянь! Дрянь, дрянь, дрянь!!! — Гуломали шумно выдохнул. — В руки таких «отцов»-офицеров весь лицей попал. Недавно у них в учебном корпусе без следа исчезли четверо наших агитаторов. А ты — убедить...

— И все-таки...

— Что — все-таки? Будь у нас, по крайней мере, эта тетрадь... Знает же он, наверное, почерк отца. Но ведь, как назло, она уже сколько месяцев валяется в редакции! Эх, будь время, поехал бы я в Кабул, устроил бы им хорошенький скандал! Головатыпы. Или — враги. Кто их знает, кто там сейчас в редакции сидит.

— Тетрадь — это еще не все. Мы сами...

— Опять за свое! Не зли меня, пожалуйста. Не зли! Сам чудом избежал только что дурацкой смерти — и сам же готов давать убийце уроки воспитания. Себя бы, черт возьми, перевоспитал лучше. И зачем ты, скажи, увлекся этой пучеглазой?

Лицо Сабир мгновенно закаменело от обиды. Он, не прощаясь, вышел, а Гуломали до половины ночи ворочался, терзаясь, что обидел друга. Но если б не этот проклятый щенок-убийца...

На следующее утро они разошлись по разным участкам трассы и встретились только в обед — там же, на трассе. Молча кивнули друг другу, сняли изрезанные колючками сапоги, уселись на зеленой траве. Гуломали заговорил первым:

— Сабир... ты уж прости меня, а? — Сабир кивнул. — Но хочу тебя все же спросить: ты что, Манзуру свою в самом деле забыл?

Сыр и хлеб были уже разложены на скатерке, Сабир разливал по кружкам горячий кофе из термоса. Поставил кружку Гуломали, налил себе, отхлебнул.

— Забыл! — сказал он наконец. — Глупое слово какое-то. Что я, ребенок маленький, что ли? Любил, любил — и вдруг забыл! И она тоже не карандаш на чертеже — взял резинку и стер. Годы с ней связаны, боль, радость — что, я могу ее

забыть? Не-ет. И еще недавно собирался я бороться за нее до конца — сам мне советовал!

— А теперь что?

— Теперь... Знал бы я — что теперь! Видишь ли, когда я сюда ехал — это ведь все в один узел завязано, — когда Министерство водного хозяйства меня сюда направило... Ну, словом, я тогда понимал: непросто мне бороться за свою любовь с этим самым Самадом Деряевым! Он парень не очень красивый, но умный, способный... настоящий парень. От своего ни в жизнь не отступится — или от того, что считает своим. А Манзура — я чувствовал — меня любит, а чего-то все-таки еще не решила. Чего? Этого я и не знал. И думал: в Деряеве дело. Он все бил в свою точку, одно ему помешало: они с Манзурой в науке лбом о лоб столкнулись! Ну я и решил — нельзя мне этим воспользоваться. Пусть время само решит. И уехал. Ну а здесь... тогда, ты знаешь, увидел Зулейхо, и все перевернулось.

— Что, стало уже не до Деряева?

— Смеешься, а я мучаюсь. Не могу разобраться, какой мой долг больше.

— Долг! Долг долгом, а чувства твои где?

— Еще недавно, помнится, ты мне внушал: главное — долг перед женщиной!

Ладно, ты не спорь — скажи, что бы на моем месте делал?

— Ничего б я на твоем месте не делал — не могу я оказаться на твоем месте. Ты же счастливчик!

— Остришь!

— Почему острою — серьезно говорю. Любят тебя — это, что, не счастье?

— И я люблю! А умом понимаю: Зулейхо ведь, в сущности, недоступна для меня!

— Это почему?

— Не притворяйся, сам знаешь.

— Не знаю — но допустим. Так ведь, если любишь, бороться надо!

— Опять бороться... И здесь бороться... Устал я везде бороться.

— Того гляди — ни с чем останешься. Потом не жалуйся!

— Что бы ни случилось, как бы ни вышло — Зулейхо всегда будет для меня светом, единственным светом!

— Если б человеку было этого достаточно! — сказал Гуломали, и в голосе его прозвучала горечь.

— Да, да... прости... И все же... как-то, знаешь, в последнее время стал я понимать верующих.

— Неудивительно, ты же у нас и сам в небесах паришь!

— Опять ты остроишь. А я без конца думаю, как быть, как поступить. Ночью не сплю — думаю. По ночам, ты же знаешь, все по-другому — и страх, и энтузиазм; все — без границ. Плюнуть, думаю, на всю дипломатию и остальное, увезти эту девушку, счастье ей построить... А утром проснешься — видишь: чистой же воды донкихотство!

— А она это знает? Понимает? Ребенок почти.

— Прекрасно она все понимает!

— Так тебе и сказала?

— Сказала! Глаза ее сказали.

— Ах, глаза-а! Столистник сказал: хоть и сто языков у меня — а говорить не умею.

— Плохо ты ее знаешь. Она умная, смелая... чистая...

— Ну, это она. Допустим — смелая, допустим — все понимает. Но решать-то — тебе! Ох, вспомни, недаром я говорил: за слишком красивой девушкой беда по пятам ходит.

— Тьфу! Плюнь через левое плечо!

— А, боишься!

— Ведь сам знаешь — судьбу дразнить не стоит. А что решать мне — ты прав, конечно. Решу, Гулом. Клянусь, решу. Как надо, решу. Только дай еще сроку немного.

Они замолчали, сидели, смотрели задумчиво вдаль — туда, где, они знали, за голубоватой дымкой течет, бушует в низинах Аму. Вечное движение — и вечная преграда, вечное единение — и вечная граница. Но, как говорит Хайриддин-бобо, Аму такая река, что ежели человек приходит к ней с благими намерениями — улыбается ему счастье, а если с дурными — пусть пеняет на себя, все у него прахом пойдет.

Шли дни, и Гуломали становился все мрачней и озабоченней; Сабир не рисковал заговаривать об этом, хотя чувствовал, что заговорить надо и что он, Сабир, в чем-то виноват перед другом. Был ведь у них разговор, и не один, да он все о себе, о себе, а по сути-то и личная беда, и сегодняшняя жизнь Коргара куда тяжелей, чем у него. Да Гуломали сам же не хотел ни о чем говорить, оправдываясь перед со-

бою, думал Сабир. Ну, не хотел, возражал он себе мысленно, а ты пробовал его разговорить? Нет! То-то. Он-то тебе помогал облегчить бремя, вникал в твои сложности, а ты? Только попрекал его тем, что он работу забросил. А каков бы ты был на его месте? Вот в том и заковыка, что не старался ставить себя на его место, смотрел на все со своего бугра. Что там у него творится, что созревает? Молчит ведь, только в прошлый раз сгоряча обмолвился об исчезновении четырех агитаторов в военном лицее. Наверное, были его товарищи по партии, а может, и близкие ему люди. А главное, такого уже немало, наверное, произошло, только он, Сабир, об этом не знает. И не слишком вникал до сих пор, занятый проектом да личными переживаниями.

Осенний, но еще жаркий день клонился к закату, когда Сабир, сидевший в своей комнатке за расчетами, услышал конский топот, оборвавшийся у соседнего домика. Кто это — к Гуломали кто-нибудь, или сам Гуломали? Он убрал со стола материалы по техническому и экономическому обоснованию проекта, которые заново просматривал, и вышел из комнаты.

Потный, плохо обтертый конь переминался, привязанный к колодцу. Сабир шагнул в комнату Коргара. Гуломали, не переодевшийся, в пыльной с дороги одежде, лежал на складной кровати. Он привстал при виде вошедшего.

— Привет! — сказал Сабир.

— Привет! Заходи.

— Ты лежи! Голодный, небось? И пить хочешь?

— Есть малость... я сейчас чай заварю!

— Лежи, лежи, я сам заварю!

И Сабир принял восторгаться с чаем. Оба молчали. Вскипела вода на спиртовке, душистый аромат свежесыпанной заварки потек по комнате.

— На, держи пиалу!

— А ты?

— И я. Ого, выпил уже! Давай налью. Есть будешь?

— Потом... — сказал Гуломали.

И они опять замолчали, втягивая губами горячую жидкость.

— Слушай, — сказал наконец Сабир нерешительно. — Неловко мне к тебе в душу лезть. А все-таки — что у тебя творится? Поделится бы — мы все же друзья. Я вот тебе про себя все выкладываю.

— Да, — сказал Гуломали.

— Что — да?

— Выкладываешь.

— Да что происходит?

Гуломали вместо ответа поставил пустую пиалу на пол и отвернулся — лег на раскладушке лицом к стене. С минуту висело в комнате тугое, нагнетавшееся, точно воздух в шину, молчание. Потом Гуломали вдруг дернулся, точно его что кольнуло, подскочил, повернулся лицом, сел на кровати.

— Ладно! — сказал. — В самом деле, чего в молчанку играть? Не хотел я тебя вмешивать... настроение портить. Пугать тебя, по правде говоря, не хотел. Но теперь тебе все равно уезжать. Так у нас пошли дела... не думал я, не гадал. За последнюю неделю потерял очень многих близких людей — кто погиб, кто исчез. В стране началась война... Да, да, настоящая война, где явная, где скрытая! Я мучился тем, что нахожусь далеко от места боя, — так теперь он сюда пришел, бой. Помнишь кишлак, где мы джиргу проводили? Пайки? Вчера Якубхан там устроил великую резню! Истребил половину жителей!

— Стой! Это ж кишлак твоего дяди!

— Ну да! Не волнуйся, дядя не пострадал! И дом его тоже. Пострадали другие. Двести десять человек! Мужчины, женщины, дети, старики.

— За что-о?

— Ты еще спрашиваешь, за что? Ты же был на джирге! Это еще не все: многих, кто не успел спрятаться, он угнал с собой в горы... может быть, в Пакистан. И такое произошло не только в Пайки. Такое происходит в стране повсюду. — Глаза у Гуломали запали, лицо почернело — а в первый момент, когда вошел, Сабир принял это просто за следы дорожной усталости.

— Слушай... что ж будем делать?

— Что ты будешь делать, ясно, — сказал Гуломали, полез в брошенный на пол рюкзак, вытащил какой-то пакет, протянул. Взяв его в руки, Сабир узнал фирменный конверт советского посольства. — Прислали тебе. Видишь — с пометкой «срочно».

Сабир вскрыл конверт, пробежал глазами вложенный листок, прочел вслух. Сабиру Тухтабаеву предлагалось прибыть в посольство «в полной готовности». Посольство часто вызывало специалистов, но — чтобы «в полной готовности».

— Отправят тебя домой, — сказал Гуломали.

— Но как же...

— Очень просто. Уедешь — и все. Ты ведь сам собирался!

— А ты?

Гуломали упрямо наклонил голову, глядя на него, и промолчал.

Сабира охватило предчувствие беды — грозной, неотвратимой.

Они обнялись. Крепко, по-братски.

— До утра у тебя есть еще время, — сказал Гуломали, — поезжай попрощайся с Зулейхо. И с дедом моим тоже, если хочешь!

— Неужели мы так и расстанемся? — сказал Сабир. — А как же наша работа?

— Работу будем продолжать — я здесь, ты там.

— Ты здесь...

— Да. Что ж делать, так вышло. Авось, еще доведем наше дело до конца! Заберешь с собой основные материалы. Да! Я скажу завхозу — возьмешь у него мотоцикл в Пайки съездить. Чтоб быстрее!

— Спасибо.

— Ну... прощай.

— Как? Мы разве больше не увидимся?

— Мне придется сегодня же, сейчас же, уехать по делам. Может, еще у Сардора встретимся? Но ты не спеши, оставь время для Зулейхо. Ну, ну, не горюй. Мы же еще молодые, верно? Никуда от нас эта жизнь не убежит!

Они снова обнялись.

Острое щемящее чувство охватило Сабира, когда, около часа спустя, он в последний раз помахал Гуломали рукой. Тот, со своим привычным рюкзаком, в ладно сидящем седле, кивнул головой, повернул коня, взмахнул камчой — и умчался. Какие разные ощущения могут порождать в нас одни и те же привычные звуки! Сейчас удаляющийся топот копыт звучал для Сабира похоронной музыкой. Увидятся ли они еще? Что за чушь, оборвал он себя. Увидятся, конечно, увидятся!

Мотоцикл вздымал на широком проселке ярое, нескончаемое облако пыли. Еще издали Сабир заметил у перекрестка, где сворачивать на Пайки, неподвижную человеческую фигуру. Скоро стало видно: женщина. Она стояла одиноко, покрытая поверх одежды темной старушечьей шалью. Кто б это мог быть? — думал Сабир с проснувшейся вдруг тревогой.

Это была Зулейхо. Он узнал ее, когда подъехал уже совсем близко, — она побежала навстречу. Зулейхо-то узнала его первой, хотя никогда не видела ни на мотоцикле, ни в мотоциклетном шлеме. Он резко затормозил, соскочил в пыль, положил, почти бросил мотоцикл наземь, тоже пробежал несколько шагов. Они встретились, Зулейхо положила ему голову на грудь.

— Почему вы стоите здесь, на дороге?

Девушка подняла к нему милое, заметно похудевшее лицо, на котором огромные глаза казались еще больше. В них была безысходная тоска.

— Я уже второй день сюда прихожу. Гуломали-ака передал — вы уезжаете...

Господи боже мой! А он-то, пока она стояла здесь вчера и высматривала каждую движущуюся точку, сидел у себя и в который раз просматривал бумаги, чертежи, сводки, потом разбирал кучу скопившихся ненужных вещей, решая, что взять с собой, что бросить. Жгучие чувства вины, стыда, жалости едва, казалось, не расплавили ему сердце. Ну почему, почему не может он взять в ладони этот чистый, прекрасный цветок — и увезти с собой? Почему?

— Зулейхо... — сказал он тихо, не в силах выразить всю переполнившую его нежность. — Не хотите прокатиться? Ветерок...

— Идемте!

Они неслись на мотоцикле по спускавшейся вниз дороге, вдоль высоких пастбищ. Зулейхо крепко обхватила Сабира за пояс, прижалась сзади. И в этот час, грозивший расставанием, может быть навсегда, ему казалось пределом желания вот так ехать куда-то, с прижавшейся к нему девушкой, лишь бы не отрываться от нее, лишь бы ее не утратить, не потерять бесследно в неодолимом круговороте событий. Верст через пятнадцать в похолодавшем встречном потоке почувствовалось приближение большой реки. Они остановились на обочине. Вначале, когда смолк треск мотоцикла, для их полуоглохших ушей наступила, казалось, великая и всеобъемлющая тишина; но вскоре звуки вернулись — и отдаленный глухой гул Аму, доносившийся как с неба, и на его немолчном фоне серебряное пенье жаворонка. Они пошли по скошенному полю — медленно, без цели. Потом остановились, огляделись.

— Сабир-ака, Сабирджан, что же теперь будет?

На ее лице было отчаянье, смутный блеск надежды.

Он глядел, не отвечая.

— Сабирджан-ака! Вы уедете — а я? Что же — я? Вы сюда вернетесь?

Она заплакала. Он чувствовал себя чудовищем, но не мог сказать ни слова. Этому лицу, этим глазам он соврать не мог, а правды не знал, действительно ли сможет вернуться, разрешат ли ему, пустят ли сюда? А если не разрешат? Она каким-то усилием остановила рыдания, проглотила слезы, сказала изменившимся голосом:

— Вы знаете, что хочет сделать мой отец?

— Что? — спросил он пересохшими губами.

— Сначала говорил: если власти отберут землю — уйдет в горы. Теперь, после резни, — вы знаете про резню, про Якубхана, ужас что было, знаете? — Сабир кивнул. — Теперь говорит — не будем ждать этой реформы, уйдем сейчас — и вернемся с муджахидами...

— И что... он и вас хочет забрать?

— Всех! И меня. Мне кажется, я ему там зачем-то нужна. А я боюсь! Так боюсь, Сабирджан-ака! Он отдаст меня кому-нибудь! Кому-нибудь из своих! — Она зарыдала.

Сабир обнял ее, прижал к себе, гладил и целовал дивные, пушистые, пахнущие, как ароматная трава, волосы, и она чуть успокоилась.

— Бобо Хайридин приехал. Был у нас. Отец и его уговаривал уехать. Но бобо — ни в какую: мы, говорит, уже однажды бежали с родной земли... родину потеряли, сына потеряли, все потеряли! Если, говорит, во второй раз предам землю — не примет она меня потом! И стал сам отца уговаривать. И я молила, и матушка. Бобо ему говорит: вас и не тронут, речь о заминдарах, у кого тысячи и тысячи джарибов! А он: забыли, что говорил мой племянничек? Бобо ему: да это он в запале! А отец: он в запале и землю отберет, если дадимся! Такие, как он, все и запалили — весь пожар. И давай ругаться! Он теперь такой стал — отец. По ночам приезжают люди — гонцы от Якубхана, видно. Он с ними уезжает, возвращается утром, глаза кровью налиты. Мы все устали. Страшно нам — сил нет!

— Зулейхо! — сказал Сабир. — Я все молчал, потому что думал, как сказать, как объяснить вам. Не было б для меня большего счастья, чем забрать вас с собою! Навсегда. Но сейчас это невозможно. Это нельзя сделать в один день, а я должен ехать! Не могу не ехать!

— Я понимаю, понимаю!

— Знаю, что понимаете! Вы не только самая прекрасная, самая замечательная — вы умница! Клянусь, я сделаю все, чтоб вернуться к вам... за вами! Все, что только смогу! Мне нет жизни без вас, Зулейхо!

Она подняла голову, посмотрела на него долгим взглядом. В глазах ее возникло и разрасталось сиянье.

— Я вам верю, Сабирджан-ака! Потому что, когда вы рядом... или когда думаю о вас... ведь такое горе вокруг... и у меня... а я чувствую, что и счастья такого, как во мне, никогда еще не знала!

— Зулейхо... любимая...

— И знаете — как ни горько, а я ведь рада, рада, что уезжаете. Здесь опасно для вас! А я подожду, подожду. Лишь бы вы были хоть где-то. А я терпеливая. — Губы у нее задрожали, но она остановила дрожь. — Я вас — пускай сгорю — не забуду! Только и вы у себя... на том берегу... думайте обо мне! Приходите к Аму, смотрите или слушайте — и думайте!

— Клянусь!

Она прикоснулась к его руке — нежно-нежно. И значительно, словно передавала в этом прикосновении что-то важное. Он так и понял. И молчал — будто слушал. Потом она отняла руку — и улыбнулась: милой, прощающей, любящей — и чуть виноватой улыбкой. Сказала тихонько:

— Я зна-аю... кусочком души вы уж там, у себя.

— Родина ведь, Зулейхо. Там у нас просторно. Летишь самолетом — а внизу степь без края... пашни, поля... голубые каналы. И водохранилище у нас — где мы живем — такая голубая вода! Хлопок уже бутоны завязал.

— Бобо рассказывал мне о Сурхане. Я слушала, как сказку.

— Это не сказка. Это быль. Земля наша. Но... — Он запнулся. — Я знаю, как у вас сейчас трудно, страшно, — так ведь у нас тоже не сделалось все сразу, чудом. Моего деда убили басмачи. Отца тяжело ранили в последнюю войну. Он вернулся — а через шесть лет умер от ран. А лет ему было — как мне теперь! Может, ваш путь будет короче? Проще? Зулейхо, ведь я приехал сюда, чтоб и у вас так стало, пришла голубая вода. Я вернусь, вернусь — довершу, что задумано.

Они повернули назад, к дороге, но Сабир остановился:

— Я ведь чуть не забыл... — Он полез в карман, вытащил серебряный флакончик для сурьмы с изображением Шивы. Флакончик попался ему однажды на базаре, на берегу Кабулдарьи. — Дайте руку... — Она протянула раскрытую ладонь. — Это вам, на память!

— Ой, что это? Какой хорошенький! Красивый какой! Я всегда такой хотела. И снова в ее глазах, на ее влажных губах возникло сиянье.

Подойдя к мотоциклу, она остановилась, оглянулась, точно вбирая взглядом поле, по которому они ходили, потом повернулась к нему. В глазах опять стояли слезы.

— Ну, почему... почему... почему вы должны уезжать?!

Зулейхо попросила, чтоб он высадил ее на том перекрестке, где они встретились, — не подъезжая к кишлаку. Он уже мчал по другой дороге, к Мазари-Шерифу, а ее тоненькая фигурка неотступно стояла перед глазами, заслоняя пронесившиеся мимо картины. Старенький мотоцикл летел и трещал, гремел на пустынном проселке, как ракета-носитель, и встречный ветер понемногу остудил Сабира. Засушливые равнины обочь дороги напомнили ему былую Каршинскую степь — те же тамариск, гармала, осока. Только на западе встречается песчаник, где не задерживается вода, и потому на этой окраине Каракумов немало безжизненных земель, где нередко пирует, разгуливает «афганец».

Сабирджан пересек холм, въехал в темную уже тополевую рощу на окраине Мазари-Шерифа. Времени оставалось мало, но не мог он не попрощаться с Садыком Сардором. С первой же встречи старик показался ему живым символом этой страны, всего лучшего, что в ней есть, всего, что здесь отложилось и навсегда останется в сердце Сабира. Старик был так же прям станом, несмотря на древний возраст, так же молод душой. Да, символ символом, подумал Сабир, но ведь Сардору уже за восемьдесят. Не свалили ли его горестные события в кишлаках и в племенах — его, так тесно, тысячью нитей связанного с судьбами его народа?

Сабир оставил мотоцикл в тополевой роще, отряхнулся, пошел по знакомой улице. Старая усадьба Сардора была пуста — ворота настезь, ни света, ни звука. Сабир вытянул бадью из колодца, долго и жадно пил, потом отпустил бадью, крикнул громко:

— Есть кто?!

Ничего не услышав в ответ, он зажег карманный фонарик, светя, оглядел виноградные шпалеры, двинулся к главному дому, поднялся на ступеньки, осветил через стекла знакомую веранду. Книжные полки, кресла, столик... На столике открытая книга, даже яблоко надкусанное — все на месте, только людей — никого! Он тронул дверь веранды — она была незаперта. Сабир вошел, двинулся к двери комнаты, где ночевал Сардор. Дверь и здесь лишь приоткрыта. Сабир распахнул ее, ступил на порог — и фонарь едва не выпал у него из рук! На одеялах, расстеленных на полу, лежал, вытянувшись во всю длину, Сардор, весь белый, глаза открыты, неподвижны. Сабир, задержав дыхание, повел фонариком по комнате. Вот каса рядом на ковре, флакон с лекарством, знакомая бархатная феска...

— А-а, сынок, это ты... — Голос был слабый, как дуновение ветерка.

Сабир вздрогнул. «Жив, слава аллаху!» Он вздохнул облегченно:

— Ассаламу-aleyкум, уважаемый Сардор! Я уж испугался. Что с вами, вы же так рано не ложитесь?

Старик слабой рукой провел по лбу — пытался вытереть пот.

— Что случилось, Сардор? И во дворе и в доме — никого. Один вы, что ли?

— Один, сынок... один... Увели моего единственного...

— Увели? Кого увели?

До Сабира не дошел смысл его слов. Он поправил подушку под головой больного, налил было в пиалу ему холодного чая, но старик отрицательно качнул головой.

— Кого увели, Сардор?

— Значит... еще не знаете...

— Что?

— Что с вашим другом...

— С Гуломали? Что стряслось?

— Увели моего единственного... — повторил старик, как в бреду; голос стал еще слабей, казалось, большой вот-вот впадет в беспамятство. — Один я... один... совершенно одинок...

— Сардор! Господи боже мой... Сардор! Вы меня слышите?

Старик вроде очнулся.

— Утром... — сказал он. — Утром, да... ни с того ни с сего — пришли, арестовали.

— Муджахиды?

— Не-ет.

— А кто? Неизвестные?

— Известные... известные... Что происходит — я не понимаю. И как назло — скрутило ноги. И голова, голова...

— Кто же были эти люди?

— Секретная служба.

— Из старой секретной службы?

— Старой? Почему? Из новой... свои... нового правительства...

— Вы что-то путаете, Сардор! Господи, ну и напугали вы меня. Если действительно свои — значит, не арестовали, тут другое! Может, вызвали по неотложному делу.

— А-рес-то-ва-али. Ты бы видел... Ты бы видел, как, сынок... А всем остальным... кто в доме... велели вон! Я один...

— Но что же это значит, Сардор! Ведь правительство и состоит из таких, как Гуломали, из его соратников! Их секретная служба может арестовывать врагов — это понятно, их тут хватает! Но Гуломали...

— Не знаешь всего, сынок.

— Что тут знать? Кто не знает Гуломали Коргара? День и ночь служил новой власти!

— То-то и оно... то-то... и оно. Два дня он места не находил... Говорю — что с тобой?.. Молчит. Потом: бобо, говорит... арестовали моих товарищей... честных... активных деятелей. За что, говорю. Не ответил... может, не знал. Но чуял... чуял — его очередь.

— Это недоразумение!

— Нет, сынок... Тут не то... Он прощался... Такая в глазах тоска, безысходность. Увели... я и свалился.

— Но все ваши-то где?

— Я ж говорю, велели уйти.

— И все послушались?

— Не-ет. Некоторые пошли узнать. Или не узнали еще — или узнали... плохое. Боятся сказать.

— Успокойтесь, Сардор! Ничего плохого быть не может! Уверю вас! Это... это какая-то ошибка. Бывает... везде бывает: революция! Ошибка выяснится — и Гуломали вернется, живой и здоровый! Вот увидите! — Старик был совсем плох, надо было его успокоить, и Сабир старался придать своему тону возможно больше уверенности; но внутри росла и трубила тревога. Не так все это просто. Нет... известно, какие бывают иногда ошибки и чем кончаются. Но старик, кажется, прислушался к нему.

— Спасибо, сынок... спасибо... хочется верить тебе. Ты молодой... больше понимаешь... У нас было иначе: враг — враг, друг — друг.

Хотя времени было уже в обрез, Сабир решил остаться до утра: бросить старика одного в таком состоянии было невыносимо. Но тут в дверях робко появился старый слуга: прежде наступления темноты вернуться в дом он не решился. И Сабир, дав ему необходимые наставления и наказав во что бы то ни стало привести к старику лекаря, пошел прощаться. Старик опять лежал в полузабытьи, но оживился, пока Сабир повторял свои увещания и утешения!

— Я еду в Кабул и там все выясню! — сказал Сабир уходя, и распростертый Сардор пробормотал в ответ:

— Спасибо, сынок... дай тебе бог удачи.

Но выяснить в Кабуле ничего не удалось. Хуже того, в посольстве сказали, что и выяснять-то он ничего не вправе. Сел в самолет он с горящими ссадинами в душе: Зулейхо... Гуломали... Садык Сардор...

Два года я ждал этого дня. Два года! Сколько раз снилось: иду к самолету лететь домой — легкий, свободный, счастливый. Сколько надежд, сколько терпения! И вот этот день наступил, а во мне, кажется, только горечь, только страх за остающихся, только стыд собственного бессилия. Радость возвращения домой — она еще обьявится, она, конечно, возьмет свое, но пока ее место занято, вход воспрещен. Даже в посольстве, где сладкое «поехать домой» заменено сухим «возвратиться в Союз», — даже здесь две девушки-секретарши смотрели на меня с жадной завистью, чуть не со слезами. Я же, который, казалось бы, должен завидовать самому себе, который недавно еще, после упреков Гуломали, втайне рисовал себе картины домашнего блаженства, — сейчас и не думал о родном доме. За спиной у меня, как черный колодец, зияла беда сроднившихся со мною людей.

Может, виною было, что, привыкший все-таки к точным цифрам расчетов и сроков, я очутился в чудовищном круге неопределенности? Все ведь было трагически неопределенным: судьба работы, судьба близких, моя собственная судьба. Если б хоть можно было на что-то воздействовать — но нет, ничто, кажется, от меня

не зависело, все оставалось как бы за пределами этого рокового круга. Неясные сроки, туманные аргументы, смутные обещания, неоправданные надежды... Так казалось мне, пока я садился в самолет, пока наклонялась под нами эта горько полюбившаяся земля моих друзей, делалась видна во всей своей пестрой и величественной красоте — и уходила, уходила, исчезала за облаками. Я поглядывал вниз, в распротершиеся за окошком бескрайние, белоснежно-пуховые поля, и думал о нашем проекте. По правде говоря, все последнее время он представлялся мне сенсационно удачным — но что толку в любом проекте, если он практически неосуществим?

Правда, мне тут же приходило в голову, что ведь ни в посольстве, да и нигде еще никто толком проекта не знает: мы с Гуломали покамест держали свое первое открытие, свое рождающееся детище в относительной тайне; в посольстве и решили: работал человек два года, ничего до конца не довел — и хватит. Да нет же, возражая себе, о тебе же заботятся — ведь действительно опасно, Гуломали исчез, группа, конечно, опять распадется, надеяться сейчас на что-либо вроде хашара просто смешно. И, наконец, ты ведь сам хотел поехать домой!

«Счастливого пути! — говорили мне девушки в посольстве, глядя на меня с откровенной завистью. — Скоро дома будете». Но что они знали о Зулейхо? О Коргаре? О проекте?

Неблагодарное ты все же существо, говорил я себе, ведь домой едешь! Домой! Мать увидишь! И я представил себе милую мою маму, с опаленными от вечной возни у тандыра бровями. Казалось, почувствовал этот привычный, любимый запах родного дома, с ароматом свежесдобитой лепешки. Брат, конечно, придет. Тут же явится, с ног до головы покрытый степной пылью, такой же шумный и резкий, как и его «газик». Он заведует отделением совхоза, но в свободное время обожает беседовать о глобальных проблемах. Однако, главный его конек — Аму. Как и у меня, впрочем. Провожая меня в Афганистан, он сказал с горечью, вместо доброго напутствия: «Теперь с той стороны еще начнете, значит нашей Аму — конец». Вечером вернется племянница моя Лола. Она вспыхнет, как мак, побежит ко мне со всех ног, побросав на ходу книжки, — и тут же шепотом начнет рассказывать, что видела недавно Манзуру, да, да.

Манзура! Нелегко мне будет с ней объясняться. Если, конечно, потребуется объяснение. Ведь два года прошло... два года!

...Вот я уже, наконец, дома, и все почти так, как я сто раз представлял себе на том берегу; брат мой настырно расспрашивает меня обо всем, в первую очередь о подробностях революции в месяце Савр, а потом о проекте «Большой Аму» — откуда он только прослышал о нем! О том, как там народ живет («Хуже нас? Ну, ясно, хуже, откуда им!»). Наконец, о наших изысканиях.

И мать не спит, ходит за мной, глаз не сводит.

— До каких же пор будешь ты скитаться по полям да по степям, до каких пор — ты же не из семьи кочевников, правда?! Все твои ровесники уже обзавелись семьями.

И пошло-поехало — разговоры, разговоры, иные вперемежку со слезами. Смешные и таинственные истории рассказывает только Лола.

...Утром я проснулся обновленный. Так мне хорошо спалось, что, против обыкновения, кажется, и не снилось ничего. Или просто я в своих скитаниях разучился нормально спать? Вот лежу на широкой супе, на голубом айване, подо мной белоснежные простыни, под головой мягчайшая пуховая подушка, и рядом сидит мать, подперев кулачком подбородок. Сидит и смотрит на меня, словно и не ложилась, так и просидела всю ночь. Я только теперь замечаю, как сильно она поседела — скоро голова ее будет белой; как детсадовский халат, что на ней и нынче. И, как обычно, от нее исходит запах свежего хлеба.

— Вы затопили тандыр, мама?

— В детском саду. Сейчас тандыр установили там, я пеку хлеб и для детсада, сынок. — Она говорит с обычной своей мягкой интонацией, не то оправдываясь, не то уговаривая меня в чем-то, а может быть — не желая меня окончательно разбудить.

— Что ж меня не разбудили? Я б огонь разжег!

— Ну что ты, сынок, только приехал, усталый... после двух-то лет. Что ж, сама не разожгу? Спи, отдохай, почувствуй свой отпуск-то.

Она меня погладила, поцеловала в лоб. Я был младшим в семье, мать всегда меня баловала, пока я был около, и сейчас мне стало стыдно, что она трудилась не покладая рук, пока я дрых тут, на голубом айване. Стыдно — но как-то сладко-стыдно. Я сообразил: брат с женой давно на работе, Лола в школе, мы с матерью дома одни, и ей, наверное, думается, что на недолгий срок я снова принадлежу только ей, как когда-то в моем детстве. Сейчас, конечно, она станет кормить меня чем-нибудь самым моим любимым, начиная от чая с каймаком. И действительно, ведь это уединение ненадолго, через час-другой начнут приходиться родственники

и знакомые, весь день будем принимать гостей. Черт возьми, это не по мне уже, отвык я, позавтракаю, посижу чуть с матерью — и пойду по совхозу!

Но глупо было думать, что я таким образом скроюсь от обрадованных моим приездом или просто любопытствующих земляков; около одного из полевых станков меня перехватил совхозный парторг и потащил в контору. Апрельская революция в Афганистане сейчас прямо актуальнейшая тема, сказал он, клуб будет битком набит, удастся послушать очевидца таких событий! Я скоро понял, что бесполезно отнекиваться, еще бесполезней объяснять, что я вовсе не очевидец, занимался другими делами и, как они здесь, все знаю с чужих слов. Парторг и слушать не хотел, считал эти слова плодом моей излишней скромности или даже неуважения к родному совхозу.

Господи, грех говорить это в первый же день, но зачем я сейчас сюда приехал — зря тратить дорогое время, необходимое для проекта, для того, чтоб подвести под него солидную научную базу, закончить расчеты? Надо ехать в область, или в Ташкент, в институт, и в министерство, и во «Взрывпром», встречаться со специалистами, консультироваться, советоваться, что-то решать.

В тот же день я мимоходом узнал, что Манзура появилась в области. Значит, все-таки появилась! И меня охватили волнение и беспокойство, словно дальнейшее зависело от того, приедет она сейчас туда или нет.

Два дня спустя я был уже в области. И днем, словно сговорившись, мы встретились на старом нашем месте, возле филиала института. Как и я ее, Манзура заметила меня издали. Она чуть наклонила голову и зашагала по тротуару взад-вперед, в тени могучей чинары. Знакомая фигура, эта нетерпеливость движений, тоже такая знакомая со студенческих лет...

— Это вы, Сабир?! Что за ветер занес вас в родные края? Со счастливым возвращением...

— Спасибо... спасибо, Манзура. — Я чувствовал себя так, словно это было и впрямь назначенное или, во всяком случае, давно и жадно ожидаемое мной свидание. Что же это со мной, черт возьми? Кого я люблю? Ту? Эту? Манзура протянула руку, и, коснувшись ее пальцев, я ощутил опять-таки знакомое острое волнение, будто нечто в груди сжалось в кулак и дрожит от невольного усилия. — Как вы тут? — спросил я неловко. — Я уж, действительно, так давно дома не был, думал, никто меня здесь и не ждет.

Манзура рассмеялась.

— Тонко сказано. Если вы имеете в виду меня, то я, как видите, так и стою здесь со дня вашего отъезда! — Она отсмеялась, убрала улыбку. Глаза прикрыты черными очками, скулы опалены степным солнцем, поверх белого платья — коричневая безрукавка, и сумочка коричневая. Никогда она не пыталась нравиться, носила, что захочется, но всегда это ей оказывалось к лицу. — Ладно, — сказала она, — шутки в сторону, как вам выбраться-то удалось? Без потерь? Такое там нынче смутное время.

— Мне лично — без потерь. Плохо, что работу мы не завершили. А у вас что?

— Нормально.

— Сдал Самад свой проект?

— Да-да...

— Значит, пойдет вода на залив Сайлык. А вы сами что? Дома как?

Она мгновение помолчала, поджав губы. — «Дома? — явно сказала она этой паузой. — Дом мой был вам по пути. Могли поинтересоваться на месте».

— Хорошо, — сухо ответила она. Мы еще мгновение помолчали, и она добавила другим, снова чуть шутивым тоном: — Хорошо, что произошла революция в Афганистане, не то мы б вас так тут и не увидели. За полгода — ни письма, ни весточки.

Перемирие? Или, напротив, наступление? Я предвидел такую минуту объяснения, и больше всего ее и боялся. Как это называется? Минуты правды? Момент истины? В том вся и беда: снова я знаю нетвердо, где она, эта истина. И ведь что ни скажу, как ни поверну правду — все будет ей оскорблением. Меньше всего мне хотелось обидеть ее — умную, красивую, честную.

— Не мог я писать все последнее время, Манзура, — сказал я хмуро.

— Ну да, — сказала она быстро, — это вообще трудно... особенно, если кто-нибудь мешает.

Знала бы она, как точно попала в цель! Но я чувствовал: возрази я сейчас, засмейся хоть самым ненатуральным образом — «кто, мол, мог мне мешать?» — и она соорудит ироническую гримасу или недоверчиво хмыкнет, но, при всей ее чуткости, поверит. Потому что хочет поверить, ждет этого опровержения, ради него и вопрос, может быть, задала. Знала ведь свою прежнюю власть надо мной! Прежнюю?

— Я, правда, не мог писать, Манзура, — сказал я так же хмуро. — Там было такое... такая ситуация... так сложно и напряженно... Рассказывать об этом сейчас

долго. — Ведь в самом деле было так, думал я, и дневник доктора Сухайля возник у меня в памяти. — Поверьте, целая детективная история... которая, кстати, не кончилась. — Пока я произносил эти слова, мне вдруг пришло в голову, что арест Гуломали мог быть продолжением истории с дневником. Почему, нет, собственно? И как я раньше не подумал? И я добавил: — Каков будет конец истории, жизнь еще покажет.

— Ладно, — сказала Манзура. — И это — утешение. — В голосе ее прозвучала неожиданная нотка усталости, безразличия. Словно услышала не то, что я сказал, а то, что хотел скрыть.

Я вернулся домой и два или три дня слонялся, не находя себе места, маясь от тоски, от безделья, не в силах начать работать, уgomонить раскачавшийся маятник чувств.

В конце концов вывел меня из моего состояния шумный мой, вечно озабоченный делами и проблемами брат. Вернувшись на третий день с работы, сняв свою соломенную шляпу и отирая пот со лба, он сказал:

— Ну отпускник? Чем развлекаешься? Эти ирригаторы опять скандал затеяли, слышал? Ты не поедешь?

— Куда? И что еще за скандал?

— Да все тот же, о массиве Сайлык. Там уже новые совхозы закладывают, чуть ли не дома строят, а они все еще спор не кончили! Все еще ре-ша-ют.

— И где они собираются?

— В области! Мне приятель сегодня сказал, инженер, он у нас диспетчером на водохранилище. Его тоже пригласили! Видно, серьезная будет драка, сама Сумбуль-ая Садриева прибывает.

— Сумбуль-ая? — Я вскочил с супы и выключил телевизор, который начал было смотреть. — И где в области — не знаешь? В обкоме? Или в филиале института? Или, может, в тресте водных сооружений?

— Это уж не знаю! Ну, да в области скажут.

Казалось, меня, одурелого, окатили свежей студенной водой.

На следующее утро первым автобусом я ехал в областной центр и думал уже только о предстоящем совещании, пытаюсь представить, о чем пойдет спор. О том, в курсе чего я был еще до отъезда в Кабул, или в центре внимания уже новые проблемы? Но главное — Сумбуль-ая. Я готовился к встрече с ней, ждал ее так долго, мысленно выстраивал свой рассказ, перебирал все главные и второстепенные вопросы, которые должен ей задать. Однако, думал я, спор предостит нешуточный, если она сама пожаловала на совещание. Она много разъезжает по своим любимым степным зонам, но совещаний не любит, считает, что там много времени тратится по-пустому. Но уж коли совещание важное — значит, в обкоме.

Так и оказалось. Площадь перед обкомом была забита машинами, в обширном вестибюле переговаривались, сидя без дела за маленькими столиками, несколько человек, которым полагалось регистрировать участников. Я назвалса, меня записали и проводили к двери в актовй зал. Осторожненько, отворив тяжелую дверь, я шагнул в полутьму — и сразу же уперся взглядом в Манзуру! Она выступала, стоя на трибуне... Я даже споткнулся о ковер от неожиданности, с соседних кресел недовольно оглянулись; я отыскал глазами свободное место, тихо прошел к нему и сел.

На Манзуре был костюм мужского, скорее, покроя, для полноты впечатления даже узенький галстук был повязан на шее, поверх кофточки со стоячим воротничком. Пока добирался до места, я уловил лишь несколько слов ее выступления, и только усевшись, окончательно «включился».

— Не случайно, — говорила она, — вот уже девять месяцев из ТЭО не возвращаются материалы изыскательской группы. Да если б их и вернули, я уверена, товарищи: этот проект не обеспечит будущего массиву Сайлык! Ибо товарищи из группы до сих пор не признают очевидной вещи: необходимо максимально снизить объем перекачки воды из Аму насосами.

— Вы, наверное, забыли, — громко сказали из зала, — мы живем на правом берегу!

— Я не забыла. Отнюдь! Но считать, что на правом берегу можно обходиться только с помощью насосов, да еще подводить под это теоретическую базу, в корне неправильно! И я сегодня вышла на трибуну, чтобы это доказать. — И Манзура подошла к карте. Да, это был уже знакомый мне спор — хотя, конечно, на новой стадии, и я снова отвлекся, не прислушиваясь к словам Манзуры, а только глядя на ее такую знакомую стройную фигурку. Когда-то сердце начинало ныть, едва я замечал эту фигурку с ее характерной походкой где-нибудь в дальнем конце улицы. Но тут голос Манзуры зазвучал громче, и я прислушался: — Я наглядно представляю себе проект первой группы и, опираясь на точный анализ и расчеты, могу сказать определенно: песчаные наносы одних только ведущих к насосам каналов не позволят обеспечить рентабельность массива по крайней мере в течение бли-

жайших десяти лет! Товарищи, мы же имеем дело с Аму! На очистку водных путей потребуется ежегодно тратить миллионы рублей! И мы говорим об этом не в первый раз.

Тут я понял: речь идет о группе Самада Деряева. Вот оно что! Старый спор — но не думал я, что так обострится! Да, а где же сам Самад?

Пробежав глазами по залу, я его не увидел. Может быть, просто не нашел: с того места, где я сидел, видны были только затылки и плечи. А вдруг да в президиуме? Нет, в президиуме сидели только трое. Любушин, секретарь обкома, я его знал, был у него на беседе, когда уезжал в Кабул, секретарь прекрасно говорил на местном, сурханском, диалекте и производил впечатление человека умного. Справа от него сидел незнакомый молодой парень, видно, руководитель одного из новых хозяйств, создаваемых на Сайльке. А слева — Сумбуль-ая. Давно я ее не видел! Она постарела, казалась меньше ростом — может, отсюда, издалека. Локоны седых волос, выбивавшихся из-под старого берета, все так же резко контрастировали с загорелым лицом. Сидела, не отрывая глаз от каких-то бумаг, и вроде даже не слушала.

— Сайлык недаром называют Сайлыком, товарищи! — говорила между тем Манзура. — Ведь это значит не просто «ложбина», а и «долина горной речки!» Массив возник вокруг одного из древних рукавов Аму. Это известно из истории — и подтверждается данными современной науки. Наша изыскательская группа провела длительное и тщательное обследование этой засушливой впадины и установила: несколько столетий назад Амударья сменила в этом месте свое русло и потекла по южным низменностям, после чего рукав Сайлык высох. Я давно занимаюсь проблемами древних русел. Почему река течет по ее сегодняшнему руслу? Я имею в виду вообще реку, товарищи! Не Аму, не Днепр — вообще реку. Многие реки за свою древнюю историю перепробовали не одно русло, меняли их в силу разных причин, так что историческое русло реки, может быть, выбрано ею из десятков других! Река, в сущности, выполняет для себя ту же работу, какой занимаемся мы, изыскатели, только делает это на протяжении столетий, тысячелетий... И она, заметьте, выбирает не только маршрут, не только наилегчайшую дорогу к устью — она, так сказать, выверяет гидрогеологию своего ложа! Выверяет долго и тщательно, методом проб и ошибок, течет там, где фильтрация и водопоглощение — минимальны. Разве мы не вправе воспользоваться этим древним опытом самих рек, товарищи? Мы рассматривали проблему эксплуатации древних русел со многих сторон, и сегодня, мне кажется, осветили ее достаточно полно. На этой основе мы и разработали свой проект орошения массива Сайлык. Мы уверены, что наш проект будет не только самым дешевым — об этом свидетельствует простая арифметика! — но и, что гораздо важнее, самым надежным. Да, здесь водный путь длиннее, но он не требует бетонных работ и полностью окупит себя за два года.

Умница, Манзура, какая умница! Ведь это тот самый клад, который и я откапывал все последнее время. Выходит, мы шли одной дорогой, рядом, и пришли к одному и тому же. Вот она и сработала — теория старых русел.

Манзуру слушали внимательно, в полной тишине, но едва она кончила и пошла со сцены в зал, в зале возникли оживление, шум, несмолкаемый гул голосов. Любушин поднялся, позвонил в колокольчик, но разговоры по-настоящему так и не унялись. Тут я и увидел высокую фигуру Самада Деряева. Он встал с места в одном из передних рядов, его густые черные волосы, как всегда, блестели, словно лакированные. Он просил слова, но стал почему-то говорить с места, обращаясь не к залу, а к президиуму. Большая часть его слов до меня не долетала, просто не слышна была; по правде говоря, я не слишком и прислушивался, я ведь хорошо знал все, что он может сказать. Кажется, большинство присутствующих отнеслось к его выступлению так же, потому что, пока он говорил, разговоры в зале не смолкали. Только когда он сел и поднялась с места Сумбуль-ая, снова водворилась тишина. От нее ждали решающего слова, окончательной оценки.

Но выступление ее прозвучало странно. Начала она с того, что похвалила смелую и пытливую молодежь, а дальше... дальше она практически отвергла предложения обеих групп! «Эти проекты не имеют будущего», — сказала она, и зал затаил дыхание. Сейчас нужно заниматься не орошением отдельных массивов, говорила Сумбуль-ая, а думать о комплексном освоении всей степи, о создании нового оазиса, который будет давать в год миллионы тонн хлопка. Остальное — мелкая возня. Только действительно крупномасштабные проекты, согласованные с партийными директивами, поддержанные и включенные в них, могут решить наши проблемы.

Я увидел, как Манзура поднялась со своего места — я заметил раньше, куда она прошла и села, в третьем ряду с краю, — хотела, должно быть, что-то сказать, но так и осталась стоять в растерянности или недоумении. Я вскочил с места и пошел по центральному проходу к президиуму, поднимая руку со словами:

— Разрешите мне! — Но никто не успел мне еще разрешить, как я выпалил: — я считаю, что отвергать все предложения неверно! Например, наша гидрогеологическая группа, работающая в Афганистане, готова немедленно применить на практике теорию старых русел, предложенную докладчиком!

На меня оглядывались: Любушин постучал карандашом о стол, призывая к порядку:

— Товарищ... не знаю, как...

— Тохтабаев! — громко подсказала Сумбуль-ая. — Приехал? — сказала она таким тоном, точно говорила не из президиума в зал, а случайно встретила меня на улице. — Зайди! Поговорим!

Напряжение, возникшее в зале, разрядилось, все заговорили. Любушин объявил перерыв, люди стали подниматься, президиум пошел со сцены. Я хотел прежде всего найти Манзуру, но ее не было видно, людской поток потащил меня в вестибюль. Там я отошел в сторону, к стене, следя за флагирующей толпой. Кто-то здоровался со мной, я машинально кивал, высматривая Манзуру: Самад мелькнул, но мне с ним разговаривать было не о чем, да и не очень-то хотелось; Сумбуль-ая сейчас, конечно, с высоким начальством, к ней не сунешься, не поговоришь. А Манзура, как назло, не появлялась. Нужно было обязательно высказать ей все, что я думаю о ее проекте, о том, как схожи пути, которыми мы шли. И спросить, что значило это неожиданное выступление Сумбуль-ая. Было ли оно и для Манзуры таким же неожиданным? Судя по ее реакции в зале, — да. И прозвучало как окончательный приговор! Но так ли это в самом деле окончательно? Если — так, то ведь и наш с Гуломали проект не ждет ничего иного. И все же не верилось мне в это, ну не верилось. Всегда, и особенно оттуда, издалека, Сумбуль-ая представлялась, вспоминалась мне доброй, как мать. Добрая — верно, но ты же знаешь, сказал я себе, в делах науки, в практических делах, с наукой связанных, она жалости не знает. Да, но здесь-то, применительно к проекту Манзуры, — при чем тут жалость? Проект в ней ничуть не нуждался! Мы, правда, и другое знали за Сумбуль-ая. Придешь к ней бывал с какой-нибудь, тебе кажется, важной и новой мыслью, она слушает. кивает — и вдруг, может быть даже и от твоей мысли оттолкнувшись, пойдет разворачивать перед тобой такой новый, мощный, широкий подход к делу, к вопросу, что только сидишь да ахаешь. И подумается иногда: что ж тебе самому это в голову не пришло? Нет, где там... Может, и здесь имела она в виду что-нибудь столь же новое, обширное, что заставит и нас на все иначе посмотреть? Но почему тогда и словом не наекнула? Тоже ведь на нее не похоже... Она всегда так внимательно относилась к работам молодых, даже из неудачных работ стремилась извлечь что-то ценное. А тут... Разом, огулом — отмела! Странно. И мне: «Зайди! Поговорим!» Если и со мной разговор будет такой же... Она ведь не ответила на мое письмо... Ну, письмо-то — понятно. Не успела, работы у нее хватает. Значит, зовет, чтоб так же ошарашить? Впряжет меня в какую-нибудь упряжку здесь, дома, а что будет с афганскими моими делами? Со всем, что там меня ждет? У меня сердце заныло. Я снова огляделся. Манзура не появлялась. Прозвенел звонок, означавший конец перерыва. Помедлив, пока люди входили в зал, я туда тоже заглянул. Ну и мне незачем было дальше здесь оставаться. Я ушел.

Неподалеку от обкома — впрочем, все здесь было неподалеку, областной центр невелик, все важные учреждения находились на одной этой вот улице, утопающей в зелени: филиал института, новый, крытый колхозный рынок, трест «Стелстрой», универмаг, гостиница — так вот, на углу, в скверике стояло стеклянное летнее кафе, и я зашел, выпил под аккомпанемент дождика две чашки какао, потом еще посидел за пустым столиком. Впрочем, и все кафе было пусто, если не считать меня и буфетчика. Дождь, кажется, перестал идти — ну, теперь мы пойдем. Я отправился к гостинице — здесь ведь придется задержаться на день-два, это уж минимум. По ступенькам высокого подъезда спускалась Манзура.

Я заторопился, но успел подумать: она сама здесь живет? Или была тут у Сумбуль-ая? Нет, ведь Сумбуль-ая наверняка еще в обкоме.

— Наконец-то я вас нашел! — сказал я, поднимаясь по лестнице и преграждая ей путь. — Весь перерыв искал. Куда вы пропали?

Вместо ответа она характерным движением упрямо наклонила голову и спустилась еще на ступеньку.

— Я хотел вам сказать...

— Что? — перебила она резко. — Что вы меня пожалели? Это из вашего импровизированного выступления и так было ясно! Но я в этом не нуждаюсь! Вы поняли?

— Но, Манзура... какая жалость! Наш собственный проект...

— Знаете, у вас такой вид, словно вы собираетесь смывать какие-то грехи. Так вот еще, чтоб все было ясно: я вас ни в чем не обвиняю.

Она стремительно обошла меня на лестнице, спустилась и, быстро стуча каблучками, пошла прочь.

Обескураженный, словно напрочь уничтоженный всеми оплеухами этого дня, я поднялся по лестнице, вошел в гостиничный вестибюль. Вообще-то в таком, как у меня, настроении просить места у нас в гостиницах — дохлый номер. К стойке администратора надо подходить либо с видом кавалерийского командира, начинающего атаку, либо с победительной улыбкой космонавта, пять минут назад спустившегося на землю. Только это, если не считать брони, и может обеспечить вам койку или комнату. Но брони у меня не было. Не запасаю сдуру, хотя мог бы. И все же мне повезло. Видно, выручило то, что паспорт у меня был еще заграничный: не успел обменять, когда приехал. Впрочем, я ведь собирался вскоре ехать обратно. Увидев этот паспорт, девушка-администратор угодливо на меня взглянула, попросила заполнить квиточек — и пять минут спустя я уже был в отдельном номере на втором этаже. Тут только я сообразил, что не спросил о Сумбуль-ая. Я спустился, спросил. Да, Сумбуль-ая жила здесь же. Мало того — была у себя. Давно? Да, порядочно.

Значит, она тоже не осталась на вторую часть совещания? Выходит, так. И еще: выходит, это у нее Манзура побывала здесь, в гостинице?

Сумбуль-ая встретила меня в мягком домашнем халате и цветастом платке. Загорелое лицо ее покраснело — она только что вышла из ванной. Она попросила прощения за свой вид; в ней, казалось, не остается и следа усталости. Она стала поить меня чаем — расспрашивать о моей жизни «на том берегу». Впрочем, она знала об Афганистане, пожалуй, больше моего, бывала там не раз. Ее интересовало, видимо, что там сейчас происходит, и я принялся рассказывать ей все, что знал, ничего не утаивая, рассказал и об аресте Гуломали. Она сочувственно, с грустным видом качала головой, подливала мне чаю. Казалось, передо мной настоящая «ая», простая старая женщина, которая потчует гостя и выслушивает его байки да излияния. Но так и весь разговор может ни к чему свестись, подумалось мне, надо как-то его повернуть.

— Кажется, у вас Манзура побывала? — сказал я.

— Побывала.

Ну же, думал я, теперь говори, сворачивай на проект — вот ведь главное. Но вид у Сумбуль-ая сделался совсем уж не деловой — задумчивый, грустный.

— Эх, — сказала она, — вы, молодые, полагаете, что у стариков на все ответ заготовлен. Не-ет. Человек до старости стоит перед проблемами, и подчас совершенно неразрешимыми. В сущности, самая неразрешимая проблема ждет его в самом конце! Но молодые нетерпеливы: туда кидаются, сюда... Сколько я уж с ними имею дело — дала себе зарок — не вмешиваться в их сердечные дела. Да. Но в этот раз не выдержала. Сказать откровенно, больно мне стало за Манзуру — такая умная, способная, чистая, такая красивая. Что у вас стряслось, Сабирджан?

Я вдруг разозлился. Сумбуль-ая была сегодня и впрямь на себя не похожа. Дала зарок? — говорил я ей мысленно. Ну и надо держаться! Манзуру пожалела. А когда рубила проект — не пожалела? Таким это выглядело ханжеством, не свойственным старой моей руководительнице! Но чем яростней бушевали слова у меня внутри, тем растеряней, бестолковой выходили они наружу. Давнее почтение к Сумбуль-ая коверкало их, отсекало, сковывало меня, как панцирь.

— Сумбуль-ая, — пробормотал я, — об этом трудно... и не стоит... Тут не это главное... тут многое надо учесть... Самад Деряев...

— Да вы и впрямь свихнулись на этом Самаде Деряеве! — воскликнула она, и я уловил знакомую, недавно слышанную интонацию. — Знаете, на мой взгляд, Манзура совершенно правильную ему дает оценку: парень он способный, настойчивый, достойный по-своему, но не может защитить ни свой проект, ни самого себя! — «Проект-то уж понятно, почему», хотел я вставить, но сдержался. — И у Манзуры... у Манзуры просто душа к нему не лежит.

Такого «семейного» поворота в разговоре с Сумбуль-ая я никак не ожидал. Неловко мне было с ней об этом беседовать — да ведь и ее, кажется, эти темы никогда не интересовали — неловко было соглашаться, неловко возражать. Она ненадолго замолкла и вдруг сказала после паузы, словно на что-то решаясь:

— Я вам скажу, Сабирджан, от души скажу: рискованно это — влюбляться в чужой стране. И свою жизнь ломать, и другие жизни. Но в юности этого не понимаешь. — У меня даже защемило внутри от этих слов, и я глядел на нее во все глаза, пытаюсь понять, знает она что-нибудь конкретное — хотя откуда, откуда? — или говорит наобум, основываясь лишь на предположениях Манзуры, ведь ясно — разговор у них был начистоту. Но Сумбуль-ая на меня не смотрела, она словно и не со мной говорила — сама с собой. — Нет, не понимаешь в юности. Не дано это молодым. Горит костер, горит ярым пламенем, только топлива требует. — Тут она, наконец, подняла на меня глаза. — Конечно, теперь времена другие, расстояния

сократились, дороги иные у людей. — Я промолчал, и она добавила, вздохнув: — Ладно. Судьей я тут, конечно, быть не могу. Тем паче — следствие вести.

Почему-то только теперь мое раздражение вдруг оформилось и прорвалось:

— Значит, вот о чем вы с Манзурой беседовали! — Я и сам услышал, каким дерзким упреком это прозвучало.

Сумбуль-ая посмотрела на меня внимательно.

— Не только об этом, — сказала она сухо и тоном, уже не допускающим возвращения к этой теме.

Что же, мне оставалось лишь подчиниться. Тем более, что для меня главная тема беседы была все еще впереди. Правда, надежд на добрый исход, я понимал, не было. Если уж проект Манзуры зарублен...

— Я получила ваше письмо, Сабирджан, — сказала Сумбуль-ая другим, спокойно-деловым тоном. — Прочла очень внимательно и обдумала...

«Сейчас... сейчас меч упадет», — лихорадочно думал я.

— И вот что: обязательно, и как можно скорее, покажите мне материалы вашей группы, я должна с ними ознакомиться. — И я вдруг заметил, что глаза ее заблестели.

— Конечно, Сумбуль-ая, — пробормотал я, лихорадочно соображая, что это может значить. Не для того же она их требует, наши материалы, да еще требует с таким блеском в глазах, чтоб их раздолбать, дискредитировать. Но тогда — как это согласуется с оценкой проекта Манзуры?

— Когда вы их принесете? — спросила она. — Имейте в виду: я вылетаю завтра первым рейсом.

— Они у меня дома, в совхозе. Привезу их вам на рассвете, прямо в аэропорт!

— Ну хорошо.

Я поднялся, она тоже. Подошла ко мне, обняла за плечи. Потом наклонилась к себе мою голову и тихо, по-матерински, поцеловала в лоб.

Утром в аэропорту я отдал Сумбуль-ая материалы, помахал ей, поднимающейся по трапу, поглядел, как взлетает ее самолет, — и с этого момента мое состояние бездеятельной неопределенности кончилось. Напротив, меня одолела лихорадка работы. Наступила поздняя осень, на инее пустынных перепаханых полей чернели по утрам иероглифы вороньих следов, густые шапки тополевых аллей вдоль дорог осыпались, время бежало. Я остался в области, неделю консультировался со специалистами «Союзвзрывпрома», потом недели три с утра до ночи сидел в библиотеке филиала, прочесывал литературу. Простудировал диссертацию Манзуры, заказал с нее ксерокопию; потом ездил по новым ирригационным объектам. Наконец вернулся домой, в совхоз, снова занялся нашими расчетами. Но понял вдруг, что дел и работы здесь у меня куда меньше, чем казалось. Скоро со всем будет покончено, а ответа из министерства до сих пор нет, от Сумбуль-ая — тоже. Но ведь мне — будь на дворе зима, или жаркое лето, или осенняя слякоть — необходимо было вернуться на свою трассу, на свой объект. Моя работа, моя жизнь — все грозило остановиться на полдороге!

Лихорадочное беспокойство не оставляло меня и по ночам, я разгуливал по холодным ночным проселкам, одолеваемый тревогой и надеждами, планами и воспоминаниями. Домашние, конечно, озабочены моим состоянием, подчеркнутой моей нелюдимостью, но проявляют деликатность, не навязывают своих забот, стараются не выказывать беспокойства, только взгляды их я изредка ловлю — внимательные, печальные, тоскливые, недоумевающие. В одну из вечерних прогулок напрашивается со мною Лола, сперва молчит, поглядывая, прислушивается к моим мыслям, а потом, не в силах больше сдерживать себя, начинает щебетать, болтать, рассказывать. Об олимпиаде юных математиков, на которую надеется попасть. Я слушаю, киваю, односложно поддерживаю видимость разговора, а сам смотрю искоса и вспоминаю Зулейхо. Она ведь всего на три года старше Лолы, но как же не похожа ее жизнь на эту, сколько там мучительных забот, страхов — и какая безысходность, незащитность! «Поцелуйте землю моих отцов и дедов!» — с горькой улыбкой сказала она в последнюю встречу. Я и забыл, она ведь всерьез просила, не ради красного словца. Я нагибаюсь, поднимаю ком земли. Он рассыпается в моей ладони, как горсть хлебных крошек. Подношу землю к лицу, прикасаюсь губами, вдыхаю запах этой родной почвы. Лола смотрит на меня с удивлением, но не объяснять же ей, да и мысль ее скачет, не останавливается надолго на чем-то одном.

— А в Афганистане земля так же пахнет? — спрашивает она.

— Да, — говорю я ей и на мгновение задумываюсь. — Да, — повторяю я, — и земля там, и вода, и воздух почти как у нас!

— Почти! — говорит Лола. — А правда, что там тоже завелись басмачи? Я в газете читала.

— Раз в газете — значит, правда. Завелись, завелись — как и у нас в свое время.

— И я подумала: как у нас! И конец у них такой же будет, как у нас! И будущее такое же. Правда?

— Правда, — говорю я. — Почему бы нет!

Поскольку со мной Лола, с прогулки я возвращаюсь на этот раз рано. Ночью мне снится Зулейхо. Только она уже взрослая женщина. Сверкая своими огромными глазами, она сидит рядом с Сумбуль-ая на берегу Аму.

— Вы разве знакомы? — спрашиваю я удивленно.

Они обе смотрят на меня.

— А ты и не знал? — говорит Сумбуль-ая.

И я думаю: в самом деле, я же знал об этом. И снова смотрю на них — да ведь они похожи! Как странно, а я прежде не замечал. Хотя, что в них похожего? И тут сон мой расплывается, как пена на воде, и я просыпаюсь. На краю супы сидит мама.

— Ты же сегодня в Ташкент собирался, сынок. Вставай, завтрак готов.

Она ждет, пока я умоюсь, побреюсь, оденусь, сяду за стол, поем. И молчит. Когда я кончаю есть, она спрашивает тихонько:

— Опять, сынок, собираешься нас покинуть?

— Ну что вы, мама! Что значит — покинуть! Если и поеду снова — это ж совсем близко, на другом берегу реки.

На аэродроме было серо, хотя день уже давно наступил. Небо затянуло облаками, в низинах клубился туман. Я думал, рейс задержат по метеоусловиям, но повезло — полетели. А в Ташкенте ясно было, и легкий морозный дух веял над усеянными опавшей листвой проспектами. В Президиуме Академии наук меня провели в приемную, сказали: ждите, Сумбуль Садриевна на совещании. Но не прошло и пяти минут, как она вышла ко мне легким пружинистым шагом — подтянутая, сухощавая, в неизменном берете — не похожая на седенькую «ая» в гостинице.

— Почему не приезжал раньше! — сказала она вместо приветствия. — Тебе уже давно уехать пора!

— Но я не знал.

— Как не знал! Я чуть не месяц назад звонила в министерство. Все сказала. Тебя разве не вызывали?

— Нет!

— Ах, безобразии... Безобразии! Ладно, разберемся. Тебе надо ехать немедленно. Немедленно! Медлить — просто преступление. Пошли в кабинет!

В кабинете она села за стол, вытащила из ящика мои папки.

— Ты сам-то понимаешь, что вы наработали? — спросила она.

Я неопределенно мотнул головой. Я боялся расценить это так, как мне хотелось, но кажется, так все и было. Внутри у меня что-то запело тихонечко.

— Жаль, что постарела я, сынок, — сказала Сумбуль-ая. — А то бы поехала с тобой. Ей-богу, поехала бы! Счастливый ты парень. Такой случай, такая удача — раз в жизни бывает!

— Но... Сумбуль-ая...

Она меня словно не услышала.

— Неужели из министерства тебе так-таки ничего и не сообщили?

— Ничего, Сумбуль-ая. Но, может... какие-нибудь препятствия? Неблагоприятная обстановка...

— Препятствия! Какие препятствия? Никаких препятствий! — Она хлопнула ладонью по столу. — Война, революция, землетрясения — ничто не должно этому помешать!

Она раскрыла одну из моих папок, полистала, явно стараясь успокоиться, вытащила из груды таблиц и схем топографическую карту и расстелила на столе.

— Ты знаешь, — сказала она, — что об этих реках, бравших воду с ледников Кухина, писали еще историки кушанского царства! Да, да. Кстати, их часто именовали анхорами — каналами! Вряд ли мы теперь узнаем, какие катаклизмы происходили с теми молодыми горами, но факт, что ледники иссякли, ну и реки-анхоры высохли. Да, сынок, даже ледникам приходит конец, хоть их и называют «вечными». Я постараюсь с помощью наших космонавтов добыть для вас достоверные сведения о системе этих древних русел. Мы ведь недавно получили от них доказательства, что в прошлом Аму протекала через пески Красноводска, можешь себе представить? Ну да ладно. Сейчас о твоём проекте. Я тебя еще раз поздравляю, сынок. Обводнение древних русел Чорданарха, возврат их к жизни будет просто чудом! История гидрогеологии такого еще не знала. И притом самое дешевое в мире гидросооружение! Нет, нет, это дело не терпит отлагательства. И ведь я подробно ознакомила министерство со своими соображениями! Что ж они там, совсем обюрократились?

— Вот пойду в министерство — узнаю.

— Ты-то, конечно, пойдешь. Но я и сама скажу им пару теплых слов! Ты должен вернуться на свой объект и в ближайшие по приезду дни завершить работу группы — чтобы приступить к работе с проектировщиками.

— К сожалению, Сумбуль-ая, группы сейчас, я думаю, не существует, распалась. Ведь я вам рассказывал.

— Да, да... распалась. Ну что ж, пусть создают новую!

— Если это возможно. Мы ведь не знаем, что там сейчас творится!

— Ну, ну! Не помню, чтобы ты раньше проявлял пессимизм! А уж в таком деле... Ведь ехать-то надо. Как ты полагаешь?

— Конечно, надо. Ехать надо во что бы то ни стало!

— Ну вот! Это интонация правильная. Собирайся, Сабирджан, торопись!

И тут я понял: не могу я не спросить о том, что меня все время молчаливо грызло. Почему, если она так меня превозносит, — почему, почему отвергла она проект Манзуры? Ведь принцип-то у нас один!

Я набрался храбрости — и спросил.

Сумбуль-ая потемнела лицом, помолчала.

— Эх, сынок... — сказала она наконец. — Это — другое дело... об этом... потом...

Дождливым утром в день моего отъезда Лола, уходя в школу, попрощалась со мной и даже расплакалась: не пойти в школу, чтоб проводить меня, ей родители не разрешили. Но уже через час, запыхавшись, вся раскрасневшаяся, она снова появилась в калитке: с широко раскрытыми глазами, разбрызгивая грязь, подбежала ко мне, отбросив капюшон, кинулась на шею и горячо, обжигающе зашептала в ухо. Слова ее я скорее угадал, чем услышал.

— Где? — переспросил я.

— Вай... — Она еще шире распахнула глаза, словно говоря «Неужели сами не знаете?» — И, еще пуще раскрасневшись, насколько это было возможно, умчалась обратно в школу, забыв закрыть за собой калитку.

Я, конечно, догадался — где. Весточка ее меня разволновала.

До того я сидел, глядя, как дождь поливает и без того размокшую землю во дворе, видел краем глаза, как мать колдует над моим рюкзаком и чемоданом. Теперь же торопливо натянул сапоги, взял с вешалки плащ, буркнул матери: «Я скоро» — и пошел к задней калитке двора. Оттуда знакомая тропинка вела к заветным валунам на берегу.

Дождь, пока я шел, утих, но песок на берегу наглотался воды до отказа, любой след тотчас превращался в лужицу. Безрадостно чернел мокрый кустарник. Ее я увидел еще издали, как было и прежде когда-то. Она стояла у нашего валуна с непокрытой головой, держа в руках закрытый зонтик. Заметив меня, она как-то встрепенулась, выпрямилась.

— Доброе утро, Манзура.

— Доброе утро, Сабир. Пожалуйста, не обращайтесь внимания на мой вид. Не выпалась. Ночной рейс задержали, полночи в аэропорту провела, потом летели, потом сюда ехала! Хорошо, что застала вас, думала — опоздаю. Вчера мне позвонила Сумбуль-ая.

— Сумбуль-ая?!

— Да.

— Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего не случилось.

Я едва удержался от следующего вопроса, который был уже на языке. Но Манзура угадала его в наступившей паузе.

— Ничего не случилось, — повторила она с какой-то неумелой улыбкой на посиневших от холода губах. Должно быть, здорово продрогла. — Просто... приехала.

И в этом «просто... приехала» была такая неожиданная в теперешней Манзуре беспомощность, незащищенность, такая неуверенная нежность, точно она протягивала мне для рукопожатия руку, не зная, протяну ли в ответ свою. У меня защемило сердце.

— Манзура, вы же продрогли насквозь, промерзли! Пошли к нам домой.

— Нет, нет! — Она энергично затрясла головой. — Нет. Я пришла... приехала... попрощаться. Сумбуль-ая сказала — вы уезжаете. И, конечно, надолго. А к холоду... — она улыбнулась краешком губ, — к холоду я уже привыкла. — Полуулыбка ее исчезла, лицо стало серьезным. — А если по правде — я приехала попросить у вас прощения за свои необдуманные слова.

Я молча снял плащ, набросил на нее, обнял ее за плечи. И она робко ко мне прижалась, только дрожала вся. Странно это, чертовски странно, как все может измениться в людях и в жизни. Мы стояли, как едва знакомые, а ведь здесь, у этого самого валуна, мы когда-то обнимались куда горячеей.

— Скоро туман рассеется, солнышко выглянет, — сказала она тихонько, но

мне опять почудился в ее словах второй смысл. Это — от твоей нечистой совести, сказал я себе. Может, никакого второго смысла в ее словах и нет, просто говорит, что думает. Манзура, кажется, согрелась немного, перестала дрожать. Запах ее мокрых волос был такой близкий, такой знакомый...

— Не надо у меня просить прощения, Манзура. Это я перед вами виноват.

— Да нет, не виноваты, — сказала она тем же ласковым, спокойным голосом. Ничего, значит, не почувствовала. — Знаете, — продолжала она, — когда ая позволила и сообщила — меня охватила такая тревога! Ведь что там сейчас творится! Вы должны дать мне слово — беречь себя! Это — во-первых.

— А во-вторых?

— И во-вторых, и в-третьих — беречь себя! Обещаете?

— Да, — сказал я. Я вдруг понял, что так дальше нельзя. Это было уже не умолчание. Это пошел обыкновенный обман. До сих пор я еще себя обманывал — будто просто стараюсь щадить ее чувства. Теперь обманывал ее: она ведь явно поверила, что все по-прежнему.

И, отпустив ее плечи, отодвинувшись на шаг — я все рассказал ей о Зулейхо. Она стояла неподвижно, как изваяние.

Я кончил говорить, она все так же стояла.

«Что же дальше будет?» — думал я со страхом, почти с отчаянием. Туман рассеялся, но Манзура ошиблась — солнца и в помине не было, небо сплошь затянуто низкими, серыми, темнеющими тучами, тянуло холодом, обещавшим снег.

Манзура шевельнулась. «Сейчас плащ отдаст», — подумал я с тоской. Нет, не отдала — напротив, закуталась плотнее. И вдруг заговорила, голос был изменившийся, глуховатый.

— Сабирджан-ака... я ведь чувствовала, знала это... Знала. В тот день в гостинице я так Сумбуль-ая и сказала. А она мне: «Ты что, поставила ему условие не разговаривать с красивыми девушками?» Нет, говорю, не ставила. Ну и очнись, говорит. Такие условия и нельзя ставить. Какой парень на красивых девушек не заглядывается? Да, вот так. На красивых, тем более... — голос ее дрогнул, — на таких, как Зулейхо, которую вы считаете «символом красоты». Ну что я могу сказать? Я ведь никаких условий никогда не ставила, правда? Но расставаться нам так... в таком настроении было бы неладно. Нельзя. А теперь все в порядке. Поговорили.

И она вдруг просто, доверчиво прижалась ко мне. Мне показалось, что посветлело. Может, солнце все-таки где-то пробивается? Нет, не видно пока. Я сжал ладонями мокрые щеки Манзуры и притянул к себе ее лицо. С ее щек и висков стекали капельки дождя, мокрые волосы прилипли ко лбу; и вдруг мне показалось: в этом милом лице сосредоточено все самое дорогое, что я оставляю на родине. А она подняла руку и стряхнула смуглым пальцем дождевку с моих ресниц.

В посольстве о приезде Тохтабаева, конечно, знали, но особого внимания появление его не привлекло. Все тут были чем-то заняты, озабочены, большинство сотрудников — новые, но и прежние, показалось Сабиру, заметно переменялись. Или может быть, обстановка переменялась? Ну разумеется, разумеется! Чувствовалось, что все напряжены до отказа, словно в лихорадочном ожидании каких-то непредсказуемых событий. Это напряжение чувствовалось уже в самом воздухе посольства, смешанном с сигаретным дымом и запахом кофе. На Сабира поглядывали мельком, и он читал в этих взглядах: «Тебе-то что здесь надо в такое время?» В самом деле, ежели подумать: что здесь делать какому-то гидрогеологу, одержимому идеей древних русел, когда сегодняшняя судьба страны повисла на волоске? До новых ли каналов сейчас афганскому дехканину, если его семья, род, племя раскальваются надвое, если решается вопрос самой жизни и смерти, а сам он, едва успев собрать ячмень с полей, спрятался и боится высунуть нос из дому?

Настроение Сабира несколько подняла поначалу только встреча с советником по экономическим вопросам. Этот пожилой человек, шутливо называвший Сабира не иначе как «мирабом», приезду его, казалось, искренне обрадовался и сказал, что его здесь давно ждут.

— Ну? — сказал он, попросив принести им кофе и возвращаясь на свое место за маленьким столиком, за который усадил и Сабира. — Выше голову, мираб! А то, я гляжу, вы тут у нас несколько приуныли — Да! — Он вспомнил что-то. — Ваш друг — как его зовут? — замучил нас телефонными звонками. Звонит чуть ли не каждый день: «Не приехал ли? Когда приедет?»

— Кто это?

— Ну да тот же... который так отчаянно кашляет. Худющий такой... видно, очень болен.

— Да нет у меня ни друга такого, ни знакомого!

— Ну как же, помидуйте. Работали вы с ним.

— Работал? Но как его зовут?

— Как-то... сейчас... то ли Заргар...

— Коргар?!

— Вот-вот! Коргар!

— Гуломали Коргар! Так он жив? Жив?!

— Жив, жив! Не с того же света он нам звонит!

— Но, позвольте... Вы говорите, он все время кашляет, худющий. Он же был здоровенный детина!

Советник в полушутливом извинительном жесте развел руками:

— Ни в чем не повинен! Я его уже только таким знаю.

— Нет, понимаете... — сказал Сабир, — как-то это странно... Может, кто-то выдает себя за него? Время такое... Гуломали Коргар был здоров, как бык!

Лицо советника сразу сделалось серьезным.

— Пойдите, пойдите, мираб, — сказал он. — Давайте по порядку разберемся. Если он был здоров, как бык, почему вы так удивились, что он жив?

— Просто, когда я уезжал, он... он исчез.

Советник посмотрел внимательно.

— М-м-м... — сказал он. — Понятно. — Хотя ясно было, что ему пока ничего не понятно. — А когда вы видели его в последний раз?

— Я же говорю — незадолго до моего отъезда.

Советник снова посмотрел так же внимательно, но допытываться не стал.

— Где же он сейчас? Не оставил адреса? — спросил Сабир.

— Почему — оставил! Он в госпитале. Должен, по крайней мере, быть в госпитале. На лечении. Знаете сквер Зарнигар? За ним на повороте белое здание госпиталя. Оттуда, по его словам, он мне каждый день и звонил.

— Тогда, — сказал Сабир, — вы меня извините... Я прежде всего пойду его поищу. Это жизненно важно для всей нашей с ним работы.

— Пожалуйста! — Советник великодушно улыбнулся.

— А к вам...

— А к нам — в любое время, прошу вас! Буду ждать. Вы меня этой историей очень заинтересовали. Не забудьте зайти.

— Нет, что вы!

В госпитале, однако, Сабиру сказали, что Гуломали Коргар у них не числится. Что же это все может значить? Что с Гуломали? И... с материалами! В такой круговерти они вполне могли попасть в руки какого-нибудь афериста вроде господина Лала. Нет, надо попытаться выяснить! Он снова пошел к администратору госпиталя и узнал, в конце концов, что Гуломали Коргар в госпитале все-таки находился некоторое время. «А теперь?» — спросил Сабир. А теперь его, по его требованию, написали, и он лечится амбулаторно. Нашли даже его адрес, записали, Сабир с опаской перечел бумажку и отправился искать махаллю Шахидо.

Лил холодный дождь, тротуары были затоплены грязью, стекающей с развалин. В небе кружил патрульный вертолет. Полдень, а на улице почти нет прохожих, дуканы закрыты, на стенах, вперемешку с трещинами, следы пуль. Только на берегу мутной реки Кабул, на побелевших камнях, разложили свое белье трудолюбивые прачки и ждут, когда выглянет солнце.

Пока добирался до махалли Шахидо, Сабир промок до нитки и с трудом волочил облепленные грязью сапоги. К махалле с одной стороны примыкало кладбище, так что жильё тут, очевидно, было дешевое. Нужный дом оказался плоской глинобитной кибиткой. Кто-то подал голос со двора, Сабир открыл калитку, вошел, но никого не увидел. Дом с единственным окном тоже казался темен и пуст. Сабир распахнул дверь. У задней стены лежал на полу матрац, в беспорядке валялись одежда, сапоги, овчина, книги, бумаги какие-то. Рядом с дверью на старом полуразбитом сундуке стоял примус. Форточка, однако, была раскрыта, воздух свежий.

Сабир огляделся раз, другой и хотел уже уходить, как вдруг в задней стене открылась еще одна, не замеченная им дверь. Вошел человек, он и Сабир долго всматривались друг в друга в полутьме. Господи, да неужели... Это был Гуломали, но неузнаваемо пережившийся. Худой, как щепка, и половины от него не осталось, глаза ввалились.

— Гулом!

— Сабирджан!

Сабиру страшно было сжать в объятиях худое, съезжившееся тело друга — таким оно казалось хрупким. Но Гуломали, обрадованный, прямо-таки счастливый, держался бодро, потащил гостя в соседнюю комнату, что обнаружилась за внутренней дверью. Там было прибранней, опрятней, стоял на столике горячий чайник. Гуломали зажег лампу, но в ее свете только резче бросались в глаза его выпирающие скулы с нездоровым румянцем, поредевшие волосы с проседью.

— Как же твое здоровье? Я ведь тебя через госпиталь нашел!

— Я так и рассчитывал! Только уж не надеялся. Господи боже мой, какое счастье, что ты приехал, Сабир! Твой приезд все решает. — Он торопливо поставил на стол сахар в коробке, положил кусок лепешки, налил чай в пиалы. Руки у него дрожали. — Как я тебя ждал, ты не представляешь. Дома у тебя, на родине, — как? Все живы-здоровы?

— Все в порядке, Гулом. Я привез с собой научно обоснованные рекомендации «Взрывпрома» и благословение Сумбуль-ая.

— Молодец, ой, молодец какой! Сабир, дружище... — Он закашлялся, но быстро подавил кашель. — А у нас... ох... у нас делом теперь занимается само правительство! Да, есть уже директива насчет обеспечения нас строительно-техническим оборудованием, выделения средств. Все есть — только людей не хватает. За всех, за всем приходится бегать самому. — Он снова закашлялся, на этот раз надолго, надрывно, и Сабир смотрел на него с тревогой.

— Я сейчас... — невнятно пробормотал Гуломали, выскочил из комнаты, вернулся через несколько секунд, пытаясь отдышаться.

— Ф-фу... Допек меня этот кашель. Ладно, пей чай, а то остынет! — И он сам взял пиалу и стал отхлебывать помалу.

— Гулом, почему ты из госпиталя выписался, скажи? Ведь ты всерьез болен! Почему не лечишься?

— Во-первых — лечусь. Ты не думай, вот уж чего мне не хочется, так это умереть теперь, когда так продвинулось наше дело! Но, понимаешь ли... партийные товарищи нам рекомендуют жить, по-возможности, в укромных местах. Кабул — все-таки большой город! Душманы, знаешь ли, буквально рыщут по нашим следам. Чтобы уничтожить разом возможно больше наших, взрывают или пытаются взорвать все крупные здания подряд! А в больнице, сам понимаешь, — старики, дети, инвалиды. Из-за меня одного могут пострадать многие. А что до лечения — так я регулярно хожу в госпиталь.

— Ну да, там же есть телефон и можно обговорить все дела — не так ли? Они оба невесело рассмеялись.

— Где ты подцепил эту болячку? — сказал Сабир. — Такой был здоровый мужик!

— Так нас же гнали пешком триста километров! Днем и ночью! Через воду, через лес! Намокнем — высохнуть не давали, умираем от жажды — пить не позволяли. Никто, главное, не говорил, куда нас гонят. Потом, правда, сказали: под пули душманов сперва должны подставить грудь парчамисты. Ну, думаю, это еще ничего, пусть, коли так. Оказалось — вранье. Говорили, просто чтоб посмеяться над нами. Тогда-то, в этой дороге, я и простудил легкие. А добил их — уже в тюрьме. Как добрались мы до тюрьмы Пули-Чархи, бросили меня в сырой бетонный колодец и два часа обливали ледяной водой! Слышал, небось, о Пули-Чархи? Нет? Ее гитлеровцы в свое время в подарок нашему шаху построили. Самая страшная тюрьма на свете. За все время мы — первые попавшие туда, которые вышли назад живыми! Воспаление легких, которое... — Тут он снова зашелся в отчаянном приступе кашля, сотрясаясь всем телом и прижимая ко рту мятый платок. Посиневшее лицо покрылось крупными каплями пота. И вдруг Сабир заметил на платке пятнышко крови.

— Воспаление-то легких, которое я тогда подхватил, давно ведь прошло, понимаешь ли! — сказал он, отдышавшись. — А это... это совсем другое... вот здесь...

— Что?

— Да ударили меня — вот и не проходит. Ладно. Главное руки-ноги целы, голова на месте. Никто из нас не думал выбраться из Пули-Чархи, а раз выбрался — остальное чепуха!

«Бедняга! — думал Сабир, изнывая от мучительной жалости, которую не смел показать Гуломали. — Пока я отлеживался, или работал, или гулял дома — он мучился в Пули-Чархи, зарабатывал чахотку. Его нужно в хорошую больницу немедленно — и лечить, лечить. Но ведь не пойдет! Ни за что не пойдет!»

— Все это — не такая чепуха, как ты думаешь. Тебе нужно серьезно лечиться, Гуломали! Очень серьезно!

— Да брось, еще будет время об этом потолковать.

— Упрям же ты! Кстати об упрямцах — как твой дед, Садык Сардор?

— Жив, что еще скажешь? Жив, слава богу! Но сильно сдал. И один ведь. Все зовет меня к себе, но ты же знаешь, не могу я здесь все бросить. Да! Ты ж еще не видел, наверное! — Он взял сложенную газету, лежавшую в углу поверх груды бумаг и брошюр, и протянул Сабиру: — Посмотри!

Газета называлась «Инкилоби Савр» — «Апрельская революция». На третьей странице были опубликованы записки доктора Сухайля. Похоже, полностью. В центре полосы поместили фотографию. Сабир подошел к свету, чтобы разглядеть. На фотографии были сняты члены группы «Большой Аму». Посредине с высоко-

мерной улыбкой на устах стоял господин Лал Махдий, слева — грустный доктор Сухайль. Он смотрел в объектив как бы с мольбой, будто пытаюсь взглядом передать нечто, чего не мог сказать вслух.

— Ты же отдал это в «Кабул таймс»?

— Да, но они так и не напечатали. Когда я вернулся в Кабул, потребовал материалы обратно.

— Прекрасно получилось! По крайней мере, одно важное дело ты уже довел до конца. Спасти от клеветы имя такого человека, как доктор Сухайль, — это святая обязанность.

— Сардору будет приятно.

— А он что, еще не знает?

— Думаю, нет. С тех пор как вышел этот номер, я у него не был, а сама газета вряд ли дошла до Мазари-Шерифа. Тираж пока маленький.

— Интересно, видел ли это Ауранг!

— Знать не знаю. Хотя с удовольствием сунул бы ему в прыщавую рожу — пусть прочтет, поразмыслит своими куриными мозгами! Но где его найдешь? Военный лицей закрыли, большинство курсантов, во главе со своими подлыми офицерами, подалось к душманам. Небось, и этот Ауранг — тоже. Он всегда держался сильных.

— А у дяди Шокалона... что там делается? В кишлаке?

— Да, да, понимаю. Тебя Зулейхо интересует.

— Да! Так что там? Что молчишь? Что-нибудь случилось?

— Нет, нет. Просто ничего не могу ответить толком. Я туда ездил. Усадьба пуста, нигде никого. Соседи, которые уцелели, — ведь резня там еще при тебе была? — так соседи ничего не говорят. Или не знают, или боятся рот раскрыть. Где все, что с ними — боюсь, никто пока не ответит. Думаю, где-нибудь в горах... с душманами... если не еще дальше.

— Где дальше?

— Могли и за границу податься. Хотя нет, не думаю. Дядя слишком далеко от своей дорогой землицы не уйдет.

Пока они разговаривали, за окном смерклось, стемнело, в форточку ворвался порыв сырого вечернего ветра, и Гуломали опять закашлялся. Сабир встал, прикрыл форточку, стоял, глядел на друга, не зная, чем помочь.

— Ну и ну... — сказал Гуломали, отдышавшись. — И выворачивает же меня! Я тебе, кстати, забыл сказать самое важное: я ведь завтра еду в эти края!

— Ты? Едешь? В таком состоянии?!

— Состояние как состояние. Не преувеличивай. Что здесь кашлять, что там.

— С кем же ты едешь?

— Есть у меня один парень, отличный шофер.

— И что — это обязательно, ехать вот сейчас?

— Вот так обязательно! — Гуломали провел ребром ладони по горлу. — Понимаешь, прибывает сельскохозяйственная техника и землеройные машины. В основном от вас, из Советского Союза. Завтра должен отправиться в путь караван со взрывными устройствами, гидромониторами, грейдерами, экскаваторами. И пройдет он как раз близ кишлака Пайки! Тут решили: чтоб не таскать взад-вперед, кружным путем, через столицу, часть, нам необходимую, оставить прямо в дороге, разместить поближе к объекту.

— Ну что ж, разумно, но... Слушай, я с тобой поеду!

— Не-ет!

— Гулом, кто здесь лучше меня знает наши машины? Сам подумай! Их надо проверить, опробовать.

— Это, конечно, все верно и прекрасно, но мы сейчас этого себе позволить не можем. Я же тебе сказал: людей катастрофически не хватает! А у тебя тут важнейшее дело. Слава богу, что приехал: проектировщиков одних оставлять нельзя, будешь с ними, тем более что ты привез поправки, уточнения. При тебе они и быстрее, и верней все завершат.

— И все-таки — как ты поедешь? По такой погоде... в дороге! Здесь, по крайней мере, госпиталь поблизости.

— Ладно, ладно, ты что-то сильно разговорился. Пора ложиться! Завтра вставать чуть свет. Ведь ты, надеюсь, у меня останешься? Ну вот.

Гуломали пошел в соседнюю комнату, притащил матрас, потом одеяла.

Они кое-как устроились, легли. И продолжали разговаривать.

— Слушай, спать же пора! — сказал, наконец, Гуломали. — На рассвете Булбуло пожалует!

— Ка-ак? Булбуло? Тот самый наш толстый геодезист?

— Он самый.

— Так ты еще и на мотоцикле поедешь?

— Нет, что ты! Булбулшо теперь на машине. За гроши купил старый драндулет — видел бы ты — равных не встретишь! — отремонтировал, окрасил во все цвета радуги, повесил бахрому — и разъезжает, где хочет. У нас такая машина «бурибхай» называется.

— Смотри, какой оказался предприимчивый!

— Ага. И говорливый. Спасу нет — и разливается, и разливается! Ну ты же его знаешь. Зато человек надежный. Завтра к вечеру он доставит меня к перекрестку Самангон, там я должен встретиться с караваном.

Они заснули поздно, но перед рассветом Сабира разбудил надрывный кашель Гуломали. В комнате стоял резкий холод, форточка была раскрыта настежь. Сабир вскочил, хотел было закрыть, но Гуломали рукой показал: не закрывай. Сабир согрел чаю, Гуломали, однако, едва мог сделать глоток меж двумя сотрясавшими его приступами кашля.

Еще затемно появился Булбулшо; он радостно удивился присутствию Сабира, но его излияниям помешал все тот же кашель Гуломали. Они оба — Сабир и Булбулшо — стояли и беспомощно смотрели, как извержения воздуха из впалой груди больного сотрясают все его изможденное тело. За окнами был уже белый рассвет. Гуломали затих наконец, задыхаясь и обливаясь потом.

— Домла... — сказал ему Булбулшо, чутьчку выждав. — Время проходит, что будем делать? Не выехать сейчас — караван пропустим, они ждать не будут.

У Гуломали, видно, не было сил даже ответить.

— Вот что! — решительно заявил Сабир. — Выход только один: еду я. И не спорь! — кричал он, увидев, что Гуломали порывается что-то возразить. — Ехать надо, а ты ехать не можешь! Все, все! Прежде чем выехать из Кабула, мы заедем в наше посольство. Мои вещи там. Переоденусь, предупрежу обо всем. И скажу: если не вернусь в самые ближайшие дни — чтоб давали тебе из моего багажа все, что потребуется! Собственно, все материалы по проекту — в большом черном «дипломате». Понял? Запомни — в черном «дипломате»! И вот еще что. Только, пожалуйста, не взбрыкивай и не сопротивляйся. Я попрошу, чтоб к тебе прислали толкового доктора. И не спорь, не спорь!

Но у Гуломали и не было сил спорить. Он смотрел на них отчаянными, скорбными глазами. И сказал только, едва ворочая языком:

— Газету... возьми-ми...

— Да, да! Беру! И завезу Сардору.

Сабир одевался, они попрощались. Сабир первым пошел из комнаты. Булбулшо — за ним, оглядываясь и приговаривая наигранно бодрым тоном:

— Не беспокойтесь, домла! Поправляйтесь! Клянусь, скоро вернемся!

Когда караван повернул после большого перекрестка на дорогу, ведущую к Янгиарыку, холодный дождь, не прекращавшийся с утра, перешел в снег. Старая дорога, прямая как стрела, когда-то была покрыта гравием, но теперь являла собою сплошную грязь да ухабы. Пушинки снега, все еще вперемешку с дождевыми каплями, летели по ветру и тоже таяли на лету.

На всякий случай впереди пустили скреперы, посредине неуклюже двигались три грейдера и экскаватор, потом трактор «Беларусь», а позади на большегрузом, накрытом брезентом «КамАЗе» с прицепом ехали контейнеры с деталями гидромонитора и взрывными устройствами; пять вооруженных часовых, выделенных народной милицией — царандоем, тоже укрывались в кузове «КамАЗа» под брезентом.

Сабир устроился в кабине трактора «Беларусь», вскоре к нему присоединился Булбулшо: он набросил на себя плащ-палатку, накидку свою передал Сабиру и, отряхнув, сколько был в силах, грязь с сапог, полез в кабину. Даже удивительно было, как он мог уместиться в таком небольшом пространстве. Впрочем, несмотря на свою мощную комплекцию и некоторую одышливость, толстяк Булбулшо вообще был малый расторопный. Когда они встретили караван, он садился поочередно за руль каждой машины и с удовольствием ее опробовал.

— У-у! — приговаривал он, вылезая. — Могучая машина! Как буйвол! Э-э, как пять буйволов, клянусь! И новенькая, а грязь мы раз-два и смоем.

И вытирал ветошью машинное масло с посиневших от холода рук.

Отца его звали, как выяснилось, Гульбаз. Но Булбулшо Гульбаз был душой при-
вержен занятиям, отнюдь не соответствовавшим этим поэтическим именам¹.

— Правильно, что вы оставили свой «бурибхай», — сказал ему Сабир в кабине. — По этим дорогам только на бульдозере и ездить.

¹ Булбулшо — царь-соловей, Гульбаз — любитель цветов.

— А как же! Я ж их все знаю, клянусь! Все эти дороги. Вот и спрятал «бурибхай» под навесик, попросил царандойцев приглядеть. На обратном пути ой как будет кстати! Клянусь, люблю я эти степные шири, а полюбоваться не могу, все времени нет, клянусь — суетиться надо, зарабатывать, да и малыши дома ждут. — Это Булбулшо уже оседлал своего любимого конька, теперь долго не слезет. Он говорил, не ожидая и не требуя участия слушателей, так что под его нескончаемую болтовню можно было спокойно дремать или думать о своем, только изредка, впадал или не-впадал, кивая головой. Моторы натужно гудели, кабинку резко подбрасывало на выбоинах, стекла окошек наполовину залепило снегом; в кабинке было тепло, уютно, и это, вместе с бесконечной лентой проплывавших мимо безлюдных заснеженных полей, навевало дрему. Впрочем, и половина ночи без сна сказывалась. Когда очередной особенно резкий толчок пробудил его — Булбулшо все еще продолжал свое: — Я ж и старенький мотоцикл, на котором вы ездили, клянусь, для того и купил, чтоб малышей своих навещать. Клянусь! Помните, через день в город удирал? Это ж домой, клянусь! У-у, близнецы мои! Хасан и Зухра! Самые красивые дети на свете, клянусь! Жить без них не могу! Давно бы я бросил эту профессию скитальца, если б не домла Гуломали и вы, домла! Клянусь, в жизни еще таких людей не встречал.

— Это каких?

— Да таких вот — вы же сами видели: еле дышит... встать не может... а готов ехать... ведь дни и ночи был на ногах. Увидел, что я тоже дело люблю, ну и взял меня шофером. Клянусь, я же в курсе всех его дел! С тех пор как освободился, клянусь, только и знает, что проект двигает, утрясает всякие дела с правительством! Знаете, как наш проект называют? «Плод Апрельской революции», вот как! Э, раньше, клянусь, думал: великие дела делают только великие люди. Теперь вижу — простые, вроде, люди, как Гуломали-ака, как вы, Сабир-ака, а тоже делают настоящее великое дело. Клянусь, я благодаря вам и эти места полюбил. Уеду — обратно тянет.

— В этих местах осуществится будущее, Булбулшо. Так что человек, который любит своих детей, должен этому способствовать.

— Хорошо сказали, домла, ой, хорошо! А как же? Ведь я и способствую — верно? Чем могу, клянусь. Не-ет, пока своими глазами не увижу, как этот проект осуществится, — клянусь, с вами не расстанусь! Только бы своих малышей навещать!

— Ну, конечно, Булбулшо. Вы эти дороги-то примечаете?

— Да я их зна-аю!

— Вы по ним на мотоцикле ездили — это одно. А следующим караваном тяжелые самосвалы пойдут — совсем другое дело. Примечайте, примечайте, вам эти самосвалы и придется вести, Гуломали теперь поберечь надо!

— Есть, домла! Понял! Клянусь, понял! — И Булбулшо затынул свою любимую народную песню, которую Сабир от него уже несчетное количество раз слышал:

Время придет — и весне возродиться,
время придет — и луне возвратиться —
ах, соловьи и цветы...

Машины, медленно урча, преодолевали ухабы. Водитель напряженно вглядывался в пелену снега и тумана впереди и время от времени рукавом вытирал пот со лба. Это был высокий худой пуштун с отросшей бородой и грязной чалмой на голове. Между ним и Сабиром лежала старенькая пуштунская двустволка. Все время до сих пор он молчал, но теперь — то ли от усталости, то ли от раздражения на немолчно болтавшего Булбулшо пробурчал:

— Побереги б себя... тут всюду муджахиды спуют.

— Типун тебе на язык! — закричал Булбулшо. — Да в такую погоду эти твои борцы за веру небось попрятались где-нибудь в пещерах да от холода дрожат.

— Не мои они, — сердито пробормотал водитель.

— Ясно, не твои! Ты, видно, устал — дай-ка я за руль сяду!

К удивлению Сабира, водитель спорить не стал. Должно быть, и впрямь переутомился. Сабиру пришлось подвинуться к правому краю, и тогда водитель с Булбулшо кое-как поменялись местами. Высокий пуштун взял свое ружье, положил справа от себя. А Булбулшо, и сев за руль, не унимался:

— Эти муджахиды — клянусь — они только по ночам и устраивают свои засады. У мостов или на большаках! А на проселки их, клянусь, не заманишь! Тут у нас тихо, спокойненько... — И он снова затынул:

Ах, соловьи и цветы...

Сабир тоже решил успокоить водителя:

— Мы же не оружие везем, — сказал он, — не боеприпасы. Строительная техника. Для вашей же страны, для кишлаков. Ведь эти муджахиды — тоже афганцы, правда? Чего ж им на нас нападать?

Пуштун посмотрел на него:

— Вы советский, да? — Сабир кивнул. — Ну вот, — сказал он, — им этого достаточно. Чтоб вас уничтожить, а заодно и нас всех!

— Типун тебе на язык! — снова закричал Булбулшо, обернувшись, и при этом высоченные колеса «Беларуси» чуть не съехали на обочину. Водитель ухватился за руль и выправил, но Булбулшо этого, кажется, так и не заметил в раже. — Они вообще никакие не муджахиды — просто убийцы и грабители! Да с нами едут ребята из царандоя, они им дадут, в случае чего...

— Угу, — буркнул пуштун неопределенно, а Сабир почувствовал себя очень неловко. Если водитель сказал правду — так, выходит, все меры безопасности приняты ради него, Сабира?

Он оглянулся. Железный караван, облепленный грязью, припорошенный снегом, медленно двигался по дороге, а за обочинами лежали уже девственно-белые поля, и никого, ничего не было ни видно, ни слышно. В воздухе кружились снежинки, впереди чуть виднелись контуры пологих холмов, за ними с трудом угадывались горные седины Эльбруса. Но видимость становилась все хуже. Или это уже предвестие сумерек? Все устали, даже Булбулшо замолк за рулем. Передние машины — скреперы, грейдеры, экскаватор — ушли вперед, вырисовываясь темными громадами. Слева показались одинокое высохшее дерево и копка гузапаи, укутанная снегом.

«Дзинь!» — раздался вдруг резкий звонкий щелчок. Они сперва не поняли — откуда, потом глянули на Булбулшо. Булбулшо с оторопелым видом глядел на левое боковое стекло кабины: оно было пробито и потрескалось.

— Камень, что ли? — спросил Сабир.

Но пуштун закричал:

— Пуля это! Пуля! — Он показывал на лобовое стекло перед водительским местом — там зияла аккуратная круглая дырочка; пластик на баранке был разбит: видно, пуля попала в баранку и срикошетила. — Там стрелок, стрелок, пригнись! — кричал пуштун Сабиру, сам, навалившись, прижал его к сиденью, каким-то звериным рывком перебрался через него, распахнув правую дверь, и выпрыгнул на землю. В руке у него было ружье, и он кричал Булбулшо: — Не останавливайся! Не останавливайся!

Сабир понял: он хочет под прикрытием трактора снять стрелка за копной. Но сверху уже видно было: за первой копной стоят еще несколько. Если и там стрелки — пуштун у них как на ладони! Сабир успел только набрать воздуха, чтоб крикнуть ему «Ложись!», как ударил выстрел и пуштун опрокинулся навзничь, выронив ружье. И почти в ту же секунду раздался взрыв впереди, взметнулся столб грязи, одна из темных громад перед ними не то рухнула набок, не то развалилась надвое.

— Грейдер взорвали, сволочи! Или экскаватор! — закричал Булбулшо Сабиру; Он остановил трактор, по корпусу тотчас щелкнули пули, но оба они скорчились на сиденьи под горестный выкрик Булбулшо: — Что же наши парни не стреляют?

Тут сзади тоже, наконец, застучали выстрелы — царандоевцы, должно быть, выбрались из «КамАЗа» и залегли. Порадоваться этому Сабир и Булбулшо, однако, не успели: сзади грянул еще один взрыв, так что и их трактор качнуло, что-то тяжело рухнуло, заскрежетало, загрохотало, полетели комья грязи, а выстрелы сзади смолкли, как отрезало. Высунуться глянуть, что там творится, было немислимо, и податься теперь трактору тоже, видно, было некуда — ни взад, ни вперед.

— Сволочи, сволочи, — горестно бормотал Булбулшо, прячась за приборной доской. Сабир решил все-таки поглядеть, приподнялся — и тут же резкая боль обожгла ему правое плечо. Он снова скорчился, сунул руку под ватник — там намокло, и правая сторона начала как-то странно неметь.

— Булбулшо... — позвал он было, оборачиваясь к геодезисту, в приливе боли успев подумать все-таки: чем же это они нас — минами? И увидел, что Булбулшо лежит, неестественно изогнувшись, нависнув всей тяжестью меж сиденьем и передней стенкой кабины. «Булбулшо...» — еще раз позвал Сабир почему-то шепотом, но геодезист не отреагировал. «Булбулшо!» — закричал Сабир, пытаясь пошевелить его. Голова парня откинулась назад — и Сабир увидел кровавую дырку у него во лбу. В этот мومت снова грохнуло, трактор страшно, со скрежетом, трянуло, какая-то огромная сила рванула Сабира с места, пронзив дикой болью раненое плечо, и окунула во тьму.

Очнувшись, Сабир увидел себя на дороге; плечо отчаянно болело и немело одновременно; на грязи рядом с ним уцелело, как обрывок ковра, белое пятно снега, левой рукой он сгреб с поверхности немного этого белого хрустящего блага, сунул в рот, пожевал; потом, повернув голову чуть вбок, увидел лежавшую на земле тракторную кабину, окутанную дымом; подальше, в спускающихся сумерках, неестественно, как оконеченная рука огромного мертвеца, торчала стрела экскаватора с разинутым ковшом.

Послышались чьи-то голоса, Сабир увидел, как по дороге, приближаясь к нему, чавкают по грязи несколько пар ног в сапогах. Он, сколько мог, приподнял голову:

вооруженные ружьями люди в широченных шароварах, с грязно-белыми чалмами на головах вели, подталкивая дулами, троих связанных. Сабир сразу узнал этих троих: двое были водителями скреперов, третий — один из царандоевцев, в разодранной форме, с окровавленным лицом. Всех троих поставили метрах в пяти от Сабир, в ряд, посреди исковерканной и заваленной обломками дороги. Появился высокий, одетый заметно лучше остальных, чернобородый человек с красивым лицом и следом — старик в латаной одежке.

— Чилим! — крикнул высокий, вытирая сапог скомканными стеблями гузапаи.

Старик тотчас подал ему неизвестно откуда взявшийся, уже раскуренный чилим:

— Вот, достопочтенный...

Чернобородый отшвырнул гузапаю, бросил наземь чекмень, уселся на него и закурил. Пленные стояли, безмолвно понурясь. В воздухе запахло анашой, и от этого запаха Сабир, оглушенного взрывом или, может быть, даже слегка контуженного, неожиданно замутило. Он невольно чуть дернул головой, и чернобородый, который как раз смотрел в его сторону, уловил какое-то движение. Он вынул изо рта чилим и внимательно взгляделся в лежащего Сабир. Но стемнело уже изрядно; чернобородый, видно, решил выяснить наверняка, померещилось ему или нет, он поднялся, подошел к Сабир и пнул его носком сапога. Раненое плечо отозвалось острой болью, и Сабир не сдержал стога. Впрочем, было уже все равно; даже и притворись Сабир мертвым, душманы все равно, наверное, прошли бы его для гарантии пульей или пырнули ножом.

— Эге! — сказал чернобородый удовлетворенно. — Да тут еще один не сдох!

Он наклонился, стал разглядывать Сабир, потом выпрямился.

— Эй, сюда! — крикнул.

Подбежали двое в шароварах, чернобородый сделал знак рукой «поднять»; и они, схватив его под руки, подняли рывком; Сабир не сдержал крика боли, было похоже, что ему выдернули руку! И все же он оказался на ногах, и ноги, хоть и подгибались держали его.

— Живо-ой! — сказал чернобородый и засмеялся, смех у него был резкий, отрывистый. Он снова взгляделся в Сабир. — Э, да это уж не самая ли жирная птичка? Советский? — спросил он грубо, сделав зверскую мину. — Ну! Я тебя спрашиваю! Советский?

Сабир кивнул. Чернобородый снова засмеялся.

— Смотри, советский, а по-нашему понимает! Ну, ну, поговорим... Поставить его к тем трои!

Их вели вперед по той же дороге. Она ровно светилась в темноте — подморозило, и снег больше не таял. Связали их попарно: Сабир с одним из водителей, царандоевца — со вторым. Те двое были совсем молодые люди, одеты легко, руки их, стянутые арканом, посинели. Они шли впереди; напарник Сабир был постарше — средних лет мужчина, на нем, как и на Сабире, был распахнутый ватник. Раненая рука Сабир задубела, боль сделалась не пульсирующая, а ровная, тупая, или, может, он просто притерпелся. К счастью, их особенно не подгоняли, видно, душманы и сами не слишком торопились.

Прошли они, пожалуй, около километра, когда Сабиру показалось — напарник его что-то шепчет. Он осторожно повернул к нему голову — водитель и впрямь на него смотрел.

— Аллах вам помоги... — прошептал он, — трудно вам придется...

— А вам? — так же шепотом спросил Сабир.

— Да нас... нас, скорей всего, просто расстреляют... советских они величают кяфирами... от кяфиров, мол, все беды...

— А вы как думаете?

На лице водителя появилось подобие улыбки:

— Я? Я ж был не с ними — с вами.

— Ясно, — сказал Сабир, — а куда ведут, не знаете?

— А куда бы ни вели — сперва постараются обратить в свою веру, а нет — так прикончат.

Тут впереди послышались голоса, замелькали какие-то ответы, послышался конский топот. Смутно обозначились силуэты деревьев. Конвоиры оживились, ткнули их в спины дулами винтовок.

— Скорей, э!

Сбоку от дороги, на истоптанном черном поле, горел костер. Вокруг толпились вооруженные люди, чуть в стороне, на коне светлой масти, восседал важного вида человек в темной чалме. За ним на молодой, довольно кудцей лошадке сидел, ози-

раясь, безбородый сморщенный человечиска, держа в руках зеленое знамя с изображением полумесяца. Пленных подвели к важному, он оглядел всех, взгляд его задержался на Сабире. Светлый конь пританцовывал, бил копытами. Человек был, кажется, пожилой, Сабир успел заметить только большой мешкообразный зоб под синеватой от седины бородой и два ряда патронташей.

— Почему у него вторая рука не связана? — спросил Важный кого-то справа. Сабир покосился — и увидел того чернобородого, любителя чилима.

— А у него вторая как плеть висит, о мой шейх! — весело сказал чернобородый.

— Тогда глаза завяжите! — приказал шейх.

— Слушаю, о мой шейх! — Чернобородый потянул Сабир за ватник, оттащил его метра на два, заставив шагнуть следом и Сабирова напарника. Потом вдруг развернулся и ударил Сабирджана кулаком по переносице. Сабир, ослепленный, теряя сознание от вспыхнувшей боли, рухнул наземь, увлекая и связанного с ним водителя.

— Что за непристойности, эй! — послышался голос шейха.

— Ничего, о мой шейх! — весело ответил голос чернобородого. — Платка не нашлось — глаза завязать, я ему их и так закрыл!

— В машину их! Быстро! — снова сказал голос шейха. Конь его заржал и, кажется, встал на дыбы, подняв передние ноги, потом рванул с места и поскакал куда-то, вслед за ним в глазах Сабир протрепетало зеленое знамя. Люди у костра загомонили, оружие звенело. Напарник Сабир стал подниматься, потянул веревку, и Сабир тоже попробовал встать. Плечо рвало болью, в голове мутилось, но было страшно, что его вновь будут поднимать пинками. Гомонившая у костра толпа быстро таяла, душманы уходили. Сабир кое-как поднялся с помощью товарища. Подъехал грузовик, из полутьмы вынырнул чернобородый с несколькими душманами. К удивлению Сабир, веревку, связывавшую его с напарником, перерезали, потащили его к машине, втолкнули в кузов. Оттуда пахло отвратительным запахом портящегося мяса, нечищенных кишок. Падая в кузове, он снова ударился большим плечом, правда, обо что-то мягкое; и все же потерял сознание от боли.

Проснулся он от отчаянного холода, его жестоко студил ветер. Тело, казалось, окоченело навсегда, но он все же заставил себя приподняться и оглядеться. Уже светало, машина ехала медленно; по сторонам, впереди, сзади — виднелись сквозь редкий туман черные, голые, поблескивавшие горные скалы, они поднимались выше, надвигались спереди, поравнивались, отставали, надвигались новые. Уши Сабир заложило, как в самолете, он судорожно глотнул. Машина между тем въезжала в какое-то селение — квадратные глиняные крыши как бы сросшихся друг с другом нищих кибиток у подножья горы. Оттуда несло едким запахом пороха и слабым ароматом осенних колючек. Где-то далеко слышались выстрелы. Кибитки клонились — и Сабир увидел десятки черневших ям: должно быть, входы в пещеры или норы. Возле них горели очаги, к арбам с резиновыми колесами были привязаны яки, женщины обжигали кизяки, бегали босоногие дети.

Они проехали несколько вооруженных постов — дорога здесь оказалась мощеная — и остановились у большой площадки, огражденной каменными глыбами. Сабир понял: это был «учебный полигон», а обросшие, еле волочащие ноги люди на площадке — новыми «муджахидами», новобранцами. Они побросали оружие, оставили пулеметы и с воплями окружили машину. Закочневшие охранники Сабир — их было трое — стали раскрывать борта, железо задвижек не слушалось; наконец борта упали, охранники оттолкнули Сабир в пустой угол и стали сбрасывать на землю бараньи туши, мешки с головами и кишками. Потом столкнули вниз и пленника.

Вконец оступевший от несмолкающей боли и холода, Сабир не глядя опустился наземь. Он уже все воспринимал безразлично: недалеко проскакали по камням дороги всадники; из-за поворота, из-за скал, доносился поминальный плач, вой; где-то наверху простучали автоматные очереди. И Сабир как будто не замечал, забыли о нем. Обросшие, оборванные люди таскали туши и мешки в расположенный, должно быть, поблизости амбар, пока, наконец, на земле не остались только красные лужи и потеки. Прошло не меньше двух часов, когда Сабир увидел: на площадку вступает новая процессия — это были пришедшие пешком душманы из напавшего на них отряда: они вели его товарищей. Сабир поднялся, чтобы рассмотреть получше — и тогда увидел на краю каменной площадки амбар: туда сносили мясо, туда же втолкнули и его товарищей. Амбар заперли, у двери встали часовые.

Обширная площадка постепенно стала заполняться. Один за другим появлялись дехканского вида люди, кто в чарыках, кто в грубых ботинках, перепоясанные платками, с ружьями за плечом; парни в полувоенной форме; несколько, видимо, настоящих военных; белобородые улемы; даже женщины в чадрах и посинелые, дрожащие от холода и все же неистово любопытные дети. Сабир подумал, что они

собираются на зрелище, единственно, должно быть, возможное в этом страшном подобии кишлака, превращенного в горное гнездо «муджахидов»: посмотреть на вновь захваченных в плен «неверных». Но никто из них не глядел ни на него, ни на амбар, где заперли остальных пленников. Разве что дети повертелись у закрытых дверей амбара — перед часовыми.

К каменной ограде площадки подъехало шестеро всадников. Гул голосов замер. Всадники спешили и, встречаемые этим почтительным молчанием, медленно пошли к центру собрания. Люди расступились. Кто был при ружьях, брали их «на караул». Священнослужители уважительно наклоняли головы, бормоча молитвы. Первым из подъехавших шел, не поднимая взгляда от земли, невысокий человек с кинжалом и саблей на боку, худощавый, с головой, похожей на помятую дыню. Сабирджану его лицо показалось знакомым, он взгляделся. Господи, это же Якубхан! Сабир потер левой рукой глаза. Да, конечно, это был вождь племени шикашим, тот самый, что вырезал полкишлака Пайки и теперь, видимо, держал в страхе всю окрестную территорию! Вот к кому они попали! Да, да, вон и тот козлородый маулави рядом!

Якубхан сделал едва заметный знак рукой, и в толпе тотчас обозначилось движение. Двое вооруженных душманов подняли и вытолкнули Сабир в центр площадки. Послышался скрип дверей — это амбар открывали, и толпа, расступаясь, выдвинула сюда же, в сопровождении конвоиров, трех Сабировых товарищей — избитых, грязных, измороженных донельзя, едва волочащих ноги. Они ни на кого, ни на что не смотрели, очевидно, ожидая немедленной казни. Сабир только глянул на них искоса: почему-то он чувствовал — не надо ему на них смотреть. Сам он настоящего страха, пожалуй, не испытывал — может оттого, что был слишком измучен. Он стал смотреть на Якубхана — благо, тот уперся взглядом в землю. Худощавая фигура предводителя «муджахидов», перетянутая серебряным поясом, словно выглядывала из распахнутого длинного черного чапана. Сабиру вспомнилось, как Якубхан стоял, дрожа от ярости, перед Сардором, когда тот ломал его саблю, и при этом воспоминании едва не улыбнулся. Якубхан же молчал, потом на мгновение поднял глаза, скользнул взглядом по пленным — и негромко, словно испытывая царившую мертвую тишину, сказал:

— Этих — увести! — Его сразу поняли, троих потащили обратно в толпу — должно быть, в амбар. Якубхан еще помедлил, потом сказал так же негромко: — А этого — на чаркат¹. — И повернулся к козлородому маулави: — Повелеваю приготовить фетву!²

Маулави поклонился, и все вокруг замерло. Сколько это длилось, Сабир не мог бы сказать — время как бы остановилось; затем внезапное слабое «Уввв!» всколыхнуло толпу.

— Дайте ему поесть, чтоб жив был! — по-прежнему глядя в землю, бросил Якубхан и, резко повернувшись, пошел обратно к краю площадки. За ним последовали все приехавшие. Толпа не двигалась.

— А ну, расходись! Что стоите, рты разинули! — крикнул чей-то грубый голос.

Толпа словно очнулась, первыми двинулись с места женские фигуры в чадрах, потом и остальная людская масса потекла с площадки. И тут какая-то покрытая чадрой женщина, стоявшая неподалеку, двинулась к Сабире, странно пошатываясь. Не доходя трех-четырёх шагов, она вдруг сорвала с головы девичий платок и чадру и не закричала даже — завопила диким, отчаянным голосом:

— Алла-ах! Аллах праведный! Гляньте, люди, — это не кяфир, не-ет! Это праведник безгрешный! Явился благодеяния ради, люди-и!

Сабир стоял перед тем, словно воздух из него выкачали, его поддерживали два душмана; но на вопль женщины он отреагировал — что-то смутно знакомое в нем почудилось. Женщина стояла, пошатываясь, — вот-вот упадет. Две другие, закутанные чадрами, к ней подбежали, подхватили, попытались увести, но она, хоть и была, казалось, совершенно без сил, не поддалась, уперлась — и вдруг закричала снова:

— Люди-и! Правове-ерные! Этот пленник... праведник этот — жизни не жалел... чтобы вас... ва-ас накормить! Чтоб земля родила! Земля-а... родила-а-а! — Крик перешел в вой, она была в истерике.

И Сабир вдруг понял: это незнакомое, истощенное, высушенное, прочерченное

¹ Чаркат (искаж. «чаркатль», букв. «четверное убийство») — казнь, применяемая душманами по отношению к тем, кого они считают «кяфирами», неверными. Казнимого распинают с помощью веревок на деревянной стенке или щите, затем автоматическими очередами «отсекают» ему руки и ноги.

² Фетва — «разрешение» на казнь, даваемое старшим по сану из присутствующих мусульманских священнослужителей.

черными морщинами женское лицо — это лицо Зулейхо! Зулейхо-о! Он дернулся было из рук конвоиров, но его держали крепко, и от рывка отупевшая боль в правой руке ожила, ударила со страшной силой, проколола сердце! Вокруг бьющейся в истерике девушки, оттолкнув женщин, засуетились неуклюжие вооруженные люди в шароварах. И тут из надвигавшейся поодаль группки молодежи в полувоенной форме один вырвался, побежал к девушке, тяжело дыша, растолкал всех, подхватил ее и на руках куда-то понес через толпу. Куда — Сабир уже не увидел, боль затмила все, помутила сознание. Он только успел подумать — кто же этот парень в полувоенной форме? А-а... тот, что с пистолетом... тогда... в комнате... у Гуломали... Гуломали — где он? А этот... да-да... Ауранг.

И сознание его покинуло.

Сверху на Сабирджана что-то капало. Что это, думал он, дождь, что ли? Где это мы стоим? Он чуть пошевелился, очнулась боль в руке, и он все вспомнил. Он скосил глаза вниз — под ним сырой камень, запах сырости и плесени пронизывает все вокруг; скосил глаза вверх — перед ним каменная ступенька, выше — ступеньки еще и еще. Сверху падал скудный свет. Сабир с усилием поднял голову. Свет падал из щелей двери наверху — к ней и вели ступеньки. Сквозь щели виднелись и ячейки решетки, очевидно, прикрывавшей дверь снаружи. К косяку двери прислонилось ружье, а на верхней ступеньке, подстелив под себя сено и скрестив ноги, расположился человек в шароварах, с обширным брюхом, сползшим на ляжки. В руках у человека была глиняная каза и деревянная ложка. Он, должно быть, только что кончил есть, пристроил каза около себя, вытер свисавшим концом чалмы ложку и удовлетворенно вздохнул. На лице его, скудно освещенном, украшенном темными подковообразными усами, тоже отражалось довольство жизнью, даже, пожалуй, жизнерадостность. Ясно, это стражник, но он-то, Сабир, когда сюда попал? Ничего он не помнил. И где находится эта самая его тюрьма? Что это за подвал? Может, тот амбар на краю площадки? Нет, вспомнил он, там не было решетки на дверях. Он опустил голову, и страж заметил это движение.

— Эй, очнулся? — спросил он жизнерадостным тоном, вполне соответствовавшим выражению лица. — То-то, пора. Хе-хе... Слыхал, Якубхан сказал: «Дайте ему поесть, чтоб не сдох»? Хо-хо! Я и припугнул повара, взял еды на двоих! Тебе-то уж еда ни к чему, верно? Даром же пропадет, слышь? Ха-ха-ха! Чего молчишь? Не все ли равно, как на тот свет идти — сытым, голодным. Голодным-то еще легче, хе-хе. А вот мне надо поесть, слышь... еще потрудиться придется! — И он снова шумно засмеялся собственной шутке, смех у него был раскатистый, и живот при этом подымался и опускался — словно меха, которые раздували смех. Наконец он приостановился и сказал, досмеиваясь:

— Возьми, возьми, я и тебе там положил.

Сабир повернул голову: рядом с ним на клочке соломы лежал кусок сухой лепешки, стояла кружка. Он с трудом высвободил затекшую руку, протянул ее к кружке: там была вода, и Сабир жадно ее выпил.

Снаружи, очень издалека, донесся истерический женский выкрик, потом снова, женщина завывала. Неужели Зулейхо?! У Сабира прошла по лицу судорога, он сам едва сдержал рыданье.

— Что... с женщиной?.. — спросил он сдавленным голосом.

— А-а, с ума сошла. Давеча, на майдане, тронулась, видел же! Тебя праведником объявила, ха-ха! Ну не она первая спятила. Только больно уж остервенела — всех проклиняет. Чтоб вы, мол, все подошли, кровью харкая, да чтоб от вас одни крысы рождались. Побить бы ее, заткнуть рот, да какой-то джигит, из этих молодчиков городских... защищает ее, не дает. Сестра, видно. Или еще кто...

Темп речи у стражника замедлился, голос сделался ленивым — видно, от обильной еды его стало клонить в сон.

Сабир опустил голову вниз, помолчал. Потом сказал:

— Послушай-ка!

Стражник поспешно вскинул голову, видимо, и впрямь задремал.

— А? Чего?

— Чего меня здесь держат-то?

Стражник потряс головой, прогоняя сон.

— Ну как же! — сказал он деловито, вполне дружелюбным тоном. — Чаркат — дело непростое! Подготовиться надо. Опять же, стенка подходящая нужна. Нету — значит, из досок надо сколачивать. И веревки... И люди пока приедут. Не-ет, не простое дело. Ну, ты, понятно, не знаешь — тебе ж впервой чаркат-то будет, а? — И, довольный своей шуткой, снова захохотал, окончательно проснувшись.

— Да что такое чаркат?

— Йе! Не знаешь? Вре-ешь!

— Не знаю.

— Н-ну! Да ты кто ж такой? Откуда? — Стражник искренне удивился. — То-то, гляжу, лежит себе тихонько без памяти, будто и не чаркат его ждет, а свадьба. Хотя — чаркат, слышишь, тоже святое дело. Оно таких грешников, как ты, от грехов освобождает!

— Это как же?

— Как, как! Очень просто. Привяжут тебя за руки-ноги к деревянной стене — там дырки делают, веревки протягивать — привяжут, как к кресту вашему...

— Какой крест? Мои предки мусульмане были!

— То — были. Были, да сплыли! Раз кяфир — выходит, крест! Ну вот, привяжут веревками — а потом «машиндором»¹... та-та-та! Сперва одну руку отстрочат, потом ногу. Потом еще руку и ногу. Если еще живой останешься, от веревок освободишься — значит, и грехи твои смыты! Понял? А уж там — пристрелят. Ладно-ладно, дрыхни. Тебе тоже подготовиться надо.

Воображение вслед за словами стражника легко рисовало эту картину — и все в Сабире сжалось от неодолимого, подкатывающего к горлу страха. Он испытал такое впервые с тех пор, как там, на дороге, цокнула первая пуля и началась эта смертельная история. До сих пор ему не думалось о смерти, не верилось, что она близко. Может потому, что, сам того не сознавая, он все-таки чувствовал себя здесь человеком «со стороны»? Нет, не со стороны, значит! Его пробрала непобедимая дрожь, вот-вот зубы застучат и услышит этот толстый кровопийца... «Святое дело!» Ах, чтоб тебе... И ведь не избавиться от этого. Не избавиться? — спросил он себя. А если подняться и броситься на часового? Пусть выстрелит и убьет! Или заколет. Нет, подумал он тут же, не станет он убивать, он со мной, с одноруким, и так в два счета справится, вон какая туша. А убивать ему меня нельзя. Нельзя... раз готовят такую показательную казнь. Убьет — самому несдобровать.

Он сжал зубы, постарался унять дрожь. Потом сказал:

— Эй, послушай-ка еще!

— Еще? Ну чего?

— А скоро... скоро это будет?

— А ты что, торопишься? — сказал стражник и опять захохотал, явно довольный собой: везло ему сегодня на хорошие шутки.

— Ну... а почему бы... почему бы не освободить меня... от грехов... поскорее?

— Хо-хо! Ты хоть и кяфир, а парень ничего. Я тебе, слышишь, вот что скажу: настоящий чаркат не всякому на долю выпадает. Сколько умерли вовсе без покаяния! — Стражник говорил уже вполне серьезно. — И ведь тебе, слышишь, ноги и руки автоматом отстрочат — раз, и готово. А бывало, тупой косою отсекают — во! Или серпом. Так что не бойся, успеешь освободиться. Полежишь здесь пока. Сейчас наши все главные с джигитами пошли громить стан «Эхвани муслим». Ого, какое побоище будет!

— «Эхвани муслим»? А вы кто?

— Мы-то? Муссаватисты.

— А побоище зачем? Они ж тоже борцы за вашу святую веру?

— Это правда... И они поборники... Наполовину, так сказать, хо-хо! Они нарушили сабельный обет Великому Садру! А изменников — их кончать надо.

— А если — они вас?

— Ну, и они нас, само собой. Еще ведь и сарандои есть. В общем, мы, парень, меж двух огней! Э-э, что это я — двух... не двух — есть еще и «Шулай джавиди». Кто сильней, тот и бек. Вообще-то, треплют смутьяны святое зеленое знамя, как тряпку.

— Как тряпку? Слушай, кстати, а у тебя какой-нибудь тряпки не найдется?

— Какой еще тряпки!

— Да хотел потуже плечо перевязать... кровит сильно.

Стражник посмотрел на него подозрительно, подумал.

— Нет, сделать тебе хорошее — противно шариату. Что я с тобой разговариваю — и то уж грех! Но как быть, такой у меня нрав, не буду разговаривать — усну.

— Ну ладно, не можешь так дать — возьми мой ватник. Рукав отстираешь, а так — почти новый.

— Не-ет... Вот тот, под ним, на тебе. Тот вроде получше.

— Бери!

— Тогда по рукам!

Часовой, громко сопя, снял сапог, развернул часть портянки и стал отрывать зубами. Сабир, сдержав стоны, еле-еле стащил с себя ватник, потом снял пиджак.

¹ Машиндор — автомат.

Рукав пиджака присох к рубашке, та — к ране, но, кое-как придерживая рубашку двумя пальцами, остальными тремя он отделил от нее пиджачную подкладку, снял пиджак, помедлил, чтоб отдышаться, и кинул пиджак стражнику. Тот бросил вниз портянку. Она изрядно пованивала, но была еще крепкая, и Сабиру удалось перетянуть ею плечо и снова надеть ватник. Управившись, он взглянул на стражника — тот следил за ним полусонными глазами.

— Дал бы лучше чалмы кусок! — сказал Сабир с усмешкой. — Вон какая длинная!

— Молчи, кяфир! Тьфу... — Стражник разозлился, но сразу отошел. Сообразил видно: на такого темного грешника злиться — только пыл зря переводить. — Не знаешь, что ли, — объяснил он, — чалмы у муджахидов должно на саван хватить!

Сабир только кивнул. Стянутое плечо болело меньше, страх как-то отодвинулся, зато великая усталость навалилась. Сабир лег, примостил поудобней раненую руку, прикрыл глаза — и не заметил, как заснул.

Проснулся он от промозглого сырого холода, который проник, казалось, в каждую клеточку его тела. В щели дверей наверху втекал уже не свет, а сумеречная серость, и на верхней ступеньке сидел не давешний толстяк — сидела тощая фигурка. Он огляделся — ну да, какой-то худенький старик с бородой сменил толстяка и прикорнул наверху, обняв обеими руками винтовку. Но старик не спал: едва Сабир пошевелился, он настороженно повернул к нему голову и негромко кашлянул.

— Что, бобо, — простуженно сказал Сабир, — теперь вы меня стережете?

Старик не ответил, только кашлянул еще раз.

— Так, — снова сказал Сабир, — видать, джигиты-то еще с побоища не вернулись.

На этот раз старик отозвался.

— Какое же побоище, сынок, — сказал он. — Это джихад, священная война! Не вернулись, конечно, — продолжал он. — Вон как тихо вокруг. Вернулись бы — у-у, тут бы что было! — Старик поднялся с места, спустился на несколько ступенек, поставил перед Сабиром кружку с водой и положил на нее лепешку. Что-то в его голосе и тоне, какая-то особенная, негромкая, но убеждающая рассудительность показались Сабиру знакомыми. Где-то он уже слышал это.

И старик снова поднялся наверх, уселся, вздохнул — и снова заговорил, не то продолжая прерванную реплику, не то просто размышляя вслух:

— О-о, когда они вернуться, на кладбище «Газиён» будут чувствовать и хоронить воинов, павших в священной битве. От ружейных выстрелов горы грохнут, весь кишлак на голову встанет, женщины и дети станут посыпать себя пылью, кровавыми слезами заплачут! Не вернулись, нет. Вон совы летают-покликают, летучие мыши вьются.

И вдруг Сабир вспомнил: это был тот старик, что, отряхивая подол, уходил с джирги, на которой они тогда присутствовали. Тот самый, что спросил Гуломали: «А вы эту землю возьмете, сынок?» Как же его зовут? Ведь Сардор назвал его по имени. Нет, этого Сабир вспомнить не мог. Да и что толку называть его по имени, ведь его-то старик все равно не вспомнит.

— А вы тоже участвуете в этих... священных войнах? — спросил Сабирджан.

Старик помедлил, прежде чем ответить.

— Меня на такие дела редко берут... — сказал он наконец. — Стар я. Но раз другой, да простит аллах, все же доводилось бывать.

— Странно у вас получается, бобо, — сказал Сабир с усмешкой. — Старый — значит, сейчас самое время сражаться за веру, рай себе зарабатывать.

Старик чуть повернул голову — должно быть, глянул на него исподлобья.

— Один раз пошли, — сказал он просто. — Сказали — на врагов. Взорвали в каком-то бедном кишлаке мечеть и вернулись. Не знаю, были там враги, нет ли. Это час намаза был. Вопли и стоны позади я слышал — это да. — Он снова помедлил, помолчал. — В другой раз отпразднили карать неверных. Оказалось, в одной бедной школе на окраине Самангона суры Корана не проходят. Ну, подперли мы двери школы снаружи — и подожгли. Саратан был, жара; крыша, видно, сухой гузапаей крыта — загорелась, как факел. Даже два зеленых тополя на школьном двореке вспыхнули. Мы стали уходить, вдруг кто-то как крикнет: «Гляди, гляди!» Повернулись — а по полю от школы вроде огненный шарик катится. Кто-то опять закричал — ребенок, мол, это! И вправду, ребенок. Чем быстрее бежал, тем пламя-то на ветру сильнее разгоралось, а он, дурачок, от огня убежать хотел. Кто-то было кинулся за ним — потушить, мол, — а с ним был один из этих, молодых, — полумулы, полувоенные. «Львята» — они себя называют. Он и кричит: «Стой! Враг спасается, а мы — ему помогать?» Взял этот шарик огненный на прицел — и пальнул. Оно, правда, ребенка бы уж не спасли — ну а какой он враг? Несмышлениш несчастный. И «львенка» этого — через день самого убили.

— Как, кто?

— Ну кто ж знает — кто. На дело пошел — и убили.

Лица старика Сабиру видно не было, интонация у него была все та же ровная, рассудительная, и Сабир так и не понял, ставил старик в какую-то связь смерть «львенка» с убийством мальчика или просто так добавил, ради полноты рассказа. Нет, пожалуй, не просто так... А «львенек» — кто это был? Говорит, убили его — значит, не Ауранг. Где-то сейчас он и Зулейхо?

— Бобо, что-то не слышно той женщины... той, что кричала на майдане.

Старик не ответил. Сабир взгляделся — силуэт старика раскачивался наверху, на фоне серых дыр в двери. Молится, что ли? Или просто сидит качается взад-вперед?

Старик вдруг замер.

— Слушай, парень, — сказал он своим ровным голосом. — А это правда? На бумаге?

— Что правда, на какой бумаге?

— Ну, в джариде, что у тебя была.

Джарида? А, это так называют газету. Но что за газета? Тут он вспомнил: верно, он же взял с собой газету. Ту, где напечатали записки Сухайля. А, ч-черт! Хотя — теперь уже все равно., Но когда они ее нашли? Его обыскали в машине, забрали документы, что были при нем. А газету? Сабир не помнил. Да и где она была? Кажется, в кармане пиджака. Наверное, все же тогда, сразу нашли. Или он отдал ее толстяку вместе с пиджаком? Жаль, — подумал он с горькой иронией над самим собой, — был бы случай передать ее хотя бы Аурангу — чтоб узнал про отца. Где же все-таки он и Зулейхо?

— Ну так что, парень, — правда это?

— Не знаю, бобо, о чем говорите.

— Как не знаешь? Ну, прощение, что будто всем вышло, кто теперь воюет против правительства.

— А, об амнистии?

— Ну да, так вроде это называют.

Теперь Сабир сообразил: наверное, в той же газете был напечатан указ правительства о всеобщей амнистии. Он-то и не глянул на остальные страницы. Но раз это для старика такая новость — значит... значит, указ об амнистии от них скрывают?

— Бобо, да вы разве об этом по радио не слышали? Ведь это уж давний указ!

— Э, сынок, кто здесь послушал бы радио из Кабула — головы б лишился! Да и у кого тут радио? Ну что — значит, правда это, сынок? Что прощают всех, кто с повинной явился?

— Конечно, правда, бобо!

— Та-ак...

Мысли в голове у Сабира вдруг завертелись с лихорадочной быстротой. Значит, газета здесь уже ходит. Или, скорей, кто-то грамотный прочел — и пересказывает. Может, и до Ауранга уже дошла? И он знает об отце? Ну и что? Ему, Сабиру, все это ничем не поможет. А вдруг? Но ни с кем же связаться невозможно! Разве... разве... через старика? Нет, не похоже, чтоб старик стал что-нибудь делать. Да и кто здесь знает Сабира? Ауранг? Тот сам собирался его убить. Да и где он, Ауранг? И Зулейхо — где?

— Бобо, вы мне так и не ответили.

— Что?

— Той бедной сумасшедшей женщины, что кричала на майдане, не слышно стало. Случилось с ней что-нибудь?

— Э, может, она и не сумасшедшая. С людьми такое случается, когда нож до кости дойдет. У бедняжки горькая судьба — отец ее отдал было насильно кому-то из наших главных — чуть ли не самому Якубхану, — да она убежала. Ловили ее... били — много всего. А вчера до полуночи по кишлаку бегала, всех кляла, выла, плакала. Отцу перед джихадом все лицо расцарапала. Ну а потом — исчезла. Ищут ее, ищут, никак не могут найти!

— Да где ж она?!

— Кто знает, сынок.

Сабир не мог больше лежать. Кряхтя, со стонами, он поднялся на ноги. На удивление, они держали его крепче, чем вчера, хотя все тело затекло. Правое плечо мучительно ныло. Он сделал два шага в одну сторону — и уперся в скользкую стену. Четыре шага назад — другая такая же мерзкая мокрая стена. Он успел всего два раза пройти от стены до стены, как вдруг наружная решетка стукнула, в щелях замелькал свет и кто-то резко, нетерпеливо застучал в дверь. Старик-караульный вскочил и стал возиться сперва с одним замком, который, наконец, глухо щелкнул, потом со вторым. Дверь распахнулась, в проеме стоял парень в полувоенной форме, с фонарем в руках. Фонарь освещал блестящие черные ботинки, темные брюки и китель, бросал пятна качающегося света на лицо. Да, это был Ауранг. Сабир узнал его сразу. Свет фонаря скользнул по всему подвалу, по Сабиру, прижавшемуся к задней стене,

но сам Ауранг на него глаз не поднял. Он спросил — так же резко, отрывисто, громко, как стучал в дверь:

— Зулейхо... здесь не было?

— Нет, шербачча,— сказал старик,— не было. Никого не было, никто не приходил.

Но Ауранг еще медлил на пороге. Невзирая на эту его нарочитую резкость, была в его, казалось бы, стройной, сильной юношеской фигуре какая-то проступающая в осанке растерянность, неприкаянность. Не Сабир в его положении кого-нибудь жалеть — но он вдруг почувствовал к юноше настоящую жалость. Тот, наверное, остался один и ни с чем в жестоком этом мире, заблудился в этой человеческой чаще. Обо мне, думал Сабир, там за рекой будет хоть кому пожалеть и поплакать. И вдруг странная, болезненная мысль его пронзила. Даже не мысль — воспоминание. Что сказала Зулейхо тогда, когда они прощались у мотоцикла? Что-то о реке, о реке. Приходите иногда на берег, смотрите на волны... Да-да, что-то такое... Может, и меня в волнах увидите...

— Послушайте, Ауранг! — сказал он громко. Ауранг дернулся, посмотрел на него. — Идите к реке! Есть здесь речка поблизости? Так идите к ней! И поскорей. Может, там...

Сабир на мгновение увидел глядящие на него в упор, сверкающие, как два клинка, глаза Ауранга, фонарь резко вильнул, и фигура парня исчезла в черноте. Старик долго возился во тьме, запирая оба замка; потом снова уселся на свое место.

На рассвете его сменили. Уходя, старик посмотрел на Сабир долгим взглядом, словно не хотел расставаться. Новый караульный оказался здоровенным усатым мужчиной; на голове у него красовалась дорогая шапка, зато ноги обуты были не то в старые кавуши, обмотанные тряпьем, не то просто снабжены привязанными прямо к ступням твердокаменными подметками. Он сразу же развел на верхней ступеньке костерок и стал греть ноги. Лицо у него было мрачно-озабоченное, как на поминках.

— С битвы еще не вернулись, друг? — осторожно спросил Сабир.

Часовой глянул, точно говоря: «С тобой я еще не разговаривал!» — и ничего не ответил. Но недолгое время спустя Сабир ответ на свой вопрос получил: загремели беспорядочные выстрелы — стреляли явно на кладбище, в честь павших. И тотчас со стороны кишлака послышался такой жуткий нестройный хор плачущих, воющих и выкрикивающих что-то голосов, что он заглушил и выстрелы, и горное эхо. Сабиру сделалось тошно и страшно; здоровяк караульный тоже сидел пригорюнившись, отвернувши лицо к двери, широкие плечи его изредка вздрагивали.

— О алах! — сказал Сабир негромко. — Это же надо, какую люди выбирают себе судьбу!

Часовой чуть пошевелился — стало быть, услышал. Однако не повернулся. Когда же отгремел последний выстрел и поминальные вопли в кишлаке тоже стали стихать, он вдруг приник головой к двери и глухо зарыдал. Было странно видеть, как плачет этот здоровенный мужчина, но кого он так горько поминает, кто из его близких пал в джихаде, Сабир спросить уже не осмелился.

Впрочем, ему было впору о себе думать. Это туманное утро, которому предстояло стать последним в недолгой жизни Сабир и которое так и началось с погребальной церемонии, было и само по себе такое холодное и мрачное, что даже не вообразить: где-то ведь сейчас пожога погода, теплое солнышко, небесная синева. Сабир лег, прикрыл глаза. Этой ночью он спал лишь урывками, теперь хорошо было б заснуть, только холод не давал. Сабир старался отогнать, оттолкнуть наваливавшиеся мысли о предстоящем, принялся думать о доме, мысленно разговаривать с матерью, и как-то вдруг вышло, что и мать сама пошла ему навстречу. Она присела рядом. Что ж вы не сказали ничего, мама, сказал ей Сабир, почему не разбудили меня? Я бы дров наколот, натаскал. Нет, сынок, сказала мать ему в ответ, это ты прости меня: я ведь не знала, что Чорданахр — такое редкое чудо! Такое попадаете лишь раз в жизни! Что вы, мама, сказал Сабир, с чего это прощение просите? Веки у него слипались, но он усилием воли разомкнул их: у изголовья сидела вовсе не мать, а Сумбуль-ая! Сказать она, однако, ничего не успела — все заглушил надрывный, громоподобный кашель. Это — Гуломали, понял Сабир, но откуда здесь Гуломали, откуда? Он попытался понять, сообразить — и проснулся. Кашель был его собственный. Сабир никак не мог откашляться, пробить дорогу воздуху, всю грудь заложило. Откашлявшись кое-как, он снова понемногу впал в забытие, опять приходил в себя, и сызнова не то засыпал, не то грезил, и уже не мог отличить сон от яви. Когда ему казалось, что он очнулся от сновидений, он рассуждал сам с собою, что сейчас надо вспоминать все лучшее, что было в жизни, — минуты счастья, любви, успеха, простой молодой радости. И это вспоминалось, приходило и тут же проскальзывало мимо, неудержимо уходило из рук, и снова начиналось все сначала, и надвигалось то страшное, что ожидало его тут же, за порогом, на пороге, у изголовья, в нем самом. Я же смирился, говорил он этому страшному, я готов, чего ж

тебе еще, дай передышку, отодвинься, исчезни покамест, я ведь твой, никуда не денусь, не надо играть со мной, как кошка с мышью, отойди покуда в эту тьму за дверь, я хочу мать увидеть еще раз, дай насмотреться, мама!

— Мама...

Резкая боль в плече разом выдергивает его из этого полукошмарного, полублаженного состояния. Его поднимают за больную руку, и вот он уже меж двух вооруженных, пахнувших кислым потом людей, один из них — его давешний караульный, тот самый толстяк, шутник, он и сейчас хохочет, смеется своей очередной шутке:

— Мама! Ха-ха-ха! Сейчас увидишь твою мать! Хо-хо-хо!

Его тащат по ступенькам вверх, за ноги цепляются пучки соломы, дверь подвала распахнута, за нею — неожиданно ясный, бог весть когда разгулявшийся день, синее небо, кривые ветки голых деревьев на краю синевы, отчетливые очертания гор, летящие вороны. И — самое страшное: едва уловимый не то гул, не то дыхание огромной толпы, еще ему не видимой, но уже собравшейся, чтобы посмотреть его смерть. Как это можно — смотреть смерть? Какая чушь, какая бессмыслица, будь она проклята! Будь прокляты...

Но тут — этот готовый уже вырваться истерический крик, длинный, извивающийся, как змея, — он сдерживает его в себе, мысленно хватая обеими руками, и душит, он, кажется, победил, крик умер, ноги уже больше не ватные, не волочатся, идут по площади.

Площадь, та самая мощеная площадь, на которой он уже стоял — вчера, кажется? — снова запружена народом, над толпой как-то неоправданно висит пар дыхания. Люди — вооруженные и без оружия, большею частью нище одетые старики в чалмах, дрожащие от холода дети, изможденные, будто тени в чадрах, женщины, и лишь небольшими группками вкраплены пестро одетые бородатые горцы со старинными пуштунскими винтовками за плечами.

С места, где стоит Сабир, видна спускающаяся вниз горная дорога, сбоку от нее — мазанки кишлака и черные дыры пещер, опустелые, как чумной город. На каменном возвышении собралась вся головка, выделяется худошавый Якубхан, как всегда глядящий в землю. Он весь в черном, только чалма зеленая да сверкает словно бы разрезающий его надвое серебряный пояс. С ним рядом — усатые телохранители с обнаженной грудью, священнослужители в золототканых халатах, высокие, подтянутые офицеры.

Собрались как на хашар, думает Сабир. Нет, на хашар их так не соберешь. Ждут. Чего? Неужто так притягательно — видеть, как гибнет в муках человек? Видеть, что умираешь не ты! А может, они искренне верят, что присутствуют при богоугодном деле? Ну да, это им вдолбили в головы, он для них сейчас — жертва, приносимая во искупление их собственных тяжких и неизбывных страданий... Он проходит взглядом по этим несчетным, кажется, лицам — нет, не видно в них сочувствия, даже настоящего интереса не видно, даже и ожидания, только равнодушные. Тогда зачем? Во имя чего, господи? Но прозвучавший голос Якубхана заставляет толпу вздрогнуть и окончательно замереть, словно под придавившим непосильным грузом. Тишина становится пронзительной — и ее разрезает тонкий голос козлобородого маулави, провозглашающего фетву. Сабир хватают под руки и приставляют к деревянному щиту, руки и ноги стягивают веревками, и когда его подтягивают на этих веревках к стенке, больное плечо начинает гореть невыносимой болью, он стонет, не сдерживая себя. Голос маулави еще звучит, словно острой иглой протрачивая слух, но слов разобрать Сабир не может, он вообще, кажется, уже ничего не воспринимает, кроме жгучей боли. Ему привязывают и ноги, давление на больную руку становится чуть меньше, но пот по-прежнему катится градом, заливая глаза. Голос маулави смолкает. Вוצаряется тишина, заполненная дыханием толпы. Боль все же такая, что нет сил терпеть. Господи, господи, хоть бы скорей все кончилось. Может, помолиться? Но кому? «Легкой жизни я просил у бога — легкой смерти надо бы просить!» Кто же это сказал? Все равно... Глупо, глупо! Казнят за безбожие, а в голову лезут строчки о боге. Ох, боль какая!

И снова звучит голос Якубхана:

— Люди, кто из вас хочет выполнить святое повеление аллаха?

Голос смолкает, словно вытесненный оглушительным молчанием.

И снова:

— Это — богоугодное дело для храброго мусульманина! Ну — кто?

И снова молчание. А если... если никто не откликнется?

Откликается молодой, чем-то знакомый голос:

— Прикажите мне, о мой пир!

Сабир открывает глаза. Это... это же Ауранг! Значит, все-таки Ауранг.

— Машиндор ему! — гремит голос Якубхана. Теперь все голоса гремят, уходя в громадную пустоту внутри Сабир. Кто-то кладет в руки Ауранга автомат «УЗИ».

— Bravo, шербачча! — гремит с возвышения, но это не Якубхан. Кто-то из офи-

церов. Ауранг поднимает автомат, Сабир видит его безумные горячечные глаза, черную, гипнотизирующую дыру дула. Сейчас... сейчас...

И вдруг Ауранг стремительно поворачивается влево и, что-то выкрикивая, начинает стрелять по тем, на возвышении. Они падают, как скошенная трава, — Якубхан, его телохранители, маулави, офицеры, но автомат все трещит; толпа, как одно огромное существо, пятится назад от выстрелов, приходит в чудовищное движение. Крики, рев. Какие-то пуштуны срывают с плеч винтовки, но стрелять в этой людской гуще невозможно. Автомат смолкает, Сабир видит, как Ауранг бессильно опускает руки, кажется, вот-вот упадет, но нет, не падает. Кто-то подходит к Сабиру и осторожно рассекает ножом распявшие его веревки, Сабир, как куль, сползает, валится на землю, и знакомый старческий голос говорит над ним негромко:

— Ну вот, очистился.

Он поднимает глаза — это давешний караульный, тот старик из Пайки, он вкладывает в ножны на поясе обычный столовый нож и говорит Сабиру:

— Встать можешь?

— Н-нет, отец.

Старик поворачивается и говорит, не повышая голоса:

— Эй, помогите, отнесите его на арбу.

— Сейчас, сейчас! — отзываются голоса. — Идем, Низаметдин-бобо.

Ну да, правильно! В памяти Сабира встает голос Садыка Сардора: «Вас ведь зовут Низаметдин, не так ли? Я знал вашего отца».

Сабира несут вниз, к дороге. Тем временем снова возобновляются стрельба, крики. Конский топот. Доносится отдаленный взрыв — похоже, гранату бросили. Но Сабир не вслушивается; его понесли — и кладут в четырехколесную арбу, он погружается в душистое, колкое сено с тем давним, забытым уже ощущением сладкой беспомощности, какое испытывал, наверно, ребенком, когда взрослые укладывали его, сонного, в постель; его жизнь в руках этих добрых людей, что его спасли, — ну и хорошо, ну и спасибо, а ему бы заснуть, сил больше нет.

Но он не засыпает. Стрельба вроде умолкла. Поблизости слышится голос старика Низаметдина.

— Не бросай оружие, друг, еще пригодится!

Надвигается сзади топот множества ног. И снова голос Низаметдина:

— Давай, друг, давай, прочти-ка еще раз указ нового правительства, пусть послушают, кто сам не слышал.

Подходят, тяжело дыша, люди с какой-то нелегкой ношей — и рядом с Сабиром кладут в сено еще одного раненого.

— Эй, подвинься-ка! — говорит раненый голосом Ауранга. Это и есть Ауранг. Одна его нога без сапога, замотана тряпкой, сквозь нее проступила кровь, и брючина тоже в крови.

Сабир подвигается.

Рядом с арбой собралось множество людей, слышен шум многих дыханий, гул негромких разговоров, потом кто-то кричит: «Эй, люди! Слушайте!» — и начинает заунывно, по складам, зачитывать указ об амнистии. Едва он кончает, стихшая толпа снова взрывается громким гомоном. И опять слышен голос Низаметдина:

— Теперь по домам, дехкане! Но оружия не бросайте, не бросайте, пригодится.

Кто-то садится на передок арбы — это все тот же старик Низаметдин, потому что раздается его голос:

— Н-но... пошла, пошла!

Арба трогается, и люди — тоже, скрип колес почти не слышен из-за чавканья дорожной грязи под множеством ног.

Сабир и Ауранг лежат в арбе рядом, молча.

Сабир понимает, что должен заговорить, — тот спас его от казни, жестоко рискуя собственной жизнью! — и не находит слов. Переплетение событий вольно и невольно связало их, кажется, нерасторжимо — и в то же время словно колючей изгородью отделило друг от друга. Но и молчать больше нельзя, оскорбительно, и Сабир спрашивает с трудом, сдавленно:

— Тебя... куда ранило?

Ауранг молчит еще некоторое время. Потом отвечает:

— В ногу.

— Болит?

— Болит. В боку отдает.

И снова такие необходимые слова благодарности не даются Сабиру, не отыскиваются. Оба они опять молчат некоторое время. Потом Ауранг вдруг спрашивает, не поворачивая головы:

— Как ты догадался, что она к реке пошла?

— Не знаю... подумалось... А что? — говорит Сабир, и сердце у него замирает в дурном предчувствии. — Нашел? — спрашивает он дрогнувшим голосом.

— Нашел,— тускло отвечает Ауранг.

— Ну-у?!

— Нашел того, кто видел... как... как она в воду бросилась... платок остался... отдали мне... ее платок.

— Что ж... что ж не остановили?

— Она ругала всех... осыпала проклятьями... страшными такими! Люди отвернулись.— Он вдруг поворачивает к Сабиру лицо, глаза его полны слез.— Она из-за тебя это сделала... Из-за тебя!

Ненависть ли звучит в этом вскрике? Нет, только боль, безысходная, отчаянная.

И снова, как тогда, когда Ауранг пришел к подвалу, только несравнимо сильнее теперь, обжигает Сабира жалость к этому мальчику, потерявшему все — все, что могло быть дорого в этом мире: родных, любовь, веру, которую исповедовал. Да он же мне дороже брата, остро осознает вдруг Сабир, он же мне жизнь заново подарил! Больше брата! И он касается рукой мгновенно вздрогнувшего Ауранга и говорит:

— Аурангздеб... братишка! Слышишь, братишка? Ты мне теперь... брата ближе! Дороже бра...— судорога перехватывает ему горло.

Ауранг снова поворачивает к нему залитое слезами лицо:

— Я к ним... в горы... я к ним из-за нее пошел! Только из-за нее! А они... замутили... а-а-а!

И он начинает плакать навзрыд.

Не оставлю его, думаю Сабир, все нас связало — смерть, двойное мое избавление от нее, горькая, перепугавшая судьба, наше общее избавление. Никогда его не оставлю; он будет со мной как младший братишка, кусочек меня самого.

Арбу трясет, их тяжело подбрасывает иной раз вместе с сеном и подложенной тряпкой; тряпка съехала, лежит уже не вдоль, а поперек арбы, и Сабир чувствует под правым плечом что-то влажное. Тряпка напиталась кровью. Но что это кровит — его растревоженное плечо или рана Ауранга? Пока не приедем, все равно не разберешься, думает Сабир. И вдруг ему приходит в голову — это же их кровь смешалась, теперь они по всем законам кровные братья — этот раненый обездоленный мальчишка и он! И снова горячая волна прокатывается по нему.

Люди рядом с арбой шли сперва быстро, потом стали уставать, теперь арба понемногу обгоняет их, догоняет ушедших вперед, и вот где-то впереди слышит Сабир слабенький, трясущийся от ходьбы, жалобный не то вой, не то плач, слившийся в одну прыгающую ноту: кто-то плачет, не напоказ, не громко, а от безудержного горя, от бессилия, и даже не разберешь кто: мужчина, женщина? Плач все ближе, вот и Ауранг услышал, приподнялся, вслушивается.

— Это же отец Зулейхо! — говорит он вдруг, всмотревшись.

— Да ты что! — Сабир не может поверить, в его памяти это крепкий здоровяк, самодовольный, уверенный в себе хитрец.

Но плач уже прямо рядом с арбой, и Ауранг окликает:

— Шокалон-ата!

О господи, да Сабир в жизни бы его не узнал теперь — сгорбившийся седой старик, комья дорожной грязи в нечесаной бороде, по лицу неустанно текут слезы, одежда порвана. Шокалон перестал плакать, подслеповато вглядывался в них, взявшись одной рукой за край арбы и еле поспевая за ее ходом.

— Шокалон-ата, — сказал Сабир, — не помните меня? Я друг племянника вашего, Гуломали, мы с ним были у вас в усадьбе.

Шокалон кивал, явно не вспомнив, потом сказал: «О, Гуломали! — и снова заплакал.

— Давай посадим его в арбу! — сказал Ауранг, и они вдвоем, упираясь один ногами, другой — свободной рукой, посадили старика.

Шокалон был жалок, но жалости к нему Сабир не испытывал. В его памяти вдруг снова встала Зулейхо, такая, какой она была в его приезды в Пайки, — юная, необычайная красота, пронизанный сияньем цветов, в котором все — трепет, все — аромат, грация, неповторимое совершенство форм, теней, линий. И вот этот раздавленный теперь человек — из простой жадности, из бессмысленной корысти — кинул ее, родную дочь, в безжалостный ад позора и горя, погубил, толкнул к смерти. Нет ему прощения. В нем, Сабире, горе по Зулейхо впервые налилось в полную силу, до того заслоненное, отодвинутое неожиданностью собственной навалившейся смерти, ужасом предстоящей казни, а потом бессилием, опустошенностью истраченной до предела души. Это горе, эта тоска поднимались в нем, как река перед запрудой, и казалось необходимым, чтобы боль прорвалась, хлынула вон — слезами ли, криком, но не мог он показать ее ни этому убитому свершившимся старику, виновнику всего, ни бедняге Аурангу, навывлет раненному жизнью; он должен быть сильнее их обоих и своей беды.

— Шокалон-ата, что ж вы не спросите о Гуломали? Я его видел, и он был очень болен.

— О, Гуломали! — снова простонал Шокалон. — Я виноват... Мой грех... мой. — И он снова заплакал. Говорить с ним было бессмысленно.

К вечеру впереди завиднелись голые тополя Пайки, полупрозрачные, как призраки минаретов. Люди, уставшие, мрачно замолкшие, теперь быстрее зашлепали по грязи, стали снова нагонять арбу, в них чувствовалось нарастающее напряжение. Они возвращались домой из сырых ледящих пещер горного лагеря, из явной безвыходности — но кто и что встретит их на пороге родного дома, при входе в родной кишлак?

Смеркалось. На небе появилась первая звезда. И Сабир, глядя на нее, вспомнил вдруг, как когда-то дома, в родном поселке, они, мальчишки, собирались в такое время и затевали шумный спор: что первым покажется нынче на небе — звезда или спутник?

Со стороны Пайки донеслись отдаленные голоса, чьи-то тени замелькали впереди. Послышался резкий окрик, и вся толпа возвращавшихся стала останавливаться, сгрудившись на дороге в плотную массу с арбой впереди. Забряцало оружие.

— Стойте! — крикнул вдруг Ауранг, с трудом поднимаясь на ноги. — Стойте! Надо предупредить. — Он выпрямился в арбе, как на костыль опираясь на свою винтовку, и закричал во весь голос: — Эй! Жители Пайки! Не стреляйте! Не стреляйте! Это ваши односельчане. Идут с повинной по указу правительства.

Он хотел что-то добавить, но с темной дороги грянул выстрел. Ауранг покачнулся, издал странный звук и начал заваливаться назад. Сабир едва успел подхватить его и повалился вместе с ним на дно арбы.

Люди вокруг замерли, из-за темных деревьев послышался громкий голос: — Дреш! Если пришли с повинной, бросьте оружие! Все оружие бросайте! Все!

Старик Низаметдин слез с передка арбы; повернувшись, молча посмотрел на упавшего Ауранга, вытащил из-под него винтовку и стал выбирать на пустую дорогу; сделав несколько шагов в этой пустоте, он швырнул винтовку наземь. Толпа очнулась, задвигалась, бывшие муджахиды один за другим выходили вперед, бросая оружие, слышалось бряцанье, звон, глухие удары прикладов, а Сабир, еле выкарабкавшись со дна арбы, из-под недвижимого тела юноши, наклонился к нему, пытаясь услышать сердце, но уже по очевидной безжизненности тела понял все. По этой безжизненности и по тому тихому, остановившемуся отчаянию у себя внутри, которое словно говорило: да, умер, конечно, умер, иначе и быть не могло, только смерть, смерть без конца и без края, гибель всех, всего вокруг. Словно он из последних сил пытался выплыть из заглатывающей пучины, хватаясь за самое воду, и эта последняя смерть свалилась на него, как тяжкий, уже неодолимый груз, окончательно поволокла на дно. Бедный, бедный Ауранг!

Люди проходили мимо, не глядя.

Впереди, на дороге, выступил из-за деревьев отряд пайкийцев, от него отделился высокий человек, пошел, хромя, к куче наваленного оружия, обошел ее, оглядел — и сказал громко:

— Это другое дело! Теперь можете проходить!

Голос был характерный, хорошо поставленный — громкий и в то же время интеллигентный; его трудно было не узнать — он принадлежал, конечно, тому человеку, что первым выступил на джирге в пользу Гуломали, — учителю Нурмухаммеду Пайки. Стало быть, теперь он тут главный? Отряд и толпа двинулись друг другу навстречу, смешались, послышались приветствия, горестные восклицания, плач, смех. И вся людская масса потянулась в кишлак. Оружие снова разобрали, дорога пустела.

Старик Низаметдин накрыл лицо Ауранга своим поясным платком, и они двинулись за всеми. На кишлачной площади, перед оташханой, их встретил тот же учитель, поздоровался с Низаметдином, спросил:

— Инженер — с тобой?

— Со мной, — сказал Низаметдин. — Он раненый... в арбе, с убитым.

Учитель шагнул к арбе:

— Инженер! Черт возьми, я бы вас и не узнал... Сейчас вас устроят.

— А его... — начал Сабир, но учитель прервал:

— Не волнуйтесь, к утру все сделаем как надо!

Площадь была темна, только из оташханы падал слабый свет — не то фонаря, не то очага. И все же можно было различить знакомые очертания мечети, минарета, печных труб над черными крышами. Сабира взяли под руки, отвели в оташхану; на широком деревянном настиле расстелено было большое полосатое одеяло, поверх лежали набитые ватой валики. В очаге горел огонь, рядом лежало приготовленное топливо, кипела вода в кумгане. Едва Сабир улегся, снова появился учитель.

¹ Дреш! — Стой!

— Вот, инженер, принес лепешку, больше ничего сейчас нет, не обессудьте. Ну-ка, пейте чай! Утром найдем лекаря.

— Ох, учитель, учитель! — сказал Сабир. — Знали б вы, что натворили! Кого убили! Этот парень... Это же он поднял весь лагерь, перестрелял всю головку, спас меня от казни. Он людей домой вернул! А вы... его... Он же кричал: «Не стреляйте!»

Лицо учителя напряглось, стало жестким.

— Нам уже кричали такое, — сказал он. — А потом перерезали полкишлака. Вы не видели мертвых женщин с детьми на руках, чьи тела запрудили арык! Не видели мертвых детей в полях, в пору сева проса! Не видели! — Он помолчал, потом сказал мягче: — Поторопился кто-то, руку не удержал, никто не знал, никто не хотел... Считайте — шальная пуля. Ладно, пейте чай — и постарайтесь заснуть. Доброй вам ночи. Вас тут будут охранять на всякий случай — а утром найдем лекаря. Дела у меня в кишлаке, извините.

На рассвете появился Гожсухта. Должно быть, его где-то разыскали и привезли. Одет он был так же скудно, как и тогда, летом, и такой же темный, тощий, неразговорчивый. Он открыл и осмотрел рану, промыл каким-то остропахнувшим раствором, приложил пропитанную прокаленным хлопковым маслом вату — и туго перевязал белой материей.

— Что там у меня, табиб? — спросил Сабир, морщась от боли.

— Повезло... — сказал Гожсухта. — Кость цела... пуля навывлет. Чистое все!

— А вы, табиб, еще придете?

— Не знаю. Если фидаи эти не занесли сюда чего-нибудь...

И он ушел.

Немного погодя пришел неопрятный цирюльник, из тех, какие сидят обычно на улицах со всем своим парикмахерским припасом, палочкой чистят уши прохожим, стригут, бреют. Его, конечно, тоже прислал учитель. Он вытащил точило, ножницы, бритвенные приборы, мыло с мыльницей и еще множество всяких вещей, разложил все это рядом на деревянном настиле, потом произнес «бисмилла» и начал массировать Сабиру голову, лицо, подбородок. Цирюльник был старый, тощий, но пальцы его сохраняли силу. Кончив массаж, он легко, почти незаметно для Сабира сбрил его густые слипшиеся волосы, усы, бороду, Сабиру стало заметно легче, и когда цирюльник ушел, он решил встать, оделся. У оташханы собрались старики — любители поговорить, его уважительно приветствовали, угостили чаем с козьим молоком; потом он вышел на площадь, обмыл сапоги дождевой водой. Воздух был свежий, холодный, напоенный влагой. Остатки тумана вились меж деревьями. Он пошел по мощеной улице. У длинного невзрачного здания без окон разгружали застрявшую в грязи обочины арбу — снимали светло-желтые бумажные мешки. Подходили люди, брали на плечо по мешку и уносили кто куда. За разгрузкой арбы наблюдал, стоя в стороне, старик Низаметдин. Вместо вчерашнего тряпья на нем были чистые брюки, рубашка, камзол.

— Здравствуйте, Низаметдин-бобо!

Старик обернулся, его морщинистое лицо засияло улыбкой.

— Здравствуй, да будет над тобой милость божья! Ну как самочувствие?

— Спасибо, бобо, ничего! Выспался, отошел малость.

— Ну и слава аллаху.

— Что это разбирают, бобо?

— Химия, сынок, химия... Привезли, видишь, из Мазари-Шерифа, с машинханы!

Правительство выдало в помощь крестьянам.

— А что ж вы не берете?

— Это тем, кто землю получил, сынок.

— А вы?

— Я — нет, сам знаешь!

— А эти все — чью землю получили?

— Махбубшаха. По шесть джарибов на душу.

— А сам Махбубшах где?

— Здесь, говорят. Тут и живет. Не стал гробить свою и чужую жизнь из-за имущества, истинный мусульманин оказался, умный человек.

— Это замечательно! Но ведь и вы, бобо, тоже бедный человек, я знаю! Вам бы тоже эти шесть джарибов не помешали.

У старика вдруг задрожали губы, из глаз выкатилась слеза.

— Нет, сынок, ничего мне не надо — лишь бы вину мою простили, не поминали мне и детям моим, а уж я бы власти за то до конца дней своих был благодарен. — Он медленно повернулся и пошел прочь, приложив к глазам свисавший конец чалмы, а Сабир глядел ему вслед. Удивительный старик. Если б можно было помочь ему, наделить всем необходимым для спокойной жизни на свете — землей, водой! Но ведь это, подумал он, и есть твоя жизненная задача. Никто ее не снимал — напротив! Может, ради этого и люди эти, одни рискуя жизнью, другие отдав ее, как

Ауранг, спасали тебя от неминуемой казни? Чтоб ты решал эту задачу — решал для них и для себя. Ведь иначе, вне этого, что бы ты был в этой жизни? Так, ноль без палочки! И он вновь, как уже не раз прежде, вообразил себе воды Аму, растекающиеся по Чорданахру, по землям всего афганского севера.

Да, подумал он, надо идти в усадьбу Шокалона. Хоть и трудно на это надеяться — а вдруг есть все же какое-нибудь известие о Гуломали? Он почувствовал, как снова гулко и болезненно заколотилось сердце. Улица, ведущая к усадьбе... тополевая роща... Да ведь там за каждым деревом, за каждым углом таится призрак его погибшей любви, на каждом шагу станет мерещиться — вот-вот явится, выйдет Зулейхо. Нежная, прекрасная! Исчезнувшая...

Дорога была ему слишком знакома, и он шел, почти зажмурив глаза, стараясь не видеть ничего вокруг, не провоцировать память. Вот они, двусторчатые тяжелые ворота, как обычно, распахнуты настезь. Но, миновав их, он остановился в недоумении, в ужасе. Его встретила зияющая пустота. Где же всё — ухоженные палисадники, клумбы, супа, колодец, коновязь, огромный старый тутовник? Где все эти аккуратные здания, за которыми шелестит сад, сури, айваны? Пахло гарью, плесенью — и ни домов, ни сада, лишь торчали кое-где обгорелые останки нескольких тополей. Все порушено начисто, сровнено с землей, уничтожено, точно и места самого нет, где она жила, двигалась, смеялась, выбегала ему навстречу, изливая неповторимое свое сиянье... точно и самого места этого нет на земле!

Сабир стоял в отчаянии. Он еще раз огляделся и заметил поодаль сидящего на земле человека. Это был дядюшка Шокалон. Такой же, как и вчера, грязный, оборванный, обросший нечесаной бородой и волосами, в затрепанной, испачканной черным, почти потерявшей начальный цвет чалме. Шея какая-то кривая, обмотанная грязной тряпкой (да у него чирей, подумал Сабир). Неужели он так и просидел здесь, на земле, всю ночь?

— Дядюшка Шокалон!

Шокалон с трудом повернул к нему голову. Глаза у него были красные, но сухие. Он больше не плакал. Похоже, он узнал Сабир.

— А-а, — сказал он, — ты! Пришел! Видишь? Все-е... все сгнуло... ничего нет. Ничего! Никого! Говорили мне — не верил. Во-от. Ты к кому пришел? К Гуломали? Нет Гуломали. А он же мне все предсказывал. Не послушал я. Не послу-ушал! Посмеялся. Проклять я, проклять!

— Кто ж все сделал — сжег все?

— Сжег. Кабы только сжег! Поубивали всех... все-е-ех! — Он не заплакал, а как-то заскрипел пересохшим горлом, как бадья в сухом колодце. — Всех, кто сразу со мной... с ними не пошел!

— Да кто это сделал, кто?

— Они — кто ж еще! Фидай... проклятые! И там я не угодил... Так они и там и тут всех... под ногу! А я — живой... меня нарочно... живым оставили! Лучше б прикончили... Лучше б меня, чем дете-ей! — Он стал бить себя кулаком по лбу.

— Дядюшка Шокалон... дядюшка! Успокойтесь... не надо так.

— А как? — кричал Шокалон. — Ка-ак? Это ж я сам... своими руками... все-ех... на смерть отправил! Спасти хотел — загубил!

Смотреть на это сил не было. Сабир попробовал поднять его, увести отсюда, хотя представления не имел — куда вести, кто его приютит. Но Шокалон не желал уходить, не позволил даже стронуть себя с места. Пойти искать кого-нибудь, подумал Сабир, но кого? Как ему помочь? Оглядываясь на Шокалона — тот сидел, подвывая, раскачиваясь, — Сабир пошел обратно к воротам, вышел на улицу, надеясь кого-нибудь встретить. Но улица была пуста. Только шагов через двести на поле, выходявшем прямо к улице, он увидел одинокого, средних лет дехканина. Тот, привязав вола на меже, обрабатывал грядку, а сам то и дело приподнимался, чтобы оглядеться. К двум связкам стеблей была прислонена винтовка. Распрямляясь, дехканин каждый раз хватался, как старик, за спину. Он и на Сабир посмотрел было с опаской.

Никого здесь теперь нет, кого война бы не затронула, думал Сабир. Говорят: война справедливая, война несправедливая. Так сказать легко, или написать, но достаточно увидеть все это воочию, испытать самому — и поймешь: справедливой войны вообще быть не может! Она не разбирает ни правых, ни виноватых, а только разит и калечит; ей нужны дни или часы, чтобы уничтожить вековые плоды рук человеческих! И пусть даже победит в итоге справедливое дело — это все же итог только арифметический: погибшие жизни, непрожитые никогда года — разве их восстановишь? Э, да что это с тобой? Подслушать твои мысли — подумаешь: какой-нибудь волосатик с абстрактными идеями о добре и зле! Ты же нормальный человек, практик! Ну, повезло тебе, родился и жил в годы мира, в мирной стране. Но ведь мир сам уцелеть не может, его защищать надо! Так что ж, сказал он себе, — воевать за мир? Глупо получается! Он вспомнил, как злился на Гуломали, когда тот оставлял

работу на базе — ради своих революционных дел и митингов. Разве не такой же когда-то — полной несчетных одновременных дел, изнурительной и опасной — была жизнь его собственной великой страны?

Кустарник справа от дороги расступился, показались гончарные печи, испускающие слабый черный дым, за ними виднелось кладбище, над земляными холмиками и могильными камнями развевались зеленые тряпки. Неподалеку от дороги собралась небольшая группка стариков — человек семь, не больше. Кого-то хоронили. Неужто Ауранга?! Как же он мог забыть об этом! Впрочем, думал — его предупредят. Придерживая рукой раненое плечо. Сабир побежал к ним — мимо кустарника, печей, огибая могилы.

Табут — погребальные носилки — стоял на краю свежeverытой ямы. На него понуро глядели несколько опирающихся на суковатые палки стариков; самый старый из них, очевидно, собирался говорить. Близ носилок стояли учитель Нурмухаммед Пайки и Низаметдин-бобо. Они взглянули на Сабира с укоризной, словно говоря: «Где ж вы были?»

— Мусульмане! — сказал старейшина. Он, как и прочие старики, был весь в белом, белая чалма, огромная, свежайшая, борода снежной белизны. — Покойный был нездешний... родом, говорят, из Мазари-Шерифа, упокой аллах его душу. Никому из вас он не задолжал, нет? Тогда испрошу согласия народа...

— Здесь есть родной ему человек, ата! — сказал Сабир. Он едва отдышался от бега. — Я его названный брат. Его имя Аурангзед, а покойный отец его был доктор Сухайль, прославленный ученый, известный в Афганистане.

Собравшиеся глянули на Сабира с удивлением, особенно учитель. Потом невольно перевели взгляд на табут с телом покойного.

— Спасибо! — сказал старейшина. — Спасибо, названный брат. Довольны ли вы были братом своим, Аурангзедом?

— Да, да! — сказал Сабир. — Тысячекратно доволен!

Старейшина удовлетворенно кивнул и затынул молитву. Остальные старики, и Низаметдин-бобо тоже, к нему присоединились. Только учитель и Сабир стояли молча, с опущенными головами. Подошел могильщик, тело опустили в могилу, все бросили вниз по горсти земли; Сабир тоже. Когда он наклонился, чтобы взять свою горсть, странное чувство раздвоенности овладело им на мгновение. Ведь это ты должен был там лежать, сказал он себе. И вместо меня — он принял пули... Но ведь не тогда же! — мелькнула охранительная мыслишка. Не тогда, когда выручил тебя! Сабир гневно вздрогнул, устыдясь самого себя, и мысль, как мышшь, ускользнула обратно.

— Хорошо, что успели! — говорил прихрамывающий рядом с ним учитель. Они уже шли с кладбища. — Еле-еле собрал людей на похороны. Значит, вы давно его знаете?

— Нет, учитель, — сказал Сабир. — В сущности, я его видел всего дважды. Нет, трижды.

— Как! Но ведь вы сказали...

— Да. Все правда — и то, и другое. Один раз он едва меня не убил, в другой — спас меня, рискуя собственной жизнью. Долго рассказывать, но, поверьте, так было.

— Запутанный этот мир, — сказал учитель.

— Запутанный. Наверное потому, что ни у кого нет времени распутать и разобраться.

— Да, времени мало. Между прочим, я утром искал вас не только из-за похорон: вас ведь ищут! Пришло срочное письмо из Кабула: если, мол, знаете, где он, известите! Завтра ждем еще одного гостя.

— Кого это?

— Главного чиновника водных сооружений Сангкасы.

— Главного чиновника?

— Да. Так там написано.

— А имя его как?

— Понятия не имею. Бог даст, завтра узнаем!

Ну и ну, думал Сабир. Уже появилось такое понятие — «водные сооружения Сангкасы»! «Главный чиновник». Хорошо, конечно, только вот неизвестно, что за чиновник и как с ним сработаться. Ведь работа еще только у истока, многое надо начинать сызнова. Ах, будь с ним Гуломали... А что? Товарищ главный чиновник Коргар! Отлично звучит... Только об этом смешно и думать. Он вспомнил, каким оставили они Гуломали у него в комнате — он и Булбулло. Ох, еще ведь и Булбулло! Что за чудовищная круговерть! Сколько времени-то прошло с той поры, с Кабула? Чуть больше недели! Всего-то! А кажется — год. Год, который у него на глазах поглотил столько жизней! Похоронил ли кто-нибудь Булбулло, этого добродушного и верного толстяка, нежного отца двух малышек, которые даже и вспомнить отца не смогут?

Остаток дня Сабир провел, лежа в оташхане: он ощутил вдруг крайний упадок сил, снова ныло плечо. С наступлением темноты, напившись чаю, он задремал было, но вскоре проснулся — и промаялся всю ночь. А утром, вымотанный бессонницей, отправился по кишлачным улицам. Морозный воздух освежил его, да и ожидание подбадривало: вот-вот, казалось, появится этот таинственный главный чиновник. Но день прошел — чиновник так и не появился. Учитель, невзирая на занятость — кроме школы, на его плечи легли дела всего кишлака, — трижды приходил навестить. Он явно волновался, ожидая столичного гостя. Гость не приехал, однако, ни на второй, ни на третий, ни на четвертый день. Время в ожидании тянулось мучительно медленно, как ни коротки были сами зимние дни. И Сабир решил, наконец, что отправится в Кабул. Но как, на чем? Такую поездку верхом он, со своей раной, не выдержит: машин нет и в помине; Сабир попробовал выяснить, куда делся «бурибхай» Булбулшо, но ничего не узнал. Оставалось пока то же ожидание, и на пятые сутки вечером послышался, наконец, шум мотора. Когда он приблизился к майдану, Сабир уже выскочил из оташханы навстречу. Ломая лед в лужах, машина въехала на площадь и остановилась. Это был пестрый «бурибхай» Булбулшо, не узнать его было нельзя. Дверца отворилась, вышел худощавый человек в меховой шубе. Сердце Сабира нетерпеливо билось. Он стоял в ожидании. Человек в шубе был не похож на Гуломали — ни прежнего, ни нынешнего, большого, но шагал как-то очень знакомо. Войдя в пятно света от фонаря, он широко распахнул руки, раскрывая объятия, — и только тогда Сабир узнал его. Это все-таки был Гуломали!

Они обнялись и прижались друг к другу, словно пытались вытеснить все беды, что пролегли меж ними за эти без малого две недели. Потом отодвинулись, разглядывая друг друга.

— Да ты молодец! — сказал Сабир.

— Я — да. А вот ты не очень-то. Ранен?

— Да-а... немножко.

— Ну вот! Значит, недаром я получил за тебя — как это у вас называется? — вы-го-вор.

— За что?

— Как за что! За то, что отпустил тебя в такое опасное место. Слава аллаху, ты жив! Я уж боялся... такие поползли слухи. Слушай, что тут было? И где Булбулшо?

— Булбулшо? Нет Булбулшо.

Гуломали помрачнел.

— Да, — сказал он, помолчав. — Недаром мне за тебя влетело.

— Но ты-то сам, — Сабир тронул его за рукав, — ты-то сам как выкарабкался? Никак не ожидал тебя встретить! По правде говоря, я думал, тебя надолго упрячут в больницу.

— А это все ты! Твой врач из посольства! Просто чудо-доктор! Но что же все-таки здесь было?

— Это, брат, надо сесть надолго и рассказывать. Невеселые дела.

Гуломали внимательно на него глянул:

— Ну, если долго рассказывать — тогда потом.

— Зайдем, выпьем чаю!

— Нет, для чая нет времени. И так счастье, что я тебя здесь сразу нашел. Думал, придется искать да искать. Мы опаздываем! Бери вещи — и поедем.

— Мои вещи все на мне.

— Ну, тогда — в машину!

Гуломали так и не выключил мотор. Сзади сидели двое вооруженных людей. Они молча кивнули, подвинулись. Гуломали вытащил откуда-то из-за их спин полущубок и дал Сабиду. Сабир, поморщившись от боли, сбросил с себя грязный ватник, кинул его на помост оташханы. Потом влез в полущубок, тот приятно, по-домашнему, пах овечьей шерстью, в нем сразу стало уютно и надежно. Гуломали сел за руль, Сабир — рядом; машина тронулась, сделала круг на площади, светом фар, словно в панораме, вырывая из темноты стены окружающих домов, выехала обратно на знакомую мощеную улицу и вскоре покатила по темной неровной дороге.

— Так за что ты получил выговор, — спросил Сабир, — за меня или за технику?

— За тебя, за тебя! А что, технику — всю...

— Всю. Вы, что ж, там этого не знали?

— Догадывались. Царандоевцы, что пригнали в Кабул этот «бурибхай», слышали вдали взрывы и стрельбу. Значит — все? Всех?

— Ну, не всех. Я же, видишь, рядом с тобой сижу. — И, пока машина, трясясь и подпрыгивая, мчалась через ночь, Сабир рассказал всю трагическую историю своей поездки. Гуломали сидел молча, сжав зубы, вцепившись в руль, словно в рукоять оружия. Сабир, кончив рассказ, тоже замолк.

— Ты к жене Булбулшо не заезжал? — негромко спросил он после паузы.

— Нет, не догадался. Да и не успел бы.

— Плохо, товарищ Коргар.

Гуломали на него покосился — видно, хотел понять, в шутку или всерьез такое официальное обращение. Но Сабир и сам уже этого не знал. Ему вспомнился энергичный добряк вот за этим же самым рулем и как он говорил о своих ребятишках.

— Ты не представляешь, сколько всего навалилось. — Тон у Гуломали был покаянный и мрачный. — Мы ведь начали сбор людей для стройки. Сборные пункты — в Кабуле и Мазари-Шерифе, а записалось всего меньше ста человек. Это записалось, а кто еще из них в самом деле работать будет? И ты пропал! И еще леченье. Спасибо, что вытащили, а то б я не мог... времени это тоже требовало, сам понимаешь. И проектировщики! И министерство! А главное — специалистов для стройки нет! Ну ни одного. Решили было обратиться в ваше посольство, попросить помощи, но ведь как обратишься, если ты пропал — по нашей неосторожности, по глупости! Один был — и того загубили, как тут новых просить? Словом, куда ни кинь...

— Ладно, — сказал Сабир, — все понятно, хватит каяться. А главный инженер у тебя уже есть... будет?

Гуломали глянул на него благодарно, точно получив прощение:

— Да нет же! — воскликнул он. — Я и об этом с тобой посоветоваться хочу.

— Что ж советовать, если никого нет. Ладно, поговорим. Куда мы едем-то?

— В Мазари-Шериф!

— Вот как?

— Ну да. Там организуем главное управление.

— Так ты и есть — главный чиновник?

— Что-то вроде этого. Но сначала заедем к Сардору.

Сабир засмеялся по-доброму, с каким-то внутренним облегчением:

— Благословение хочешь получить?

— Угадал... — Лицо Гуломали было худое, оно не напоминало больше о прежнем крепыше, но и не казалось высохшим, утратившим соки, словно ткань умирающего растения, как две недели назад, в окраинной кабульской махалле. Он и не кашлянул ни разу за всю дорогу. Слава аллаху, что он есть, что хоть он уцелел на этой роковой карусели смертей и расставаний, которая крутилась здесь и не останавливалась. Поглядывая на друга, Сабир думал о том, какое у него опять сосредоточенное, нацеленное лицо, — и вспоминал, как жутко эта озабоченность контрастировала с обреченно большим видом Гуломали тогда, в Кабуле. Пусть даст ему судьба удачу, думал Сабир, пусть упасет от беды.

Промерзшая дорога словно нарождалась перед ними в дальнем свете фар. Над черной массой гор встала луна — как одинокий круглый глаз во лбу циклопа. Ночь, через которую они мчались, казалась огромным воплощением великого одиночества, из которого их машина, полуосвещенный островок с людьми, тщилась вырваться. Два солдата позади так и не подали ни разу голоса с тех пор, как Сабир их увидел, сам Сабир и Гуломали тоже давно умолкли. Так, в молчании, и встретили они первые вставшие на обочинах контуры тополей Мазари-Шерифа.

В доме старого Сардора, за дастарханом, Сабиру пришлось повторить весь свой страшный и горестный рассказ — о гибели каравана, о жутком лагере муджахидов, о Зулейхо, о чаркате, об Ауранге — его подвиге и гибели, об исходе «фидаинов» из проклятого горного кишлака.

Сардор, обретший, казалось, свой прежний молодцеватый облик, сидел, сунув с танчу негнущуюся ногу, и напряженно слушал, но лицо его словно окаменело, трудно было понять, как он воспринимает рассказываемое.

— В общем, — сказал Сабир, кончив встречей с Шокалоном свою трагическую повесть, — что говорить — горько, горько, горько. До конца жизни не забыть мне эту неделю. И все же, знаете, есть в этом воспоминании светлая точка — Ауранг! Я знаю, почему: уж отсюда-то я никак не ждал света. Я раньше и помыслить так бы не мог, а теперь они в моей душе стоят рядом: Ауранг и Зулейхо. Простите, Сардор...

Они помолчали.

— Судьба! — громко сказал вдруг Сардор. На его светлой, в снежной седине голове бархатная феска казалась при свете лампы особенно черной. — Что еще скажешь! Разве наши страсти, наша любовь и ненависть, наши усилия — разве они сотворяют жизнь, какой она в конце концов оказывается? Судьба... у нее свой закон!

Гуломали выпрямился, посмотрел на деда.

— А у нас — свой! — сказал он резко, сердито. — Что это с вами, бобо? Судьба — это и есть люди! Это и есть то, что мы творим, вольно или невольно! Только каждый из нас стремится к своему, надеется на свое, а жизнь нас сталкивает — и что хрупко, то бьется! Но мы целы, дед! Понимаете? Мы целы!

— Слава аллаху... — пробормотал старик.

— Это нам слава! Потому что мы не сдаемся, когда, казалось, должны бы... Не сдаемся! И совершим то, к чему предназначены! А когда сделаем это, когда по рус-

лам Чорданахра потечет вода, — в ней сольются все честные усилия! И нашего замечательного друга доктора Сухайля, и этого прекрасного мальчика Ауранга — хоть я еще и не привык к тому, что тот недоросль с пистолетом и есть этот молодой герой. И ваши усилия, Сардор! И наши! И тысяч честных людей. Судьба — это мы сами.

— Да, да, — сказал старик дрожащим голосом. — Ты прав, сыночек, ты прав! — Он помолчал и стал подниматься с места. — Отдыхайте, дети мои, уже полночь.

— Что-то ты сегодня разошелся, Гулом, — сказал Сабир, когда старик ушел к себе и они остались одни. — И вообще какая-то новая интонация у тебя появилась.

— Да? Это нехорошо. Люди еще подумают: загордился, мол, как стал мутасадди¹. Но если всерьез — осточертели мне эти раздумья: как быть, что делать, осточертела расслабленность, и моя собственная в том числе. Надо делать дело — жестко, четко, результативно, понимаешь? Могу тебе признаться теперь: тогда в Кабуле, когда ты настоял на том, чтоб самому ехать с Булбулшо, я хоть и не согласился, а в душе мечтал отложить свою поездку. Болезнь была мне даже на руку — да, да, она как бы оправдала меня в собственных глазах! Конечно, если б ты не появился и не настоял — я бы себя пересилил, сам поехал, а так... До сих пор каюсь, что дал тебе поехать, вверг тебя в этот кошмар! И ту свою расслабленность кляню. — Глупости! Ты действительно не мог ехать... я-то знаю!

— Ладно, я уже не о том... я о настроении своем тогдашнем. Вот такие настроения нынче и ненавижу! Судьба... рок... Не превозмочь. Тьфу! Оправдание собственной слабости!

Они проговорили полночи, а утром, когда Сабир проснулся, Гуломали уже, как видно, давно был на ногах. Он поднял своих телохранителей, возился у машины.

— Что ж ты меня не будишь?! — закричал Сабир, но Гуломали в ответ отрицательно закачал головой. — Эй, да что это значит?!

— Это значит, что я договорился с врачом, он сейчас придет, посмотрит твою рану, а потом будет навещать тебя до окончательного выздоровления!

— Значит, я болен... а ты здоров! Ну и придумал! Как будто мне сейчас время разлеживаться!

— Слушай, твою рану не смотрели уже несколько дней. Она наверняка нагноилась — знаешь, к чему это может привести? Не брыкайся, как жеребец перед кузницей, лучше мозгами пораскинь. Ты мне живой нужен, а не в виде священных останков.

— Даже Сардор в его годы снова ездит по улусам!

— Ты не путай, Сардор проповедует.

— Я тоже, в крайнем случае, проповедовать буду. Расскажу о Ферганском канале.

— Это, братец, для них просто легенда. Здесь в это не поверят, пока сами не попробуют.

— Нет, я все равно поеду с тобой.

Гуломали поднялся, выражение лица его изменилось.

— Слушай, товарищ Тохтабаев, — сказал он. — Я тебе п р и к а з ы в а ю. Ты понял? Все. Разговор кончен.

И такая властность прозвучала в его словах, что Сабир не стал дальше спорить.

Первый раз я увидел ее в большом подвале, где работала группа проектировщиков. Она, стоя у чертежной доски, заново перечерчивала вертикальные элементы плотины. Мы с ней тогда даже не заговорили, только глазами встретились. Потом ночью, лежа без сна, я все вспоминал этот взгляд и терзался: почему не подошел, не поздоровался, не узнал ее имени. Как будто она исчезнуть могла! Впрочем, творилось вокруг такое, что действительно могла исчезнуть. Утром чуть свет я, против обыкновения, начал свой поход по Кабулу не с госпиталя, не с министерства, а с подвала-мастерской. Девушка была на месте, у той же чертежной доски. Когда я вошел, она глянула краем глаза и снова обратилась к чертежу. Я повел себя по-дурацки — вместо того чтоб подойти к ней сразу, заговорить — это было бы в порядке вещей, как-никак я руководитель проекта! — я делал круги по мастерской, обходя ее, и она, конечно, тут же все усекала и даже затаенно улыбнулась уголками губ, после очередного взгляда искоса. Я на себя злился: что это, мол, с тобой творится, ведешь себя, как юный болван, девчонка-то лет на двенадцать моложе, да и вид твой не таков, чтоб заниматься ухаживаниями, и все-таки ничего с собой не мог поделать. В конце концов я подошел к ней, заговорил — неуклюже, вовсе не так, как подобает начальству, но все-таки заговорил! Ее звали Шаиста, она училась в Кабульском университете, на третьем курсе политехнического, и ее, в числе нескольких прочих сту-

¹ Начальник, главный специалист.

дентов, спешно мобилизовали для выполнения чертежных работ. Ее черные густые волосы были коротко подстрижены и полубрамляли смуглое юное лицо. Фигурку, ладную, крепкую, почти как у мальчика-подростка, облекал старенький, но аккуратный костюмчик из велюра, сшитый на европейский манер, на ногах — сапожки с высокими каблучками. Все так же затаенно улыбаясь, она окидывала меня удивительной глубины взором, а я осмеливался глядеть только на ее длинные, сильные, тонкие пальцы, словно жившие над чертежом своей особенной жизнью.

И на другой день, и на третий — я, оказываясь в мастерской, подходил к ней по несколько раз. Все это, конечно, заметили, хоть и помалкивали, а меня она как-то разом всего заполнила. Я тогда уже изрядно кашлял, но около нее даже кашель стихал. Она заняла мои сны, а утром, просыпаясь, я прежде всего думал о том, что скоро ее увижу. Никогда еще после смерти жены не приходилось мне так упорно думать о женщине. Не помню уж, на четвертый ли, на пятый ли день, выходя с нею вечером из мастерской, я попросил разрешения немного ее проводить. Она, с виду не так чтобы очень уж охотно, но разрешила, кивнула головой — и, шагов десять спустя, теряя голову от этого нахлынувшего и одолевающего меня чувства, я стал рассказывать ей, что со мною творится. Она шла рядом, слушая молча, не поднимая глаз, а когда я кончил свое лихорадочное сбивчивое признание, еще некоторое время молчала. Я тревожно пожирал ее глазами, ожидая ответа. Наконец она сказала тихонько:

— Разве любовь такой бывает, муаллим¹... Так скоро...

В первый миг я счел это отказом и пришел в полное отчаяние. Но тут она посмотрела на меня — словно погладила взглядом, так утешают отчаявшегося ребенка. И до того не сходясь это с ее словами, что даже я в моем тогдашнем горячем порыве понял: и в ней самой поселилось сомнение, и ее чувства встревожены и задеты. А чего ж ты хотел, говорил я себе, — чтобы она после первых же твоих откровенных слов, да еще прямо на улице, бросилась тебе на шею? Это ты уже старик — оттого так и торопишься во всем, а у нее еще все впереди, все впервые, ей надо понять, разобратся в чувствах. И со стремительностью, свойственной тогдашнему моему состоянию, я от отчаяния перешел к страстной, почти счастливой надежде — да, она меня любит, или полюбит вот-вот, едва сама в себе разберется.

Когда мы простились, не доходя до общежития университета, взгляды наши всрелись и она вся вспыхнула, точно осветилась изнутри. Я пошел к себе счастливый, а наутро, в мастерской, щеки ее так же мгновенно заалели, когда я приблизился.

— Шаиста... — сказал я тихонечко.

— Муаллим...

И снова я отошел, мучимый загадкой; как же она все-таки ко мне относится? Почему ни разу не назвала меня по имени, которое, конечно, как и все прочие в мастерской, отлично знает? Только из уважения? «Муаллим!» Так, раздираемый пополам заботами проекта и моей неожиданной, лихорадочной любовью, я ходил по огромному, обильно освещенному электричеством, переоборудованному для нас подвалу, с его несчетными перегородками, опорными стенками, из-за которых он походил на самый настоящий лабиринт; останавливался, смотрел, советовал, спорил, показывал — а сам то и дело косился в сторону Шаисты.

Прошло еще два дня. Я уж думал: может, написать ей письмо и выразить свои чувства не так сбивчиво, как я сделал это тогда на улице, а отделанным, поэтическим слогом, каллиграфическим почерком? Я бы, пожалуй, и уселся за такое послание, хотя писать их решительно не умею... если б как-то ближе к вечеру, когда я подошел к Шаисте, она с очень серьезным видом, оглянувшись предварительно, не достала из рукава и не протянула мне клочок сложенной вчетверо бумаги. Письмо! Она сама написала мне письмо! Я схватил его, улыбнулся ей — представляю, какая это была глупо-счастливая улыбка! — и тотчас под каким-то предлогом ушел из мастерской.

Я хотел было развернуть его и прочесть тут же, едва выйдя; но кругом было полно народу; я вообразил, как смешно, солидный человек, буду я выглядеть, читая с блаженной улыбкой эту записку — точно знакомя с нею всю улицу! Нет, решил я, пойду домой, там прочту. И я отправился, стократно мысленно перечитывая по дороге эту бумажку — и каждый раз сочиняя новую версию того, что там написано. Письмо прямо-таки жгло мне нагрудный карман — или это сердце припекало? И вдруг я подумал: а с чего я, собственно, взял, что записка — такого уж радостного для меня содержания? А если там сказано: извините, муаллим, не могу разделить ваши чувства? Или еще что-нибудь похуже? Хотя, что может быть хуже?

¹ Муаллим — учитель.

Я остановился, как громом пораженный. Как это мне сразу в голову не пришло! Нет, не могу я ждать до дому. Я вытащил записку, развернул. Записка была вовсе не от Шайсты. Наоборот — ей адресованная. И без подписи. Неизвестный (мне неизвестный) требовал от Шайсты, чтоб она выяснила, где хранятся материалы нашей поисковой группы, угрожая смертью в случае отказа.

Вот тебе и любовное письмо!

Голова моя гудела, кипело в груди, я закашлялся, не в силах остановиться. Откашлявшись наконец, я попытался прийти в себя. Что это не ответное признание в любви — аллах с ним. В конце концов, она обратилась ко мне в крайности, это тоже что-нибудь да стоит. Кому нужны наши собранные за два года скитаний и бивуачной жизни материалы — я смутно догадывался. Впрочем, вряд ли для того, чтоб ими как-то воспользоваться — скорее, чтоб их уничтожить. Ну конечно, — сорвать нашу работу. Сейчас все эти папки — в сейфах, только по мере надобности выдаются проектировщикам. Даже пустив красного петуха или взорвав здание с нашим подвалом, их уничтожить трудно. А вот зная, где и что... Налет, что ли, они собираются совершить? Впрочем, что гадать — сейчас другой вопрос решать надо: как быть Шайсте? Она подвергается смертельной опасности, если не выполнит требований шантажистов. Кстати, как они доставили записку? А, снова я не о том думаю! Мало ли способов? А может... Смутная, но жуткая мысль у меня мелькнула: а что, если она с ними заодно?! Нет, нет, нет, сказал я себе, это просто порождение моей ревности: не может быть у предательницы такой ясный, такой глубокий взгляд! Ей действительно грозит страшная опасность, вот на чем надо сосредоточиться. Но один-то я ничего не смогу!

Мои партийные товарищи работали теперь и по ночам; спотыкаясь в сгущавшейся темноте, я повернул и ползелься обратно к центру. Вскоре я уже сидел в знакомой комнате, и, волнуясь, рассказывал о своей неожиданной заботе. Ты что, не понимаешь, сказали мне, выслушав. Тут дело не только в том, чтобы спасти девушку-чертежницу! В городе то и дело гремят взрывы и выстрелы, летят на воздух важнейшие объекты, гибнут самые нужные люди. В Кабуле действуют хорошо законспирированные террористические группы. Если уж что-то вокруг вас затевается, надо принимать серьезные меры. Девушку, разумеется, не выпускать из поля зрения.

Насчет девушки они могли бы и не говорить. Впрочем, они, конечно, сразу поняли мое состояние, хоть и не позволили себе ни намека.

Утром спозаранку я уже поджидал Шайсту у ее чертежной доски. Она пришла в обычное время, поздоровалась, разделась, принялась было за работу. Вид у нее был спокойный, деловитый, словно ничего вчера не произошло и в помине не было той вынужденной из рукава записки. Только когда я сказал ей: «Шайста... боюсь, теперь вам не придется здесь работать»... — она кинула на меня взгляд, усталый и вместе тревожный. Потом снова опустила глаза.

— Да, понимаю, — сказала она, помолчав. — Теперь, наверно, мне и на улицу нельзя будет выйти. Да что — на улицу...

— Еще что-то произошло?

— Произошло.

— Что?!

— Вчера неподалеку отсюда меня остановил на улице один дуканщик... я его вообще-то знаю... видела раньше... остановил и спрашивает: «Ну, как, ханум-сахиб, письмо получили?»

— А вы что?

— Я очень испугалась. Того, что он так в открытую. Получила, говорю.

— А он?

— Так ждут ответа! — говорит. И ушел.

— Вы знаете его дукан? Его самого описать можете?

— Могу...

— Значит, его обезвредят.

Она покачала головой.

— Он же не один, муаллим. Его обезвредят — а остальные?

— Вас отправят в безопасное место.

— Нет, муаллим.

— Что значит «нет»?

— Меня не найдут — принесут других в жертву. — Она снова упрямо покачала головой. — Я не буду прятаться.

— Вы... вы еще что-нибудь узнали?

— Да, муаллим... — Она, как вчера, снова полезла в рукав и достала конверт. — Вот, это я нашла в общежитии пуантуна¹.

¹ Пуантун — университет.

Я выхватил конверт из ее рук. Письма в нем не было — только фотография. На ней — пожилой мужчина; фотография разрезана — голова отделена от туловища.

— Кто это?

— Это... — Она запнулась.

— Говорите же, Шаиста!

— Это... мой отец!

— Где он... где он находится?

— Там... в горах.

— В плену?

— Нет. Он ушел к муджахидам.

Вот оно что! Я смотрю на нее с болью и горечью. Вот почему выбрали Шаисту! Значит, не зря мелькнула у меня та мысль. Нет, нет, не могла она сама... сознательно. Ее затянули в сети!

— Что ж вы собираетесь делать?

— Если я не сделаю того, что они требуют, моего отца...

— Того, что они требуют, сделать нельзя, Шаиста.

— Знаю.

— Так как же поступим?

— Я должна сначала увидаться с отцом.

— Что-о? Шаиста!

— Да. Пусть они сначала покажут мне отца. Живого!

— Вы, что ж, хотите отдаться им в руки? Это — сумасшествие!

— Все равно я на это пойду. Пусть покажут.

— А потом? Да они запросто заставят вас выложить все, что знаете. У них средств хватит. Нет, нет, это невозможно!

— Но ведь я могу сказать все, что они хотят узнать, — а вы тут примете свои меры. О них-то я знать не буду.

— Они вас не отпустят, пока не проверят, правду ли вы сказали! Это значит, просто пожертвовать вашей жизнью. Они же головорезы, способны на все! Я вас просто не пушу.

— А вы можете предложить что-нибудь другое?

— Нужно подумать.

— Сколько ни думать, муаллим, вы не придумаете, как мне иначе увериться, что отец жив. А потом... потом я пообещаю сотрудничать с ними — и вернусь.

— А потом... потом вы снова не будете знать, не убили ли его после вашего ухода! Это же сказка про белого бычка.

— Вы меня все равно не отговорите, муаллим. Ведь это мой отец, понимаете?

— Понимаю. Но как вы к ним попадете?

— Проще простого! — сказала Шаиста. — Пойду к тому дуканчику, он все устроит.

Это «все устроит» меня покорило. И упорство ее приводило меня в ужас. Но что я мог предложить, в конце концов? Приказать я ей не мог, это же действительно ее отец.

— Муаллим... — сказала она, увещевая. — Я знаю, они свили в городе свое гнездо. Может быть, я и о нем что-нибудь узнаю. И о том, как они пробираются из города в горы и обратно. И потом, муаллим, я уже несколько месяцев ничего не знаю об отце — с тех пор, как он ушел! А вдруг он образумился, раскусил своих «богобоязненных» единоверцев! Вот таких, как этот, что днем, сладко улыбаясь, сидят в своих дуканах, а ночью взрывают мечети, больницы, режут людей, как скот! Вдруг я и отцу помогу выбраться оттуда?

Нет, не мог я ей возразить! Она поступала по совести; наверное, я и сам бы решил то же, окажись на ее месте. Тут была логика, но логика отчаяния. И это отчаяние разрывало мне душу.

На другой день Шаиста в мастерскую не явилась. Я еле дождался одиннадцати часов, потом полудня. Кинулся в общежитие университета — ее и там не было. Тогда я помчался к своим друзьям, всем рассказал. Мне посоветовали пока спокойно ждать. Спокойно! Хорошо сказано.

— А мастерская? — спросил я.

Мастерскую, ответили мне, поставят под усиленную охрану. Наверное, поставили, хотя я этой усиленной охраны не заметил. Но, может быть, и душманы тоже... Два дня я себе места не находил: днем — в нашем подвале, ночью — в своей махалинской конуре.

На третий день Шаиста появилась. Она заметно похудела, глаза впали, и взгляд их сделался еще более глубоким. Соседи косились на нее, но она, как ни в чем не бывало, встала к своей чертежной доске, взялась за чертеж. Я подошел, она повернула ко мне лицо и грустно улыбнулась.

— Ну что? — спросил я. — Повидались?

— Повидались, — сказала она все с той же грустной улыбкой. — Мюрид слепо последовал за ишаном и вернулся!

— Вернулся?

— Да. И, как вы догадываетесь, с определенными целями.

— Значит, фотоснимок... по-прежнему...

— Да, все по-прежнему.

— Я же вас предупреждал — это тупик!

— Тупик, — подтвердила она послушно. — Но нужно снова обдумать. Гуломали-ака...

Я прежде так мечтал, чтоб она назвала меня по имени, а тут даже почти не обрадовался.

— Расскажите же, Шаиста!

Она рассказала. Дукан этот помещается на углу. Я должен знать... Да, да, там торгуют меховой одеждой! Ей завязали глаза, потом усадили в какую-то закрытую машину. Ехали около часа, как ей показалось, все время плутали по городским улицам или переулкам. Ее вывели из машины и еще долго куда-то вели, все время сворачивая. Она сперва считала эти повороты, потом сбилась. И отца ее привезли с гор точно так же. Оказывается, с первых дней пребывания в горах у него разыгралась болезнь печени, прямо-таки согнула его, он было заикнулся о возвращении домой — и сразу попал у главарей в немилость. На джихад его не брали; обычно таких утративших доверие нахлебников потихоньку убирали, но отцу Шаисты повезло, его почему-то оставили в живых, а после по приказу сахиба-офицера тайно доставили сюда, в город. Да, да, она уверена, что это в городе; огромное темное помещение без окон, без щелей в стенах, вроде амбара; рядом с ним, на взгорке, такая маленькая чайхана — ее видно, когда открывается дверь, а дверь открывалась часто, люди входили, выходили... Похоже, это хорошо замаскированное убежище городских террористов. Шаиста провела с отцом чуть больше дня, и отец — шепотом, полунамеками — успел поведать ей, как разочаровался в муджахидах, а главное — в их вождях; он стал настоящим «еретиком», горько сожалеет, что ушел в горы! И еще многое он ей сказал, но это предположения, их надо еще проверять, проверять. После расставания с отцом Шаисту снова повели куда-то, таскали с собой чуть ли не час, но ей, по доносившимся изредка звукам, представлялось, что водили все вокруг того же амбара; в какой-то полутемной комнате с ней разговаривал странный человек — в афганской одежде, в чалме, и говорил на кабульском дари без всякого акцента, но что-то в лице его было иноземное, она даже не может объяснить — что. Он потребовал от нее все тех же сведений, объяснил, как их передать. Потом сказал, можешь быть спокойна — мы отца отпустим и тебе больше докучать не станем! Но если, мол, ты нас обманешь — то... Словом, все та же разрезанная фотография.

Назавтра я пришел в мастерскую только к концу дня, были дела в министерстве и в партийном комитете; подойдя к Шаисте, я застал ее, чертящую что-то на тонкой китайской бумаге; едва глянув, я понял, что она чертит, — план нашей подвальной мастерской.

— Шаиста!

Она подняла голову и печально на меня взглянула.

— Да... — сказала она. — Сами посмотрите, Гуломали-ака, правильно?

Вычерчено было отлично: комнаты, образованные перегородками, подпорные стенки, лестницы с точным количеством ступеней, двери, проходы — словом, весь лабиринт нашего подвала; синим цветом обозначены были чертежные столы, красным — сейфы.

— Материалы где — здесь, здесь, здесь? — спросила она.

— Вы что, боитесь, не дай бог, ошибиться? — сказал я, чувствуя, как, впервые с тех пор что я ее увидел, во мне поднимается чувство протеста.

— Нужно, чтобы план был точным, муаллим. Ведь, возможно, его будут проверять!

— Кто-о?

— Я не знаю... Может быть, и есть кому. Поймите, ведь за этот план мне обещана жизнь отца... да и моя тоже.

Я посмотрел на нее в упор.

— План на редкость точный, — сказал я глухо.

— Спасибо, — пробормотала она.

— Не за что. — Во мне вдруг взорвалось что-то. — Слушайте, ведь любой человек на моем месте передал бы вас сейчас царандою!

Она подняла на меня глаза:

— Муаллим, но разве мы не договорились с вами? Разве я сделала это тайком? Есть же полная возможность принять меры! Для этого вам царандой и пригодится, муаллим. — Она была права, я почувствовал себя дураком. — Простите, муаллим, — сказала она, открепив чертеж и свертывая его, — мне надо спешить; до срока оста-

лось мало времени, а еще нужно зашить чертеж в подкладку камзола! Я только хотела сказать: вы... и ваши товарищи... вы, наверное, понимаете, что на эту операцию они пошлют не одного человека? Так чтобы, в случае чего, мы не оказались с вами виноваты!

— В случае чего?! — Я опять готов был взорваться. Уж как-то чересчур здраво для такой юной девушки она рассуждала.

— Ну, вы понимаете...

— Ничего я не понимаю. Никакого «случая» не должно быть! Забрать отсюда наши папки мы не можем, это значило бы, прежде всего, — остановить работу мастерской. Значит, в случае нападения остается только защищать их кровью. Вот все, что я в состоянии понять. Если, конечно, вы не знаете еще чего-нибудь, чего мне не сказали!

— Муаллим! — сказала она с горьким укором, и на глазах у нее выступили слезы.

Это сразу сбило волну моего раздражения.

— Я так не думаю, — сказал я. — И все же... поймите... это ставит под угрозу все! всю нашу работу. Черт возьми, в какую глупую историю мы с вами влипли.

— Гуломали-ака... — сказала она, и в голосе у нее были слезы. — Мне... мне горько, что я во все это вас втравила, но это же мой отец! Отец! И разве лучше, если я бы вам ничего не сказала? Просто отдала им план — и все? Но я... я не могла. Я тогда, на улице, ничего не ответила вам... Но я... я тоже люблю вас, Гуломали-ака!

Все во мне дрогнуло внутри от этих слов. Но я только поглядел ей прямо в глаза — видно, настала моя очередь промолчать — поглядел, и она выдержала мой взгляд. Потом вытерла слезы, надела пальто, сунула куда-то под пальто свой тоненький чертежик. Я неуверенно, неловко протянул к ней руку, но она не подвинулась ко мне, только улыбнулась сквозь слезы.

— Пора, — сказала она тихонько. — Прощайте.

И ушла.

Провожать ее, разумеется, мне никак нельзя было, и я сразу из мастерской отправился в партийный комитет. Там уже сидел один из руководителей столичного царандоя. Когда я рассказал обо всем, царандоевец всполошился. Мастерская — под внешней охраной, сказал он, но теперь этого мало: надо подготовить контроперацию! Главное — чтоб наши люди ждали душманов не только снаружи, но и внутри мастерской. Мы стали обсуждать варианты — план подвала здесь был, — и это оказалось вроде бы не так уж сложно. Сложность заключалась в другом: мы не знали и, очевидно, не могли узнать время нападения, а держать столько людей в напрасном ожидании нельзя: наша мастерская, увы, была лишь одним из немногих возможных объектов душманского террора.

В конце концов приемлемый план разработали. Засада была рассчитана не только на то, чтоб отбить нападение, но и чтобы, заманив душманов в ловушку, возможно больше их взять живыми. Что до времени — решили: слишком долго тянуть они не станут, и надо быть настороже уже этой ночью. Царандоевец поехал к себе готовить людей, и товарищи из комитета обещали подмогу. Что до меня, я тоже решил с этого вечера ночевать в мастерской. Туда и отправился.

Ночь, однако, прошла спокойно.

Утром Шаиста на работу не пришла. В общежитии ее тоже не было, и лучшее, что оставалось предположить, — душманы взяли ее заложницей. Этого, впрочем, и следовало ожидать, если рассудить здраво. Мне помогло то, что теперь я день и ночь был на людях: останься я один, не знаю, как бы я вытерпел эту муку неизвестности. Ведь душманы не явились и на другую ночь, и на третью тоже.

Только трое суток спустя, далеко за полночь, аллах знает как обойдя внешнюю охрану (должно быть, заранее ее выследили), они, словно тени, появились во дворе дома. Впрочем, наш план и на это был рассчитан. Работая быстро и почти бесшумно, душманы сняли окна вместе со ставнями и рамами и проникли в подвал, оставив во дворе караульного. Вместе с караульным мы насчитали их семеро. Местом для захвата был нами выбран узкий проход, замкнутый с двух сторон бетонными стенами. Лучшего места для ловушки нельзя было и придумать. Едва они втянулись в этот «коридор», мы заблокировали оба выхода и предложили им сдаться. Один из душманов — совсем молодой, необстрелянный мальчишка, как потом оказалось, — не то споряча, не то со страху кинулся на прорыв и был застрелен. Остальные оценили положение более трезво: побросали оружие, отцепили от поясов гранаты, положили на пол взрывчатку. И подняли по нашей команде руки. Без особого шума их вывели наружу (караульного захватила внешняя охрана, когда он, поняв, что нападение провалилось, пытался скрыться), подогнали две закрытые машины и предложили душманам показать дорогу к их городской базе-явке. Это явно показалось им страшной смертью. Один из них, косматый, дикого вида мужичина, сперва, как все, стоял в строю и отрицательно качал головой — и вдруг, сорвавшись с места, бросил-

ся прямо на цепь царандоевцев. Они растерялись от неожиданности, и, свалив одного из них на землю, душман прорвал цепь, побежал к стене дома и стал, как кошка, карабкаться вверх.

— Держи! Держи-и! — орал офицер царандоям, направляя на него фонарь, трое бросились вдогонку, пытались схватить душмана за ноги, но тот пнул одного, пнул другого — и уже почти взобрался на крышу: тень его обозначилась на фоне неба. — И-и-их! — закричал офицер и выстрелил. Тень качнулась на краю крыши, застыла на мгновение — и душман тяжелым мешком рухнул вниз.

Остальные пятеро неподвижно стояли под прицелом. Офицер, разъяренный инцидентом, закричал на них, обещая тут же на месте расстрелять, если не согласятся показать дорогу к базе. Но ему пришлось повторить свое обещание еще дважды, прежде чем один из душманов вскрикнул:

— А-а-а! Все равно! Покажу!

Этот крик разрядил общее напряжение — и в нас, и в душманах. Мне показалось даже, что все разом вздохнули. Душманов усадили в одну из машин вместе с охраной. Другую заняли царандоевцы: часть их, впрочем, осталась охранять мастерскую. Мне подумалось, что нас явно недостаточно для налета на душманскую базу: ведь там могло оказаться много людей. Но командир царандоевцев, должно быть, считал иначе — а может, знал, что все равно пополнения не получит. И мы поехали.

Дорога, которая показалась Шайсте «длинною в час», у нас заняла минут двадцать пять. Миновав старый, окруженный умирающими тополями, тускло поблескивающий хауз с гнилой водой — я его видел не раз, — мы свернули налево в узкую извилистую улочку. Ехать по ней приходилось медленно, чтоб не наткнуться на какую-нибудь выступающую стенку или дувал. Минуты через три езды от улицы отвился еще более узкий проезд — машина в него еле втиснулась; повалив меж дувалов, проезд неожиданно выводил на маленькую площадку, совершенно безлюдную. С одной ее стороны стояла маленькая пустая и темная чайхана; напротив — большой амбар: он примыкал к полуразрушенной мальнице. Судя по всему, это и было то самое место. Царандоевцы выбрались из машины и, прячась за ними, оглядывались ожидая, что по ним вот-вот начнут стрелять. Ночь, однако, была по-прежнему тиха, нигде ни огонька, ни шага, ни вдоха. Вывели пленного душмана — того самого, что согласился показать дорогу: он ехал в кабине между шофером и охранником. Душман опославо огляделся и кивнул подбородком на амбар. Мы двинулись к амбару осторожно, все еще ожидая выстрелов; наконец, не выдержав этой медленной пытки, я кинулся к двери и рванул ее на себя.

Амбар был пуст.

То есть так показалось мне в первое мгновение. Помещение тонуло в полумраке, лишь в центре, откуда-то снизу, ниже уровня пола, исходил тусклый свет, вырывая из темноты раскрытый и опрокинутый сундук и неподвижную голову Шайсты, как бы торчащую из земли.

Казнили!!!

Голова закружилась. Я все-таки первым вбежал в амбар, преодолевая неожиданную слабость в ногах, боясь увидеть в упор страшную картину. Но, подбегая, я еще не сознанием, а всей прихлынувшей к сердцу кровью, понял: жива! Блеснул в мою сторону ее глаз. Она стояла по шею в раскрытом подполе и держала в руках фонарь. Под ногами у нее были, кажется, какие-то ящики.

— Та-ам... — еле слышно сказала она пересохшими губами и показала подбородком в левый угол помещения. И тут только я увидел в полутьме десятка полтора лежащих в углу людей. А чуть ближе — груду брошенного оружия: автоматы, парабеллумы, ножи, винтовки.

...Как все произошло, она рассказала мне уже потом. Получив план мастерской, душманы и Шайсту забрали с собою. На этот раз добирались сравнительно недолго — видно, с меньшими предосторожностями. Ее толкнули в амбар. Отец совсем разболелся; она, как могла, за ним ухаживала — благо в углу, не остывая, кипел самовар — день и ночь около него толклись или сидели вооруженные люди; можно было разжиться чаем, а иногда им с отцом приносили касу похлебки. Так относительно спокойно прошло два дня. На третью ночь Шайста обратила внимание, что хождение взад-вперед прекратилось, снаружи все стихло, да и люди, сидевшие в амбаре, как-то напряженно примолкли. И Шайста вдруг поняла, что это значит: должно быть, какая-то группа душманов отправилась в налет на мастерскую, а эту базу на всякий случай эвакуировали, оставив лишь вот этих для прикрытия. Значит, понимали: если налет сорвется, налетчики в случае бегства могут привести на хвосте царандой. И она стала молить судьбу, чтоб так и случилось. Хотя, подумала она при этом, им с отцом такой поворот событий неизвестно чем грозит — скорей всего, ничем хорошим. Впрочем, на вероятность для них счастливого исхода она вообще не слишком надеялась — просто старалась пока об этом не размышлять.

Душманам у самовара, сперва сидевшим в напряженном ожидании — может,

прислушивались, как и она? — это, наконец, надоело. Они стали пить чай, прихлебывая, потом закурили — огоньки сигарет засветились с темноте.

— Опять анашой завоняло! — с тоской и отвращением пробормотал отец Шаисты: из-за болезни его особенно мучили запахи.

Душманы переговаривались — все громче, все развязней. Разговор сначала шел вразброд — кто о чем, потом вдруг один голос, грубый, хриплый, выделился, сказал громко:

— Эй, почтенный! А что, ежели они не вернуться? Эта штучка нам достанется, а? — И по сальной интонации Шаиста, похолодев, поняла: эта «штучка» — она сама! Тусклый фонарь на подпорном столбе висел примерно в центре помещения, света давал мало, но ей не было видно разговаривавших не только из-за недостатка света: душманов от нее, как и ее от душманов, заслонял большой сундук, что стоял посреди амбара. Она еще в первый день спросила отца, что за сундук, что в нем лежит? Пустой, ответил отец, на крышке подпола стоит — для маскировки. А в подполе что? Да кто их знает, сказал отец безразлично, они частенько туда лазили — видно, патроны, взрывчатка, что ж еще? Продукты они оттуда не доставали. Шаисте тогда и в голову не пришло, что это может для нее оказаться важным. Но теперь, когда она со страхом прислушивалась к разговору душманов, это ей почему-то вспомнилось. И она, хоть сейчас их и не видела, с кошмарной отчетливостью представила себе хрипатога, спрашивавшего, как он подбородком показал в ее сторону, и «почтенного» — она поняла, что это их командир; рябой, одноглазый, в серой седине чело-век с темным и страшным лицом. Он ответил:

— Типун тебе на язык! Вернутся — не вернуться... Погоди о том говорить. — Голос у него был тяжелый, слова падали, как гири.

Спрашивавший хохотнул и смолк.

Слава богу, подумала она.

Но разговоры становились все громче, грубее, и вскоре она снова услышала тот же хриплый голос:

— Нет, ты все же скажи, почтенный, — наша эта штучка или нет? Ведь вроде своими ногами сюда пришла — выходит, наша, а? А, почтенный?

И тяжелый голос «почтенного», явно изменившийся — видно, и на него анаша подействовала, — сказал:

— Наша, наша... погоди немного.

— Ну во-от! — удовлетворенно сказал хриплый. — Так бы сразу...

Шаиста похолодела. На что ей надеяться? Что произойдет чудо? Вернутся те, что отправились в налет, или не вернуться — для нее исход один и тот же. Вот, подумала она с отчаянием, отца отправилась спасать. И отца не спасла, и сама...

Тут раздался еще один голос — характерно замедленный:

— Имейте совесть... мусульмане... здесь же ее отец!

Этот, хоть явно накурился уже, — не потерял еще, видно, совести.

— Оте-ец! Мусульмане!.. — передразнил его хриплый. — Мы-то мусульмане, да он предатель! Ислам предал! Потерпит... еще слаще при нем помилуемся, а? Теперь и отец все услышал. И с бессильным отчаянием вцепился в ее руку. Душманы захихикали, голос «почтенного» произнес тяжело, с усилием:

— Погодить еще... погодить. Э-э-х...

Все это время — пока она прислушивалась, вздрагивая от страха и отчаяния, воображая жуткие лица этих обкурившихся, звероподобных бандитов, — в голове Шаисты подспудно, наплывами складывался отчаянный план. И тут она почувствовала вдруг: все, ждать больше нельзя. Дальше будет поздно. Если они поднимутся, у нее уж ничего не выйдет, не успеет она, тут весь расчет на внезапность. И, выдернув свою руку, за которую ухватился отец, она поползла, стараясь не шуршать соломой. Ей надо было доползти так, чтоб они ничего не услышали. Потом так же бесшумно подняться. А потом — сдернуть фонарь со столба, ногой опрокинуть сундук и, с фонарем в руке, открыть дверцу подпола! На все эти действия она могла потратить только считанные секунды — и то при условии, что душманы не сразу опомнятся, не сразу поймут. Ну что ж, в любом случае — ей терять нечего.

Рассказывая мне об этом, она сразу толком не могла вспомнить, что она на самом деле сделала раньше — фонарь сдернула или сундук оттолкнула; сундук оказался тяжелее, чем она думала, пришлось сдвинуть его ногой и руками — ага, значит, в руках еще не было фонаря! Потом, уже с фонарем, она еле-еле подняла крышку подпола, ухватившись свободной рукой за кольцо — и только тогда глянула на душманов. Все эти секунды она понимала, что времени у нее ушло куда больше, чем она рассчитывала, вот-вот на нее бросятся или пристрелят. И лишь теперь, взглянув в угол, где по-прежнему светились над самым полом огоньки сигарет, успела подумать, что ей здорово повезло: они-таки не опомнились, не поняли, что происходит! Накурились.

И тогда она заорала — самым диким голосом, на какой была способна:

— Ла-ажись! Взорву-у! — И, резко качнув фонарь, так, что в амбаре запахло керосином, прыгнула в раскрытый подпол. Душманы, как ни обкурились, тут протрезвели разом — и повалились, кто как, на солому. Мгновение молчания — и вдруг рычащий голос «почтенного»:

— Не стреля-ать, дурак!

Это кто-то из лежащих прицелился в нее из темноты — хорошо, что она бессознательно держала перед собой фонарь.

И тогда она снова закричала — так же:

— Бросай оружие! Все! Ко мне! Жду полминуты — и взрываю.

Душманы, не раздумывая, бросали оружие. Она помедлила — хотела было отца попросить придвинуть эту гору смертоносного металла, но поняла: ему, больному, это будет не под силу. И пока она лихорадочно думала, что делать дальше — ведь рано или поздно душманы очухаются от одури и страха и попытаются обойти ее в полутьме, фонарь-то слепил ей глаза, и она почти ничего не видела вокруг за пределами одного-полтора метров, — слышался шум наших машин. Она решила: если это душманы вернулись — разобьет фонарь и вправду взорвет себя и всех их.

Это были мы...

Несколько дней спустя я серьезно расхворался — и недаром: мне трудно далась вся эта история даже теперь я пересказываю ее со щемящим сердцем, хоть уже знаю, чем завершилась. Впрочем, хочу верить, что не завершилась... и продолжится, как только Шаиста вернется в Кабул с того берега Аму: ее наградили поездкой в Советский Союз. Отца ее я тогда же отвез в госпиталь, и когда потом навещал его, он рассказал мне любопытную вещь, сам того не подозревая. «Муджахидами», у которых старик находился в горах, командовал «сахиб-офицер», он-то и спланировал всю операцию; может, старика потому и оставили в живых, что «сахиб-офицер» узнал случайно: дочка его работает в нашей мастерской. Когда, по моей просьбе, старик описал «сахиба», описание удивительно подошло к облику Лала Махдия.

Поневоле оставшись в Мазари-Шерифе, Сабир решил, что затоскует тут смертельно. Рана заживает, делать нечего, Сардору все время навязываться неловко, а с кем еще мог бы он тут поговорить?

Все вышло иначе: рана нагноилась, и всерьез; поднялась температура, его мучила лихорадка, и если б не местный доктор, неизвестно еще, во что бы все это вылилось. Доктор был совсем старый человек и, как выяснилось, давний друг Сардора и Сухайля. Когда появилось известие об эмиграции археолога — известие, которому Сардор сразу и безоговорочно поверил, низвергая на старого приятеля громы и молнии, — Сардор и доктор не то чтоб рассорились, но разошлись. Доктор был человек мягкий, добрый, ироничный, постигший за долгую жизнь и врачебную практику причины человеческих слабостей и потому склонный их прощать. Так же отнесся он и к известию о Сухайле, и Сардор не мог этого переварить. Узнав о Сухайле правду, старый солдат сначала не мог перебороть стыд перед доктором. Лишь когда Сардор свалился после ареста Гуломали, доктор снова явился к нему в дом и выходил его. Два одиночки в этом городе старика, они снова тесно сошлись и виделись чуть не каждый день; а теперь — и впрямь каждый день: благо, Сабир был тому поводом и причиной. Внешне они были на редкость разные: Сардор — высокий, сухощавый, доктор — полный, небольшого роста, с широким, чуть одутловатым лицом; он был несколько глуховат и потому говорил громко, но в речи его не было и следа настырности, зачастую свойственной глухим. Напротив, он был осторожен и в суждениях, и в тоне. Сардор же отличался подчас категоричностью суждений. Как-никак, он был проповедник! И все же слушать их беседы, даже самому в них не участвуя, — было истинное удовольствие. Делились ли они новостями, мнениями о прочитанном, спорили о книгах или неких волнующих проблемах, или вспоминали пережитое вместе — хотелось их слушать и слушать. Сабиру казалось: не уколы и не лекарства, не перевязки доктора, так не похожие на жестокое врачевание Гожсухты, а напоминающие скорее нежные женские прикосновения, — не все это, а именно мудрые и увлекательные беседы двух стариков понемногу, но уверенно ставили его на ноги.

Гуломали изредка появлялся у деда, приезжая, как правило, поздно вечером, и уже на рассвете исчезал снова. Он проводил дни, носясь по городам и весям: телефонной связи практически не было, какая была — порушилась, а в ведении Гуломали находились теперь два карьера, бетонный завод, растущий технический парк. Хотя управление предстояло разместиться в Мазари-Шерифе, но и с Кабулом приходилось то и дело связываться, ведь проектировщики продолжали работу, да и помощь министерства требовалась. Не хватало энергии, топлива, денег, наконец. Больше всего не хватало специалистов, что, однако, не избавляло от необходимости готовить жилье для них более или менее стационарное. Нурмухаммед Пайки угово-

рил-таки односельчан на хашар; некоторые другие кишлаки тоже согласились. Предстояло, однако, главное: заново посетить племена в районе русел Чорданахра. Даже если не все они согласятся на хашар, важно убедить их не оказывать сопротивления: в нынешней обстановке могло быть и такое. Ведь время хашара — весна — приближалось и скоро даст о себе знать! А сколько всего нужно для этого подготовить. Словом, забот и дел было у Гуломали невпроворот, и все же с каждым появлением он казался Сабиру все более здоровевшим, уверенным, радостным.

Однажды Гуломали приехал особенно поздно; он был очень возбужден. Доктор уже давно ушел, Сардор спал. Наскоро поев, Гуломали устроился на террасе рядом с Сабиром. Они пожелали друг другу спокойной ночи — но заснуть не смогли. Сабир спросил о чем-то — и Гуломали вдруг прорвало. Он начал говорить, рассказывать. Они так и не спали в ту ночь. Тогда Сабир и узнал о Шаисте. Ему сделалось и радостно за друга — и горько. Он вообразил себе Шаисту такой, какой вставала она из рассказа Гуломали, и на мгновение рядом поставил Зулейхо. Нет, это было слишком больно, он даже головой замотал, чтоб отогнать виденье. Он старался вспоминать ее только такой, какой увидел в Пайки, а тут она предстала изможденной тенью, какой была в лагере. Две девушки, такие разные, — и две истории, тоже разные. «Послушайте, Сабирджан, у нас есть поверье: за чересчур красивыми девушками по пятам несчастье ходит». Он посмотрел на Гуломали, только что забывшегося сном. Словно в воду глядел. В воду... А-а, черт... И по щеке его сползла слеза.

Весна пришла ранняя и бурная. То была не просто оттепель, что, как некая капризная красавица, явится ненадолго, обожжет безвременно распустившиеся почки — и исчезнет, испарится, словно ее и не было. Нет, то был настоящий взрыв тепла, зелени, цветенья, с мгновенно пробудившимся шумом текущей воды, заполнившей до верхнего края саи, арыки, речки, низвергающейся водопадами и водопадиками, с гуденьем пчел, облепивших цветущие фисташки, с нацеленными стрелами горного лука на склонах. Весна пришла — и в пять-шесть дней одела в сплошную, без прорех, зелень бескрайние просторы, вплоть до окраин Каракумов. Казалось, даже небо — над изумрудными лугами, над источающими пар дыханья пашнями, над подтаявшими сединами гор и серо-синим течением Аму, — даже небо, казалось, полнится бликами ее торжествующего земного сияния. А птицы, птицы! Какой радостный и вместе озабоченный гвалт поднимают они в траве, ссорясь из-за прошлогодних плодов боярышника! Жаворонки еще не повисли в воздухе, еще выют гнезда; в траве спнут парами горные куропатки. Какой, кажется, безбрежный, безудержно свободный мир вокруг, не знающий границ и опаски, — бродить бы по нему без оглядки и оружия, вбирая в себя эту нескончаемую красоту!

Гуломали изрядно устал от двух своих охранников. Нет, нормальные в общем-то парни, да и безопасность — дело необходимое в его положении, и все-таки, если кто-то неотступно за тобой следует, не отставая ни на шаг, безмолвно контролируя все твои передвижения и действия, — рано или поздно это становится несносным, особенно для такого неугомонного человека, как Гуломали. Даже за околицу без охраны не выйдешь воздухом подышать! Когда к нему присоединился выздоровевший Сабир, стало как-то легче выносить их постоянное присутствие, но ненадолго. Всюду они оказывались вчетвером — и на бегущих вниз-вверх тропинках, маршрутах будущей трассы, и на ярких тюльпановых лугах, и на изрытых вешними паводками склонах холмов. Когда идет разговор о том, где установить вагончики строителей или как сократить дорогу для перевозок бетона, эти два молчаливых парня — не помеха; но если хочется поговорить с другом о чем-то своем, личном... Да что у них, черт возьми, совсем уже нет права на личную жизнь?!

Однажды Гуломали вынул из кармана и протянул Сабиру конверт:

— От Шаисты...

Обычный авиаконверт с кремлевской звездой в уголке, внизу — праздничный фейерверк.

— И что пишет? — спросил Сабир, держа конверт в руке.

— А ты прочти.

— С чего это я буду его читать?

— Прочти, прочти, там ничего запретного нет. Зато есть кое-что, что тебя, по моему, касается!

Сабир пожал плечами, вынул из конверта мелко исписанную страничку и стал читать. Письмо как письмо. Только в конце... В коридоре политехнического к Шаисте подошла незнакомая молодая женщина, спросила: «Вы из Афганистана?» И оказалось, что она знает Гуломали, и про Чорданахр все знает... «Она гидрогеолог, очень интересуется строительством на Чорданахре, по-моему, здорово во всем разбирается. Мы теперь с ней встречаемся, даже подружились...» — писала Шаиста.

— Ну? — спросил Гуломали. — Прочел?

— Прочел, — сказал Сабир. Он вложил страничку обратно в конверт и вернул Гуломали.

— Написал бы письмо...

— Кому? — сказал Сабир.

— Ну ладно, не придуривайся, кому-у... А то сам не знаешь!

Сабир промолчал.

— Понимаешь, Сабир, — задумчиво сказал Гуломали после паузы. — Я вот все думаю: какие удивительно щедрые и бескорыстные люди живут в вашей стране. Вот ведь, в сущности, мы использовали с тобой в нашем проекте теорию старых русских Манзуры. Я ведь читал выводы ее диссертации, которые ты привез. Сама она пока что не смогла осуществить ее на практике, в конкретном проекте. И — ни зависти, ни претензий! У нас бы непременно потребовали что-нибудь в качестве компенсации своего авторства! — Он прервал себя. — И так и знай! Ты не напишешь, я сам ей напишу!

Сабир улыбнулся мягко, положил руку на плечо Гуломали, сжал. Они еще помолчали.

— Я, конечно, напишу, — сказал, наконец, Сабир. — Немножко погода. Сейчас, знаешь, слишком многое стоит перед глазами. Ты пойми — не могу я забыть, что Зулейхо погибла из-за меня! За меня!

Впервые за последнее время он произнес вслух это имя. Впервые. И боль снова обожгла ему сердце. Они еще постояли, помолчали. И оба неизменно молчаливых охранника тоже стояли рядом. Потом все четверо пошли дальше.

Они теперь ночевали, где ночь застанет: то в отахшане какого-нибудь кишлака, то на бетонном заводе, то в бараке одного из карьеров, вместе с рабочими. Среди рабочих попадались и едва оправившиеся от ран, настоящие инвалиды. Некоторые даже толком работать были не в состоянии, но Гуломали принимал всех. Это, говорил он, имеет моральное значение. И в самом деле, имело. Встречи с людьми даже в Сабира вселяли уверенность. А главное — чувство хоть какой-то общности с этой разнолкой, зачастую загадочной для него толпой. Он впервые ощутил, как это чувство важно: ведь дома оно было естественным, постоянным, здесь же, пока они оставались только изыскательской группой, в нем не было необходимости — жили, искали, трудились сами по себе. Теперь меж ними и всеми этими людьми протянулись нити, как бы вживленные в его душу, — мостики через пропасть непонимания.

Гуломали ездил на день в Кабул и вернулся с замечательной новостью: месяц спустя — открытие моста через Аму! Они проговорили полночи: это ведь было не просто завершение важной стройки — это было символическое событие! И для них — в особенности.

— Ты что, на торжество поедешь? — спросил Сабир.

— Конечно! А как же! Там будут люди из всех провинций, из всех племен! И мы там будем — мы же первый рабочий коллектив на севере. И Садык Сардор будет! И ты поедешь!

— Поеду с радостью.

Была уже середина ночи. Они ночевали в этот раз на карьере, в малом отсеке рабочего барака.

— Спать будем? — сказал Гуломали. — Хотя... не заснешь теперь. Давай выйдем, подышим воздухом.

Небо было ясное, звездное. Сладко пахло зрелой, набравшей силы и аромат весной. Тишина стояла. И в этой тишине вдруг ударил выстрел. Не успело еще эхо рассыпаться в горах, как второй грянул, ближе. Отдаленные выстрелы слышались тут по ночам и раньше, но так близко — еще никогда. Из барака выскочил один из охранников — встрепанный, до конца не проснувшийся.

Лицо Гуломали разом помрачнело, осунулось, будто после долгой болезни.

— Ты чего так разволновался? — сказал Сабир. — И раньше стреляли. Постреляют — и умолкнут.

— Я просто думаю: если как следует подсчитать, всех наших людей не хватит даже для обеспечения самообороны.

— А, ерунда! Как только стройка пойдет полным ходом, все встанет на свои места!

— Стройки не будет, Сабир. Будет война. Долгая, тяжелая.

Два старых, списанных армейских грузовика стояли у стройуправления, на окраине Мазари-Шерифа. Над длинным, низким свежевыбеленным зданием управления развевался флаг, маленькие флажки алели и над капотами машин. Гудела толпа, собравшаяся на проводах: делегаты города отправлялись на торжества по случаю открытия моста через Аму. С ними ехали и представители кишлака Пайки во главе с учителем Нурмухаммедом. Над верхушками деревьев виднелся голубой купол мечети Мазари-Шериф, минареты, а над ними, в синем, пронизанном лучами небе, металась, вилась стайка серебристых голубей.

У передней машины появился Садык Сардор — в своей высокой ширазской папахе, в шевитовом пепельном костюме и надетой поверх широкой бурке. Привычно подтянутый, он поглаживал правой рукой узкие серебряные усики, оглядываясь по сторонам; встретив взглядом знакомых, приветливо склонял голову.

Делегаты стали садиться в машины. Когда Сардор поднялся в кабину, протянув вперед негнущуюся ногу, к нему подошел прощаться большой, толстый человек. Да это Махбубшах! Улыбающийся, веселый. Глянув в толпу уже из кузова, Сабир увидел еще одно знакомое лицо: нечесаная борода, заросшее щетиной лицо. Шокалон! Встречи на том не кончились. Гуломали, только что вышедший из дверей стройуправления, подошел к кабине второго грузовика и стал усаживаться в нее. Взглянул на приземистого старика. Старик был совсем седой, с какой-то застывшей болью в глазах. В первое мгновение Сабир его не узнал, но тот сделал характерное движение бровями, и Сабир понял: Хайриддин-бобо. Как он изменился! И как страшно, как трудно будет с ним заговорить. И такая тяжесть — вины, горя, безнадежного сожаления — легла Сабире на сердце, что сияющий день, казалось, потемнел и отдался.

Но это только казалось. День сиял по-прежнему, на холмах обочь дороги празднично пестрели подвядающие, но еще такие яркие цветы. Машины одну за другой обгоняли группы нарядно одетых всадников на украшенных конях, от кишлака к кишлаку в этот растянувшийся караван вливались все новые конники; а когда, после перекрестка Хайратан, выехали на магистральное шоссе, не знающее покоя ни днем, ни ночью, то сами влились в поток грузовиков, многие из которых, принаряженные, как карнавальные повозки, явно везли в кузовах делегатов на предстоящее торжество.

Часа три спустя они ощутили прохладное дыхание великой реки — и в легкой дымке показался впереди мост: изогнутый, как гигантский лук, ажурный, серебристый. Он приближался все медленней — дорога была забита машинами, арбами, пешеходами. Вскоре шоссе поравнялось с железнодорожным полотном, тянувшимся к мосту, и вплотную к нему подступили многоэтажные здания, контейнерные склады, дворы, базы, скопления новой техники, этаких с оборудованием, горы тюков, посты охраны. Наконец и это осталось позади; перед ними была река. Аму в этих местах уже оставляет позади так долго сопровождавший ее могучий конвой каменных громад, но до песков еще далеко; и она расстилается меж плоскими, полого нисходящими к ней берегами блистающей гладью, словно бы бесконечная во времени и пространстве, вечно текущая, вечно поющая, вечно дарящая движение и жизнь.

По реке, навстречу друг другу, плыли два маленьких белых теплохода. Перед мостом они одновременно загудели, приветствуя не то новый мост, не то друг друга; и огромные пространства того и другого берега, запруженные людьми, ответили им нестройными глухими громами голосов: они-то уж наверняка и друг друга приветствовали, и мост, который их соединил отныне.

Позади длинных людских рядов с флагами, что выстроились на самом берегу, теснилась еще громадная многотысячная толпа, но и к ней надо было пробиться через преграды из множества машин, запряженных лошадьми арб и привязанных верховых коней. Делегаты Мазари-Шерифа и Пайки выбрались из грузовиков. Гуломали выстроил их в каком-то ему ведомом порядке и повел к берегу. Сабир шел позади, хотя Гуломали и пытался поставить его в числе первых; чтоб спрятать свои бинты на руке, Сабир надел пиджак и теперь обливался потом под ярким дневным солнцем. Впереди их делегации, следом за Гуломали, шли Садык Сардор и Хайриддин-бобо — и несли хлеб-соль на бархатных дастарханах. Сперва, пока они продвигались меж машин, лошадей и по людскому лабиринту, Сабире непонятно было, куда ведет их Гуломали. Лишь добравшись до берега, он увидел: вышли к мосту. Поблизости стояли руководители страны, посланцы столицы. Огромные конструкции моста вблизи уже не казались серебристыми и ажурными, зато производили впечатление огромной мощи и надежности. Огромный поднимавшийся кверху мост, казалось, раскрыл объятия водной глади, и она нежилась, ускользая и вечно в них оставаясь.

И вот — колонны двинулись по трехрядной автотрассе моста. Сабира обдало прохладой реки и бетона, замелькали цветы, лозунги на всех языках Афганистана, снизу поднимался глухой шум воды. Метров через пятьсот, на самом высоком месте «лука», стояла караульная будка, около застыли два маленьких солдата — узбек и афганец, одинакового роста, оба смуглые, издали похожие, как братья. Пограничники отдали честь, колонны остановились на несколько мгновений в знак уважения к этой символической границе между государствами — и пошли дальше. Когда дошли до конца моста и ступили на тот берег, навстречу грянуло «ура», заревели карнаи, раздался гром аплодисментов. Пестро одетые, похожие на бабочек девушки поднесли цветы членам правительства. Потом Садык Сардор вручил хлеб-соль

крепким парням в касках — строителям от имени строителей! Хайридин-бобо тоже вручил свое подношение. Хлеб пошел по рукам, к нему тянулось их множество: молодых и старых, взрослых и детских.

Сардор отошел чуть в сторону, руки у него устали, он взмок от пота: хотя бурку он сбросил еще в машине, но и в костюме было жарко. Он вытер платком лоб, лицо, пригладил волосы. Что-то заставило его поднять голову. На него смотрела невысокая пожилая женщина в берете. На лацкане ее легкого пиджака поблескивала Золотая звезда. Ее лицо показало ему знакомым, но где он ее видел? Определенно не в жизни, нет... на портрете! Он перевел взгляд на звезду, сверкавшую с лацкана, и вспомнил. Ну, конечно... фотография, которую показывал ему Сабир. Да, да, фотография академика Садриевой. Сумбуль Садриевой! Значит, это она? Неужели она?

Он шагнул навстречу ее взгляду.

— Извините меня... — сказал он с поклоном, который подчеркнул все старомодное изящество его подтянутой фигуры. — Мне кажется, я вас... знаю. Ведь вы — академик Садриева?

— Да, — сказала она просто, как бы и не удивившись; должно быть, ее многие узнавали по фотографии. — А вы?

— А я — полковник Садык. Садык Сардор — так меня у нас называют.

— Садык Сардор, — повторила она медленно, как бы смакуя. — Очень приятно. Знаете, мне тоже кажется, что я вас знаю откуда-то. Хотя — откуда? Где мы могли встречаться?

Он выпрямился, глаза его под седыми бровями сверкнули.

— Действительно, откуда? — сказал он. — Вы — с этой стороны, а я — ауганец!

Показалось ему, или действительно ее лицо под привычным темным загаром покраснело? Она спросила:

— А вы... вы бывали у нас когда-нибудь?

— Бывал... однажды. Очень давно. Теперь уже трудно поверить, что все это было. Молодость... и та поездка.

Она смотрела на него пристально.

— Ведь вас зовут Сумбуль? — спросил он вдруг решительно.

— Да. Меня зовут Сумбуль. И родом я из кишлака Мукри.

Он кивнул, как бы все подтверждая. Несколько мгновений они стояли молча.

— А ведь я... — сказала она, наконец, раздумчиво. — Я потом... порою... думала: уж не приснилось ли мне? Значит, нет. И вы действительно везли письмо? Он снова кивнул. Слова казались ему лишними.

— Я потом читала об этом письме. Потом... много лет спустя. Это уж была История. Нет, не может быть, чтобы ты в этом участвовала, сказала я себе. Примерещилось... или совпадение. А это действительно были вы!

У него комок стоял в горле. Они так стары! Но ведь была та девочка, была!

— Да, — сказала она, словно угадав его мысли. — Была жизнь... и прошла. — В углу глаза у нее блеснула что-то, но тут же она улыбнулась слабой, чуть тронувшей губы улыбкой. — Ну что ж, не так уж плохо прошла. А? Полковник Сардор... Академик Садриева... Жалеть — поздно. Зато стыдиться нечего!

— Нет! — сказал он. Сделал шаг вперед, взял ее руку, поцеловал. Рука была сухая, старческая. Когда он выпрямился, она удержала его голову, прикоснулась губами ко лбу, отпустила.

— Ну вот, — сказала она, — а теперь пойдете. Пойдете вместе. Небось, ждут уже, ищут.

А Хайридин-бобо искал землю. Был асфальт, бетонные плиты. Земли не было.

Можно ли здесь отойти в сторонку, побыть одному? В глазах его стояли слезы, но он их не вытирал — все равно тут же опять набегут. Он огляделся. Кругом люди, люди, люди, ничего больше не видно. Или он ослеп совсем. Он все же вытер глаза — и тогда вдруг где-то над головами, слева от моста, заметил странно покачнувшуюся верхушку дерева. Сажаят, догадался он с радостью, деревья сажаят! И пошел в ту сторону. В самом деле, вдоль берега на высокой насыпи молодые парни рыли ямы, тут же, в больших ящиках с насыпанной землей, стояли саженцы, уже с листьями — такие примутся. А земля какая! Черная, жирная... Родная земляца, родная!

— Хорманг! — сказал он, подходя.

Молодежь ответила ему нестройным хором благодарственных приветствий. И под подошвами у него была земля родная. Господи, сбилось! Все потеряно, все, а родная земля еще есть на свете!

Он подошел ближе.

— Чинары?.. — спросил он.

— Чинары, бобо, — ответил ему рослый парень, который работал ближе всех.
— Примутся? — Он знал, что примутся, саженцы были здоровые, крепкие, ему просто хотелось поговорить с ними.

— Должны, бобо!

Земля пахла как-то особенно, дивно, благоуханно — или это ему кажется?

— Я оттуда, с того берега... — сказал Хайриддин-бобо. Парень выпрямился, посмотрел на него внимательно. — Можно, брошу кетмень-другой землицы? — попросил старик.

— Пожалуйста, — сказал парень поспешно и протянул кетмень. Остальные тоже оставили работу и смотрели. Хайриддин-бобо ударил кетменем раз, другой, третий, отвалил несколько пластов, потом встал на колени, набрал в ладони влажной земли, размял, поднес к носу, вдохнул с наслаждением, прикрыв глаза. Парни смотрели, улыбались, потом снова принялись за работу. Только тот, что дал кетмень, стоял в ожидании, на лице его была написана жалость. Хайриддин-бобо ссыпал землю с ладони себе в карман, поднялся.

— Вы узбек, бобо? — спросил хозяин кетменя.

— Да, внучек, узбек. А ты?

— И я. Наполовину, правда. Отец — туркмен.

— Да... — сказал Хайриддин-бобо и подвинул ему кетмень. — Спасибо тебе, внучек, спасибо.

— Не за что, бобо!

На обширном пространстве перед мостом, где толпились люди, начался митинг. Репродукторы доносили обрывки чьей-то речи. Старик спустился к реке. Солнце клонилось к западу, и маленькие волны, которые несла Аму, потемнели, вот-вот станут черными. Старик вглядывался в реку. Ему показалось — что-то вздымается в волнах. Что же это, о аллах! Люлька, люлька! Он качнулся, едва не упав в воду, всмотрелся снова. Нет, не люлька. Волны рассеяли, разбросали свою ношу, и теперь ему увиделись девичьи косы, распластавшиеся на воде. Аллах, спаси и помилуй! Но волны еще приблизили то, что несли, — это был просто веночек, веночек из степных цветов. О-ох... Да откуда ж веночек-то? Вот и другие. Старик стал смотреть вверх по течению и разглядел наконец: венки бросали в воду дети. Ага! И на том, и на этом берегу! Возле моста, где река сужалась, течение сводило их вместе, перемешивало.

— Красиво, бобо, а? — спросил над ним молодой голос. Старик поднял голову. Это был тот же парень, что давал ему кетмень. Он подошел неслышно, встал рядом.

— Краси-иво, сынок... — сказал Хайриддин-бобо и вдруг всхлипнул. — А моих детей... моих... не река поглотила... Нет... вражда поглотила.

Парень промолчал: не понял. Но снова посмотрел на него с острой жалостью.

А на мосту оживленно разговаривали двое. Гуломали разыскал одного из авторов проекта моста, он дошли по верху до караульной будки, осматривая все. Гуломали расспрашивал, мостостроитель комментировал. Все, что Гуломали увидел, привело его в восхищение. Теперь они стояли, опершись на перила, и продолжали разговор, изредка поглядывая вниз, на воду.

— Но что будет с мостом в случае весеннего паводка? — спрашивал Гуломали.

— Ну, что будет... Придется соблюдать осторожность. Больше ничего наперед не скажешь.

— Я вам обещаю, — сказал Гуломали, — это года на два, не больше!

— Что — года на два? — растерянно спросил мостостроитель.

— Осторожность! Потом я вам гарантирую безопасность ото всех паводков!

— Да-а?

— Да, да!

— Это в каком смысле?

Но Гуломали не услышал: он увидел группу девушек на берегу, и одна из них... Да, да, вон и Сабир с ними!

— Саби-ир! — закричал он.

Но это был не Сабир. И не Шаиста. Померещилось. Сабира вообще не было видно — наверное, встретил кого-нибудь из своих.

— Товарищ Коргар, так в каком же это смысле?

— А-а... Да, да, — сказал Гуломали. — Сейчас я вам расскажу.

А великая река волновалась внизу, вбирая закатные лучи, — и текла, текла, как расплавленный металл.



Толыбай Кабулов

День Победы

I. ВСЕ НА ФРОНТ

Вот она, пронзительная ясность.
Все свое значенье обрело,
«Все на фронт»,
«Над Родиной опасность» —
Заявило Совинформбюро.

Смерть фашизму —
Пламенели травы.
И ему, что лютого лютей,
Были гневным приговором
Даже траур,
Юность вдов и безотцовщина детей.

Смерть фашизму —
Листья глухо шелестели.
Напрягались ветки у чинар.
И казалось, что аулы опустели,
В них остались
Только млад и стар.

II. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЕВ

День Победы наступил.
Вернулись с фронта,
На висках налеты седины.
Не юнцами, что глядят
С домашних фото.
И казалось, будто не было войны.

День Победы наступил.
Смеясь и плача,
Пьют с бальзамом чай фронтовики.
Всем им выпала
Великая удача.
Рядом с ними молодеют старики.

День Победы наступил.
Все возвращаются
По домам. Ох, парни хороши,
И весь мир расцвел,

Как юная красавица,
Навсегда освободясь от паранджи.

III. ПРАЗДНИК В АУЛЕ

Что за праздник,
Что за праздник удивительный,
Краски жизни радостно поют.
Были празднества,
Таких еще не видели.
В каждом сердце
Ослепительный салют.

День Победы,
Вспоминают ветераны
Подвиги, что сказочным сродни.
И казалось, дышат
Древние дастаны
«Кырк кыз» и «Алпамыш»¹.
И в наши дни.

День Победы.
Праздник воли всенародной.
Сколько новых замыслов и дел.
И как будто заодно со всей природой
Пробуждающийся мир помолодел.

День Победы.
Скорбно поклонялись близким,
Не вернувшимся с войны отцам...
И к белеющим гранитным обелискам,
Как живой поток, прихлынули сердца.

День Победы —
Клятву отдавал подросток,
На посту молчание храня.
И пылал, как пламя,
Пионерский галстук —
Отраженный символ Вечного Огня.

День Победы,
И не стало больше гула,
Только листьев шум и шелест трав.
Как все матери,
Сама Земля вздохнула,
Свои волосы седые подобрал.

День Победы —
Славных дел первооснова.
Были все преграды сметены.
И всплывало над планетой
Это слово,
Ненавистное глашатаям войны.

Перевод с каракалпакского Джемса Паттерсона.

¹. «Кырк кыз» и «Алпамыш» — каракалпакский героический эпос.

Рост

Меня дороги смолоду несли,
как лодку мчит покорное течение.
Летел я, отрываясь от земли,—
летел, спешил, сгорал от нетерпенья.
Я чувствовал, что я расту, расту,
заглядывал все дальше и все выше...
Подчас забыв взглянуть на землю ту,
из недр которой, как росточек, вышел.
Но шли года — успех и неуспех...
Не то чтоб я остановился в росте,
а попросту тот возраст подошел,
что видит все спокойнее и проще.
Однажды огляделся невзначай...
Как изменилось отношение роста!
Растет мой город, и растет мой край —
и с ними вровень мне шагать непросто...

* * *

Я прибыли от слова видел мало.
Меня учили так вести дела:
душа моя с задором раздавала
то, что сама с трудом приобрела.
Душа моя! Намыкался я с нею,
но так случалось на исходе дня:
чем раздавал я больше и полнее,
тем оставалось больше у меня!
Я прибыли от слова видел мало,
и лишь тогда она меня ждала,
когда душа свободно раздавала,
то, что сама с трудом приобрела...

* * *

Пески и горы, лес и воды...
Просторы, как вы хороши!
Разнообразие природы —
отрада глаза и души.
Все больше вижу через годы,
все больше запасаю впрок.
Разнообразие природы —
и материал нам, и урок.
Она доказывает вечно,
и без прикрас, и мудрено:
все сотворенное не вечно
и может быть изменено.
Пусть от прихода до ухода
недолгий нам отпущен срок,
разнообразие природы —
и утешенье, и урок...

Выйдешь в степь,
в этот вешний рассвет,—
шевельнется трава, прорастая,
незабытого детства привет
передаст перелетная стая.
И в начале весеннего дня,
как в начале далекой дороги,
обоймет ожиданье меня,
словно облако сладкой тревоги...
Пусть, минуты и дни торопя,
возвращаются чувства все те же:
как бы мог я и жить без тебя,
ожидание — поле надежды?
Ты, что путь выбираешь, решай:
безразличных удачей не теша,
лишь отважным дарит урожай
весно-вешнее поле надежды.

Перевод с каракалпакского Н. Базарова.

Шавкат Рахмон

*Панорама Аравана*¹

I

Горы лежат —
подогнувшие ноги верблюды,
сонно жующие стрелки ключею зноя.
Где же погонщики и караванные люди,
блюда из золота и сундуки с бирюзой?
Все подчистую ограблено,
степь бездыханна,
в воздухе носятся смерчи разбойничьей пыли.
Образ того, кто убил вожака каравана,
джунгли годов утаили.

II

Прах караванщика
на берегу погребли,
выбив на камне:
«Ради бессмертья
страдающей нашей земли
смерть не страшна мне».
И старики, и те, кто юны, плакали, —
как будто бы дутара струны, плакали.

¹ Араван — район в Киргизии.

III

Из тутовой рощи,
гуськом, попарно,
как древние воины, шаг пружиня,
спокойно выходят смуглые парни,
глаза их — твердыня.
Вот они входят в кишлак
и у речки спящей,
где играют солнца последние два-три блика,
любуются, словно девушкой уходящей,
конем, который пьет из арыка.

IV

Улицы — тальники,
где подрастают дети,
где плоды — обильны, а ветки — в подъем руки,
где в створах ворот, синеющих на закате,
сушатся табаки.
И девушки ладонями цвета хны
закрывают лица,
потупляя глаза.
И кровь моя закипает огнем весны,
и наливается соком моя лоза.

V

Инжирный сад
в сиянии луны:
искаженные души, искривленные станы,
и стоят, опершись друг на друга, они,
будто в час испытания.

VI

Ночь задувает
ветвистый подсвечник рощи,
месяц на небе прозрачен, и бел, и тонок,
вены мои — как ветви
черных деревьев тощих,
кровь моя в них смешалась
с горьким вином потемок.
Если луна на небе — ныне всего лишь долька,
это не значит вовсе, что исчез ее круг,
если сейчас один я, это ведь значит только,
что меня дополняешь
ты — мой незримый друг.
Долго искал друзей я,
кровь наша стала общей,
даже когда их нет, знаю — они со мной:
Вот они — люди слова,
честь берегущие смалу,
совесть свою хранящие от корысти земной.
Но зеленеет ветвь высохшего платана, —
в сердце их жив завет
вожака каравана.

VII

Араван,
как будто жених с невестой,
дремлет в объятьях ночи, зримый горам и овцам,
скрываясь то голубой, то огненной завесой,
Луной заходит,
восходит Солнцем.

* * *

От прогорклого воздуха наши дети
постепенно становятся все нервнойней...
Распахните же окна хоть раз в столетье,
спертый воздух бессилия режет ноздри.
Распахните окна,
лучи не могут
просочиться к нам через слой полуды.
Недовольно шипят,
поднимая посох,
старики, страшась простуды.
Но из тьмы безмолвной,
блестя зрачками,
выступают смелые и задиры...
И в прогорклости мраке сверкают камни, —
разлетаются вдребезги
стекла мира...

Перевод с узбекского Ильи Кутика.

Алим Кучкарбеков

Когда алет вишни

— Вишни спеют, — промолвил садовник-старик.
...Груз годов ему плечи согнул.
Посмотрел — и опять головою поник,
«Умурзак», — прошептал и вздохнул.
Почему «Умурзак»?
Вишни сорт он назвал?
Или вспомнил былые года?
Он молчит.
Только шепчется с ветром листва,
Да в арыке бормочет вода...
Вот ко мне обратил он задумчивый взгляд.
— Посиди да послушай, сынок...
Вон, обласканы солнцем, две вишни горят,
Как рубиновых пара серег...
Шел июнь, и в садах алый цвет заблистал.
В тубетейке, цветок у виска, —

Собирал сын мой вишню, на лестницу став,
За корзиной корзину таскал.
Было солнечным утро, и труд — веселил...
Вдруг... к нам грозная весть донеслась:
— Враг ворвался в пределы родимой земли,
Наше счастье задумал украсть!
Скоро, скоро я сына на фронт проводил.
Умурзак у меня был один.
День разлуки единый прибавил седин...
Сколько было еще впереди!
Ждал я сына. Не знал, что мой светоч угас.
Умурзак за Отчизну погиб...
Повстречали Победы торжественный час.
Сыновья возвращались — к другим.
Снова песни над полем звенели в страду.
Снова начали свадьбы играть.
Снова вишен рубины повисли в саду,
Только некому их собирать...
Алость вишен созревших — как жар, горяча...
Чтоб всем войнам — навеки сгореть!
...Отвернулся старик и успел, невзначай,
Он слезу рукавом утереть.
...По вишневному саду проходит старик,
Не поднимет глаза, головою поник...

Сорок пять рубашек

Надежда людям продлевает жизнь.
В который раз к дороге вышла мать!
Вдаль глянет — по щеке слезинка пробежит...
Беда смогла согнуть.

Но не сломать!

Она моя соседка с давних лет
Живет одна. Который год — одна!
В расположение звезд ища примет,
Спешит истолковать виденья сна...

Ведь он сулит — придет домой Толмас...
— Сосед, мой сын вернулся, сну поверь!
...Упорный, сквозь очки, взгляд тусклых глаз.
Вся встрепенется — только скрипнет дверь...

Сын был один — сокровище души.
Но пробил час ему на бой идти.
И мать, в слезах прижав его к груди,
Сказала: — Край родимый защити!

Пора разлук, военная пора...
Унес он в сердце матери наказ.
Узбек — в боях на берегах Днепра
Свою отвагу доказал не раз.

Орудие его разило цель —
Фашистский танкер сгинул под водой.
Он в рукопашной был могуч и смел,
Враги валились наземь чередой...

Ревущей бомбой — пала смерть с небес.
Угас перед очами небосвод...
В далекий дом домчалась злая весть...
А мать не верит. Мать доныне ждет.

Как будто въявь: вот сын домой пришел,
Привел жену, двух маленьких детей...
У дочери косички — черный шелк,
У сына озорных не счесть затей...

Сын весь в о тца, Толмаса стать видна...
А вот у внучки — бабушкина кровь...
Прощай, уныние и тишина!
Смех, крики, шум двор оживили вновь...

Надеждами душа ее живет.
Опять выходит на дорогу мать.
И сыну шьет рубашку каждый год...
Их сорок пять уже...

Их сорок пять!

Надежда людям продлевает жизнь.
В который раз сон истолкует мать...
Вдаль глянет.
По щеке слезинка пробежит.
Беда смогла согнуть.

Но — не сломать...

Перевод с узбекского Зои Тумановой.



И. Богданов

УЧИТЬСЯ ПРАВДЕ

Игорь Яковлевич Богданов — заведующий лабораторией Комиссии по изучению производительных сил и природных ресурсов Академии наук СССР — неоднократно и в разные годы бывал в Узбекистане, хорошо знаком с его проблемами, принимал самое непосредственное участие в разработке комплексной программы социально-экономического развития Средней Азии и Казахстана на перспективу. Именно поэтому наш корреспондент, будучи в Москве, обратился к И. Я. Богданову с просьбой поделиться своими соображениями о сегодняшнем состоянии республики, о путях преодоления противоречий в разных сферах ее жизни. Игорь Яковлевич такое предложение принял, однако честно предупредил, что настроен весьма критически.

Возможно, отдельные позиции И. Я. Богданова покажутся спорными, но бесспорно одно: только через критический взгляд лежит путь к объективности, к устранению недостатков, к обновлению.

Почему столь пристален сегодня интерес к республикам Средней Азии и к Узбекистану особенно?

Думаю, что этот интерес обострился в связи с правительственным постановлением о прекращении работ по переброске в регион сибирской воды. Надо сказать, что шума было много, боролись кто «за», кто «против», кто-то в этой борьбе получил инфаркты, кто-то сделал карьеру, борьба есть борьба. Но вот, как теперь говорят, гласность, общественность победили, и после этого неминуемо встал вопрос: а как же Средней Азии, Узбекистану жить дальше, строить свою экономику, ведь в прежних своих планах были надежды и прямые расчеты на сибирскую воду, а теперь ее не будет?

Но только ли отмена переброски вызвала необходимость глубокого изучения проблем развития производительных сил региона? Конечно, нет. Причина гораздо глубже, серьезней, если хотите, трагичней. Да, именно трагичней.

Что я имею в виду прежде всего? Прежде всего, человеческий фактор. О нем мы сегодня много говорим, проявляем озабоченность, но миллионы чиновников, как и прежде, перекалдывают на своих столах миллионы бумажек, испещренных всевозможными процентами, и никто по-настоящему не задумывается о том, что в регионе назрела трагедия именно в сфере человеческой. И заключается она, на мой взгляд, в том, что мы теряем в Узбекистане поколение людей, которые верили в свою землю, любили свою землю, работали на ней радостно и вдохновенно. А взамен получаем людей, которые приспосабливаются к тем условиям, которые сформировались здесь за последние десятилетия, — условиям хищения, приписок, обмана, круговой поруки. Это по-настоящему страшно.

В своих многочисленных поездках по Узбекистану нам нередко приходилось слушать такое, например: «Ну зачем вы здесь пытаетесь что-то изменить? Ведь ничего-то у вас из этого не выйдет. Коррупция настолько глубоко пустила корни, что бороться с ней уже бесполезно».

В этом тяжелом признании наверняка присутствует эмоциональное преувеличение, но и оно еще и еще раз убеждает в том, что простые люди утрачивают веру в справедливое возмездие за чудовищные злоупотребления властью, за казно-

крадство и протекционизм. «Мы не можем вам рассказать всю правду, потому что вы уедете, а нам здесь жить...»

Всю страну буквально потрясли публикации в «Литературной газете» («Зона молчания») и «Правде» («Кобра над золотом»). Ошеломляющие публикации, их перепечатавают из газет на машинках, передают из рук в руки. Вы скажете, что воруют не только в Узбекистане? Да, к стыду нашему, не только. Но ведь масштабы воровства в республике беспрецедентны! Десятки миллионов, миллиарды осели в карманах дельцов, обладавших властью и носивших в карманах партийные билеты. Как же жить честному человеку в Узбекистане? В чем он виноват? В чем виноват тот, кто денно и ночно, не разгибая спины, уродуется на хлопковом поле, чтобы с трудом прокормить своих многочисленных детей? Как он должен чувствовать себя в создавшихся условиях? Почему его дети не могут есть вдоволь мяса и пить молока? Почему они вырастают физически слабыми, почему они учатся лишь по полгода, а в армию их берут зачастую только в стройбат? Почему? Кто ответит на эти вопросы?

Мне могут возразить — дескать, это вчерашний день, сегодня все налаживается, идет бескомпромиссная борьба с очковтирательством и приписками. Но вот мы читаем материалы IX (1988 г.) Пленума ЦК КП Узбекистана, где прямо сказано, что процесс обновления в республике идет под большим нажимом, по-прежнему проявляются благодушные и самоуспокоенность, стремление выдать желаемое за действительное, продолжают приписки, хищения, взяточничество. И уже нет Рашидова, и уже нет Адылова, уже перестроились, уже боремся...

Вы только вдумайтесь в слова, которые сказала на пленуме швея-мотористка Каршинского производственного швейного объединения имени 50-летия СССР Р. Н. Иванушкина:

«Мы, простые люди на местах, всегда искренне верили и верим руководству республики. Но что же получается на деле? Как пленум, так кого-то исключили из членов ЦК, сняли то за взятки, то за грубые ошибки. Или просто, деликатно, по состоянию здоровья, хотя все примерно догадываются, за что. Разве при этом будет полное доверие людей?»

Вот почему в республике за годы перестройки мало что изменилось к лучшему. Надо укреплять Бюро ЦК, предлагаю ввести в его состав одного-двух рабочих. Не для галочки, не молчунов, а зубастых, настоящих большевиков. С их помощью можно будет полнее учитывать мнение трудящихся, да и в Бюро они особенно не дадут либеральничать, когда нужно будет давать оценку большому начальству...»

Эти смелые, горькие слова, идущие от правдивой души, вселяют значительно больше оптимизма, чем правильные лозунги и красивые слова о перестройке, произносимые в республике с разных трибун. Показное усердие в радиении о государственном интересе, об интересе простого народа уже давно и прочно подменило истинный интерес, искреннюю заботу о народе, о его благополучии. Иначе, чем можно объяснить, что народно-хозяйственные показатели неуклонно скатываются вниз. За два последних года недодано общественного продукта больше, чем на четыре миллиарда рублей, падают темпы прироста национального дохода, падает производительность труда и уменьшаются доходы дехкан. За чей счет выросли в Узбекистане шикарные загородные гостиницы для «высоких» гостей, неопикуемой роскоши дачи «для начальства», «царские села» и «дворянские гнезда»? И одновременно тысячи школ республики находятся в полуаварийных зданиях, дети учатся в три смены, остро не хватает дошкольных учреждений, больниц, поликлиник...

«Что же произошло, какая административная катастрофа, которую я запрещаю себе называть национальной, и все-таки это слово срывается с языка, постигла эту республику? (Цитирую Ч. Айтматова «Перестройка, гласность — древо выживания», «Правда», 13 февраля 1988 г. — И. Б.).

Какой обвал нравственных и моральных устоев обрушился на эту землю, и почему злоупотребления и преступления одних в порывах к золотым грезам в буквальном и переносном смысле этого слова обернулись трагедией едва ли не всего народа?»

Да, нельзя не согласиться с Айтматовым. Виной всему ложь и лицемерие, ставшие негласной нормой, правилом в иерархии взаимоотношений между различными категориями и группами бюрократического мира, прежде всего должностных лиц. Со лжи все началось. Ложь — мать всех пороков.

Были мы в Каршинской степи. Как вы понимаете, комиссию из Москвы в плохой совхоз не повезут, повезут в самый лучший. Принимают сегодня без пышностей — перестроились, — но и достаточно торжественно. Нам показывают великолепные двухэтажные дома из железобетона, выросшие посреди степи. Целинные хозяйства. Показывают приусадебные участки, прекрасные постройки на них. Все это издаലെка красиво, но близко к домам нас не подпускают. Мы настаиваем — надо, мол. Разговариваем с людьми, смотрим. И что же мы видим? В этом замечательном двухэтажном доме, предназначенном для проживания целинников на уровне городского комфорта, ванна выброшена — там стоит корова, в туалете — сено для коровы и собранный на

огороде лук. В доме — жуткая бедность, мебели никакой, посреди комнаты «буржуйка», труба выведена в окно, окно кое-как заделано фанерой. Спрашиваем, почему выбросили ванну, туалет, а нам объясняют, что если использовать их по назначению, то все останется в доме. Нет, вывод есть, канализация есть, да только заканчивается она в конце поселка общей трубой...

Как же могут жить люди в таких условиях? Кто им придумал такую «городскую» жизнь? И после этого мы поднимаем вопрос: почему люди не хотят переезжать из густонаселенной Ферганской долины во вновь освоенные целинные районы? Прикрываемся традициями, низкой мобильностью народа. Да вот он ответ, простой, как правда: никто о рабочем человеке не думает. Не в этом ли главное объяснение тому, что потраченные на освоение Каршинской степи миллиарды не окупили себя по прошествии двадцати трех лет хотя бы наполовину.

На весь мир прокричали о принципиально новом подходе к освоению пустынь — комплексном, что означает — строить целинные совхозы конвейерным методом. А что за словами? Что за криками «ура!»? Пять центнеров с гектара хлопка, ежегодный ущерб экономике республики порядка ста миллионов рублей да красивые лауреатские знаки на пиджаках освоителей. Да еще разрушенные надежды тысяч семей, решивших начать новую жизнь, поправить свое материальное положение, довести до ума своих детей. Вот она — ложь, и каким она боком выходит, и по кому бьет.

Вот куда, прежде всего, должна быть направлена перестройка в Узбекистане в атмосфере гласности, честности, откровенности. Против лжи и лицемерия, против воровства и чиноугодничества.

Новому руководству республики, надеюсь, удастся, положила руку на сердце, заявить во всеуслышанье — где корень зла. Если мы хотим что-то изменить, надо, прежде всего, ломать принципы, на которых строятся социальные отношения в республике. Откровенное обсуждение этих вопросов, я уверен, не менее важно, чем развернувшееся сегодня в литературе, в печати критическое осмысление трудных страниц нашей истории.

Низкий поклон трудящемуся узбеку! Это его прекрасными, почерневшими от работы руками, его золотыми руками отвоевала наша страна хлопковую независимость, а Узбекистан снискал заслуженную славу главной хлопковой житницы. Но найдем в себе мужество сказать сегодня, что хлопок из национальной гордости республики превратился в ее национальное бедствие. Ведь это хлопок стал источником неслезанного обогащения над народом стоящих, источником крупномасштабных преступлений. Ведь это засилие хлопка, усиленное насаждение монокультуры подорвало основы плодородия земель, подорвало физическое и нравственное здоровье народа. В ажиотажной гонке за все новыми эфемерными прибылями скоропалительно осваивались все новые и новые тысячи гектаров, а по пятам освоителей возродилась пустыня. Уже погублен Арал, уже на Приаралье неудержимо наступают соленые пески, экологическая катастрофа грозит захлестнуть весь регион, а мы все еще в плену вчерашнего дня, в пелене самообмана: ничего-де особенно страшного не произошло, вот если бы только немного сибирской воды, вот тогда бы...

Еще несколько лет назад, до XVI пленума ЦК КП Узбекистана, академик А. Г. Аганбегян внес вашему руководству предложения по нормализации экономики республики, где было показано, в частности, что переброска сибирской воды пока просто вредна для республики, она на долгое время отвлекла бы значительные силы и средства, а позволила бы лишь слегка залатать некоторые дыры в экономике, проблеме региона в целом она бы не решила. Вот тогда и поступило в центральные органы письмо из Узбекистана о том, что академик Аганбегян дезориентирует руководство страны, подрывает дружбу народов и т. д. Жизнь же настоятельно доказывает, что выдвинутые А. Г. Аганбегяном предложения надо хотя бы серьезно обсудить.

Давайте придем в себя от бешеной гонки по наращиванию хлопкового вала, остановимся, поразмыслим, как жить дальше? Как, чего и сколько надо производить в Узбекистане?

Не знаю, как вы, а я не в состоянии понять, как это республика, где почвенно-климатические условия для растениеводства, животноводства многократно благоприятнее, чем в каком бы то ни было другом регионе страны, не может прокормить свое население! Ведь в Узбекистан продукты питания поставляют и Казахстан, и Сибирь, и Украина, и Прибалтика, вплоть до того, что союз везет сюда из Приморского края.

Но еще более странно то, что все наши попытки изменить структуру сельскохозяйственного производства республики в сторону самообеспечения мясной и молочной продукцией не встречают особенной поддержки даже в самой республике. Какие бы разумные доводы ни выдвигались, все делается, как раньше. Планы по производству хлопка фактически не снижаются, себестоимость его сумасшедшая, рекомендации и предложения по альтернативным вариантам ведения сельского хозяйства, разработанные республиканской наукой, не принимаются.

Несгибаемую позицию обнаруживают и планирующие органы страны. Нам гово-

рят: мы никогда не пойдем на дальнейшее снижение объемов хлопка. А наука, комиссия во главе с А. Г. Аганбегяном расчетами показывает, что получать сегодня пять миллионов тонн республика не готова, не может, это опять выкручивание рук.

Мы предлагаем до 1990 года снизить производство хлопка-сырца до 4,5 миллиона тонн, и далее, не наращивая под ним площадей, а исключительно за счет оздоровления земель, за счет повышения культуры земледелия и роста урожайности, к 2000 году, то есть за десять лет, поднять объем до 5 миллионов тонн. Мировое хлопководство уже давно развивается исключительно за счет повышения урожайности. Производство хлопка в мире за последние сорок лет возросло вдвое, а посевные площади под ним сократились на 10 процентов. У нас же все еще идет ориентация на расширение посевных площадей, а число занятых в хлопководстве не только не уменьшается, а продолжает увеличиваться.

Прежде всего посмотрим, как используются земли, отведенные под хлопчатник в республике. На 112 тысячах гектаров получают урожаи всего лишь до десяти центнеров с гектара. На 150 тысячах гектаров — до пятнадцати центнеров, на 266 тысячах — до двадцати. Вот где зарыты и убыточность, и социальная неразвитость. Но есть и другая статистика, более оптимистичная: 190 тысяч гектаров дают по тридцать пять — сорок центнеров, 93 тысячи — свыше сорока, до пятидесяти, и на 10 тысячах гектаров собирают урожай по пятьдесят и более центнеров с гектара!

И когда вы спрашиваете, есть ли выход из экономического и социального тупика, в котором оказался Узбекистан, я говорю твердо: «Есть!» Вот он, выход, — в улучшении землепользования, в правильной организации экономики. Мне говорят, что невозможно резко поднять урожай, а только что приведенные цифры свидетельствуют о том, что можно — можно там, где созданы для этого условия, там, где хотят...

Мы предлагаем уменьшить объем хлопка, стабилизировать площади, а предсовмина республики товарищ Кадыров выдвигает нам встречное условие: если вы уменьшите, то сократится количество рабочих мест в сельском хозяйстве, а каждое стоит двадцать тысяч, значит, вы должны нам дать столько-то — называется космическая цифра — денег, чтобы мы создали новые рабочие места. Трудозыбыточность региона я понимаю, но позицию республики в лице предсовмина понимать отказываюсь: вы нам сократите, но вы нам и дайте. Такое условие для страны трудное.

Слышу и другое возражение. Мы-де можем обеспечить себя молоком и мясом, но только при сокращении производства хлопка до одного миллиона тонн. Я не согласен с такими расчетами. Потому что отправная точка таких расчетов — урожайность хлопка двадцать центнеров с гектара. А выращивание хлопка даже с урожайностью в тридцать центнеров обходится государству очень дорого. Дорогой ценой дается стране узбекистанский хлопок. Впору дешевле покупать его за границей.

Попробую показать это на конкретных цифрах.

Хлопок издавна считается одной из самых доходных культур орошаемого земледелия. Если объективно в этом разобраться, то относительно высокая его рентабельность — следствие в значительной мере государственной политики цен. С одной стороны, государство стимулировало его производство и утверждало тем самым свою хлопковую независимость, с другой — повышая закупочные цены на хлопок, укрепляло экономику среднеазиатских республик, поднимало благосостояние их народов.

Параллельно из года в год росла себестоимость производства хлопка. За двадцать лет, начиная с 1965 года, она почти удвоилась — подскочила с 28,8 рубля до 54,3.

Теперь рассмотрим, что учитывает сегодня система исчисления себестоимости. Она включает лишь текущие затраты, то есть те, которые несут непосредственно сами хозяйства, а именно: заработную плату, стоимость удобрений, текущего ремонта техники, горюче-смазочных материалов, амортизационные отчисления за фонды и так далее. Самая большая доля в структуре затрат приходится на заработную плату. Зарплата росла, соответствующего же роста производительности труда не происходило, ведь отрасль все больше насыщалась трудовыми ресурсами.

Говоря о себестоимости, обратим внимание на то, что она не учитывает сегодня огромных, все возрастающих расходов государства на освоение земель, на строительство каналов, эксплуатацию гидросооружений. Если же их посчитать, то окажется, что эффективность хлопководства гораздо ниже, чем мы сегодня думаем.

Вы знаете, что уже принято решение о введении платы за воду, за землю, за трудовые ресурсы. И когда этот механизм реально «заработает», тогда мы предстанем перед печальным фактом. Если только считать возможные затраты на воду, а в своих расчетах мы брали среднюю урожайность 28 центнеров с гектара и норматив расхода воды пять-восемь тысяч кубометров на гектар, хлопководство становится уже нерентабельным. При расчетной себестоимости воды от трех до пяти копеек за кубометр затраты на нее при производстве центнера хлопка составят от 5 до 14,5 рублей. Там же, где допускаются переполивов, стоимость воды может дойти до 50 рублей. С другой стороны, там, где получают урожаи 50 центнеров с гектара, а такой урожай вполне реален, затраты на воду могут быть сокращены до пяти-восьми рублей.

Таким образом, учет только воды повысит реальную себестоимость производства хлопка-сырца в среднем на 40 процентов, с колебаниями, в зависимости от урожая и водопотребления, от 10 до 60 процентов. А если мы будем расходовать в пять-семь раз больше воды, как это имеет место сегодня, а урожай поднимем в среднем всего до 32 центнеров с гектара, а именно такую цифру дает Госплан республики на 2010 год, то затраты на одну только воду превысят 140 рублей, то есть в два раза перекроют существующие ныне закупочные цены на хлопок. И мы еще не посчитали здесь затраты на освоение земель, на эксплуатацию гидросооружений и мелиоративных систем, плюс к этому — труд и доставку на поля горожан и школьников, привлекаемых в огромных масштабах на хлопковые поля.

Реальный учет всех затрат привел бы к резкому увеличению количества убыточных хозяйств в республике. Для выправления положения понадобилось бы вновь резко повышать уровень закупочных цен, чтобы дать возможность хозяйствам хотя бы сводить концы с концами. Но ведь карман-то у государства только один — и на затраты из него, и на зарплату из него, кто-то же этот карман и пополнять должен, чтобы можно было черпать из него.

Думаю, что после приведенных расчетов республика не станет столь рьяно уповать на доходность хлопчатника. Реальная себестоимость производства хлопка — чрезвычайно важный момент в качестве отправной точки для обоснования перспектив развития республики. И хозяйствовать нам надо сегодня на основе экономических методов, с открытыми глазами, отдавая себе отчет — что во сколько обходится? Ведь даже без учета реальных затрат количество убыточных и низкорентабельных хозяйств в республике не сокращается. В 1986 году 530 совхозов оказались убыточными, 47 процентов от их общего количества. Полтысячи убыточных, а 350 новых совхозов строятся! Да какая же экономика такое выдержит?! Нельзя же Госагропрому так безнаказанно грабить республику, государство!

Необходимо в корне изменить соотношение капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию старых земель в пользу последнего. Об этом много говорили, ругали на чем свет стоит водников и мелиораторов за некачественное строительство мелиоративных систем, за Аральское море ругали, а сегодня вновь раздаются голоса за прирост орошаемых площадей в бассейне Арала. За счет чего? За счет тех средств, которые должны быть направлены на реконструкцию земель, на их оздоровление. Неужели еще не осознано в республике, что такой путь выведет к экологической, экономической и социальной катастрофе! Именно такой путь. Разве сегодня не общепризнано, что именно неосуществленная реконструкция мелиоративных систем привела к росту заболеваний, причем, даже и таких, о которых уже давно забыл цивилизованный мир, к увеличению детской смертности? По этому показателю, как стало известно из печати, некоторые районы республики соседствуют с Парагваем и Таиландом. Неужели и этот факт не сбивает с ног?

Вместо того, чтобы заняться решением социальных вопросов, вновь затевается строительство — теперь уже право- и левобережных коллекторов вдоль Амударьи, чтобы гнать зараженную пестицидами, гербицидами и дефолиантами воду в Аральское море. Ведь в эту воду волей-неволей ползут в жару ребятишки, и разве не возникнет соблазн поливать ею поля и огороды?! А во что превратится чаша Арала? В исчадие ядохимикатов. Ядовитые испарения принесут — увы! — не благоденствие краю. И на это тратят миллиард! Только на то, чтобы безбедно продолжали жить Минводхоз и Главсредизрсовхозстрой!

Я не поддерживаю такую политику — строительства новых совхозов, новых грандиозных объектов, вместо того, чтобы довести до ума, до дела уже созданный в республике потенциал.

Мы говорим слова о перестройке, о самокупаемости и хозяйственном расчете, а на самом деле республика не может и не хочет не то чтобы выбраться, просто выглянуть из глубокой наезженной колеи прошлого, из колеи стереотипов и инерционного мышления. Считается, что сегодня хозяйства получили самостоятельность, что совхоз — заказчик оросительной системы у себя в районе. На самом деле это неправда. На самом деле он получает из райкома разнарядку и подписывает ее. Сколько же можно обманывать себя и друг друга?!

Хлопковый комплекс республики нуждается в глубокой кардинальной перестройке, реконструкции, прежде всего в силу его низкой эффективности. Это относится в первую очередь к «нижним этажам» комплекса, которые характеризуются высокими трудовыми затратами, дедовскими способами орошения, а потому нерациональным использованием воды, низкой урожайностью.

Необходимо достроить хлопковый комплекс и «сверху» — то есть развить завершающие стадии производства, чтобы конечным результатом стало не сырье, не полуфабрикат, а готовая продукция.

Коренная реконструкция комплекса, его принципиальная модернизация могли бы стать одним из главных звеньев форсированной индустриализации региона, перестрой-

ки всей его хозяйственной и социальной структуры, резкого повышения эффективности всего народного хозяйства Узбекистана.

Однако единодушие во взглядах на будущее республики пока не достигнуто. В целом этот вопрос, имеющий первостепенное значение для Узбекистана, изучен недостаточно. Обсуждается он в течение многих лет, исписана много бумаг, проведено множество конференций, но нет главного — практического результата. Нет ясности в одном из самых главных вопросов стратегии развития.

Хлопковый комплекс Узбекистана сегодня — типичный пример того, к чему может привести сырьевая ориентация экономики. Его гипертрофия ведет к одностороннему развитию народного хозяйства, создает иллюзию оправданности существующего огромного по численности сельского населения, способствует консервации давно отживших экономических и социальных отношений.

Когда мы говорим об отставании Узбекистана, всего среднеазиатского региона от большинства республик и экономических районов страны, речь идет не просто о том, что здесь какие-то показатели хуже, чем в других местах. Речь идет о том, что Средняя Азия находится на более низком этапе исторического развития. Фундаментальная наука характеризует это отставание большей, чем где бы то ни было в стране, незавершенностью трех важнейших социально-исторических процессов: индустриализации, урбанизации и демографической революции. Первые два фактора, думаю, не нуждаются в подробном пояснении: в промышленном производстве Узбекистана занято всего 20,9 процента населения, в то время как в Белоруссии, например, в два раза больше. В структуре промышленности высока доля легких отраслей. Доля городского населения в Узбекистане ниже, чем в стране. В то же время высока доля малых городских поселений, где сохраняются типичные черты сельских поселений и сельского образа жизни, многие из них лишь условно можно назвать городскими.

Что такое демографическая революция? Это смена типа демографического воспроизводства, переход от относительного равновесия высокой рождаемости и высокой смертности к относительному равновесию низкой рождаемости и низкой смертности. На большей части СССР такой переход в основном завершился, в Средней же Азии до его завершения далеко.

Конечно, рождаемость у среднеазиатских народов сейчас ниже, чем, скажем, у русских или украинцев в 20-е годы нашего столетия, но по современным меркам она очень высока. В этом-то как раз и проявляется незавершенность демографической революции, которая, как показывает мировой и наш собственный опыт, началась со снижения смертности, затем неизбежно приводит к коренным переломам в массовом демографическом поведении, к снижению рождаемости.

Низкие уровни индустриализации, урбанизации и незавершенность демографической революции тесно взаимосвязаны, подкрепляют друг друга и в целом очень сильно препятствуют ускорению преобразований в регионе. Аграрный характер экономики сказывается на структуре занятости населения. Структура занятости не способствует концентрации населения в городах. Медленные темпы урбанизации препятствуют распространению городского образа жизни и городских ценностей, повышению территориальной мобильности населения, его притоку в сферы несельскохозяйственного труда, а также к преодолению патриархального уклада в семейно-бытовой сфере, в результате сохраняются высокие темпы прироста населения, что само по себе затрудняет ускорение индустриализации региона. Механизм развития пробуксовывает, острота проблем накапливается.

Как видим, все взаимообусловлено, все друг за друга цепляется, наматывается клубок непреодолимых препятствий.

Все эти взаимосвязанные, взаимообусловленные проблемы, стоящие на пути выхода среднеазиатских республик, и Узбекистана в частности, на современный исторический уровень, не получили сегодня адекватного отражения в научном сознании. Но только ли на счет научных учреждений должна быть отнесена вина? Думаю, что в Средней Азии нет пока идеологических условий для объективной оценки экономической, социальной и демографической ситуаций. А без этого решение существующих проблем невозможно, даже если за ее пределами, например, в Москве, эта ситуация будет оценена правильно. Решение возможно только при максимальной мобилизации трудового, интеллектуального, духовного потенциала самого народа.

Как мы понимаем, переход к новому типу воспроизводства населения тормозится сохранением традиционных идеалов многодетности. Престиж многодетности все еще сильно поддерживается традиционным общественным мнением, особенно в сельской местности. Желательность снижения рождаемости еще не осознана, единодушия здесь нет. Одни специалисты утверждают, что нет объективных оснований для «сохранения ныне неоправданной демографической исключительности отдельных наций и народностей», другие не считают снижение рождаемости ни неизбежным, ни желательным, полагая, что условия социализма «создают для среднеазиатских народов широкие возможности для проявления национальных традиций, в том числе и традиции

многодетности». Подобные декларации уступают сегодня место все более трезвым оценкам. Сошлюсь на слова первого секретаря ЦК КП Таджикистана К. М. Махкамова: «Мы много и с гордостью говорим о первом месте, занимаемом Таджикистаном по рождаемости, о высоких темпах естественного прироста населения, но не проявили заботы о том, где работать людям, как обеспечить их питанием, жильем и многим другим». А Председатель Совета Министров республики И. Х. Хаёев, выступая на сессии Верховного Совета СССР в июне 1987 года, отметив ограниченные экономические возможности республики, сказал, что «с учетом всего этого, наряду с созданием рабочих мест, мы разворачиваем работу по организации службы планирования семьи».

Я далек от утверждения, что рассматриваемый путь — единственный в плане ослабления демографического давления на экономические ресурсы региона. Есть и другие, миграция, например, за пределы республик. Однако пока говорить о переселении из Средней Азии в другие регионы страны в сколь-нибудь заметных масштабах не приходится. Отток формируется в весьма малой степени за счет коренных народов, уезжают в основном представители некоренного населения — русские, украинцы и т. д. Анализ профессионального и квалификационного уровня выезжающих говорит о том, что в стихийном порядке идет отток высококвалифицированных рабочих, в которых остро нуждается промышленность среднеазиатских республик. Даже при организованном сельскохозяйственном переселении семей из Узбекистана оказывается, что доля узбекских семей составляет всего десять и менее процентов. То есть уезжают не те группы населения, за счет которых идет его стремительный рост.

Нужно продолжать индустриализацию республик. Согласен. Индустриализация требует значительных экономических ресурсов, крупных капиталовложений. За счет каких источников? Прежде всего, за счет внутренних, то есть за счет национального дохода. Но достаточно ли его?

Известно, что в 1985 году, да и в последующие годы, мало что изменилось, разве только в худшую сторону, национальный доход на душу населения в среднеазиатских республиках составил всего 58 процентов от среднесоюзной величины. Недостаток внутренних источников может быть восполнен за счет внешних поступлений. Они имеют место, именно благодаря им использованный национальный доход здесь выше произведенного. Но и при этом он составляет в расчете на душу населения всего 62 процента от среднесоюзного. А для того, чтобы показатели выравнивать, понадобилось бы увеличить совокупный использованный национальный доход в регионе на 71 процент от произведенного здесь, на 61,6 миллиарда рублей. Это означало бы, что необходимо перераспределить в пользу Средней Азии около пяти процентов национального дохода, произведенного другими республиками страны. И если бы такая доля перераспределения сохранялась в течение длительного времени, так же, как и более высокая, чем среднесоюзная, норма накопления в регионе, только в таком случае можно было бы создать материальные предпосылки опережающего развития промышленности и других несельскохозяйственных отраслей региона.

Но до какой бы степени ни расширялась помощь со стороны общесоюзного фонда, длительное существование региона, расходующего в полтора раза больше, чем производящего, весьма затруднительно. Ограниченность ресурсов постоянно будет толкать экономику региона на путь не наиболее эффективного, а наименее капиталоемкого, не интенсивного, а экстенсивного развития. В современных условиях он ведет к хищническому отношению к природным ресурсам, в интересах развития вынуждает использовать «до упора» все то, что создано природой и может быть произведено безвозмездно. А что потом? А потом то, что мы сегодня уже имеем в Приаралье. Однако сойти с этого пути Средняя Азия, как мы видим, сегодня еще не готова.

Но ведь дело не только в капиталовложениях. Промышленные министерства неохотно идут в Среднюю Азию, в Узбекистан. Потому что эффективность затраченных средств здесь значительно ниже, условия освоения капиталовложений хуже. А главное — отсутствие квалифицированной рабочей силы, что, в свою очередь, упирается в неразвитость традиций и культуры индустриального труда, нежелание и неумение работать на заводах, да и отсутствие у населения необходимости в этом. Горький опыт у министерств уже есть, когда предприятия были построены, а работать на них оказалось некому. Да и зачем создавать новые, когда имеющиеся мощности не загружены, предприятия работают в основном в одну смену, везде расклеены объявления: требуются рабочие, требуются рабочие... Так кто же будет заботиться о республике, если не она сама? Признаемся откровенно, что сельская школа в Узбекистане никого и ничему научить не может. Значит, надо честно и откровенно поставить этот вопрос. Открыть для ребят интернаты, такие школы, где узбекские ребяташки получали бы такие знания, как и московские. Чем они хуже других? В чем они виноваты?

Хорошую форму подготовки рабочих придумали в республике — обучение в профессионально-технических училищах страны. Но ведь любое хорошее дело можно

загубить, если отнестись к нему казенно. Зачастую благое намерение оборачивается экскурсионными поездками разной продолжительности за государственный счет в города России.

Кто же наведет порядок в нашем собственном доме? Ответ может быть только один: сам хозяин и его семья.

Прежде всего, разберемся с хлопком. Мы словно зациклились: хлопок, хлопок! Да не требуется нам такое огромное количество хлопка, которое добывается такой дорогой — слишком дорогой! — ценой. Мы ведь используем его сегодня и где надо, и где не надо вовсе, в том числе и там, где его с успехом могли бы заменить искусственные волокна. США, например, производят в 3,5 раза больше, чем мы, синтетических волокон, в 1986 году их производство составило пять миллионов тонн. Ведь никто не может сегодня точно сказать, а сколько же именно хлопкового волокна нам требуется, какого сорта, какой прочности. Сейчас уже разработана технология, позволяющая фактически из отходов создавать вполне приличные волокна.

Пора бы вспомнить, наконец, о том, что главная цель экономики — не показатели, не вал и не прибыль. Человек — главная цель экономики. Чтобы сытым он был, одетым и обутым. Вот об этом и надо прежде всего думать. Пусть узбеки выращивают виноград, тот самый знаменитый узбекский кишмиш, который нигде в мире больше расти не может, пусть выращивают дыни в их уникальном селекционном многообразии, о котором даже и память-то в народе почти уже вытравлена. Где же могут еще вызревать такие душистые, такие сладкие дыни? А грецкие орехи, а миндаль? А курага с ее ценнейшими лечебными свойствами? Сегодня, насколько мне известно, даже в самой республике цены на все эти исконные дары узбекской земли подскочили фантастически, не всем оказываются по карману.

С другой стороны, эти трудоемкие отрасли могли бы поглотить тысячи избыточных рабочих рук на селе. Широкомасштабное производство сухофруктов могло бы со временем превратиться в немаловажную статью экспорта. А сегодня мы, к нашему стыду, завозим на сотни миллионов рублей в страну одного только изюма.

Надо опомниться от бешеной гонки, прийти в себя и заняться вдумчивым земледелием, отдать землю в руки истинных ее хозяев, а не распорядителей, разобраться со структурой: вот это под хлопок, это под кормовые культуры, это под овощи, фрукты, виноград, а то, что осталось, раздать людям в аренду, пусть выращивают, что хотят, — дыни, арбузы, веники, пусть реализуют выращенное на рынке, безбоязненно, с гордым осознанием, что создано честным трудом. И не надо больше прятаться в хлопковые поля, покупать землю у предприимчивых раисов — когда человек знает, что он может прожить честным трудом, он никогда не станет прятаться и воровать.

Что же касается хлопка, то, как уже было сказано выше, повысить его урожайность, внедрить более продуктивные сорта, которые, я полагаю, наконец-то должна произвести на свет огромная армия селекционеров республики. Да и сегодня уже в отдельных бригадах Хорезмской области, например, собирают по 65 центнеров с гектара. Бригады работают по принципу семейного подряда. И что самое главное: сколько ни призывали в Узбекистане к севооборотам, все бесполезно. А здесь люди сами захотели это сделать, безо всякого нажима и угроз. И хлопок получают с превышением плана, и корма для животноводства, и продовольственные культуры выращивают — и все на тех же самых площадях. Главное — не мешать дехканам. И отдать все средства тем, кто производит реальную продукцию, они сами во всем разберутся, без направляющих указаний.

Мы говорим, людей девать некуда. А не прикрываем ли мы этой проблемой собственную бесхозяйственность, нераспорядительность, безынициативность? Если женщина имеет троих детей, она уже считается работающей. Значит, и не надо портить статистику. Женщина занята трудным, благородным делом, за него будем с нее спрашивать. Далее. Сегодня появились безграничные возможности для создания кооперативов, их можно создавать десятки, сотни, тысячи, если с умом. Они помогут занять людей в сфере услуг, ведь нигде так, как в Узбекистане, сфера услуг не находится на таком низком уровне. Займите людей на переработке вторичного сырья, отходов. Их в республике миллионы тонн — миллиарды омертвленных денег. Если по-хозяйски подойти к их переработке, к их использованию, о каком трудоизбытке говорить можно?

Вопросы строительства. Нет жилья, нет добротных школьных зданий, нет дошкольных детских учреждений. Нет того, нет сего. Но вы мне ответьте на такой вопрос: почему в республике, где такой избыток людей, строят бригады из Армении? Насколько я знаю, узбекские дети с раннего возраста строят, видел своими глазами, как они ловко делают кирпичи, как кладут стены дома. Народный опыт строительства велик, сырья для производства строительных материалов в избытке — какие могут быть проблемы? Наверное, при желании можно обучить людей и современным строительным специальностям, тем более, что психологического барьера здесь быть не может, такого, например, как при переходе к индустриальному труду.

На примере Хорезмской области мы показали, как можно разумно, организовав экономику, найти пути использования избыточных трудовых ресурсов, как можно из этого минуса извлечь плюс, показали пути перехода области на самофинансирование и самоокупаемость. Все наши предложения приняты партийно-хозяйственным активом области. Базируются они, я повторяю, только на экономике, только на разумном использовании имеющихся ресурсов и резервов.

Такой же принцип в разработанной нами концепции социально-экономического развития республики. Создавалась она по заданию правительства. Группа ученых Академии наук СССР специально выезжала в Узбекистан, чтобы судить о его проблемах не понаслышке, не по абстрактным отчетным цифрам, а на основе конкретных фактов, на основе реальной жизни.

Свои предложения мы изложили в Президиуме Академии наук республики, они вызвали много споров, горячих и порой даже сердитых. Затем материалы были переданы в правительство Узбекистана. Официальной реакции не получено до сих пор. Пусть в чем-то с нами не согласны, пусть мы в чем-то ошибаемся, ну так давайте встретимся, давайте вместе разберемся, придем к общему знаменателю. Ведь в большей корысти, чем только помочь республике выйти из весьма затруднительного положения, нас упрекнуть нельзя. В предложенной нами концепции глубоко рассмотрены все вопросы, которые мы с вами сегодня обсуждаем, даны ответы на них, подкрепленные конкретными расчетами и экономическими выкладками.

Республика должна так организовать свою экономику, чтобы ее население не испытывало тех трудностей, перед лицом которых оно оказалось сегодня.

Думается, что республика не вправе желать постоянного перераспределения национального дохода, произведенного в других союзных республиках, работающих с большей эффективностью. Каждая республика должна тратить на свои нужды пропорционально создаваемому национальному доходу. В этом есть элемент социальной справедливости во взаимоотношениях союзных республик.

За пятнадцать лет производительность труда в Узбекистане выросла всего на 42 процента, а в Белоруссии, например, в 2,3 раза. В расчете на одного занятого в сфере материального производства национальный доход составляет в Узбекистане около четырех тысяч, в Белоруссии — 5,8, в Латвии — 6,3 тысячи рублей (по данным 1985 года). Могут быть высказаны сомнения по поводу правильности исчисления произведенного национального дохода в условиях несовершенной системы ценообразования. Считают, что национальный доход республики занижается из-за того, что часть его формируется за пределами Узбекистана, так как из него вывозится преимущественно сырье. Вероятно это и так, и методика расчета нуждается в совершенствовании, однако и без того ясно, что национальный доход выше там, где выше производительность живого труда, там, где он более квалифицирован и лучше вооружен. Думаю, что переход на более четкие хозрасчетные отношения между республиками может оказаться для Узбекистана не столь уж и выгодным. Об этом свидетельствует, в частности, анализ затрат в себестоимости хлопка-сырца, что было показано выше. А сложившийся ныне механизм перераспределения доходов с помощью налога с оборота, формирующегося за пределами республики, пусть несовершенно, но в какой-то мере отражает существующие экономические реальности. Совершенствование же ценообразования неизбежно приведет к изменению структуры цен на хлопок, а возможно и их величины. Но далеко не очевидно, что это повлияет на оценку произведенного в республике национального дохода в сторону увеличения.

Думаю, что сегодня мы не вправе ставить вопрос о том, что подушевое потребление мяса, например, в Узбекистане должно быть точно таким же, как в Эстонии. Эстонцы не хотят иметь много детей, а узбеки — хотят. Это их право. Каждая семья сама решает — какой ей быть, большой или малой. Решает, исходя из своих экономических возможностей.

Осуществляемая в стране перестройка в системе управления пока еще обходит межнациональные, межрегиональные отношения. А между тем здесь накопилось много горячих проблем, о которых пора заговорить в полный голос. Не надо нам себя обманывать, убеждать друг друга, что нет у нас ни местничества, ни националистических извращений. И одна из причин, их вызывающая, кроется в нарушении органической связи между мерой труда и мерой потребления, что приводит к искажению принципа социальной справедливости, а далее — к расшатыванию таких нравственных ценностей, как советский патриотизм, идейная убежденность, трудовой энтузиазм и так далее.

Надо бы нам сесть за один большой стол и вместе решить, как жить дальше, как, на каких принципах строить взаимоотношения между республиками.

Базой перестройки должен стать новый хозяйственный механизм, объективно сочетающий и общесоюзные, и местные интересы, и ответственность за результаты хозяйственной деятельности.

Общим принципом построения хозяйственных отношений союзных республик с

общесоюзными органами и между собой должна стать самоокупаемость, то есть превышение созданного общественного продукта над затратами, связанными с его созданием. Только при этом условии можно быть уверенным, что республика пополняет общественное богатство, а не проедает его. В то же время такой принцип отношений создает прочную ответственность республик за рациональное использование природных, трудовых и производственных ресурсов, причем, не в виде расчетных или статистических показателей, а в виде реальных денежных поступлений в доходы отраслей и республик.

Следует сказать, что начиная с 30-х годов во взаимоотношениях союзных органов с республиками сложились и продолжают существовать значительные деформации, отступления от ленинских принципов построения союза республик.

Союзные органы по многим вопросам регламентируют хозяйственную, культурную, политическую, духовную жизнь республик. А всевозможные бюрократические извращения вызывают не самую лучшую реакцию на местах, иногда приобретающую националистические оттенки.

Некоторые республики, приспособившись к таким условиям, выбирают иждивенческую позицию, проявляя пассивность, несамостоятельность и, стало быть, безответственность. То есть занимают позицию, выгодную во всех отношениях.

Настала пора не на словах, а на деле расширить права союзных республик. Каждая из них вправе самостоятельно решать вопросы своего социального и экономического развития. Это должно открыть широкий простор инициативе, разнообразию опыта в деятельности каждой республики. А круг вопросов, решаемых союзными органами, необходимо свести до минимума.

Во взаимоотношениях союзных органов с республиками должен найти отражение принцип социально справедливого распределения результатов хозяйственной деятельности, при этом показатели типа «на душу населения» должны быть исключены из критериев и обоснований распределения. Единственно верным является распределение по принципу долевого отчисления в централизованные союзные фонды равной для всех республик части произведенного национального дохода.

Из сказанного вовсе не следует, что союзные республики будут лишены необходимой помощи и поддержки. Наоборот, взаимосвязи между ними будут укрепляться и развиваться на основе хозяйственных договоров, планов сотрудничества и взаимопомощи на эквивалентных началах.

Все эти вопросы сейчас глубоко изучаются учеными и, видимо, в скором времени будут представлены на широкое обсуждение общественности.

Записала Ирина Алябьева.

Москва — Ташкент.



Лев Шиповский

ТРУЖЕНИКИ ВОЙНЫ

ИЗ ХРОНИКИ САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА

Автору книги, бывшему командиру 182-го отдельного ордена Красной Звезды саперного батальона 170-й Речицкой Краснознаменной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии, выпала доля в годы Великой Отечественной войны служить в одной воинской части — в саперном батальоне стрелковой дивизии, сформированной в феврале 1942 года и прекратившей свое существование после победы над Германией. О своем батальоне он написал книгу. Главы из нее мы и представляем вниманию читателей.

ВАСИЛЬЕВЩИНА

5 июля во второй половине дня командира батальона старшего лейтенанта Плотова вызвали в штаб дивизии. Обрато он вернулся быстро и на ходу приказал воентехнику первого ранга Кузнецову собрать командиров. Кстати, в то время я служил в том же звании.

На этом собрании было объявлено о передаче нашей дивизии в состав 11-й армии. Батальону же было приказано передислоцироваться в район села Великое Яблонево. По пути протяженностью 70 километров нам следовало вести ремонт дорог.

На следующий день в шесть часов утра батальон был на ногах. Ровно в семь мы выступили в поход.

День обещал быть жарким, и комбат для движения решил использовать утреннюю прохладу. В то же время он не хотел излишне облегчать трудности похода, поэтому бойцам была дана команда — на марше идти с полной выкладкой. Такой порядок Плов ввел еще со времени формирования батальона. Это было правильно во время боевой подготовки, когда действовал принцип: трудно в учении — легко в бою. Это было необременительно, когда весной, надев на себя шинели, бойцы совершили многодневный переход в лес под Хилково, а позже в одну ночь передислоцировались с передовой на возведение промежуточного рубежа обороны. Но это не имело никакого оправдания в жаркий июльский день рядом с линией фронта — ведь силы бойцов надо было сохранять для выполнения конкретных, часто неотложных и очень трудных задач.

— Надо бы разрешить бойцам шинели и вещмешки сложить на ротные повозки, — предложил я, оставшись наедине с Пловым.

— Не нами так заведено, не нам это и отменять. Боец должен при себе иметь все, что положено, — ответил Плов.

— Все, что положено, будет на подводах, которые пойдут с ротами, — возразил я.

На мои возражения Плов ничего не ответил. Я решил действовать через комиссара. Убеждать Ивашкина мне не пришлось. Он сразу согласился со мной и обещал переговорить с Пловым.

Вначале мы двигались по шоссе на дороге, затем свернули в лес на проселочную. В пятом часу дня у реки Полометь объявили привал на ночевку.

Плотов разрешил всем желающим купаться. Вода в реке была кристально чистой, бодряще холодная, и купание доставило огромное удовольствие. Вокруг слышались громкий говор, шутки, смех.

На следующий день, после того, как роты с полной выкладкой были построены для марша, командир вышел перед строем и приказал:

— Вещевые мешки и скатки сложить на ротные повозки.

Моментально строй распался. Все дружно бросились выполнять команду. Мы с комиссаром переглянулись.

Переход продолжался, но через какое-то время дорога привела нас к взорванному мосту...

Поздно вечером 9 июля батальон прибыл к месту назначения. За время пути были восстановлены два небольших моста, а на участке заболоченной дороги, протяженностью более двух километров, уложен хворостяной настил и местами засыпаны образовавшиеся еще в весеннюю распутицу глубокие колеи. Дорога для перебазирования частей дивизии была подготовлена.

Устраиваться на ночлег нам не пришлось. В селе Большое Яблонево батальон ждал приказ о передислокации в деревню Березки — ближе к передовой. Предстояло пройти еще двадцать километров. На это ушла вся короткая ночь.

Деревня Березки, как и многие населенные пункты в этих местах, была расположена на небольшой возвышенности среди огромного поросшего лесом болота. Еще по пути в деревню мы узнали, что все населенные пункты к югу от железной дороги подвергаются систематическому обстрелу немецкой дальнобойной артиллерией, а по лесным массивам огонь почти не ведется. Наверное поэтому нам было приказано оборудовать командный пункт для штаба дивизии в лесу. Срок работы — двое суток.

С учетом дневного перехода в Большое Яблонево батальон был на марше больше двадцати часов, люди валились с ног от усталости. Командир объявил дневку — разрешил отдыхать до пятнадцати часов, а сам, пригласив меня и командиров рот, пошел на место предстоящих работ. На участке строительства КП местность не была заболочена, но грунтовые воды от поверхности земли находились так близко, что копать котлован глубже чем на метр было невозможно.

— Да, задача! Придется поукмекать, как строить. Давай предложение, ты инженер с дипломом, — сказал, обращаясь ко мне, Плотов.

На моей памяти это был, пожалуй, первый случай, когда комбат обращался к подчиненным за советом. Я, подумав, предложил несколько вариантов.

Посоветовавшись с ротными, решили — высоту помещений блиндажей делать минимальной — в рост человека, над землей вокруг каркасов сделать срубы из бревен, пространство между обшивкой каркасов и срубами, вплоть до накатов, заполнить землей.

Отдохнувшие бойцы за дело принялись дружно, работали слаженно.

При строительстве блиндажей возникли трудности. Земли, выброшенной из котлованов, едва хватило на засыпку за срубы. Накаты возвышались над землей почти на полтора метра. Деревянно-земляные укрытия становятся надежными тогда, когда конструкции из бревен перекрыты не менее чем метровым слоем земли. Ее пришлось брать, копая вокруг блиндажей широкие канавы. После окончания земляных работ КП выглядел необычно. Весь участок был изрыт канавами, среди которых возвышались девять больших срубов. Чтобы замаскировать КП от разведывательных самолетов противника, пришлось в лесу срубить не один десяток елок и расставить их вокруг блиндажей.

14 июля батальон получил новое задание: в районе деревни Чапово оборудовать еще один КП для штаба, а в деревне Кутилиха — НП комдива. Ожидалось наступление. Дивизия намеревалась наступать в полосе до двух километров. Была поставлена задача — овладеть селом Васильевщина и оседлать дорогу Васильевщина — Бяково. Нашему батальону предстояло проложить до передовой и колонный путь.

На южную окраину деревни Кутилиха, где надлежало строить блиндажи НП, мы вместе с пехотным капитаном отправились уже перед заходом солнца.

Часть домов единственной улицы деревни сгорела. Остальные были разобраны на блиндажи и другие укрытия. Шли мы по ходу сообщения. Стрелковые ячейки и площадки для пулеметов встречались в нем на протяжении всего пути. Уже за деревней, свернув по промежуточной траншее вправо, мы оказались у небольшого огорода, в середине которого лежала железная крыша обрушенного сарая.

— Вот здесь и стройте, — сказал капитан. — Это самая высокая точка на окраине деревни. Местность хорошо просматривается противником. Немцы знают, что под крышей ничего нет, по огороду огонь не ведут. Если под крышей разместить выступающий над землей блиндаж с амбразурами для наблюдения, он будет хорошо замаскирован.

Я и командир первой роты Ефимовский по-пластунски добрались до обрушенной крыши. Осмотрели местность. Наша первая траншея, нейтральная полоса и даже северная окраина Васильевщины просматривались хорошо. В нейтральной полосе была заболоченная низина. По ней протекал не имевший на карте названия ручей. Село Васильевщина находилось в полутора километрах от первой траншеи. Передний край обороны немцев проходил по ту сторону заболоченной низины. От Кутилихи до Васильевщины пролегла грунтовая дорога. Мост через ручей на ней был разрушен.

И место для НП, и идея разместить блиндаж для наблюдения под крышей обрушенного сарая мне понравились. Если два блиндажа, из которых не будет вести наблюдения, построить вровень с землей, а ходы сообщения ко всем трем блиндажам прикрыть маскировочными сетями, немцы на месте строительства ничего не обнаружат.

Я сразу дал указание Ефимовскому — этой ночью на НП провести земляные работы, к утру все вырытые ходы сообщения и котлованы закрыть маскировочными сетями, а в следующую ночь уже закончить строительные работы. Заготовку в лесу бревен, подноску их ближе к месту строительства НП начать немедленно. Так все и было сделано.

Поздно вечером 16 июля из дивизии поступило сразу два распоряжения. Предписывалось с 17 июля приступить к прокладке колонного пути в сторону деревни Кутилиха и в первую очередь построить мост через Черный ручей. Во втором предлагалось немедленно откомандировать в стрелковые подразделения тридцать человек рядовых из состава батальона.

Комбат вызвал Кузнецова и поручил ему подготовить команду для отправки.

— От каждой роты отправь по пятнадцать человек. Командиры рот еще плохо знают людей. Кого откомандировать, пусть посоветуются с политруками и командирами взводов, — сказал Плотов Кузнецову. — Пусть соображают, кого отправлять, а с кем самим воевать, — добавил он многозначительно.

Это первое откомандирование саперов в пехоту было не последним. За годы войны батальону не раз приходилось откомандировывать бойцов в пехоту. Мотивы принятия командованием дивизии таких решений понятны. Исход любого боя прежде всего решали «активные» штыки, то есть бойцы, идущие в атаку. Когда ряды атакующих редели, выполнение задачи срывалось, изыскивались «внутренние резервы». Часто в число таких «резервов» попадали и саперы.

Откомандирование людей в пехоту ошутимо снижало боеспособность батальона. Но никаких скидок на недостаток людей не давалось. Поэтому в выполнении стоящих перед батальоном задач возникали большие трудности.

Плотов, давая распоряжение Кузнецову о направлении бойцов в пехоту, не сказал прямо — каких бойцов следует отправлять, но его — «пусть соображают кого отправлять, а с кем воевать», было равнозначно — «хороших бойцов не отправлять». Но если бы он предложил отправить лучших, все равно такое указание не было бы исполнено. Каждый командир найдет много способов для того, чтобы лучших бойцов оставить.

Бойцы свое откомандирование всегда воспринимают как большую обиду. Если многие солдаты, попавшие из батальона в госпиталь, после излечения стремятся вернуться в родную часть, то не было ни одного случая возвращения в наш батальон бойцов, откомандированных в пехоту.

Утром 17 июля я повел обе роты к Черному ручью, протекавшему в видневшемся вдаль лесу. Он оказался сосновым, но низкорослым. Деревья в нем, угнетенные близостью грунтовых вод, стояли редко, имели причудливую форму, были корявыми.

Не прошли мы по лесу и ста метров, как начали встречаться заболоченные участки, сплошь покрытые лохматым мхом. В таких местах ноги по щиколотку погружались в мох, под ними чавкала вода, идти становилось трудно.

Вытянувшись в цепочку по одному и обходя сильно заболоченные участки, мы наконец добрались до Черного ручья. Собственно, в общепринятом понятии ручья не было. Была преградившая нам путь узкая, шириной не более десяти метров, заполненная водой лощина. Дно лощины заросло высокой сочной осокой, только на самой середине просматривалась свободная от растительности вода. Слабое, едва уловимое движение воды на свободном от осоки пространстве свидетельствовало, что перед нами не стоячее болото. Так как дно было покрыто толстым слоем черного ила, вода в ручье казалась совершенно черной. Отсюда и название — Черный ручей.

Задание ротам я дал так, чтобы сразу вызвать между ними соревнование.

Набросав на листке бумаги схему моста, я подзвал к себе командиров рот — Ефимовского и Малова. Уточнив с ними конструкции и размеры всех элементов, сказал:

— Первая рота будет работать с левого берега, вторая с правого. Каждой роте возвести по две опоры и пролетные строения над ними. Третий пролет пусть будет «почетным». Его уложит та рота, которая раньше закончит береговые пролеты. Отставшая — будет делать оба съезда с моста.

Отпустив командиров рот, я стал наблюдать, как они разворачивают работы. Малов устроил целое совещание, в котором приняли участие все командиры взводов. И прошло почти полчаса, прежде чем взводы второй роты получили задачу и приступили к работе.

Ефимовскому, для того чтобы начать работы, надо было переправить своих бойцов на левый берег. Задача эта оказалась нелегкой. На участках, заросших осокой, глубина ручья колебалась от сорока до шестидесяти сантиметров. В фарватере, где растительности не было, она достигала полутора метров, а дно покрыл слой ила. Переправу через ручей Ефимовский решил блестяще. Каждому отделению он приказал спилить и принести к воде по одному дереву. Наплавной пешеходный мост из бревен, скрепленный скобами, был готов за двадцать минут. Бойцы роты перебрались на противоположный берег в считанные минуты. Первая рота к строительству своей части моста приступила одновременно со второй.

Наступление дивизии на Васильевщину началось в середине дня. Ровно в четырнадцать часов раздались первые орудийные залпы. Артиллерийская подготовка продолжалась сорок пять минут. Затем в бой вступила штурмовая авиация.

Здесь, в четырех километрах от передовой и в стороне от наших коммуникаций, было тихо. Обозначенный на всех картах как сильно заболоченный лес, район строительства моста не привлекал внимания противника.

Когда началась канонада, бойцы приостановили работы. Стояли и слушали. Но это продолжалось недолго. Один за другим все вновь вернулись к своим делам. Застучали топоры, завизжали пилы. Только когда над лесом проносились штурмовики, все поднимали головы, прислушиваясь к раздававшимся с самолетов пулеметным очередям и уханью скорострельных пушек.

До вечера атаки штурмовиков повторялись несколько раз. Вместе с «Илами», сопровождая их, всякий раз появлялись истребители.

За лесом шел бой, рвались снаряды, свистели пули. Беспощадная смерть косила бойцов, покинувших укрытия и идущих в атаку.

Я, уже побывавший в боях, ясно представлял себе, что происходит там, за лесом. Здесь же было тихо. Где-то куковала кукушка. На противоположной стороне ствола сосны, прячась от бойцов, трухлявую кору долбил дятел. И кукушка и дятел ненадолго смолкали, когда над лесом пролетали самолеты. На канонаду они не обращали никакого внимания. Не было никакого дела до канонады и самолетов стрекозам и роям мошары, кружившим над водой Черного ручья.

Бойцы, сержанты и командиры, все, кто работал на строительстве моста, понимали, как нам повезло, какое безопасное дело выпало на нашу долю. Чувство долга перед теми, кто вел бой, заставляло всех работать с большой отдачей сил. Я, видя, как хорошо развернулись работы, старался не вмешиваться.

Пожалуй, самым трудным делом на строительстве моста была установка промежуточных опор. Надо было для каждой убрать толстый слой ила, устроить клеть из бревен, суметь погрузить ее в воду и закрепить на месте.

Я был рад, что в первой роте эту работу поручили выполнять отделению Вяткина, во второй — Коргопольцева. Оба они отличались смекалкой и были хорошими организаторами. От того, как быстро справятся со своим заданием эти два отделения, зависело успешное завершение всех работ.

Впереди оказалось отделение Коргопольцева. Победительницей в соревновании вышла вторая рота. И мне, как бывшему командиру этой роты, было приятно, что победили мои питомцы.

Вяткин допустил промашку, дав своим бойцам команду работать в воде в кальсонах, сняв обувь и брюки. Коргопольцев же, наоборот, приказал работать в обмундировании и не разуваться. Работать в сапогах было много сподручнее. Не надо было опасаться поранить ноги о корневища осоки или наскочить на корягу. Вяткин быстро учел свою ошибку и заставил всех обуться, но было уже поздно. Коргопольцева он не догнал.

Было еще светло, когда я с обеими ротами вернулся в батальон. Вечером я узнал, что наше наступление началось удачно. Оказалось, что первые же атаки, после артиллерийской подготовки и нескольких налетов на позиции немцев, нашей штурмовой авиации прошли успешно. Преодолев две первые траншеи, дивизия своим левым флангом вышла на северную окраину Васильевщины. На правом фланге наши батальоны вплотную подошли к дороге Васильевщина — Бяково.

На следующий день, придя с ротами в лес, я увидел, что ночью через Черный ручей переправилась уже не одна подвода. Это и понятно — ведь путь через заболоченный лес был более короткий и менее опасный. Не дожидаясь, когда по лесу будет проложена дорога, предприимчивые «тыловики» уже открыли по мосту движение.

Следов в лесу было много. Каждый подъехавший к мосту и продолжавший путь за мостом, объезжая заболоченные участки, старался выбрать дорогу получше. Многие увязали в болоте. Местами были видны следы того, как повозки вытягивались вручную.

Пройдя по следам, я быстро установил неблагоприятные места и с них по обеим сторонам ручья начал прокладку kolejных путей и гатей.

Часов в девять утра посыльный принес мне записку от командира батальона: «На НП командира дивизии вас ожидает капитан Довгий. Отправляйтесь туда немедленно. О полученном задании сообщите».

По дороге на НП я узнал, что в результате атак, проведенных на рассвете, части дивизии полностью овладели Васильевщиной, дорога от Васильевщины до Бяково на участке в полтора километра также была занята нашими войсками. Как только противник был выбит из села, сразу же началась бомбежка его немецкой авиацией. После бомбежки и артонала немцы пошли в контратаку, артиллерийский огонь был перенесен на Кутилиху. К тому времени, когда я пришел на НП, контратаки немцев были отбиты, а оружейный огонь противника по нашим позициям прекратился.

Почти все, кто находился на НП, вышли из блиндажей и по два-три человека стояли или прохаживались по перекрытым маскировочными сетями ходам сообщения.

Дивизионного инженера я увидел среди группы командиров, стоявших у блиндажа командира дивизии.

— Почему пришли вы, а не Плотов? — спросил меня Довгий.

Я протянул присланную мне записку.

— Сейчас пойдем выбирать место для строительства нового НП, — сказал Довгий. — В вашем распоряжении весь день и ночь. К рассвету НП должен быть готов.

Во время нашего разговора из блиндажа вышел довольно еще молодой, не более сорока лет, полковник. По тому, как все подтянулись, уступая ему дорогу, я понял, что это и есть наш новый командир дивизии.

В своем предположении я не ошибся. Довгий доложил полковнику о моем прибытии и попросил разрешения отправиться на выполнение задания.

— Молодцы саперы! Хороший НП мне сделали, — сказал комдив, пожимая мне руку. — Завтра к утру такой же надо оборудовать в полосе третьего полка.

Командир дивизии сразу мне понравился. Открытое волевое лицо, высокий лоб, внимательный, изучающий взгляд, доброжелательная улыбка, а также похвала за хороший НП и крепкое рукопожатие, совсем не обязательное в обращении с подчиненными, располагали. Само собой у меня родилось желание выполнять его задания как можно лучше.

Кроме меня на выбор места для нового НП с Довгим отправился лейтенант из оперативного отдела штаба дивизии. Двигались мы в полный рост прямо по полю между первой и второй траншеями нашей обороны. Откатившийся на юг противник здесь уже был не опасен. Только у самой высоты, где предстояло построить НП, с большой дистанции в нашу сторону из леса было сделано несколько выстрелов.

Мы, выбрав место для размещения блиндажей, собирались вернуться в Кутилиху, когда услышали сначала слабый, потом все нарастающий гул моторов. Одновременно над горизонтом на небе появилась серая лохматая полоска. Она быстро приближалась, увеличивала свои размеры и уже больше походила на несущуюся в небе птичью стаю. Вскоре стало видно — летят самолеты. Их было много. Летели звеньями. Каждое звено — клин из трех машин: одна — впереди, две — по сторонам уступом к первой. Справа и слева от ведущего звена — еще по три машины. За первой девяткой двигались еще две девятки. Всего двадцать семь пикирующих бомбардировщиков «Ю—87». Несколько ближе к земле, перелетая то на правую, то на левую сторону от «юнкерсов», летели самолеты прикрытия — «мессершмитты».

По мере приближения самолетов рокот моторов превратился в сплошной мощный гул. У самой передовой строй «юнкерсов» стал ломаться. Ведущее звено, вытянувшись в цепочку и не снижая высоты, пошло над нашими головами по кругу. В хвост к первым самолетам пристраивались остальные. Образовавшийся круг напоминал гигантскую карусель, внутри которой оказались Кутилиха, Васильевщина и наша высота. Ведущий «юнкерс», сделав два круга, стал пикировать прямо на нее. Пронзительно завывала установленная на самолете сирена. Мы, все трое, легли на дно траншеи, прижались к стенкам. Где-то очень близко раздался оглушительные взрывы. Над траншеей зажужжали осколки. На голову с бруствера посыпалась земля. Сразу же за первыми разрывами последовали другие. Взрыв следовал за взрывом, и казалось, им не будет конца.

Еще до начала бомбежки в месте, где траншея делала крутой поворот, я приметил не занятую никем небольшую нишу. Осколки, могущие попасть в траншею за поворотом, не могли принести нам вреда, а сама ниша была уже укрытием, хотя и ненадежным.

Выждав момент после очередного взрыва, я перебежал в нишу, позвал к себе Довгого и лейтенанта. Втроем мы едва в ней уместились. Теперь было опасно только прямое попадание бомбы или поражение осколками от бомб, рвущихся на поле против ниши. Такая опасность нас и подкараулила. Осколком бомбы, разорвавшейся против нашего убежища, был ранен лейтенант из оперативного отдела, ему перебило ключицу. Крови было мало, но его рука безжизненно повисла вдоль тела. Когда бомбежка кончилась и улетел последний «юнкерс», начались атаки противника. Из траншеи

было видно, как из леса выбегали атакующие высоту немцы, а в Васильевщине завязался рукопашный бой.

Но наблюдать за ходом боя не пришлось. Довгий поручил мне проводить лейтенанта до ближайшего санитарного пункта и сразу же начать заготовку материалов для строительства блиндажей. Позже от Довгого я узнал, что в результате бомбежки высоты было убито девять человек и ранено семнадцать. Сто шестнадцать человек от налета не пострадали. Атаки противника на высоту были отбиты. Глубокие траншеи и хорошие укрытия для личного состава сделали свое дело. Авиация не смогла сокрушить нашу оборону.

26 июля активные бои на нашем участке фронта прекратились. Дивизия была отведена на отдых в район станции Пола. Батальон передислоцировался в лес между станцией Пола и селом Борки. Но отдыхать нам не пришлось. На оборудованном ранее КП штаба дивизии, в районе деревни Березки, мы построили еще несколько блиндажей, потом десять дней строили узкоколейную дорогу между станцией Пола и небольшим поселком, именуемым Домом инвалидов.

8 августа 1942 года дивизия получила задачу — держать оборону на участке протяженностью около пятнадцати километров к западу от реки Пола. В полосу обороны дивизии вошла и Кутилиха. Стрелковые полки переместились на свои участки обороны. Штаб дивизии вернулся в деревню Березки. Батальон обосновался в лесу в районе деревни Кошелево. Там, впервые за все время пребывания в составе 11-й армии, мы построили себе хорошие землянки и размещались в них более месяца. Весь этот период на нашем участке фронта противник вел себя пассивно. Наши полки, совершенствуя оборону, активных боев также не вели.

Для батальона весь этот период прошел в работах по строительству дерево-земляных укрытий для пулеметных расчетов. В войсках такие укрытия обычно называют — дзоты, что означает — дерево-земляные огневые точки.

Значение дзотов на нашем участке фронта было особенно велико. Дело в том, что передний край обороны полков во многих местах проходил по лесу, изобиловавшему болотами. Если болото было небольшим, наши и немецкие траншеи огибали его с двух сторон. Полоса «ничейной земли» при этом расширялась не на одну сотню метров. Если болото было большим, сплошных траншей на берегах не было, строили только расположенные далеко друг от друга дзоты.

Часть дзотов мы построили на крошечных островках, одиноко возвышающихся среди болота. К таким дзотам приходилось делать пешеходные дорожки из жердей, уложенных над болотной жижей.

Строительство дзотов велось на участках обороны всех трех полков. Взводы работали в большом удалении друг от друга. Чтобы побывать во всех подразделениях хотя бы по одному разу, у меня часто уходил весь длинный летний день.

За месяц нами было построено двенадцать дзотов для станковых и двадцать два дзота для ручных пулеметов.

В последний день августа, побывав в нескольких взводах, я к вечеру добрался до взвода Авдеева, строившего дзоты у болота, в отдаленном уголке леса. Как всегда, несколько заикаясь и волнуясь, Авдеев доложил мне о выполненной работе и, почему-то перейдя на шепот, сказал:

— А мы здесь на к-какие страсти н-наткнулись. Т-там в кустах убитые бойцы, не меньше взвода, лежат.

Я пошел в направлении, указанном Авдеевым.

Вскоре лес, по которому мы шли, сменился густым подлеском. В нем кусты лещины и бересклета перемежались целыми куртинами уже созревающей черники.

Окинув взглядом подлесок, сквозь кустарник я увидел не меньше десятка расплывчатых на земле, обросших со всех сторон высокой травой, неопределенной формы тел. Только при близком рассмотрении стало видно, что это человеческие останки. На земле лежали, одетые в еще неистлевшие шинели, обутые в кирзовые сапоги или в ботинки, скелеты. Останки находились в самых разнообразных позах: на спине, на боку, скорченные в полусидячем положении. К ним не притронулась ни одна рука после того, как тела убитых рухнули на землю, изрешеченные автоматными очередями.

Фашисты совершили двойное преступление. Они учинили расправу не просто над пленными, а к тому же над тяжело ранеными советскими воинами. На останках погибших сохранились следы повреждений костей с подвзяанными к ним лангетами и еще не истлевшие ключья марлевых бинтов.

— Видели ли все это ваши бойцы, поняли ли, как расправились с ранеными немцы? — спросил я Авдеева.

— Сержант Вяткин первым увидел. Он просит разрешить ему с отделением похоронить всех убитых.

О найденных в лесу трупах я доложил комбату и комиссару. Вспомнив события прошлого года, мы пришли к выводу, что погибшие были жертвами зверства немцев в сентябре прошлого года. Тогда противник, наступая с юго-запада на северо-восток,

захватил станцию Пола и был задержан нашими войсками севернее железной дороги Бологое — Псков.

Район, где произошла расправа над ранеными советскими воинами, был освобожден нашими войсками еще в феврале этого года, но бойцы взвода Авдеева оказались первыми, кто обнаружил расстрелянных.

Братская могила была вырыта на высоком холме на берегу реки Пола.

Комиссар Ивашкин произнес краткую речь, а отделение сержанта Вяткина произвело троекратный прощальный салют из карабинов.

Всего было найдено и захоронено на берегу реки Пола двадцать семь человек. У пятерых никаких документов не оказалось. По знакам различия на гимнастерках Вяткин установил, что это были капитан, лейтенант, старшина и два сержанта. Очевидно, их документы были взяты немцами. Фамилии остальных двадцати двух военнослужащих были установлены по найденным у них красноармейским книжкам.

На доске, прибитой к столбу, поставленному на могиле, Авдеев масляной краской написал двадцать две фамилии. Против строчек с первой по пятую, куда были записаны звания: капитан, лейтенант, старшина и сержанты, Авдеев написал: «Фамилии не известны».

В ЛЫЧКОВСКОЙ ГРУППЕ ВОЙСК

13 сентября 1942 года в батальон поступило приказание о передислокации в район леса южнее деревни Тупичено. Вызвано оно было тем, что дивизия сдавала свой участок обороны и переводилась в район к северу от станции Кневицы, переходя снова в подчинение 34-й армии.

Переход был тяжелым. Всю ночь лил дождь. Дороги развезло. Местами они превратились в болота. После тщетных попыток не попадать в лужи бойцы смирились с неизбежностью двигаться по щиколотку в грязи. Переход всех вымотал до предела.

На окраине деревни Тупичено нас уже ждали два бойца комендантского взвода штаба дивизии. Они сообщили, что КП, в котором надо получить дальнейшие указания, размещается в лесу в полукилометре от деревни. Плотов, скомандовав привал, сразу отправился на этот КП.

Все настолько устали, что, прибыв на окраину деревни, сразу вышли на обочину дороги и тут же легли на мокрую траву. Дождь перестал. Ночь была теплой. Кое-кто сразу же захрапел.

Вскоре поступил приказ — идти в район деревни Вершины, где предстояло оборудовать КП дивизии. А через два часа батальон уже был на месте назначения. Участок для КП был в сосновом бору. Высокие сосны были прекрасным материалом для строительства блиндажей. Но радовало не только это. Радовало и то, что грунт в лесу был песчаный, грунтовые воды — глубоко.

Для рот строительства блиндажей стало делом привычным. За пять с половиной месяцев пребывания на фронте бойцы втянулись в тяжелую физическую работу. Командиры отделений хорошо узнали возможности своих бойцов, их умение и сноровку, и умело распределяли между ними работу. Трудились все дружно. Как-то с самого начала повелось, что командиры отделений не только распоряжались, но работали и сами, подменяли слабых и уставших. Не гнушались иногда включаться в работу и средние командиры: командиры взводов, рот, политруки.

У каждого получалось это по-своему. Шумный, полный энергии лейтенант Четвертных, взявшись сам за лопатку, мог потягаться силами и умением работать с любым бойцом. Щуплый, слабый физически политрук Астафьев был плохим помощником. Но, увидев, с каким трудом четыре бойца несут на плечах тяжелое бревно, он не раздумывая присоединился к ним. Шаги бойцов становились тверже, лица их озарялись доброй улыбкой.

Боевые действия Лычковской группы войск, в которую вошла наша дивизия, начались 17 сентября. К этому времени все части дивизии сосредоточились в лесу в районе деревни Вершины и проводили занятия, готовясь к наступлению. Батальону было приказано — в стрелковые полки направить по взводу саперов для действий в составе штурмовых групп.

Кроме личного оружия и табельного шанцевого инструмента, саперы взяли с собой ножицы для резки проволоки, щупы, миноискатели и по десять килограммов тола.

На следующее утро за мной пришел связной и я отправился в расположение штурмовых групп. Боец Чурин, молодой красноармеец из смолян, повел меня через лес напрямик по бездорожью.

Пока мы двигались по сосновому бору, идти было легко. Казалось, деревья расступаются, показывая нам дорогу. Но вот хвойный лес сменился березовым подлеском. Тонкие березки, покрытые густой, начинающей уже желтеть листвой, обступили

нас со всех сторон. Ноги стали путаться в высокой траве, переплетающейся с колючим кустарником.

— Куда ведешь меня, парень? Уж не к немцам ли? — спросил я шутливо.

— Никак нет, — серьезно, не принимая моей шутки, ответил Чурин. — Как нас лейтенант вел, три километра будет. А здесь и двух нет.

— Интересно! Как же ты эту дорогу выбрал?

— А у меня компас есть. По карте лейтенанта определил.

Вскоре подлесок опять сменился, но уже лиственным лесом. Мы оказались около довольно большой землянки.

— Здесь первый взвод и сам лейтенант Ефимовский размещаются, — сказал Чурин.

Не заходя в землянку, я попросил Чурина отвести меня к месту занятий. Для их проведения в каждом батальоне было сделано сооружение, имитирующее дзот: насыпан бугор земли, с одной стороны в нем сделано несколько амбразур, с другой — подведен ход сообщения и установлена деревянная дверь.

В первом батальоне я увидел Вяткина. Он с двумя бойцами у «дзота» укладывал в землю и маскировал дерном березовые чурбачки-макеты противопехотных мин, которые надо было обнаружить и обезвредить саперам штурмовой группы. Несколько в стороне человек двадцать автоматчиков и остальные бойцы его отделения слушали объяснения молоденького лейтенанта, рассказывающего, как надо штурмовать дзоты.

Во втором батальоне, которому было придано отделение сержанта Галанина, я наблюдал, как стрелки и саперы подкрадывались к «дзоту», а когда были обнаружены, пошли в атаку.

В полку, в который был направлен взвод Овсянникова, занятия проводились с участием артиллеристов. Сорокапятимиллиметровые пушки полковой артиллерии прямой наводкой стреляли по амбразурам макетов дзотов.

И вот наша дивизия получила задачу — в ночь с 23 на 24 сентября сменить действующие на правом фланге армии части в полосе: станция Кневицы — сараи в двух метрах к западу от станции, овладеть железнодорожным полотном и расположенной за ним грунтовой дорогой Замошки — Кневицы.

Плотов, вернувшийся из штаба дивизии, сообщил, что имеющийся в полосе наступления дивизии наблюдательный пункт комдиву не понравился, поэтому батальону поручено оборудовать новый НП.

— Возьмите всех людей второй роты, — сказал мне Плотов. — НП приказано оборудовать за одну ночь.

Прибыв к месту назначения, я на действующем НП попросил майора из оперативного отдела разрешить мне ознакомиться с оборонительными сооружениями противника. Согласие было дано охотно, майор даже показал, где надо искать наиболее интересные объекты.

Минут за двадцать, не отрываясь от стереотрубы, я осмотрел весь передний край обороны немцев.

В трехстах метрах от НП, уходя до самого горизонта на восток и запад, тянулось железнодорожное полотно. Местность перед ним была ровной — ни возвышенностей, ни впадин. В полосе метров полтора от полотна лес немцами был вырублен. За пределами этой полосы до самого НП он был настолько разрежен, что почти не мешал обзору.

Было видно, что по насыпи проходят немецкие траншеи. Местами перед насыпью выступали высокие бугры. Это были дзоты.

На место строительства НП мы добрались по неглубокой траншее.

При первом же взгляде на позиции немцев причины, побудившие комдива перенести НП на это место, мне стали ясны. Отсюда хорошо просматривалось не только полотно железной дороги, но и станция Кневицы.

У меня сразу возник вопрос, как укрыть НП от противника. Одно дело неглубокая земляночка, перекрытая одним накатом из тонких бревен, и открытая щель, устроенные здесь для командира стрелкового батальона, другое — блиндажи в четыре наката и в их числе блиндаж со смотровыми щелями для наблюдения.

Озираясь кругом, я остановил свой взгляд на небольшой куртине молоденьких невысоких елей, выделявшейся ярко-зеленым пятном среди иссеченного снарядами сильно разреженного леса. Куртина надежно прикрывала расположенную за ней местность. Решение, как замаскировать НП, пришло сразу. Надо будет вырубить всю куртину и елочки таким же зеленым пятном расставить вокруг бугра нового НП. Такая перестановка с позиций немцев должна быть незаметна.

Еще засветло рота заготовила и под укрытием куртины молодых елочек поднесла все лесоматериалы поближе к месту строительства НП.

Всю ночь бойцы работали дружно. Строительство наблюдательного пункта было закончено задолго до наступления дня.

В батальон ни мне, ни роте Малова возвращаться не пришлось. Еще вечером я получил записку Плотова. В ней предлагалось два взвода направить в распоряжение инженеров полков первого эшелона дивизии для принятия от сменяемых саперов минных полей и организации комендантской службы на проходах, а один взвод передать в танковую роту для сопровождения машин. Мне лично — находиться в районе НП комдива, контролировать правильность использования саперов в воинских частях и при необходимости принимать соответствующие решения.

Легко сказать — контролировать. Но как это осуществить, если саперы находятся во многих подразделениях? Как можно влиять на ход событий, если штурмовыми группами и танковой ротой командуют не подчиненные мне командиры? Что я один могу сделать в сложившейся ситуации? Эти и подобные вопросы у меня возникали один за другим.

Поразмыслив, я принял ряд решений и наметил план действий. Начал я с того, что выбрал укромное место, не слишком далеко и не слишком близко от НП командира дивизии, где поручил Малову построить для себя небольшую землянку. К утру она была готова. Для того чтобы в землянке было установлено постоянное дежурство, я решил иметь двух связных. Когда на передовую прибыли люди Ефимовского, вторым связным взял у него бойца Куренкова.

Стрелковым полкам придавались саперные взводы во главе с их командирами. Следовательно, командиры рот, их заместители и политруки полностью оставались в моем распоряжении. Шесть человек средних командиров это — большая сила. После окончания строительства НП, отправляя взводы Четвертных и Шалагинова в полки, а взвод Саломатова в танковую роту, я на все время операции за первым взводом закрепил Астафьева, за вторым — Малова, за третьим — Юдина. Всем троим дал указание: боевые донесения направлять только через меня. Такое же указание я послал в роту Ефимовского.

Под вечер на передовую пришел и отыскал меня комиссар батальона. Мои решения по организации контроля и помощи взводам Ивашкин одобрил.

Мы с ним побывали во взводах, уже вышедших на передовую. С бойцами взводов Четвертных и Шалагинова побеседовать комиссару не удалось. Они уже дежурили на проходах в минных полях.

Под утро меня разбудил боец, принесший записку от Саломатова. В своем донесении Саломатов сообщил о том, что при выходе на исходные позиции для наступления танковая рота была обстреляна дальнобойной артиллерией немцев. Одним снарядом, разорвавшимся вблизи взвода, убит боец из отделения Шпагина и ранен лейтенант Юдин.

Сна как не бывало. Я быстро оделся и отправился к Саломатову. Юдин на грузовой машине танкистов был уже отправлен в медсанбат. Его выбытие для роты было ощутимой потерей. Несмотря на неуравновешенность его характера и излишнюю суетливость, я с Юдиным сумел сработаться, доверял ему больше, чем Малову.

После выдвигания танков на позиции саперы строили укрытия для себя. Я обошел всех работающих, поговорил с бойцами, а прощаясь с Саломатовым, сказал ему: — Держись, парень. Теперь подсказать тебе, что делать, некому. Надеюсь, не подведешь.

24 сентября в одиннадцать часов наша дивизия атаковала позиции немцев по всей полосе наступления.

Атаке предшествовала артиллерийская подготовка, продолжавшаяся больше часа. В конце артподготовки появилась наша штурмовая авиация. В первый заход «ИЛы» сбросили свой бомбовый груз, затем дважды обстреляли траншеи немцев из пулеметов.

Еще не кончилась артподготовка, а наши войска уже пошли на сближение с противником. Я видел, как против моей землянки пустела первая траншея. Бойцы, выскакивая на бруствер, кто в полный рост, кто пригнувшись, прыгая с кочки на кочку и перепрыгивая через поваленные деревья, устремлялись вперед к железнодорожному полотну.

Когда последним аккордом на переднем крае обороны немцев раздавались разрывы снарядов гвардейских минометов и огонь артиллерии был перенесен в глубину обороны противника, цепи наших бойцов уже подходили к насыпи железной дороги. Но враг не был подавлен. Один за другим стали оживать выдвинутые перед насыпью немецкие дзоты. Плотный фланговый и перекрестный огонь из станковых пулеметов остановил цепи бойцов, заставил их залечь и начать окапываться. Удержаться на достигнутом рубеже нам не удалось. С близких дистанций заговорили немецкие минометы. Неся потери, роты стали отходить и укрываться в свои траншеи. Атаки действовавших перед моей землянкой батальонов захлебнулись. наших огневых средств для подавления противника оказалось недостаточно.

К вечеру я получил донесение всех пяти взводов, принимавших участие в боевых действиях. Сообщения были неутешительные. Везде были потери. Ефимовский, Малов и Астафьев доносили, что находятся в первой траншее, там, где вчера встретили меня и Ивашкина.

Из донесения Серова я узнал, что стрелковый батальон, которому было придано отделение сержанта Лутоненко, имел некоторый успех. Одна стрелковая рота вышла на железнодорожное полотно, захватила два дзота и пять блиндажей, в настоящее время ведет бой за вторую траншею. Все отделение Лутоненко находится в этой роте.

В наспех написанной записке Саломатов сообщил, что в наступлении правофлангового полка участвовали десять танков, что три танка достигли железнодорожной насыпи, окопались там и поддерживают огнем стрелковую роту, захватившую первую траншею немцев. С танками у насыпи находится отделение младшего сержанта Шпагина. Остальные семь танков вернулись на исходные позиции.

Как только стемнело и несколько стихла оружейная перестрелка, я, взяв с собой Кобринца, отправился на правый фланг. Пока мы туда шли, стрельба из орудий совершенно прекратилась. Ружейно-пулеметная перестрелка велась слабо. Только в районе, где наши войска вышли на насыпь, еще продолжался бой, трещали пулеметы.

Первым, кого я встретил на своем пути, был Малов. Он доложил, что Рудометкин со своим отделением переместился в немецкую траншею. Остальные два отделения взвода дежурят на своих проходах, а Шалагинов пошел к Рудометкину.

— Много случаев подрыва на минах? — спросил я.

— Никак нет. Мы, как приняли поля от бригадных саперов, на проходах еще табличек добавили. Когда пехота в атаку ходила, на каждом проходе я по два человека держал.

— После возвращения Шалагинова вы обязательно сами побывайте на насыпи. Тогда своими глазами увидите обстановку, будет легче руководить подчиненными, принимать правильные решения.

Еще ночью, после получения мною записки Плотова, среди возникших у меня вопросов был и вопрос о поведении саперного командира в случаях, когда подчиненные ему подразделения направлены в несколько частей. Никем не контролируемый, я спокойно мог отсидеться в построенной для меня землянке, ограничиться сбором и пересылкой получаемых из взвода донесений. Так же могли вести себя командиры рот и даже взводов, бойцы которых приданы нескольким стрелковым батальонам полков.

Если нет прямых указаний свыше, на совести каждого такого командира было — самому решать, где находиться и что делать. Для себя я сделал вывод — быть там, где твои дела принесут наибольшую пользу. В эту ночь я решил, что мне будет полезно побывать на отсуеванной у немцев насыпи.

Саломатова в землянке не оказалось. Он ушел в отделение Шпагина на насыпь.

— Молодец твой лейтенант, — сказал мне командир танковой роты, когда я заглянул в его землянку. — Заботливый. Уже второй раз пошел к своим бойцам.

Серова и Овсянникова я нашел на НП командира стрелкового полка. Они сидели в отрытой для них саперами щели. Овсянников только что вернулся с насыпи, рассказал, что расширить захваченный нашими войсками участок траншеи пока не удалось. К концу дня немцы там переходили в контратаку, но тоже ничего не добились. Сейчас с обеих сторон боевые действия прекратились.

— Пойдем посмотрим, какие дзоты понастроили немцы. Командиру полезно знать, что штурмуют его бойцы, — сказал я Серову, решив взять его с собой.

От первой траншеи нашей обороны до насыпи никем не тронутая в течение лета трава нейтральной зоны широкой лентой десятками ног была втоптана во влажную податливую землю. Кроме следов ног на траве, можно было рассмотреть колеи сорокатымиллиметровых пушек, вручную переправленных артиллеристами полка к захваченным пехотой траншеям. Немцы уже знали, где пролегла наша тропа, и периодически вели по ней артиллерийский обстрел. Надо было выждать и перебраться к насыпи в промежутках между двумя обстрелами. Мы так и поступили. Как только наступила тишина, мы перебежками добрались до насыпи. Спрыгнув в траншею, я огляделся. Ни рельсов, ни шпал не было. Несколько позже я увидел, что немцы использовали их как строительный материал. Шпалами были перекрыты щели и другие укрытия. Рельсы, разрезанные автогеном на куски, в несколько рядов перекрывали дзоты и блиндажи.

Первый же боец, увиденный нами в траншее, сказал, что саперы находятся в землянке всего в пятидесяти метрах от места, где мы спустились в траншею.

Из саперной землянки вынырнула статная фигура сержанта Рудометкина. Шинели на нем не было. По лицу было видно, что его только что разбудили, но он успел привести себя в порядок. Гимнастерка была застегнута на все пуговицы и тщательно расправлена под ремнем, на голове ладно сидела немного сдвинутая на сторону пилотка. Сержант доложил, что до траншей противника мины все сняты. В блиндажах и дзотах немцев никаких сюрпризов и мин не обнаружено. Потери в отделении — два бойца, оба были по ранению.

— Где Шалагинов? — спросил я.

— Лейтенант час как ушел в другое отделение, а Саломатова я проводил к танкистам.

— Веди и нас.

Рудометкин быстро спустился в землянку и через минуту уже в шинели и с карабином в руках шагал впереди меня по траншее. Пройдя метров двести, он свернул в короткий ход сообщения, ведущий к вплотную примыкавшему к насыпи бугру.

Я сразу определил, что это один из немецких дзотов, которые видел в стереотрубу с НП. Миновав маленький тамбур, мы оказались в довольно большом помещении, до отказа забитом бойцами. При свете копилки я рассмотрел, что в дзоте сидели и лежали, располагаясь даже в проходах, человек пятнадцать-двадцать. Одна из трех амбразур сильно повреждена и завешена плащ-палаткой, две другие — заткнуты каким-то тряпьем. Стены дзота были из уложенных одна на другую и скрепленных между собой железными скобами шпал. Перекрыт он был несколькими рядами рельсов. Потеряв свое назначение огневой точки, дзот стал надежным укрытием для наших бойцов.

Саломатов, пришедший раньше меня, сидел рядом со Шпагиным почти у самой двери и о чем-то разговаривал с еще совсем юным младшим лейтенантом с эмблемами танкиста.

Саломатов представил мне младшего лейтенанта как командира окопавшегося рядом в насыпи танка и доложил, что еще два танка окопались метрах в ста по сторонам от среднего. Все три танка со стороны противника хорошо прикрыты железнодорожной насыпью. С экипажами каждого танка находятся по два сапера.

Героями взятия дзота были танкисты. Стреляя прямой наводкой с близкого расстояния, они всадили один снаряд прямо в амбразуру. Пять немцев было убито, двое тяжело ранены и контужены. Предупредив Саломатова о том, что возвращаться будем вместе, я попросил Рудометкина пройти с нами до отделения Лутоненко.

Сержанта Лутоненко мы нашли в конце захваченной у немцев траншеи. Он вместе с шестью оставшимися у него бойцами спал в небольшом блиндаже вблизи второго немецкого дзота.

Этот дзот был захвачен штурмовой группой без помощи танков и артиллерии. Стрелки и саперы во время атаки, добежав до железной дороги, под прикрытием насыпи подобрались к дзоту и забросали его амбразурные гранатами и шашками толла.

Вместе с Лутоненко мы прошли до самой крайней огневой точки наших войск. Там траншея была перекрыта настилом из шпал, на котором стоял станковый пулемет. Дальше ход сообщения был забросан ежами из колючей проволоки, а метрах в семидесяти над ним стоял направленный в нашу сторону немецкий пулемет. И наши и немецкие пулеметчики засыпали окопы перед пулеметами и сделали брустверы.

Своим ночным походом в захваченную у немцев траншею я остался доволен. Во-первых, я ясно представил тот важный участок боя, где наметился успех. Во-вторых, проверил, как осуществляется инженерное обеспечение войск на этом участке. Кроме того, я убедился в том, что все три командира взводов не отсиживались в землянках, ходили в опасные места, где находились их люди.

29 сентября боевые действия начались поздно. Только в 11 часов 20 минут кончилась артиллерийская подготовка и все три батальона левофлангового полка пошли в атаку. Начавшийся бой был ожесточенным и продолжался несколько часов.

Во второй половине дня ко мне в землянку пришел капитан Ивашкин. Бой еще не стих, и он ждал, когда появится возможность пройти по траншеям, побеседовать с бойцами.

Как раз в это время прибежал связной Ефимовского красноармеец Чурин. Он сообщил, что тяжело ранен лейтенант Авдеев. Его только что вынесли с поля боя, Ивашкин, его связной Рожков и я поспешили в первую траншею.

Авдеев лежал на разостланной плащ-палатке. По пояс он был обнажен. Окровавленные гимнастерка и нижняя рубашка, разорванные от ворота до низа вдоль спины, лежали рядом. Около него хлопотала медицинская сестра. Ей помогали два санитары. Они приподнимали Авдеева за плечи, а сестра легкими быстрыми движениями просовывала за его спину широкий бинт. В накладываемом слой за слоем полотно бинта быстро проступали красные пятна.

Лицо Авдеева было мертвенно-бледным. Как видно, он потерял много крови. Лежал он с закрытыми глазами. Всякий раз, когда его приподнимали санитары, Авдеев стонал, лицо его искажалось от боли.

— Три пулевых ранения в грудь навывлет. Хорошо еще, что сердце не задела, — сказал Ефимовский.

Когда раненого унесли, Ефимовский рассказал:

— Я с Авдеевым на НП полка был. Смотрим, одна рота второго батальона, которому отделение Галанина придано, рванула в немецкие траншеи. Авдеев говорит: «Пойду узнаю, какое задание Галанину дали». Я разрешил. Еще предупредил его: «Будь осторожен, куда ни попало без толку не суйся». Через час принесли Авдеева на плащ-палатке. Говорят, сам первый в немецкий дзот полез.

Когда стемнело, в наши траншеи вернулись саперы, участвовавшие в захвате немецкого дзота. Вызванный комиссаром, Галанин рассказал:

— Командир батальона капитан Лунин, как в бой идти, вызвал мое отделение на НП. Увидев меня, сказал: «Жди своего часа, и до тебя дело дойдет». А наш лейтенант, когда наведывался, говорил: «Батальонный бережет вас, хочет только по прямому назначению использовать».

Сегодня пехота траншею немцев захватила, — продолжал свой рассказ Галанин, — вызвал меня капитан, спрашивает: «Видишь у немцев дзот?» «Вижу», говорю. А он мне: «Пойдешь с отделением к лейтенанту Попову. Вам задача — дзот подорвать». Нагрузились мы толом, и на насыпь. Так и так, говорю я командиру роты, вам задача траншею до самого дзота очистить, а мне его подорвать. «Знаю, — говорит, — жди моей команды». Тут как раз наш лейтенант пришел. Они между собой потолковали, решили запросить артналет. Дзот-то рядом, а в траншее — заслон — автоматчики... Автоматчики нас держат. Комроты по телефону точные координаты артиллеристам дал. Те автоматчиков с третьего снаряда накрыли. Стрелки по траншее метров сто пробежали и закрепились. Я к дзоту. Наш лейтенант меня обогнал, первый к дзоту подскочил. Глядим — проход в дзот дверью закрыт. Слышим — пулеметы в дзоте строчат, не утихают. Лейтенант к двери, прикладом автомата по ней застучал. Кричит: «Хенде хох! Кто там есть — выходи». Немцы изнутри по двери из автомата полоснули. Три пули ему в грудь угодили. Но мы тоже в долгу не остались. Килограммов десять тола под дверь положили. Весь дзот разнесло. Семь гитлеровцев — наповал.

30 сентября на стыке дивизии с 144-й стрелковой бригадой в бой был введен наш третий стрелковый полк. В этот день полк наступал успешно. Был захвачен железнодорожный мост через реку Любитка, разрушено пять блиндажей и один дзот противника. 1 октября полк, разывая наступление вдоль насыпи, захватил еще четыре дзота. Но в следующие дни бои новых успехов не принесли.

В первый же день боев за мост на реке Любитка был ранен и отправлен в госпиталь политрук первой роты Клыкков. Петров, оставшись без опеки, не растерялся. За смелость и находчивость при взятии немецких дзотов по ходатайству командира полка он был награжден орденом Красной Звезды.

Последние бои под Кневицами дивизия провела 6—7 октября.

К вечеру 7 октября боевые действия прекратились. Сразу же в батальон вернулись рота Ефимовского и взвод Саломатова. Взводы Четвертных и Шалагинова вернулись в батальон только 9 октября, после сдачи минных полей сменяющим дивизию частям.

За время прошедших боев потери батальона составили 52 человека: убитыми — 11, ранеными — 41. Мы лишились трех средних командиров, пяти сержантов. Тяжело был ранен сержант Рудометкин — комсорг и любимец второй роты.

Бои под Кневицами стали для меня хорошей школой взаимодействия саперов с пехотой и другими родами войск, дали мне представление о ведении боя в масштабе дивизии. Это было как раз то, чего мне не хватало в познании основ военного дела.

Сравнивая бои под Хилково с боями под Кневицами, я видел, как за шесть месяцев пребывания на фронте возросла боеспособность частей дивизии. Личный состав подразделений стал уже обстрелянным. Быть обстрелянным — понятие далеко не абстрактное. Оно прежде всего означает, что командиры и бойцы чувствуют бой. Младшие командиры знают, когда лучше поднять солдат в атаку, когда надо переждать. Бойцы чувствуют, насколько длинной должна быть перебежка, какому снаряду не надо кланяться, а перед каким надо упасть и плотно прижаться к земле, когда лучше сделать рывок и ворваться в траншею противника.

Ничего этого не было под Хилково. Многие действовали робко и неумело. Многократные атаки монотонно повторяли одна другую и сопровождалась большими потерями.

Потери были и под Кневицами. Но их было гораздо меньше, и они были оправданы.

В штабе дивизии многие считали, что более умелые действия войск в последних боях есть следствие не только приобретенного личным составом подразделений опыта, но и умелого руководства боями командиром дивизии полковником Ушаковым.

Под Лычково была осуществлена одна из многочисленных частных операций, проводившихся на фронтах, не участвовавших в Сталинградской битве. Основная цель таких боев — отвлечь на себя как можно больше вражеских войск, не дать им возможности переместиться туда, где разворачивались решающие сражения.

Немаловажно было и то, что каждая частная операция наносила врагу потери в живой силе и технике, которые в конечном счете стали невосполнимыми.

Евгений Березиков

МОГИЛА ТАХИРА И ЗУХРЫ

Так уж повелось, что в каждом крае есть свои поверья, свои особенные истории, рассказываемые всем приезжим, есть что-то свое необычное, что отличает эту местность от других. Видимо, это закономерно, оправдано тем, что, где живет человек, там он и создает свою историю. Историю, которая лучше, чем что-либо другое, характеризует время, общество, социальные отношения людей. Этим и интересен край, этим он и запоминается. Но иногда эти истории бывают не только необычными, но и загадочными, потому что принять их на веру не позволяет здравый смысл, а начисто отвергнуть — факты. Вот с одной из таких странных загадок я столкнулся в Кашкадарьинской области.

Время было позднее. Мы, несколько человек, на машине возвращались из города Шахрисабза по дороге, ведущей в Карши. Путь был неблизкий, до областного центра почти сто двадцать километров. И поэтому, перед тем, как выехать нам из колхоза, где группа писателей встречалась с колхозниками на полевом стане, председатель колхоза отговаривал нас от этой дальней дороги; тем более, что впереди была ночь. Но водитель автомашины, молодой симпатичный парень с красивыми тонкими чертами лица, в котором угадывался житель Ферганской долины, уверенно позвал нас в дорогу. И мы поехали.

Поездка в ночное время имеет свою прелесть. Стоял теплый осенний вечер, в открытые окна вривался ветер, заноса в автомобиль пряные запахи полей и успокаивающий аромат сельского очага. Вдали проплывал огнями и уносился от нас кишлак. Разговор невольно зашел о жизни людей этого края, об их умении трудиться, о том, сколько им приходится вкладывать сил в то, чтобы воспитывать своих детей, растить хлопок, ухаживать за скотиной. От впечатлений от посещения колхоза постепенно разговор в машине перешел на дорогу, по которой, шурша шинами, неслась машина. Нашим вниманием полностью овладел водитель. Оказалось, что он недавно демобилизовался, вернулся из Афганистана, где служил полных два года. Парню было чем поделиться, да к тому же он оказался разговорчивым. Тот, кто ночью пускался в дальний путь, знает, что лучшее лекарство от сна — это поддержать силы водителя, не дать ему остаться один на один с дорогой, один на один с самим собой. Так мы за разговорами проехали большую часть пути, и когда миновали Камашинский и Гузарский перекрестки, встречный транспорт нам больше не попадался, а водитель умолк, да и мы стали как-то менее активными. Но вот впереди показались огни кишлака, и водитель словно встрепенулся и сказал: «Хоть бы пронесло!» На наш вопрос, в чем дело, парень рассказал нам следующую историю.

Этот кишлак Ковчин, чьи огни видны впереди, просто какое-то дьявольское место на дороге. Все водители Кашкадарьинской области, да и не только Кашкадарьинской, а и ближайших Бухарской, Сурхандарьинской, Самаркандской, хорошо знают это место, ибо здесь по необъяснимым причинам часто случаются внезапные аварии. Место ровное, дорога широкая, хорошо заасфальтированная, без поворотов, препятствий, но вот на тебе! — каждый год именно на этом месте происходит несколько дорожных катастроф, и каждый раз — с человеческими жертвами. На этом самом ровном месте, как бы водитель ни старался спокойно и уверенно ехать!

Рассказ парня мы расценили просто как вымысел, желание как-то возобновить в машине разговор. Кто-то пошутил: «Так что ж, на этом месте джинн живет, что ли?» «Не знаю, джинн или не джинн, в беду здесь машины попадают одна за другой, это точно», — сказал водитель, а сам крепче взялся за руль и еще внимательнее всмотрелся в дорогу, сбросив при этом скорость.

Машина шла спокойно, вокруг была темь непроглядная, лишь луч от фар высветлял впереди дорогу, на сто — сто пятьдесят метров, вырывая из темноты полосу асфальта. Постепенно волнение водителя передалось и нам. В машине стало как-то неуютно, тихо, и кто-то спросил водителя: «А ты, парень, не шутишь?» На что парень откликнулся: «Мне сейчас не до шуток. Вот слева от нас сейчас будет могила Тахира и Зухры, а потом начнется это самое злополучное место, где всегда происходят аварии». И, сказав это, водитель еще сильнее вцепился в руль, и машина, дернувшись несколько раз, будто бы не по его воле ускорила движение. А затем... Сильный удар, и водитель, пробив стекло, вылетел из машины, а сам автомобиль закрутился на месте и несколько раз, грохоча, повернулся вокруг своей оси. И лишь спустя мгновение мы поняли, что и с нашей машиной тоже произошло что-то трагическое. Всем нам, объатым страхом, пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы выбраться из-под перевернутой изуродованной машины. Осмотревшись, ощутив друг друга и убедившись, что все живы, мы тут же бросились на поиски водителя. Парня мы нашли метрах в пяти поодаль, лежащего в канаве и уткнувшегося лицом в мягкую придорожную пыль. Осторожно подняв его с земли, убедились, что шофер жив, только от сильного удара о землю потерял сознание.

Вскоре водитель пришел в себя, и первыми его словами было: «Ну что, убедились, что здесь сатанинская сила?» Произнося это, он как-то неестественно засмеялся, а потом, чуть помолчав, с явным сарказмом сказал: «А вы говорили, что я вас пугаю! Такая история и с нами все-таки произошла».

Глядя на парня, мы, чтобы снять напряжение, начали шутить, подбадривать его, да и себя тоже, — дескать, хорошо, что все так благополучно кончилось и что мы все остались живы. За этими натянутыми шутками и шутолкой мы не заметили, как к нам из кишлака прибежали люди, освещавшие дорогу самодельными факелами, а у двух-трех подростков в руках были электрические фонарики.

Жители кишлака, услышав грохот перевернувшегося автомобиля, поспешили на место происшествия. Они, должно быть, уже привыкли к таким странным историям, ведь подобные аварии для них были не в новость. Первое, о чем они спросили, — все ли мы живы и нет ли среди нас раненых. А затем, убедившись, что с нами ничего страшного не случилось, они повели нас к себе в кишлак. По дороге один из аксакалов произнес: «Не вы первые здесь попали в беду, такое случалось и раньше. Видимо, здесь такое уж место. Вон там, за могилой Тахира и Зухры, похоронено еще несколько человек. Родственники погибших не хотят увозить их отсюда и предают их тела земле возле нашего кишлака, рядом со святой могилой влюбленных».

Затем аксакал пояснил, что так бывало и раньше, когда люди еще и не слышали об автомобилях, когда мимо кишлака проходил лишь караванный путь из Самарканда в Бухару, Термез и Афганистан. Тогда здесь, на верблюжьем караванном пути, тоже случались несчастья: спотыкались верблюды, лошади, падала поклажа, валился замертво всадник, и люди тоже смотрели с недоумением — почему ни с того ни с сего на ровной дороге животное спотыкается и падает? Погоревав над покойником, путники хоронили его, и караван двигался дальше. Так уж повелось, что всех тех, с кем здесь случалось несчастье, не увозили в родные места хоронить, а оставляли здесь, около святой могилы Тахира и Зухры...

Ночь в этом кишлаке прошла кошмарно. Вначале мы не замечали болей, но постепенно они дали о себе знать. У кого-то болела рука, кое-кто начал прихрамывать, у кого-то была ссадина на лице... Особенно пострадал водитель. Лицо у него оказалось в порезах, в кровоподтеках, да и настроение было намного хуже, чем у нас, — ведь ему предстояло ответить за машину. А от нее, видимо, осталась лишь груда металла, которая лежала при дороге и ждала нашего утреннего появления.

Ночевать мне довелось в доме того самого аксакала, который рассказывал о людях, похороненных около могилы Тахира и Зухры. Бурибай-ака — так звали этого семидесятилетнего старика — для своих лет был очень подвижен, жизнелюбив, сохранил неподдельный интерес ко всему происходящему. Он участвовал в Великой Отечественной войне, был бригадиром в колхозе, пока не вышел на пенсию. У Бурибая-ака была небольшая отара овец, он также возделывал огород — это являлось его главным занятием. Но кроме всего остального, аксакал, оказывается, был и местным табибом — собирал в окрестных горах лекарственные травы, коренья, разных полезных насекомых, ловил скорпионов... Все это в основном использовал для приготовления настоек. В общем, как говорится, взял на вооружение рецепты старой медицины.

Когда я вошел к нему в дом, он усадил меня, осмотрел, смазал каким-то снадобьем ссадины, а перед сном дал выпить какого-то зелья, сказав: «Сынок, это тебя успокоит,

это поможет, и это сейчас твоему телу нужно, чтобы в нем наступило равновесие». Слова, по-моему, на меня подействовали гораздо больше, чем снадобье. Мне было приятно беседовать со стариком. Когда мы сели на курпачах в скромном доме Бурибая-ака, где не было европейской мебели, лишь лежали стопками одеяла, а на небольшом паласе был разостлан дастархан с лепешками, сушеными фруктами, сладостями, хозяин угостил чаем и стал рассказывать о своей жизни, о работе, о семье, о том, что волнует каждого человека.

Я не прерывал Бурибая-ака, на Востоке не принято перебивать старших и что-то выспрашивать самому. Но когда выпал удобный момент, я все-таки не выдержал и спросил: «Скажите, пожалуйста, отец, почему в разговоре об аварии вы так часто упоминали могилу Тахира и Зухры? Неужели здесь действительно есть такая?» Старик взглянул на меня с таким удивлением, как будто я пытался отменить ночь или день, самые незыблемые законы, данные нам природой. А затем, немного помолчав, сказал: «Да, сынок, эти двое влюбленных, эти два прекрасных сердца, озарившие своим светом любовь многих миллионов людей, покоятся сейчас здесь, возле нашего кишлака. Если это тебя интересует, я тебе расскажу все, что я слышал от своего отца, а тот — от деда, и так — из поколения в поколение в нашем крае передается удивительная история. Она позволяет нашему кишлаку жить и верить в будущую нескончаемую жизнь. Ибо только в вере сила человека. Без веры в прекрасное и вечное жизнь становится неинтересной, и борьба за нее тогда тоже никому не нужна. Ну вот что, сынок, я тебе поведаю то, о чем знаю сам, — а там уж твое дело, верить или не верить».

Любовь и жажда жизни, любовь и продолжение жизни — вечные сокровища. Эти сокровища движут человеком, его поступками, их бережет, сохраняет и приумножает народ. И если народ их ценит — в этом сила жизни народа. Об этом и поведал мне в тот незабываемый вечер Бурибай-ака, который приютил меня на ночь.

Старик потянулся рукой к стенке и снял с гвоздика дутар. Дутар был невзрачный, небольшой, казавшийся каким-то замасленным, сделанный, может быть, и не этим стариком, а его отцом, дедом или прадедом, бывший, может быть, семейной реликвией дома. Возможно, под звуки этого дутара ту же легенду, то же предание о Тахире и Зухре поведал Бурибая-ака его отец, может быть, та же музыка вдохновляла на рассказ и его деда, и прадеда. И как было изумительно и чудесно слушать это передающееся из поколения в поколение сказание из уст старого Бурибая-ака.

Он сел, скрестив ноги, как сидели и его предки, и своим хрипловатым старческим, но все же благозвучным голосом запел:

«Поет бахши для молодой страны
Сказания далекой старины.
Его дутар, векам ведущий счет,
Большую песню о любви поет».

Пропев эти строки, старик посмотрел на меня многозначительно, отпил глоток чая из пиалы, а затем, склонившись к дутару, произнес следующее четверостишие:

«Родилась дочь у шаха Бабахана.
Краса ее была благоуханна.
И люди то сокровище земли,
Ту девочку Зухрою нарекли».

Старик помолчал, всмотрелся в темное окно, которое было проемом в тот мир, из которого мы с ним вошли сегодня сюда, где с грохотом перевернулась наша машина, где бегали люди с факелами, а сейчас за стеклом была темнота, и жизнь продолжалась в тиши. И старик, словно осмыслив в молчании появление на свет прекрасной дочери земли Зухры, продолжил свою песню:

«Родился сын у визиря Бахира,
Он был прекрасней всех младенцев мира.
На званный пир придворные пришли
И мальчика Тахиром нарекли».

Пропев это, старик посмотрел на меня и сказал: «Вот так, сынок, рождаются на свет все дети. Все дети хотят быть счастливыми. Все родители мечтают об их счастье, хотя порой ради счастья своих детей они делают несчастными чужих. Жизнь многолика. Поступки любящих родителей тоже могут нести добро, и они делают его не только своим детям, но и детям чужим. Цена поступка — это добро. Слушай, сынок, какую клятву дали однажды родители, обрадованные рождением детей:

Когда бездетны шах и визирь были,
Детей у бога жалобно молили.

И дали клятву вместе их растить,
А после меж собою поженить.

Да, клятва родителей... Клятва людская, она не всегда выполняется. По-разному относятся люди к своим клятвам. Одни клянутся быть верными, другие клянутся быть честными, третьи клянутся быть смелыми, четвертые клянутся... Но клятвы не всегда соблюдаются. Потому что, зная, кто дает клятву, можно заранее сказать — выполнит ли он ее. Когда клянется себялюбец, клятва его никогда не сбывается, если в ней он желает добра другому. Если клятву сделать народ счастливым дает правитель, который думает в первую очередь о себе, о своем благе, об утверждении собственной личности, никогда такой правитель не сделает счастливым народ. Но претворение клятвы в жизнь зависит не только от того, кто дает клятву. Многое зависит от того, кто ее слышит, того, кто должен сделать эту клятву жизненной правдой. Хан Бабахан дал клятву, но соблюсти ее этот алчный, корыстный правитель не мог, так же, как свои клятвы не соблюдали и подобные ему правители прошлых времен... Ну а если, сынок, говорить о Тахире, то в его судьбе роковую роль сыграла смерть отца...»
Произнеся эти слова, певец продолжил сказ:

«Но умер визирь, а неверный шах
Промолвил:
— В смерти волен лишь аллах.
А я, султан, вершу над миром власть,
И волен я обратно клятву взять.
Бахир — из рода Карачаев хан.
Тахир — такой же, как и он, цыган.
Зухру свою я не отдам ему,
Бездомному кочевнику тому.

Вот видишь, как поступил этот несчастный правитель. Обманщик, он нарушил свою клятву, он нарушил обет, данный своему другу. Но эта клятва для него не стоила ничего, потому что он сам тоже не стоил ничего. Но дети росли. Росла Зухра, рос Тахир, они играли вместе, не зная, что над ними навис приговор судьбы... Влюбленным суждено было пройти испытания: испытание на верность, испытание их права на любовь. И Тахир оказался не из слабых людей, он был сильным юношей, чистым, светлым, настоящим рыцарем...»

И в подтверждение этих слов старик пропел еще один стих — слова Тахира:

«Мне в горе нет улады без тебя.
И сколько б я ни исходил дорог,
Все приведут меня на твой порог...»

Это была клятва Тахира, клятва в верности своей возлюбленной. Эти слова прозвучали в устах старика страстно, словно то была его собственная клятва, будто он клялся в верности правде жизни. Это настолько сильно на меня подействовало, что я сам как-то внутренне прочувствовал не только силу клятвы Тахира, не только силу клятвы старика, но силу и правду самой жизни. Старик горестно, прочувствованно опустил голову и, уже преобразившись, продолжил песню, аккомпанируя себе на дутаре. Это были слова Зухры:

«Зухра в ответ:
— Душа моя горит,
На твой огонь, как мотылек, летит.
На свете нет мне друга без тебя.
От скорби нет досуга без тебя.
Мы до рождения обручены.
Мы друг для друга оба рождены.
И пусть отец нарушил свой обет,
Обет любви он не нарушит, нет...»

Да, слова эти вечны, как жизнь. Не раз они звучали в юных устах. Мы знаем, что подобные слова произносили и Ромео и Джульетта, и Лейли и Меджнун... Этим словам в устах Тахира и Зухры суждено было обрести вечность. Для нас, живущих сегодня, это яркий символ преданности человека человеку, чистоты помыслов и всецелия клятвы. Человек, дерзнувший на великое дело — а любовь иным и нельзя назвать, — он никогда не думает о том, каков будет исход его дерзания, принесет ли он ему выгоду, не грозит ли беда человеку, который приносит такую клятву.

Закон жизни гласит, что вечным становится только то, что достойно уважения. Любовь порождает разум, разум порождает любовь, в этом и заключена сила вечности. Эпос донес до нас повесть о тех испытаниях, которые пришлось перенести Та-

хиру во имя любви. Тахир стал для нас олицетворением любящего, олицетворением стойкости любви.

Эпос рассказывает, что хан Бабахан решил расправиться с Тахиrom и приказал посадить его в сундук и бросить в волны реки. Когда Бурибай-ака запел о страданиях Тахира, на его глаза навернулись слезы, а голос зазвучал еще прочувственней:

«Волна седая над волной встает,
А среди волн большой сундук плывет.
Тахир во тьме, он связан, словно раб.
От бури, от кручины он ослаб.
Вот волны подняли сундук и вот
В бездонный мчат его водоворот.
Большое было море, без конца.
Швыряли волны бедного пловца...»

Старик пел о страданиях Зухры, повествовал о том, что она не поддалась ни на угрозы, ни на угрозы отца, ни на сладкие слова красавца шаха Кара-Бохадыра. Она была верна своему возлюбленному Тахиру, она знала, что наступит день желанной встречи.

Однако волны прибили сундук к берегам другого края, где юная и красивая, но жестокая царица, увидев прекрасного юношу, стала его обольщать.

«Она сейчас же посылает слуг.
Чтоб выловить диковинный сундук.
Встречает гостя на своем дворе,
А гость рассказывает о Зухре...»

Это приводит молодую царицу в гнев, и она тоже угрожает Тахиру...

Судьба долго играла юными влюбленными, прежде чем они вновь встретились на своей родной земле. Но им снова грозила разлука. Шах Бабахан надменно заявляет Тахиру:

«Безумец! Предо мной склонись!
От своеволия отрекись!»

А Зухре говорит:

«Несчастливая! Забудь Тахира,
Иди за Кара-Бохадыром.
Пред волею отца склонись,
От нечестивца откажись...»

В жизни часто бывает так, что перед угрозами человек пасует. Но не Тахир и не Зухра. В этом было их величие, в этом была сила их любви. Влюбленные без страха слушали речи шаха Бабахана, даже когда гнев его перешел все пределы и он, топая ногами, закричал им:

«Не подчинитесь, вас убью,
По капле вашу кровь пролью...
Они взглянули друг на друга
Без колебаний и испуга.
Тахир ответил твердо:
— Нет!
Зухра сказала гордо:
— Нет!»

Старик пел об угрозах шаха с таким чувством безысходности, словно опасность нависла над ним самим. А поведав о величавом ответе влюбленных, певец умолк, судорожно сглотнул, подкативший к горлу комок мешал ему продолжать сказ. Оторвавшись от дутара, он тяжело вздохнул. Было видно, как глубоко переживает этот человек трагедию, происшедшую с легендарными Тахиrom и Зухрой. Глядя на него, я тоже проникся состраданием к молодым влюбленным, как будто их судьба вершилась сейчас, вот здесь, в этой маленькой глинобитной комнатке, в этой реальности, перед этим темным оконным проемом, за которым была жизнь не пятнадцатого столетия, а нашего двадцатого века, где только что произошла эта ужасающая дорожная катастрофа.

Старик еще раз вздохнул и, горестно взглядевшись в ночь, сказал: «Вот недавно, сынок, с тобой там случилось несчастье. Перевернулся ваш автомобиль, и вы чудом остались живы. Но в те далекие года на том же самом месте случилась страшная беда — от руки врага пал влюбленный Тахир.

Ты уже слышал от меня о визире Бахире, который служил хану Бабахану. Служил

он ему верно, честно, до конца, и отдал за него жизнь. Но такова сущность всех алчных правителей — как бы преданно им ни служили, они не в состоянии оценить истинное благородство...

Так вот, визирь Бахир был родом из наших мест. Недалеко отсюда, ближе к Карши, есть кишлак Ханабад, в переводе — «ханская ставка», место, где жил хан. В том кишлаке и родился Бахир. Там когда-то обитали племена, откочевавшие сюда из Индии. Их за темный цвет кожи называли цыганами. Вот потому-то Бабахан с презрением говорил, что, раз цыган умер, он не обязан держать данное ему слово. Но друзья и земляки визиря Бахира помнили клятву Бабахана, и когда себялюбивый шах изменил клятве и стал угрожать юноше, они решили спасти Тахира, выволить его из темницы, вырвать его из рук палача. Тайно приехав в столицу ханства, темной ночью они освободили Тахира и предложили ему вместе с ними бежать из этой страшной страны. Но Тахир ответил им: «Друзья! Я благодарен вам за освобождение. Но для меня нет ни свободы, ни жизни, пока рядом со мною нет моей возлюбленной Зухры. Помогите мне выволить ее из шахского дворца, чтобы мы могли вместе с ней уехать в мои свободные родные края». Друзья вняли мольбе Тахира, но уговорили его немедленно уехать и ждать на родине, пока они освободят его возлюбленную и с нею явятся в дом Тахира, в Ханабад. Тахир со своими друзьями отправился в путь, а небольшой отряд вернулся к шахскому дворцу, где жестокий отец держал в заточении свою дочь.

Через несколько дней, когда Тахир был уже здесь, почти у себя дома, на том же самом месте, сынок, где с вами случилась авария, его настиг с большим войском жестокий Кара-Бохадыр, и между ними завязалась битва. В этом неравном бою Тахир был смертельно ранен.

А его любимая Зухра была уже близко. Ее спутники, те, что освободили девушку из заточения, узрев мощь врага и тревожась за Зухру, не решились ввязаться в сражение. Но когда она увидела, как ее возлюбленный, истекая кровью, упал на горячую, раскалившуюся под солнечными лучами землю, она, презрев опасность, бросилась к нему. Приподняв голову Тахира и положив ее к себе на колени, девушка нежно шептала: «Любимый мой, любимый мой, я здесь, я здесь, твоя Зухра...». Как ни тяжелы были раны Тахира, он все же почувствовал близость возлюбленной и, открыв глаза, преодолевая страдание и саму смерть, тихо заговорил:

Тахир сказал: — О друг моей души!
Еще со мною рядом подыши.
Еще со мною рядом пострадай.
И от меня очей не отрывай.
Пока живу, мне силу в грудь вдохни.
Когда умру, меня похорони.
Но саламандра не горит в огне.
И нам не страшно — ни тебе, ни мне...

Сколько силы было в этих словах! — отрываясь от дутара, сказал старик и вновь поглядел на темный проем окна, — сколько силы, отваги и мудрости было в этом юноше. Именно поэтому он живет и посейчас в наших душах. Тахир бессмертен для нашего народа...

Тахир умер, его похоронили на том самом месте, где он сражался с Кара-Бохадыром. Но Зухра не могла вынести разлуки. На рассвете следующего дня она надела белое платье, красиво заплела свои косы и направилась к могиле Тахира...»

Снова зазвучал дутар, и старик, горестно прикрыв глаза, запел:

«Она к могиле друга подошла.
Она кинжал над грудью занесла.
И было некому ее за руку взять,
Помочь в беде, от смерти удержать.
Зухру водою розовой омыли
И около Тахира схоронили...

Эта вечная, прекрасная история любви живет в нашем народе уже пять веков, передается из уст в уста и придает народу силу...»

И Бурибай-ака завершил свой сказ такими стихами:

«О чем еще? О том, что Бохадыр
Недолго жил и, оставляя мир,
Он завещал:
— Пусть труп холодный мой
Между Тахиром ляжет и Зухрой,
Чтоб эти двое и в земле страдали,
Чтоб друг о друге вечно горевали.
Прошли года. И новою весною
Куст белых роз поднялся над Зухрою.

Куст красных роз поднялся над Тахиром.
А над жестоким Кара-Бохадыром
Уродливый репейник поднялся».

Старик окончил свое повествование и замолчал. Ничего не говорил и я, не хотелось нарушать эту благородную тишину. Размышления наши, одухотворяя этот дом, уносились сейчас к Тахиру и Зухре...

Я и раньше слышал эту трагическую историю и знал, что она записана поэтом Сейиди в Бухаре, в шестнадцатом веке. Но вариант легенды, который поведал мне тогда в своем маленьком глинобитном домике аксакал Бурибай-ака, я слышал впервые...

На следующий день с рассветом мы все, потерпевшие вчера аварию, словно сговорившись, встретились около нашей разбитой машины. Стояли и с запоздалым страхом смотрели — что же осталось от нашего автомобиля? Горка металла. И еще острее стала мысль о том, что никто из нас серьезно не пострадал и все мы живы. Рядом с нами был и Бурибай-ака.

Место происшествия оказалось действительно, как и говорил нам водитель, ровным, никаких поворотов, отрезок асфальта без единой выбоины, словом, ничто не предвещало, что здесь может произойти авария. И тем не менее, искореженная машина лежала на обочине дороги.

Осмотревшись, немного придя в себя, я попросил Бурибая-ака показать, где же все-таки находится могила Тахира и Зухры. И старик повел нас всех назад, в сторону Шахрисабза. Пройдя небольшое расстояние, мы еще издали увидели огромный холм, а на нем — заросли кустарника высотой примерно с двухэтажный дом.

Подойдя к этим зарослям, я остановился, присмотрелся. Действительно, здесь росли непролазная колючка, ошетилившиеся кусты, примерно такие, какие можно было себе представить, слушая об уродливом растении над могилой жестокого Кара-Бохадыра. Я попытался пройти и посмотреть, что же там, за этими колючими кустами, чтобы воочию увидеть могилу Тахира и Зухры, но сделать этого не смог. Колючки стояли очень плотно, сцепившись друг с другом, шипы были огромные, и нигде не было видно просвета. И я удовольствовался тем, что обошел вокруг этого кургана, поросшего кустарником, и посмотрел на него со всех сторон — и везде были заросли колючки. Лишь где-то на вершине холма просматривался островок, и на нем мне почудился алый блик — роза на могиле Тахира, и белые блики — цветы над могилой Зухры. А вокруг — колючая непроходимая стена. Все, как в жизни. Вокруг благородства и любви стоит суровая проза жизни, суровая и жестокая жизнь, которая не позволяет забываться в блаженстве, которая напоминает, что за право быть любимым, за право быть свободным нужно бороться, постоянно бороться.

Когда я обогнул курган и снова вернулся на дорогу, меня там поджидал Бурибай-ака. Он стоял и о чем-то по-стариковски размышлял, но, увидев меня, спросил: «Ну как, сынок, убедился, что здесь могила Тахира и Зухры?» Я не стал разубеждать старика, хотя прекрасно понимал, что это лишь легенда, но если она и сегодня сохранила жизненную силу, так пусть живет. Словно прочитав мои мысли, старик сказал: «Я вижу, ты не веришь мне. Ну тогда посмотри вон в ту сторону. Видишь, рядом с могилой Тахира и Зухры растет одинокий карагач?» Я посмотрел туда, куда указывал старик, и действительно увидел карагач. «Так вот, если это легенда, как ты говоришь, — укоризненно сказал старик, хотя я ничего ему и не говорил, — то вон там — действительность. Это дерево в годы войны посадил старейшина нашего кишлака Максум-бобо.

А случилось это так. У одной из самых красивых и добрых наших женщин погиб на фронте молодой муж, и звали его, как и легендарного влюбленного, Тахиром. У нас большинство мужчин носит это имя, потому что родители очень любят называть так своих сыновей. Так вот, Тахир погиб на войне, а жил он со своей молодой женой не больше года. И Бибигуль, убитая горем после того, как получила «черное письмо», не находила себе места. Днем и ночью она тосковала о своем любимом, погибшем очень далеко от родных мест. И кто-то из наших земляков, видя, как мучается и тает на глазах Бибигуль, посоветовал ей: «Сходи, вдовушка, к старейшине нашего кишлака Максуму-бобо, и он тебе подскажет, как дальше жить».

Молодая женщина пришла к Максуму-бобо, он по-старчески пожалел ее и сказал: «Доченька, я знаю о твоем горе. Мы все скорбим о наших героях, которые легли на поле боя. Беда у тебя двойная, оттого что ты не видела, как погиб твой муж, не знаешь, где он похоронен, где лежит его прах. Так вот, чтобы облегчить твою душу, давай пойдем с тобой к могиле Тахира и Зухры и посадим дерево около той святой могилы». И старейшина кишлака взял молоденький побег карагача, кетмень, ведро с водой и пошел вместе с Бибигуль к этой могиле. И вот здесь в сорок четвертом году Максум-бобо посадил карагач, полил его водой и сказал: «Вот теперь, доченька, ты можешь каждый день приходить на это место и оплакивать своего мужа».

С того самого дня Бибигуль встречала каждый восход солнца у этого карагача, оплакивая своего любимого Тахира. Все в кишлаке знали об этом. Этот карагач у нас называют карагачем Тахира, за ним любовно ухаживают, поливают его. А если вы придете сюда в День Победы, девятого мая, то вы увидите здесь множество цветов. Живые цветы растут на могиле Тахира и Зухры, цветы ложатся и под этот карагач, карагач памяти о всех тех, кто ушел из кишлака воевать и не вернулся к себе домой.

Вот вам истории — о могиле Тахира и Зухры, что жили пятьсот лет назад, и о Тахире, который жил в нашем кишлаке в середине двадцатого столетия и отдал свою жизнь в боях за отчий дом, за свободу Родины».

И хотя история, которую рассказал мне Бурибай-ака, была грустной, но оттого, что человеку так дорога память о великой любви, история эта обогрела мою душу, и мне невольно тоже захотелось, стоя здесь у дороги, поклониться и могиле Тахира и Зухры, и этому дереву жизни, которое несет в себе память о сыне этой земли, погибшем на чужбине.

Так и покинул я в этот день место, которое называют могилой Тахира и Зухры, в раздумьях о том, как живет легенда о прекрасной и мужественной любви в сознании народа. Может быть, жизнь эта истинна, и не стоит допытываться, соответствует ли эпос исторической правде. Если народ считает, что это могила Тахира и Зухры, — пусть это будет так, никто этого отменить не вправе...

А рядом была вторая действительность — место, где часто случались аварии, катастрофы, где автомобили вдруг ни с того ни с сего прекращали свой бег по асфальтовой дороге. И никто не знал, в силу чего это происходит. Одни говорили, что здесь магнитное поле, которое как-то влияет на мотор. Другие говорили, что это дух Кара-Бохадыра губит водителей. Третьи говорят, что сама жизнь диктует — не нужно спешить в жизни, не нужно мчаться на бешеной скорости мимо могилы Тахира и Зухры, а обязательно следует сойти и поклониться праху влюбленных. И тогда можно спокойно ехать в том направлении, в котором ты держишь свой жизненный путь...



Л. Левина

НАЧАЛО ЛИ ПЕРЕМЕН?

В январском номере «Звезды Востока» за 1985 год была напечатана статья, в которой делалась попытка осмыслить работу альманаха «Молодость». С одной стороны, отмечались определенные достижения (в частности, работа по консолидации творческой молодежи республики). С другой — предьявлялся серьезный счет редколлегии за мелкотемье и художественную беспомощность многих публикаций. Общий вывод сводился к тому, что без серьезного увеличения требовательности, сочетающейся, разумеется, с доброжелательностью, альманах не может далее выполнять свои функции на должном уровне.

Нет, полагаю, нужды говорить о том, сколько нового внесло минувшее с тех пор время в жизнь нашего государства в целом и в литературу в частности. Понимаю, что ждать мгновенных изменений было бы неразумно. И все-таки...

К сожалению, альманах, адресованный преимущественно молодым, не пользуется у них успехом. Опрошенные десятиклассники, например, со всей прямотой юности отрецензировали «Молодость» одним словом: «Неинтересно». Страшное для печатного органа слово... И, прямо скажем, не вполне справедливое: ведь сколько одаренных людей печатаются на ее страницах! Но почему же все-таки — «неинтересно»? Взглянем на альманах глазами потенциального читателя.

Материалы 16, 17 и 18 выпусков альманаха дают возможность составить представление об уровне издания. Несколько слов о структуре книжечки. Открывается каждый выпуск рубрикой «Беспокойной юности полет», которая, по-видимому, задумана как публицистическая. Далее следуют «Наши дебюты», где печатаются начинающие. Имеется прекрасный по замыслу раздел «Содружество», где молодые авторы, пишущие на языках народов нашей страны (преимущественно на узбекском), предстают в переводах своих русскоязычных товарищей.

Не менее хорош и замысел раздела «Эстафета». Здесь публикуются произведения давних авторов альманаха, которые как бы передают эстафету новому поколению. Сами за себя говорят «Путешествия, приключения, фантасти-

ка», «Молодость — детям». «Это — Родина моя», «Веселый Пегас». Периодически появляется заслуживающий всяческого одобрения раздел «У нас в гостях» (альманах принимает на своих страницах молодых авторов того или иного города Узбекистана), а также «Наш вернисаж», который должен знакомить читателей с творчеством молодых художников, скульпторов. Кроме того, в отдельные разделы выделены «Поэзия» и «Проза». Все разделы воспринимаются как необходимые составные единого целого. Посмотрим, однако, каково содержание каждого...

Рубрике «Беспокойной юности полет» недаром предоставлена честь открывать альманах: она призвана задавать тон всему выпуску. Именно здесь, надо полагать, должны публиковаться наиболее острые и актуальные материалы, напрямую связанные с проблемами сегодняшнего дня. Здесь должны сталкиваться разные точки зрения по всем интересующим читателей вопросам. Пролитаем, однако, три книжки одну за другой...

Рассказ В. Кима «Дом начинается с угла» (рассказы о первом наставнике) — бесспорная удача и автора, и альманаха. Речь в нем идет о молодом парнишке, который хочет стать настоящим каменщиком. Хорошо раскрыта проблема взаимоотношений мастера и подчиненных, интересно передан азарт труда. Рассказ этот мог бы украсить раздел прозы, не очень богатый, как мы увидим, но здесь он, по-моему, не совсем на месте. И уж совсем непонятно, почему именно в этом разделе оказались стихи А. Туляганова. (О них речь пойдет ниже). Слабоватая поэма Л. Егоровой о строительстве города Навои вряд ли привлечет внимание читателя, а очерк Н. Исмаилова «Он защищал «Дом Павлова» лишь компрометирует тему. Единственный материал, соответствующий профилю рубрики, — неплохой очерк Р. Мухаметзянова «На Ивановской земле». Трудно поверить, но это все на три выпуска. Чем же может привлечь к себе рубрика, ведущаяся столь безынициативно? Какие мысли она пробудит у читателя? Куда позовет?..

«Наши дебюты» — бесспорно, один из ответ-

стеннейших разделов «Молодости». Здесь особенно велика роль редактора, его заинтересованность в поиске новых талантов. Хотелось бы думать, что такой заботливый поиск ведется в масштабах республики. Думаю, нет большой беды, если порой публикуются дебютанты, одаренность которых пока проблематична: известно, каким сильным импульсом для развития таланта является сам факт публикации.

Следовало бы редакции более торжественно «обставлять» появление каждого нового автора. Сделать это не так уж и трудно: надо просто восстановить добрые традиции, которые существовали в первых выпусках альманаха. Тогда непременно давалась фотография новичка (приятно вспомнить, какие славные полудетские лица смотрели со страниц альманаха на читающего), информация о дебютанте. Сейчас же биографические сведения, даже если они имеются, сильно смахивают на выписку из протокола. Но самое главное — дебютант должен получить возможность проявить себя. Сделать это, если публикуется всего одно стихотворение, невозможно. Между тем многие участники «Наших дебютов» представлены лишь единственным поэтическим текстом.

Общее впечатление от публикаций дебютантов неплохое, хотя некоторая неровность проявляется в том или другом виде практически у всех. В стихотворении Е. Пташкина «Тихо все» значима каждая деталь, каждый эпитет обретает неповторимость, а «Мартовское» — шутка, явно неудавшаяся. Посвященное драме семейного разрыва стихотворение В. Еделькина несколько подпорчено назидательностью. Часто авторам мешает стремление «быть голосом, выглядеть мужем приметным, как знамя на крыше». Боюсь, как бы это желание «выглядеть» не повредило, в частности, автору процитированных строк В. Ли. Его метафора, на которой построено стихотворение «Сквер революции», все-таки весьма и весьма натянута.

Вариант такого стремления — жажда выразить свою мысль «покрасивше». В минимальной степени сталкиваемся с этим у Е. Михайловой, автора неплохих стихов (пожелаю ей, однако, вкладывать в них больше труда), гораздо сильней оно у А. Каримова и пышным цветом цветет у П. Сулоева. Вот одна из пяти жутко красивых строф, составляющих его стихотворение:

Прелестные гонцы миров, (звезды — Л. Л.),
Они своим холодным светом
Пленили множество умов,
Влекли божественным заветом (??? — Л. Л.);

заканчивается эта абракадабра, между тем, самым актуальным манером:

Как чист и ясен небосвод,
Нет гроз, спит мирная планета.

Уж не говорю про бузину в огороде и дядьку в Киеве, но где это автор увидел «мирную планету»?

Для завершения разговора о поэтических дебютах я припасаю лучшее: Л. Старцева, Д. Абидова. Единственное стихотворение Старцевой не только по названию, но и по интонации, ритму, лексике — песня. Вот хотя бы зачин:

От голоса народной песни
Душа ромашками цветет.
Про все-то в жизни ей известно —
Что было, есть и что грядет...

Д. Абидова чувствует слово, хорошо выстроены обе ее стихотворения. Оба — про любовь. Но как они различны! В одном — мужская страсть, азарт. В другом — женственная мягкость, достоинство. Вот отрывок из «Песни джигита». Юноша мчится к возлюбленной:

О-о-эй!
Стучите, звонкие копыта!
Трава во сне росой примята.
Любимой косы пахнут мятой
И опьяняют кровь джигита!

Ах, как проигрывает строфа, вырванная из контекста! А вот — вторая:

Все просят золотую рыбку
Послать успех, послать удачу.
А мне свою найти бы скрипку.
Пусть засмеется и заплачет.
Почую струны в нервах чутких
И проведу по ним смычком,
Чтоб ты открыл меня, как чудо,
В себе самом, в себе самом.

Рискуя злоупотребить цитированием, все-таки приведу еще две строки. Дело в том, что в последней строфе рефрен неожиданно трансформируется, поворачивая тему новой гранью:

И я найду тебя, как чудо,
в себе самой, в себе самой.

Читаю стихи дебютантов и размышляю: когда же мы снова увидим Старцева, Абидову, Гайтана, Михайлову на страницах «Молодости»? Думаю, одаренные дебютанты должны иметь в своем печатном органе режим наибольшего благоприятствования — право выступать регулярно (конечно, мера требовательности к авторам будет возрастать по мере их поэтического созревания). Ведь возможность регулярно печататься — залог нормального творческого развития. Сейчас, к сожалению, чаще бывает иначе. Один пример. В 17-м выпуске напечатаны стихотворения тогдашних школьников Ани Ртвеладзе и Миши Гронаса. Не целесообразно ли было опубликовать стихи этих бесспорно одаренных дебютантов и в 18-м? Ведь в таком возрасте формирование личности идет наиболее интенсивно. И потребность выразить себя — также. Но их имен нет не только в 18-м, но и в 19-м выпуске...

Рубрика «У нас в гостях». Выпуск 16-й — гости из Самарканда. Выпуск 17-й — гости из Ангрена. Конечно, превосходно, что в двух выпусках подряд тахтентская творческая молодежь встречается со своими ангренискими и самаркандскими коллегами. Но радость гаснет, как только открываешь страницы, отвеженные дорогим гостям. Надо ли убеждать кого-либо, насколько важна для литобъединения того или иного города возможность, так сказать, людей посмотреть и, что еще важнее, себя показать? Дело это требует серьезнейшей подготовки и от хозяев, и от гостей. Однако трудно представить, с каким безразличием отнеслись хозяева «Молодости» к своим гостям, живущим вдали от столичных издательств. Нет не только хотя бы краткого вступительного слова о том, что собой представляет объединение, — нет даже самых элементарных сведений о выступающих авторах. Удивляет и число прибывших: по три человека от каждого города. Достаточно ли этого, чтобы у читателей альманаха создалось представление о том, чем живут их друзья?

Между тем, стихотворцы из Самарканда

привезли неплохие стихи. В работах же ангренцев, которые были, очевидно, делегированы своим литобъединением, преобладают атрибуты банальной псевдопоззии. Впрочем, есть одно исключение — стихотворение Ю. Краева «Зрелость». В нем и поэтическая мысль серьезна, и написано оно хорошо. Цитирую отрывок:

Как вздох ребенка,
воздух чист и свеж,
вода в ручье, что помысел, — прозрачна.
И в жизни б нам
вот эту однозначность
в канун тревог, раздумий и надежд...

И сколько б в жизни не было дорог,
у этой посиди неторопливо
единственной
и до конца нежной
тропы надежд, раздумий и тревог.

Но, разумеется, даже хорошие стихи не могут заменить встречу, которая анонсирована в заголовке рубрики. Такие, с позволения сказать, «встречи» могут лишь скомпрометировать прекрасную идею (которая прежде реализовывалась не раз вполне достойно), разочаровать читателя...

Особую роль призвана играть в структуре альманаха рубрика «Содружество»: в творческом единстве выступают молодые авторы и молодые переводчики. Надо ли говорить, как полезно такое сотрудничество, конечно, при условии, что и оригиналы, и переводы выполнены на достаточно высоко идейно-художественном уровне.

Проза «Содружества», увы, оставляет желать лучшего. Слабенький рассказ Э. Сиддикова, «Самая лучшая песня» Я. Рахимовой, напоминающая сочинение на заданную тему, «Миниатюры» М. Махмудова, лишенные сколько-нибудь заслуживающей внимания мысли.

В отличие от названных авторов, Ш. Атабаев и А. Саидов взяли за серьезные темы, но, к сожалению, не сумели достойно с ними справиться. Атабаев пытается показать драму человеческого одиночества. Однако персонажи проходят серыми тенями, поверхностен и анализ внутреннего мира главного героя. Доброкачественный перевод Г. Немирок положения не спасает. Малограмотный же перевод З. Наджатовой усугубил и без того очевидные слабости рассказа М. Саидова «Убай-муаллим», посвященного важнейшей теме борьбы за честность и социальную справедливость.

К сожалению, слишком часто нарушается тандем — молодой автор — молодой переводчик, а маститые переводчики далеко не всегда избирают тексты, действительно достойные перевода, и достойно их переводят. Р. Фархади, например, счел возможным перевести стихотворение Т. Низама «Душа — это море», которое, если судить по переводу, представляет собой набор расхожих поэтизмов. Рефрен — «Душа моя — невиданное море» (не правда ли, какой свежий образ?). В этом море «гулко поет» радость и «стонет горе». «Корабль моей мечты» (не менее оригинальный образ) плывет в «мерцающем просторе», волны, конечно же, «громогласны и круты». Тут же «мелькает чайка белая во зоре» (?? — Л. Л.), а концовка умилительно простодушна: «И это — вдохновение мое».

К счастью, в «Содружестве» немало хороших поэтов и переводчиков. Неплохое впечатление производят стихи Х. Аскара (пер. В. Новопрудского), М. Кушмакова (пер. К. Аксенова), а также

большая подборка Н. Останова (пер. В. Давыдова). Трогательны стихи «Город и кишлак» и «После дождя» З. Эгамбердиевой, пронизанные искренней привязанностью к своей земле (пер. Н. Былиной). Два ли не лучшими мне показались стихи Х. Даврона «Случалось видеть вам, как плачут кони?», которые завершаются следующим трехстишием:

И мне бы плакать так, как плачут кони,
и если по земле скучать — как птицы,
надеяться — как дерево — на корни.
(Пер. И. Бяльскогб)

Радует, что в «Содружестве» помещены переводы стихов и с уйгурского (Г. Салиховой), и с еврейского (М. Рианта), и с армянского (М. Маргаряна). Немаловажно и то обстоятельство, что с ташкентскими авторами соседствуют поэты Самарканда, Коканда, Андижана. Особенно удачна подборка А. Юнусова из Самарканда. Цитирую размеренное, неторопливое начало его стихотворения «Кузнец»:

В старой кузне,
Года за спиной забывая,
Самых нужных вещей
терпеливый творец,

Круглый год лемеха
и серпы создавая,
Нескончаемо трудится
старый кузнец.

(Пер. Ю. Александрова)

«Содружество», я бы сказала, переполнено именами. Не могу понять, почему при таком изобилии нельзя было отказаться от публикации вещей, слабость которых очевидна.

Раздел «Путешествия, приключения, фантастика» дает поистине, казалось бы, необъятные возможности для привлечения читательского интереса. Но что на деле предлагается читателю, в распоряжении которого великолепный многотомник мировой фантастики, завлекательнейшие сборники детективов и т. п.? Предлагается, к сожалению, за небольшим исключением, нечто весьма малоинтересное.

Удача в этом разделе, как мне кажется, всего одна: это фантастический рассказ В. Нечипоренко «Пересечь дорогу». Неожиданный сюжет захватывает, как отличный детектив (хотя это меньше всего детектив). Это рассказ о человеческих возможностях, о силе духа. Даже когда уже знаешь, так сказать, «чем кончилось», интерес не исчезает: при повторном чтении открываешь немало того, что в первом не заметил. Интересно задуман и рассказ В. Дюева «Брызги вечности». К сожалению, автору не хватило умения справиться с философской проблемой вечной жизни человека, лежащей в основе рассказа.

Вот и весь раздел. Позвольте, а где же обещанные приключения, путешествия и прочее? Ничего похожего нет и в помине.

Огорчительно беден и раздел «Это — Родина моя». Даже столь обязывающее название не побудило «Молодость» обеспечить его достойными материалами. А ведь, казалось бы, само название открывает перед редакцией широкие горизонты: можно писать про сегодняшний день и про историю; про людей и про окружающую среду; про старинные памятники культуры и про сегодняшнее строительство. Те очерки, которые публикуются в разделе, сами по себе не вызывают возражения: и очерк В. Соснина о Гиссарском заповеднике, и «Рассказы натура-

листа» О. Богданова написаны неплохо. И тем не менее, когда все это прочтываешь, возникает отчетливо ощущаемая неудовлетворенность: от рубрики с таким названием ожидаешь большего. Кстати, все опубликованные здесь рассказы вполне могут быть соединены с предыдущим разделом: ведь они в немалой степени о приключениях и о путешествиях. Может быть, слить две рубрики в одну?

Небольшой раздел «Молодость — детям» по качеству материалов, пожалуй, наиболее благополучен. Цикл рассказов О. Крупенья «Ты, да я, да мы с тобой» придется по вкусу тем, кому он предназначен. Здесь и понимание детской души, и умение несколькими штрихами нарисовать характер.

Юмором осыпаны и стихи А. Березовского, в стихотворении «Браво, повар!» с таким упоением изображается труд повара, что каждому, наверно, захочется работать так же здорово. По-разному будут интересны детишкам и их родителям миниатюры Э. Забегаева. Жаль только, что его «Саксаул безлистый» пострадал от некоторой назидательности. Это бич детской литературы испортил и рассказ Новичкова «Рахмат и Ташмат» (к счастью, милые и остроумные коротенькие стихи Новичкова не пострадали), и непритязательный стишок А. Пулатова. Довольно удачна вариация на тему «Репки» Р. Тэлля.

Материалы, печатающиеся в «Веселом Пегасе», скорее способны усыпить читателя, нежели развлечь его. Скучен рассказ В. Талибова «Коллекционеры» и претендующие на современность тематики «полубасни» В. Комлева. Потуги на актуальность ничего не меняют ни у Кербеля, ни у Тилляева. Даже знаменитый остроумец Ходжа Насреддин, которого призвал к себе на помощь В. Колесников, не только не смог помочь автору, но и сам утратил остроумие и обаяние. Малоудачны стихотворные пародии В. Плетинского и Л. Ветштейна, равно как и прозаические пародии З. Тумановой. Слабоваты юморески М. Кагарлицкого. Понимаю, как дефицитен настоящий юмор, которого и на 16-й полосе «Литгазеты» не всегда хватает.

Раздел «Наш вернисаж» еще не сложился по-настоящему. Но уже и сейчас ясно: необходимы поиски интересных материалов, иначе и этот раздел будет обречен на скуку и серость.

Раздел «Эстафета» чрезвычайно неровен в разных выпусках. Начну с 16-го, в котором «Эстафета», увы, никак не может быть отнесена к числу удач. Между тем ко всем авторам, здесь опубликованным, редакция проявила щедрость, которой больше, пожалуй, нигде нет: Аман Матчан опубликовал, правда, всего три стихотворения, но два из них очень велики. Между тем его стихи, переведенные Е. Евтушенко, оставляют, мягко говоря, желать лучшего. Р. Фархади опубликовал 6 стихотворений, среди них, например, «Навои — город юности»:

Возведен такой красивый
Город на земле моей.
Посреди былой пустыни...
Ты — творение людей!

Ну и далее на том же уровне.

Совсем иная картина открывается перед читателем 17-го выпуска раздела «Эстафета». Авторы, публикующиеся здесь, почти все начинали в «Молодости» или неоднократно печатались на ее страницах. Сейчас они, как правило, имеют немало публикаций в других изданиях, у некоторых вышли книги. Но связи с родным альманахом не теряют. Думаю, не будет пре-

увеличением, если скажу, что все, за небольшим исключением, подборки не уступят стихам, печатающимся в центральных журналах.

Для авторов этого поколения характерно стремление к осмыслению и собственной жизни, и жизни вообще, подведение, так сказать, первых «предварительных итогов», если воспользоваться выражением Ю. Трифонова. Ядром поэзии столь разных авторов, как К. Аксенов, Р. Баринский, В. Волоatok, выступает идея всеобщей связи в мире, если это связь добра, труда, человека, природы. Мысль в их стихах развертывается неторопливо, без пустоопорной болтовни.

Шесть хороших стихотворений опубликовал К. Аксенов. Хотя они вполне самостоятельны, их, думаю, можно рассматривать как цикл: они связаны между собой не только тематически, но и единым настроением, и микрочастицами метафор.

Верлибру отдавал предпочтение рано ушедший из жизни физик-атомщик А. Туляганов. Три его стихотворения, опубликованные в альманахе, — серьезные размышления о человечности, о страшном лике войны, о нерасторжимости человека и земли:

Наши вынужденные скольжения по земле
и полеты над ней
изначально тщетны,
потому что исходят из стремления
зацепиться за землю навечно.

Вообще нельзя не отметить, что авторы ищут новые формы выразительности. Интересно работает Ш. Абдуллаев. Он пишет в сугубо современной манере, отказываясь не только от рифмовки и силлаботонических размеров, но даже иногда и от деления текста на строки. Не хотелось бы, чтобы у кого-то возникли подозрения о нетворческом заимствовании чужих или даже чуждых образцов — органичность поэзии Абдуллаева не вызывает сомнений. За ней высокая культура вообще и поэтическая культура в том числе.

Подборка Р. Гумерова, который, как и Ш. Абдуллаев, представляет в «Молодости» «ферганскую школу», интересна, помимо всего прочего, широким использованием образительных средств. Верлибром написано стихотворение «Мой дядя очень любил свою невесту». Внешне нейтральный тон повествования выразительно контрастирует с трагизмом сюжета. Сжато, до аскетизма, состоящее почти целиком из максимально кратких строк стихотворение «Юность двадцатых годов». В совершенно иной поэтической интонации выполнен изящный, не без юмора «Пейзаж».

В 18-м выпуске «Эстафета» представлена всего несколькими именами, среди которых наиболее значительной оказалась подборка В. Новопрудского. В его стихах сплетены высокий настрой и мягкий юмор, глубина мысли и едва прикрытая горечь. «Старый парк...», «Спор», «Трактат о переводе...». Приведу, пожалуй, концовку стихотворения «Стопка пыльных альманахов»:

Что на годы даром сетовать,
Огорчаться седине:
Перемены — не измены ведь
Ни заменам, ни себе.

В числе поэтических удач хотелось бы назвать стихи А. Широной, у которой опубликовано всего три стихотворения, Н. Пановой, Г. Нечаевой, Ш. Ганиева.

Вспомним, однако, что помимо «Эстафеты»

в «Молодости» есть и раздел с названием «Поэзия». Горячо рекомендую всем, кто любит стихи, внимательно прочесть этот раздел в 18-м выпуске. Хороша и большая подборка М. Акчурина, и единственное стихотворение В. Баграмова, стихи Ю. Вологина и В. Тихенко. Вот кусочек из стихотворения Вологина, которое носит несколько странное название «Сиренево». Ни единого слова нет здесь о любви к родине, но каждая строка пронизана этой любовью и нежностью к родному селу:

Сад — сиреневые кудри, кудри белые.
Белизна и та сиреневою сделалась.
Здесь река журчит напльвами свирельными,
Приглядишься — и вода ее сиренева.

Замир Валиев обыгрывает известную пословицу про синицу в руке и журавля в небе, создав умное, тонкое стихотворение, занимающее всего восемь строк:

За сотни километров от столиц,
Среди родных и дорогих мне лиц,
Живу в своем укрономном уголке
С синицею обычною в руке.

И все же неизменно, дважды в год,
Как строчки — отправляется в полет,
Курлыча над землей и надо мной,
Высокий журавлиный строй...

Стихотворение Н. Лукашова «Радость Победы» свидетельствует, что даже после всей нашей превосходной поэзии о Великой Отечественной войне можно сказать свое слово. Ради справедливости отмечу, что есть у Лукашова и не совсем удачные строки. Но они не смогли испортить его мудрого и горького стихотворения:

И когда целовали
Незнакомых прохожих,
Каждый взглядом, словами
Весел был и тревожен:
Не наткнуться б на горе,
На невольную зависть —
В смертном, злом многоборье
Мы живыми остались.

Как видим, поэзия в альманахе достаточно разнообразна. Идеино-тематический строй ее значителен, поэтическая культура высока. Однако, наряду с интересными подборками или отдельными стихотворениями, в «Молодости» вновь публикуются стихи, в которых поэзия подменяется серостью. Претенциозная краснота, переполюющая собственные стихи Пеленягрэ, губит и его переводы. Сочинения А. Колесниковой выглядят пародией на Б. Ахмадулину. Близки к ней и Т. Никитенко, и Г. Одиссонова, и А. Петрова. Приведу в качестве примера стихи А. Петровой:

Этот мальчик...
 Мы вместе росли.
Он уже не вернется сюда
.....
Гаснет солнце...
 И сердце о прошлом щемит.
Лижут волны следы на песке.

Можно ли поверить, что в этих салонных виршах речь идет о юноше, погибшем на Великой Отечественной войне?

Не раз писалось об опасном феномене современной поэзии: распространение стихов, авторы которых литературно грамотны, владеют техни-

кой стиха — но не обладают собственным видением жизни, глубиной поэтического мышления. Не обошло это явление, конечно, и «Молодость». Вот, скажем, вполне нормальное на поверхностный взгляд стихотворение В. Жукова:

Я впитал эту чистую мудрость,
Словно мед из наполненных сот...
Из росы зарождается утро,
Из цветка зарождается плод.

А если вдуматься, то перед нами именно та самая псевдозначительность, за которой отсутствует истинно поэтическая глубина мысли. В какой-то степени грешат этим пороком стихи О. Буркина, М. Чарного. Недостает глубины поэтической мысли и З. Ешмурзаевой: в ее стихах преобладают общие слова и лишь в отдельных строках присутствует живая мысль.

В отличие от поэзии, проза не радует таким разнообразием и высоким качеством. Однако и в прозе немало удач. Рассказ В. Соколова «Продается полдома» — о сложности отношений между людьми. Об одиночестве и беспощадном течении времени. О тончайших, почти ирреальных связях между миром человека и миром природы.

Вместе с тем, этично ли было публиковать этот рассказ в «Молодости» после того, как он был опубликован в «Звезде Востока»?

Свет радости и счастья бьет со страниц отрывка повести А. Гожко «Парад, смирно!». Место действия — Красная площадь. Действующие лица — молодые солдаты, которые через несколько минут примут участие в военном параде. Поздняя осень. Идет мокрый снег. А на страницах повести — праздник, яркий и незабываемый. С первых строк раздается восторг и гордость молодых ребят, смешанные с тревогой перед столь ответственным делом. Неординарность автора сквозит во всем: и в том, как несколькими штрихами набрасываются второстепенные персонажи. И в том, как при почти полном отсутствии фабулы создается напряженность, основанная на детальном анализе внутреннего состояния персонажей. Наконец, в самой манере письма.

Новая встреча с А. Абдувалиевым скорее огорчила, чем обрадовала, хотя рассказ «Бездна» совсем не плох. И дело даже не в том, что мне почудился пережим в изображении душевных страданий героини: я не увидела роста мастерства, движения вперед.

Литературный рост Г. Галимовой несомненен. Однако в рассказе «Деревянная свадьба» не понравилось, с каким удовольствием, без тени сочувствия, нагнетает автор неприязнь к своей, право же, не такой уж скверной героине. Обличение персонажа без умения (или скорее желания) понять драматизм ситуации, в которой тот находится, недорого стоит. Приблизительно те же претензии и к рассказу А. Устименко «Военный случай».

Хорошее впечатление оставляют три маленьких рассказа (или новеллы, как обозначает их жанр сам автор) Б. Рубина. В каждом из них сказано гораздо больше, чем написано. Интересен рассказ «Память», созданный в труднейшем жанре лирической прозы. Совсем в ином ключе решен жанровый рассказ «Сладкое слово», где добрая уместка над ситуацией органически слита с болью автора за судьбы детей первой послевоенной осени: дети спорят о том, что вкуснее — шоколад или «мармалад», который они ни разу в жизни не пробовали и даже не видели.

Как видим, не так уж мало хорошего в прозе «Молодости», такого, что может привлечь чита-

теля и доставить ему удовольствие. Но ведь это на три выпуска... И эти хорошие вещи теряются среди огромного количества посредственных произведений, которых на страницах альманаха, к сожалению, много. Вот несколько тому примеров. В рассказе И. Сизова «Неверный свет маяка» имеется весь набор аксессуаров в духе времени: здесь и бригадный подряд, и конфликт, который, судя по всему, кажется автору очень острым, хотя на самом деле перед нами один из вариантов типичного производственного рассказа, в самом невысоком смысле этого слова. Столь же стандартны и герои, и язык, которым написан рассказ.

Впрочем, и в серости есть разнообразие. «Лирические миниатюры» Л. Никитиной, например, поражают еще большей претенциозностью, чем стихи того же направления. Позволю себе привести полностью первую такую «миниатюру» под названием «Равноденствие»: «В тишине осеннего равноденствия появилась я на земле. Поэтому во мне дня и ночи — поровну! Огня и холода — поровну! Силы и слабости — поровну! Только Любовь и Безразличие душу мою поровну и по сей день поделить не могут». Добавлю к этому, что следующая миниатюра названа «Птица моей души». Вот уж где псевдозначительность густо произрастает, так это в миниатюрах Л. Никитиной. Не могу понять, почему слабые рассказы Г. Киселева и восторженные придыхания Л. Никитиной систематически украшают «Молодость», хотя совершенно очевидно, что они не становятся лучше, чем точно такие же предыдущие.

Увы, очень много в «Молодости» такого, «что нельзя читать». Но издать, оказывается, можно. Можно напечатать, например, «невыведанный рассказ» С. Мухамедова «Странная гостя» о некоей пожилой англичанке, приехавшей в Узбекистан, потому что она издавна очарована узбекской поэзией. Сам по себе такой сюжет не вызывает особых возражений. Но изложен он таким напыщенным языком, в нем так много патоки, натяжек и психологического неправдоподобия, он так растянут, что читать его по доброй воле, полагаю, никто не станет. Столь же чрезвычайно растянута и столь же плохо написана «приключенческая повесть» С. Фатыхова «Красный Меджнун» о борьбе с басмачами. Почему Меджнун — красный, я не совсем поняла, но это уж мои личные трудности. Хуже то, что ничегошеньки нового к уже сказанному о борьбе с басмачами повесть не добавляет. Однако в арсенал оживляжа она привносит свои краски: «Бойцы... облепиху вам в спину. Бандиты в юбках снились?» По растянутости повесть несомненно займет призовое место. Осилить ее — труд тяжкий и неблагодарный. Тут и проза Н. Черевача, которая в том или другом варианте печатается в «Молодости» не первый и, боюсь, не последний раз. Т. Халилов, судя по всему, не очень твердо знает, что обозначает словосочетание «Лебединая песня», хотя написал юмористический рассказик под таким названием. Рассказик, который вызывает оторопь своей бессмысленностью и полным отсутствием юмора.

Вообще с оторопью в «Молодости» дело хорошо поставлено. Фантастический «Рассказ космического капитана Дзюдо» А. Таксанова нелепостью своей «фантастики» повергает, например, в полной шее изумление. Здесь сообщается о том, как космическая экспедиция попадает на

некую «сладкую планету», где на деревьях растут плитки шоколада, а по земле бегают леденцовые пауки и прочая сладкая живность. Космические путешественники живут преотлично, с точки зрения рассказчика: «Так прожили мы два месяца. Пили пепси-колу, ели торты, за шоколадными зверями и птицами охотились... В общем, власть прожили. Никакой научно-исследовательской работы не проводили — забыли об этом». Может быть, вы в своей наивности думаете, что автор показывает, как это нехорошо? Отнюдь. Читатель (а повесть адресована детям) получает представление, что в космос посылают бездельников, которые предаются обжорству и ничегонеделанию. И что это очень приятно и замечательно. Такая вот сладкая жизнь. Такое вот формирование идеалов с помощью художественного слова...

«Ироническая фантастика» М. Ермоленко «МЭР-1» помещена в разделе юмора. Сконструирован универсальный робот, который может выполнять любую работу. Но на самом деле это существо, которое не в состоянии справиться ни с одним поручаемым ему делом. В результате МЭР-1 отправляют туда, где нужны железные нервы: «Пойдешь продавцом в отдел женских головных уборов». Все. Можете смеяться.

Помимо редактора, который должен нести ответственность за печатаемые материалы, у «Молодости» есть весьма представительная редколлегия, насчитывающая, ни много ни мало, около десятка имен. Но чем же объяснить наличие в «Молодости» такого количества прозы и стихов, которые ни при каких обстоятельствах не могут, казалось бы, претендовать на публикацию в республиканском альманахе? Может быть, тем, что, как свидетельствует словосвиза, у семи нянек дитя без глаза? А может быть, бессмертной фразой о рэдении родному человечку? Или просто-напросто равнодушием? Или нетребовательностью? Наверно, всем вместе взятим. Но есть тут еще одна сторона вопроса, которую я не считаю возможным обойти. Скажите, можно ли считать нормальным, что в сугубо молодежном издании активнейшим образом печатаются почти все члены редколлегии и сам редактор?

Сейчас, похоже, лед тронулся, во всяком случае, начинаю трогаться. Еще только поступил в продажу 19-й выпуск, ничем существенным не отличающийся от старших собратьев. Еще только печатается 20-й. Но уже лежит в издательстве выпуск 21-й, обещающий начало новой жизни альманаха...

Сменился редактор «Молодости». Обновляется редколлегия. Вокруг редакции собирается актив из числа тех, кто кровно заинтересован в «Молодости».

Свежий ветер перемен, приход к руководству периодическими и непериодическими изданиями людей способных, прогрессивно мыслящих, интеллигентных в самом высоком смысле этого прекрасного слова, инициативных, наконец, произвел чуть ли не молниеносную метаморфозу: вся страна читает периодику от корки до корки. Вместо «здравствуйте» произносятся: «А вы читали?» Хочется надеяться, что сбудется несбыточное: приду я в студенческую аудиторию, а голос вчерашнего десятиклассника радостно завопит вместо приветствия: «А вы читали в последней «Молодости?» И я воскликну в ответ: «А как же, конечно, читала!»...



Кибрия Каххарова

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА РЯДОМ С КАХХАРОМ

VII

Шестидесятые годы — берусь утверждать это смело — были апогеем творчества Абдуллы Каххара. В эти годы были созданы самые значительные его произведения.

В 1962 году он завершил работу над комедией «Голос из гроба» и, не переводя дыхания, взялся за «Сказки о былом». Впрочем, не совсем так. Прежде чем засесть за новую повесть, Абдулла Каххар совершил поездку по памятным ему с детства местам Ферганской долины, посетил Яйпан, Бувайду, Аккурган, кишлак Ашт в Ленинабадской области.

В предисловии к повести он писал: «... Когда в середине тридцатых годов я задумывался о своем детстве, оно виделось мне поверхностными, фрагментарными сновидениями. Хвостатая звезда в небе... В джигита по имени Бабар (Бабур, по-видимому) сторож конюшни выстрелил из ружья, а потом рассказывал людям: «Аллах свидетель, в жизни такого дерзкого конокрада не встречал. Поверх головы у него из ружья пальнул, а он хоть бы что, ресницы не дрогнули!»

Но кроме этих, плавающих на поверхности памяти воспоминаний были, оказывается, и другие, бесчисленное множество подспудных воспоминаний, лежащих на дне, словно затонувшие камни. Увидеть их помог мне Антон Павлович Чехов.

Он словно протянул мне свое пенсне со словами: «Надень и сквозь него взгляни на прошлое своего народа».

Потребовалось почти три года, чтобы эти «плавающие на поверхности» и «подспудные» воспоминания ожили под пером Абдуллы Каххара, воплотились в художественное произведение. Повесть «Сказки о былом» была тепло встречена читателями.

Ознакомившись с подстрочным переводом повести, Константин Михайлович Симонов писал автору:

«Москва, 12 сентября 1966

Дорогой Абдулла Каххарович, я с очень большим интересом приступил к чтению Ваших «Сказок о былом» и с великим удовольствием прочел эту очаровательную книгу. Я перевернул ее последнюю страницу с радостным ощущением того, что эта работа — Ваша новая и большая удача. Тут все сплелось: и присущая Вам острота зрения, и ощущение глубокого трагизма изображаемой Вами жизни, и чувство народного здоровья, которое продолжает существовать рядом с этим трагизмом и несмотря на него, тут и ваш превосходный юмор, тут и портреты людей, то развернутые и противоречивые, как портрет отца и матери, то броские, моментальные, на удивление точные.

Короче говоря, по-моему, это очень хорошая вещь. Отличная.

Единственным недостатком книги мне показался ее конец. Он как-то уходит в песок. Если это прием, то надо его как-то подчеркнуть. Если это не прием, то надо подумать над каким-то одним-двумя абзацами, над какой-то полустраничкой. Иначе

на 167-й странице вдруг рождается ощущение оборванности, а где же следующая страница? Хотя в то же время есть ощущение, что книга примерно где-то именно здесь и должна закономерно кончаться. У меня такое чувство, там не хватает каких-то строчек, может быть, даже слов, может быть, даже фразы.

Не могу умолчать об этом, потому что это бросилось мне в глаза и мне хотелось бы, чтобы Вы обратили внимание на это ощущение доброжелательного и любящего Вас читателя.

Теперь насчет перевода. Очевидно, хорошо бы напечатать эту вещь не позднее сентября будущего года в одном из московских журналов. Может быть, по традиции, в «Знамени», может быть, в одном из других журналов — об этом еще есть время подумать. Я думаю, что если «Знамя» заинтересуется этой вещью, то есть основания первым предложить им, как Вы считаете?

Я два раза перечел всю вещь и подумал над тем, чем я могу быть полезен. Тот перевод, который я читал, вряд ли справедливо рассматривать как подстрочник. Это уже не подстрочник, хотя и не вполне литературный перевод. В общем, это весьма доброкачественно. Вместе с тем, когда думаешь о том, как это должно звучать на русском языке, невольно начинаешь искать другие синонимы, обороты речи, словом, все то, что могло бы точнее передать голос автора, его интонацию, его юмор.

Если считать, что у нас в распоряжении есть около девяти-десяти месяцев до сдачи рукописи в журнал (в ее окончательном виде), то я мог бы попробовать приложить к ней руку в той мере, в какой мне это удастся. Я отношусь, надо Вам сказать, к этому делу с известной робостью, ибо такая повесть о детстве, связанная с необыкновенно большим количеством чисто национальных ассоциаций, и тут очень боязно, что, работая над переводом, можешь наломать дров. Но, так или иначе, я бы, пожалуй, рискнул попробовать сделать эту работу — посмотрим, что получится.

Но прежде, чем браться за это, я хотел бы, чтобы, во-первых, Вы утвердили сроки окончания этой работы. Может быть, я сделаю ее и быстрее, но поручиться, что я сделаю ее раньше первого июля будущего года (то есть, имеется в виду срок окончания), я не могу. А во-вторых, я бы просил Вас, в том случае, если Вы доверите эту работу мне, привлечь предварительно кого-то, кто под Вашим руководством сделал все необходимые многочисленные примечания бытового, языкового, идиоматического характера, чтобы при работе над переводом не спотыкаться об это.

Я, разумеется, думаю, что прежде, чем приступить к такой работе, мы с Вами видаемся — в Москве или Ташкенте, и посидим, и поговорим так же, как мы обговаривали некоторые проблемы, связанные с «Птичкой». Но хорошо бы еще до этого сделать такую работу с примечаниями, чтобы мы с Вами обговаривали только то, что останется неясным после того, как будут существовать такие примечания.

Я пока оставляю рукопись у себя и буду ждать Вашего ответа. Если Вы согласны в принципе, если Вас не пугают сроки, то, может быть, в течение ближайшего месяца-двух можно сделать эти примечания? Может быть, Вы также подумаете над последней страницей, если это, как говорится, Вам не поперек души. А где-нибудь в конце ноября или в начале декабря мы могли бы встретиться или в Ташкенте, или в Москве и пройти вместе глазами по Вашему тексту.

Еще раз хочу Вас от всей души поздравить с прекрасной книгой.

Передайте мой самый сердечный привет Кибрие Лутфуллаевне. Лариса Алексеевна крепко жмет руку Вам обоим.

Обнимаю Вас.

Ваш Константин Симонов».

Абдулла Каххар слишком высоко ценил мнение К. М. Симонова, чтобы не прислушаться к его замечаниям и советам. Не только концовку, но и всю повесть пересмотрел и отредактировал он после симоновского письма. «Сказки о былом» были изданы на узбекском языке и удостоены Государственной премии имени Хамзы.

Абдулле Каххару не довелось увидеть русское издание «Сказок о былом». По независящим от него причинам Константин Михайлович Симонов не смог перевести повесть к условленному сроку. Уже после того, как автор ушел из жизни, он осуществил ее перевод в соавторстве с Камроном Хакимовым и, сопроводив его вступительным словом, рекомендовал журналу «Дружба народов». Повесть «Птичка-невеличка» вышла в 10 номере журнала за 1969 год.

VIII

От первого брака у Абдуллы Каххара было двое сыновей: Пулат и Суяр. Многие из соседей и знакомых удивлялись моим отношениям с их матерью. А для меня тут ничего удивительного не было: эта женщина вторично вышла замуж еще до того, как я

познакомилась с Абдуллой Каххаром, ни на что не претендовала, что же касается детей, то они и вовсе ни в чем не были виноваты. Это, во-первых. А во-вторых, их покой и благополучие были покоем и благополучием моего мужа. А коли так...

У таджиков есть поговорка: «Ради одного ореха хауз воды выпьешь». Словом, я бывала в их доме, встречалась с бывшей супругой Абдуллы Каххара и ничего ззорного в этом не вижу. Больше того, в дни рождения мальчиков, по праздникам, перед началом учебного года я сама заранее начинала тормозить Абдуллу Каххара, и мы отправлялись навестить его сыновей.

Лето мальчики, как правило, проводили у нас на даче. Абдулла Каххар был человеком тактичным и дальновидным. Он никогда ничего не предлагал детям сам — будь то деньги на карманные расходы, что-нибудь из одежды или просто подарок. Все это делалось через меня. И вовсе не потому, что он меня побаивался. Делалось так для того, чтобы мальчики не подумали, будто он скрывает от меня свое к ним отношение, и на этом основании не пришли к выводу о том, что я к ним враждебно настроена. Ребята скоро поняли это и при необходимости всякий раз без стеснения обращались прямо ко мне. Ну а я старалась ни в чем им не отказывать.

Коли уж зашла речь о сыновьях Абдуллы Каххара, скажу об их дальнейшей судьбе. Старший — Пулат — окончил Московский авиационный институт, защитил кандидатскую диссертацию и преподавал в Ташкентском политехническом институте. В тридцать семь лет скончался от инфаркта.

Младший — Суяр — работал в органах внутренних дел и учился на вечернем отделении юридического факультета ТашГУ. Трагически погиб в возрасте тридцати трех лет. Судьба распорядилась таким образом, что сыновья ненадолго пережили отца.

И снова об Абдулле Каххаре — писателе и человеке. В начале шестидесятых годов по настоянию врачей мне пришлось взять путевку в одну из здравниц Кисловодска. Состояние здоровья у меня действительно оставляло желать лучшего, и встревоженный не на шутку Абдулла Каххар отложил все свои дела, чтобы сопровождать меня, постоянно находиться рядом. Зная его загруженность работой, я не хотела надолго отрывать его от письменного стола, но возразить не решалась. К счастью, все решилось само собой: к нам в гости нагрянул президент АН Узбекистана Хабиб Абдуллаев с супругой, и друзья, посоветовавшись между собой, решили отправить в Кисловодск меня и Фатимахон (так звали супругу президента). Вопросы с путевками и билетами были улажены, и в начале мая мы улетели в Минеральные Воды.

Не было дня, чтобы Абдулла Каххар не позвонил мне. В Доме творчества писателей телефона тогда не было, и ему приходилось всякий раз выбирать для этого в город. Зная об этом, я однажды спросила:

— Не проще ли было поехать вместе, чем так мучиться?

— Конечно, нет, — ответил он. — Тогда бы вы занимались мной, а не своим здоровьем.

С Хабибом Мухамедовичем Абдуллаевым Абдуллу Каххара связывала крепкая дружба. Особенно он ценил в Хабибе Мухамедовиче пронизательный, острый, пылкий ум, тонкий вкус и остроумие.

По праздникам мы обычно собирались семьями. Уже будучи тяжело больным, Хабиб Абдуллаев нашел в себе силы приехать к нам на майские торжества вместе с академиком Абидходжой Акрамходжаевым. И после кончины Хабиба Мухамедовича мы продолжали поддерживать близкие отношения с его семьей и всякий раз, бывая в городе, заезжали проводить Фатимахон. В один из таких приездов мы застали ее за сборами.

— Далеко едете? — поинтересовался Абдулла Каххар.

— В Ош. Свекровь поминки устраивает. Вечерним поездом еду.

— С кем?

— Одна.

Когда Фатимахон вышла из комнаты, Абдулла Каххар взглянул на меня и покачал головой.

— Нехорошо получается. Женщина на поминки едет. В такую даль... Одна... Не по-человечески будет, если вы с ней не поедете. А я уж тут как-нибудь один перебыюсь.

Слово мужа всегда было для меня законом. И когда Фатимахон вошла с чайником в руках, он сказал:

— Закажите еще один билет. Кибрия едет с вами.

...Если не изменяет память, в 1964 году смертельно больной поэт Аширмат признался своему братишке:

— Эх, с Абдуллой-ака повидаться бы...

Происходило это за сотни километров от Ташкента в Новской районной больнице, но Абдулла Каххар не раздумывая собрался в дорогу.

Аширмат лежал в палате один. Увидев входящего Абдулла Каххара, не поверил своим глазам. И потом еще долго в волнении не мог произнести ни слова.

— Спасибо, Абдулла-ака! — прошептал он наконец. — Огромное спасибо! Теперь я наверняка поправлюсь. Тут мне участок земли выделяют. Вдоль реки. Дыни, арбузы посею... Приезжайте будущей осенью. Сами рвать будете... Прямо с грядок...

Мы вышли из палаты подавленные, расстроенные. Абдулла Каххар несколько минут неподвижно сидел на водительском месте. Вздыхнул и шагнул из машины.

— Не могу. Садитесь за руль вы.

Мы возвращались кружной дорогой через Ленинабад и до самой Сырдарьи никто не произнес ни слова.

Через несколько дней Аширмата не стало.

Однажды, получив в издательстве причитающийся мне гонорар, я купила в магазине приглянувшийся китайский кофейный набор. Принесла домой, поставила на стол перед Абдуллой Каххаром.

— Это вам в подарок к пятидесятилетию.

Он улыбнулся.

— Я презираю подарок, полученный от женщины. Не вы мне, а я вам должен делать подарки. Так что тратьте свой заработок на косметику, пудру, белила. Писатель не должен забывать себе голову такими вещами. Тратьте и ни о чем не думайте. Мы с вами не торгаши, чтобы тысячи на черный день копить. Не будет у нас черного дня. Пока живы, будем писать. А когда писать не сможем, тут уж и деньги не выручат. Я вас прошу, больше никогда не тратьте на хозяйство ни копейки. Знаете, если женщина внесет на строительство даже хоть один гвоздь, то всегда будет утверждать, что весь дом построила сама.

«Мужа мужем жена делает» — гласит пословица. Исходя из собственного опыта, осмелюсь перефразировать: «Жену женой делает муж». В семейной жизни Абдулла Каххар бы тверд и требователен. Любил, чтобы каждая вещь знала свое место. Любую работу доводил до конца, своевременно, добротнo, на совесть. Терпеть не мог откладывать что-то, оставлять недоделанным. На неделю вперед расписывал, что предстоит сделать и когда. Не ленился, с удовлетворением даже зачеркивал в списке то, что сделано.

Я как-то спросила:

— Сделано — и сделано. Зачеркивать-то зачем?

— Затем, — усмехнулся он, — чтобы по забывчивости не сделать дважды.

При сахарном диабете, как известно, у человека портятся зубы. Пришлось и Абдулле Каххару в начале пятидесятых ставить протезы. Но об этом до конца его жизни так никто и не узнал. Даже во время болезни, когда он уже не поднимался с постели, я ни разу не видела, чтобы он снимал вставные челюсти.

Племянница Хуршида как-то пожаловалась:

— Когда матушка при мне снимает вставные челюсти, мне дурно становится.

— Все на своем месте хорошо, — не то осуждающе, не то соглашаясь произнес Абдулла Каххар. — Иному достаточно мизинец, высунувшийся из-под подушки, увидеть и готов в обморок хлопнуться.

Никогда не забуду: из-за чего-то однажды я не смогла убрать постель, он ее увидел и сказал:

— Что случилось? Ваша постель извивается, словно змея, сбросившая свою кожу!

Однажды я забыла прикрепить крышечку к заварному чайнику, и когда Абдулла Каххар наливал чай, она сорвалась и упала в пиалу. Другой человек на его месте мог сделать замечание, мол, если б сказали мне, я сам мог привязать эту крышку. А Абдулла Каххар улыбнулся и сказал: «Спасибо тебе, господи, что теперь пью чай даже ополаскивая крышку».

Как-то раз, перед тем как идти на улицу, я подошла к зеркалу, чтобы попудриться.

— Любопытно, в чем это я, ваш муж, перед вами провинился? — спросил Абдулла Каххар. Вначале я ошестилась, но через мгновение меня осенило: ну, понятно, дома, для своего супруга я не пудрюсь, а когда предстоит выйти на люди... А в самом деле, почему мы, жены, перед уходом на улицу красимся, а перед мужьями ходим, зачастую, в neglige?

Сразу вспомнился случай: подруга, которую все привыкли видеть симпатичной, опрятной, аккуратно причесанной и со вкусом одетой, встретила меня у себя дома в засаленном халате, взлохмаченная, с намазанным чем-то лицом.

— А если увидит муж? — поинтересовалась я.

— Ну и что? — беспечно отмахнулась она. — Ведь это мой муж.

«Мать отцу, не нарядив, не показывай» — гласит узбекская поговорка. Многие ли из нас над ней задумываются? А наверно, стоит. Тысячу раз прав Абдулла Каххар.

В один из приездов в столицу в гостинице «Москва» я поддавалась искушению и, пока Абдулла Каххар спал, спустилась в парикмахерскую и сделала прическу.

— Вы стали похожи на отреставрированную женщину, — сказал он, увидев меня. — Идите и сделайте свою прежнюю прическу.

Разумеется, вкус — дело личное, он всегда субъективен, но вкус Абдуллы Каххара всю жизнь был для меня мерилом. И ни разу я об этом не пожалела.

Он следил за моими украшениями. Были у меня кашгарские серьги. Когда он увидел их, то они ему, видимо, не понравились.

— Где вы откопали такие сережки, которые здорово смахивают на колеса кокандской арбы. В них вы похожи на отставную артистку, — сказал он.

Супруга одного из наших приятелей — чрезмерно располневшая женщина — пришла к нам в гости в модном, в обтяжку плаще. Не преминула похвастаться обновой. Спросила у Абдуллы Каххара.

— Правда, мне идет?

— Очень, — с серьезным видом ответил он. — Напоминает мешок с арбузами.

Бедняга тотчас же сдала плащ в комиссионный магазин. За ним прочно утвердилось слава человека, острого на язык, из тех, кто за словом в карман не полезет. В какой-то степени так оно и было. Но в еще большей мере это был образ его мышления, образ художественного восприятия и осмысления окружающего мира и самого себя.

Как-то у нас произошла с ним размолвка. Бывало и такое. Редко, но все же бывало. Я надулась и ушла в свою комнату. А некоторое время спустя он, улыбаясь, вошел ко мне.

— Вы же знаете, что я — осиное гнездо. Зачем было ос прутиком ворошить?

Одна из моих приятельниц провела у нас в гостях два часа. Абдулла Каххар был в отличном настроении, много шутил, то и дело заставляя нас хохотать.

— Удивительно, что у вас нет ни одной морщины на лице, Кибрияхон, — прощаясь, сказала приятельница. — Абдулла-ака сутками смешить может.

— Наивные все-таки существа женщины, — покачал головой Абдулла Каххар, когда гостя ушла. — Эта, например, уверена, что в сутках всего два часа, а не двадцать четыре.

Однажды к нам на дачу заглянул Иззат Атаханович Султанов, работавший над своим научным трудом в Доме творчества.

— Абдулладжан, — сказал он. — Здесь, в Доме творчества, вот уже две недели находится наманганский поэт Санджар Тилля. Горит желанием с вами встретиться, и никак не может решиться.

На следующий день мы пригласили их в гости. После угощения завязалась беседа за пиалой чая. Санджар Тилля с некоторой, как мне показалось, обидой сказал:

— Две недели я наблюдаю за вами, Абдулла-ака. Вы или работаете, или беседуете с супругой. Неужели она вам не приелась?

— Кибрия? — спросил Каххар. — Нет. Она — как хлеб.

IX

Рабочий день Абдуллы Каххара начинался в восемь утра. После завтрака он садился за стол и не вставал до двенадцати. В это время никто не должен был его беспокоить. Кабинет был его святилищем, где рождались и созревали замыслы его новых произведений. Звонок на установленном в кабинете телефоне бы отключен. Если кто-то звонил, я снимала трубку параллельного аппарата и, когда это было крайне необходимо, нажимала на кнопку сигнального устройства, и Абдулла Каххар брал трубку. Какие бы срочные дела меня ни ждали, с восьми до двенадцати я никуда не уходила из дома.

Работал Абдулла Каххар только дома и всегда в одно и то же время. И практически никогда не работал по ночам.

— Я похож на курицу, — признался он как-то. — Несусь только там, где призыв, — сказал он, завидуя писателям, которые с однодневной командировки возвращались с готовым очерком.

Еще одной характерной чертой Абдуллы Каххара была высокая требовательность. К семье, к коллегам по перу и прежде всего к самому себе и своему творчеству.

Закончив работу над новым произведением, он не торопился дать его печатать. Откладывал на какое-то время в сторону, потом внимательно, придирчиво перечитывал заново и только после этого отдавал на машинку.

— Недостатки здания выявляются только после того, как оно построено, — говорил он. — Так и с художественным произведением.

Мне довелось слышать, что многие литераторы пишут, а то и напрямую отстукивают за день на машинке по десять-пятнадцать страниц. «Производительность» Абдуллы Каххара не превышала полутора-двух рукописных страниц в день. Когда же получалось три страницы, он ворчал: «Три страницы настроил. Завтра половина в брак уйдет». Полторы-две страницы за четыре-пять часов труда. И некоторые из них

переписывались по десять, пятнадцать, девятнадцать раз. Одной-единственной по-марки было достаточно, чтобы Абдулла Каххар переписал всю страницу заново. И дело не в том, что он терпеть не мог помарок и исправлений. «Когда переписываешь, — объяснил он мне как-то, — в голову приходят новые обороты, сравнения, рождаются новые мысли. Произведение шлифуется, становится лаконичней, упруге».

Знаменитое «ни дня без строчки» полностью отвечало творческому кредо Абдуллы Каххара: есть вдохновение или нет его, литератор должен писать каждый день.

Абдулла Каххар пользовался двумя рабочими тетрадами. В одной записывались отдельные необычные словосочетания, обороты, описания, гиперболы, факты, различные события, эпизоды, явления, мысли о литературе и творческом процессе. О том, насколько важную роль играли они в дальнейшем при создании художественного произведения, можно судить хотя бы по записям «мирзачульского периода» нашей жизни.

«Бог весть откуда доносится криканье диких уток. Любопытно. В Мирзачуль только-только пришла вода, а они уже об этом знают».

«Здесь много перепелок. И опять странно — откуда было им знать, что здесь будут выращивать зерно?»

«После полудня начал моросить дождь, мелкий-мелкий, но тотчас появились лужи. Вода в них желтая-желтая. Люди отапливались камышом и осокой. Что будут жечь теперь?»

«Темно. Черная туча вот уже целую неделю бродит по небу, не в силах пролить и четырех капель дождя. Мается, злится».

«Поздняя осень, но в рисовой соломе полным-полно комаров. Стоило нам остановиться, и над головами закружились целые тучи. Комары неправдоподобно крупные и невероятно свирепые. Ужалит такой в голову — невольно взбрыкиваешь ногами. И в таких местах трудятся люди».

Как уже говорилось, во время пребывания в Мирзачуле Абдулла Каххар написал очерки «Слово Ганишеру», «Покорим целину, друг!», «Осень в Мирзачуле». В тетради сохранились записи, предназначенные для этих очерков, но по каким-то соображениям не использованные автором. Вот некоторые из них:

«Заболел, пусть бабенка маставу тебе сделает, да поперченее. Поешь и в одеяло закутайся, а меня за язык не дергай!»

«Не жалуюсь, что в бригаде людей мало, я и с детворой дело сделаю. По мне — лишь бы голос слышался, живая душа — и баста!»

30 июня 1940 года Абдулла Каххар сделал в тетради несколько записей, но нигде ими не воспользовался.

«Вот теперь я действительно состарился. Гоню курицу — прибегает кошка. Потому что вместо «кыш-кыш!» получается «кис-кис!»

«Маленькая голова, большой круглый живот, короткие ножки, сам черный-черный. Упрется руками в пояс — вылитый самовар».

«Зачем ты вечно перед собой зеркало ставишь? Собой любуешься?»

— Нет, просто на человеческое лицо смотрю. Больше-то вокруг ни души».

Однажды Абдулла Каххар обронил такую фразу:

— Закончу повесть «Землетрясение» и тотчас возьмусь за другую — о дружной, всем на зависть семье.

Не уверена, но думаю, что следующие записи в его рабочей тетради имеют прямое отношение к этому замыслу:

«Мы с тобой не только супруги. Семейные узы — лишь малая часть наших отношений. И если что-то извне заставит нас разорвать семейный союз, отношения наши вряд ли всерьез пострадают».

«Лишь в одном не можем мы прийти к соглашению: она хочет умереть раньше меня, я — раньше нее».

«Ни по выражению лица, ни по поступкам невозможно узнать, когда она обижается. Определить это можно только по тому, как она радуется, когда обида проходит».

«Любовь — дутар. Будешь небрежно хранить — покоробится».

А эти записи отражают мысли Абдуллы Каххара о писательском труде:

«Писатель двояко входит в литературу: либо чадя своим первым произведением, либо ослепительно сверкая им».

Тот, кто чадит, будет чадить долго. Не душой, а брюхом будет рожать свои вещи. Прочадит до конца своей жизни, ни разу не вспыхнет, не привлечет к себе ничего внимания».

Писатель, блистательно вошедший в литературу, будет расти от произведения к произведению (не тому, что созрело в брюхе, а тому, что стало таинством души, будет посвящено его творческое горение). Такие писатели уже первой своей вещью привлекут внимание друзей литературы. И пламя их души в конце концов волеется в вечный огонь. Я — друг литературы и уже потому радуюсь, видя молодых литераторов с

горящими сердцами, и с глубокой признательностью говорю им о своей радости, тем самым раздувая их еще ярче...

В литературе чадающий писатель никогда не поднимается выше своей махалли, хотя и мнит себя классиком. Есть все основания именовать таких писателей «классиками от махалли»...

«В оценке нашей литературы критика не поднимается до вершин большой литературы. В результате плодятся «классики от махалли». Литература заинтересована в том, чтобы «творения» таких «классиков» не переводились на русский язык».

«Какие только «странные теории» не произрастают и не хиреют на корню. Одно время имела хождение «теория», утверждавшая, что не может быть художественного произведения без положительного героя. Теперь слоняется «теория» о том, что в комедии положительный герой обязателен. И никому нет до этого дела».

«Критики наши не стремятся выйти на союзную орбиту. «Нам и здесь неплохо» — вот их девиз».

«Человек, перебивающийся литературной критикой, не найдя себе никакого другого применения, подобен пугливому сторожу, который шарахается от каждого шороха и в панике размахивает трещоткой».

«Литература сильнее атома, но из этого не следует, что ее энергию надо использовать на заготовке дров!»

«Литература — профессия. Писатель, превративший ее в ремесло, ничем не отличается от грызущего яблоко червя».

«Жизнь притягивает к себе, как магнит. Только зарядив себя ее притягательной силой, может литератор рассчитывать на успех у читателя».

«Этот человек уверен, что писательский труд состоит сплошь из писанины».

«Чтобы создать художественное произведение, несомненно нужен талант, но для того, чтобы перечеркнуть написанное, оставив лишь то, что действительно необходимо читателю, — таланта недостаточно. Нужна еще совесть».

Встречаются в тетради и записи фенологического характера:

«20 марта. Проклюнулись листочки на вербе. На других деревьях зелени не видно. Дружно цветет урюк. С некоторых урючин уже облетели лепестки. Цветут персик и груша. Ключьями серой ваты плывут тучи. Прошумел дождь. Улицы развезло. Небо пасмурно...

30 марта. Поля зеленым-зелены. Облетел цвет с урючины. Ожили осоко́ри. Зазеленели пирамидальные тополя. По вечерам в сумерках квакают лягушки.

4 апреля. После сильных дождей по-настоящему распустились листки на осоко́рях и пирамидальных тополях. Отцвели и оделись в листву урючины. Зазеленели карагачи. В южных районах начали выкормку шелкопряда.

10 апреля. Все деревья покрылись листвой. Появились первые парниковые огурцы. Обилие зеленого лука. Есть свежая редиска.

10 мая. В изобилии черешня и клубника. На юге началась косовица ячменя. Созрел тувоник. В южных районах появился скороспелый виноград.

20 мая. Созрели ранние абрикосы.

10 июня. Созрела алыча. Появились помидоры. Многие колхозники выполнили план сдачи шелковичных коконов.

30 июня. Созрели ранние сорта дынь — «хандаляк» и «кукча». Зацвел хлопчатник.

10 июля. Поспели дыни. Созрела слива.

20 августа. Бухарская область приступает к массовому сбору хлопка. Поспел виноград «хусайни».

15 сентября. Созрела кукуруза. Полным-полно дынь и арбузов. Поспели все сорта винограда.

10 октября. В разгаре уборка хлопка. Днем можно ходить в костюме».

Абдулла Каххар был великолепным знатоком узбекского языка. Тонко чувствовал оттенки слова. И при всем этом, говоря словами Маяковского, изводил «единого слова ради десятки тонн словесной руды». Вот тому пример из его рабочей тетради:

1. Засмеялся.
2. Хохотнул.
3. Ухмыльнулся.
4. Улыбнулся.
5. Оскалил зубы.
6. Рассмеялся, не разжимая губ, носом.
7. Расплылся в улыбке.
8. Хихикнул.
9. Состроил улыбку.
10. Весело заржал.

Вторая тетрадь была посвящена отдельным произведениям, в нее записывалось все, что приходило в голову в процессе работы над вещью. Детали, речевые обороты

героев и персонажей, характеристики, сюжетная канва, черновые наброски. Приведу два из них:

«КАДИЛО.

Молодые супруги с младенцем живут в тесной, с низким потолком комнате. Приходит в гости дядя мужа. Зима. Молодой отец, оберегая ребенка, бросил курить. Дядя выкуривает в сутки 48 папирос. Три папиросы в час. Проводит в гостях пять часов. Выкуривает 15 папирос.

Не понимает намеков невестки.

— Доктора говорят, папиросы вредно курить.

— Чего же сами курят?

— Не люблю курящих докторов.

— Правильно делаешь.

Опять закуривает.

Вместе с этим человеком в комнату входит застоявшийся запах дыма.

Невестка приоткрывает окно.

— Откройте лучше форточку. Дым поверху ходит. Табак вообще-то из Индии пошел. Поначалу его называли очищающий тело. Только это неверно. (Снова закуривает.)

— Вы не пробовали бросать?

— Девять месяцев не курил, опять начал.

Невестка укутывает ребенка и открывает дверь.

Дядя листает журнал и курит. Смотрит в окно и курит. Бросает окурок в тарелку и заливает остатками чая из пиалы. Тошнотворный запах дыма вперемешку с паром еще хуже, чем табачный дым.

— Да вы кадило какое-то! — не выдерживает невестка. Гость щерится, словно осмоленная голова. Ни стыда, ни совести. Чтоб ему провалиться!»

Не помню случая, чтобы, приступая к работе над новым произведением, Абдулла Каххар начинал «с чистого листа». Всегда у него были уже многочисленные заготовки, тезисы, примерный план. Выражаясь его же словами, он «носил в мешке» образы, сюжетные ходы, характеристики своих будущих героев. И только с таким «багажом» садился за стол.

В тетради сохранился черновой набросок рассказа «Гариб» («Одинокий»), к сожалению, оставшегося незавершенным:

«ГАРИБ.

Что за странный человек это был?

Ишачья арба. На ней гроб. За гробом плетется одна женщина и кривая на один глаз собака.

Он был женат одиннадцать раз. На старости лет, облысевший, остался с женщиной, которая с нетерпением ждала, когда он умрет.

Он жил в восьми городах и нигде не обзавелся товарищами. Наоборот — все больше и больше отдалялся от людей.

Всю жизнь питался жиденькой похлебкой и ничего другого не знал. Уходя на работу, клал мясо в котел, заливал водой. К возвращению варево бывало готово. Он питался им по три дня.

У него пятеро детей. Живут кто где. Он ими не интересуется. Платит алименты, если жены начинают угрожать судом.

Старшего брата признает, лишь когда ему что-то нужно. В другое время не желает с ним зняться и даже не приглашает в дом.

Хвалит всех своих жен, но ни с одной из них подолгу не жил.

Последняя жена-красавица, как сова, ждет его смерти.

У него есть восемь с половиной тысяч рублей. Ни разу в жизни никого не приглашал в гости. Ни разу не справил свадьбы.

Мнителен и брезглив, ни с кем не здоровается за руку. Даже за ручку двери собственного дома берется, обернув бумагой. (Всегда носит с собой нарезанные листки.)

Друзей у него нет. Считает себя умнее всех, значительнее всех».

Абдулла Каххар никому не разрешал читать свои незаконченные произведения или фрагменты. Первым, кто прочитывал его новые вещи, была я. «А ну, прочитай-ка, говорил он. — Иногда и жена может дать стоящий совет». И какое бы мнение я ни высказала, не спешил возражать, а тем более отвергать.

Другое дело пьесы. Здесь я служила ему «пробным камнем». Написав акт, он сразу же отдавал его мне. «Читайте, потом расскажете, что здесь и как». Прочитав, я пересказывала ему фабулу, как я ее восприняла. «Фабула должна быть предельно четкой, — говорил он. — Иначе автор не может развивать и высказывать свою мысль. Вы все поняли правильно. Значит, можно переписывать набело».

...Он был прозаиком и стихов не писал. Но очень любил их, и иногда, в минуты отдыха, мы затевали своеобразную мушоиру — поэтическое состязание, причем я версифицировала на таджикском, а Абдулла Каххар на своем родном узбекском.

Приведу два бейта из такого состязания:

Любимый, ты как жизнь неповторим.

Не уходи, давай вдвоем сгорим, —

импровизировала я. Следовал мгновенный экспромт Абдуллы Каххара:

Мне дела нет ни до какой другой,

Пока ты есть и рядом ты со мной.

По правилам состязания каждый новый бейт должен был начинаться с той буквы, которой заканчивался предыдущий. (Сгорим, мне.)

Абдулла Каххар прекрасно разбирался в классической восточной поэзии, зная наизусть множество газелей и рубаи Алишера Навои, Мукими, Фурката, Бабура. В начале своего творческого пути он увлекался поэзией, но вскоре увлечение это прошло и в жизнь писателя властно вошла проза. Проза... Написала это слово и невольно задумалась. Нет, конечно. Не просто проза. И даже не просто художественная. Поэтическая проза Абдуллы Каххара.

Х

Выше я уже говорила о требовательности как о черте характера Абдуллы Каххара. Пожалуй, вернее было бы назвать это не чертой характера, а жизненной позицией писателя. Непримиримо принципиальным и требовательным был он в вопросах, касающихся развития и совершенствования узбекской советской литературы, справедливо считая, что в этом деле нет и не может быть мелкого, второстепенного.

Характерна в этом отношении его статья «Хуснбузар» (буквально: портящий красоту). Написанная много лет назад, она и сегодня не утратила своей актуальности. «ХУСНБУЗАР.

Пара-другая прыщей на лице пышущего здоровьем юноши — никакая не болезнь. Они лишь досадные помехи на его цветущем лице. Оттого их так и называют: хуснбузар — портящий красоту.

Современная узбекская литература — именно такой юноша в расцвете физических и духовных сил. Прекрасен и его завтрашний день: юноша станет еще мужественнее, совершеннее, красивее. Однако раскрыться по-настоящему его красоте мешают порою мелкие изъяны, прыщи, портящие его красоту. Наряду с другими способами изжить эти изъяны призвана «очищающая критика». Не косметическая, а именно очищающая.

Задуматься о прыщах на лице нашей литературы побудило меня одно крайне опечалившее меня происшествие. Мой близкий друг, председатель колхоза, после январского (1961) Пленума ЦК КПСС предстал перед людьми в неприглядном, прямо скажем, — позорном свете. Чтобы досрочно выполнить план сдачи молока государству, председатель этот закупил в магазине сливочное масло и сдал его в счет молока.

Не будет преувеличением, если скажу, что стыд, боль и позор председателя наравне с ним переживаю и я. Задумайтесь, председатель с тридцатилетним стажем. Тридцать лет опыта руководства большим многоотраслевым хозяйством. И какого опыта! Пришел в голую степь, обливаясь потом, отвоевал у целины каждую пядь земли, мерз у костров из камыша и осоки, добился на этой земле высочайших урожаев хлопка, стал признанным вожакom целинников, вывел колхоз в ряды лучших в республике.

Не в погоне за славой подался он на целину. Пришел, чтобы остаться здесь навсегда, чтобы потомки его стали коренными жителями, пустили в эту землю глубокие корни.

Я отдавал ему должное, любил его. Ему обязаны отдельными своими чертами Мавлон из «Шелкового союза», Арсланбек из «Птички-невелички».

И разве не тяжело, когда такой человек не смеет сегодня взглянуть людям в глаза?

Он начал было объяснять, что сделано это было не по его воле, что карьеристы-руководители, стараясь прикрыть свою несостоятельность фальшивым авторитетом, наталкивали людей на преступный путь, но, видимо, понял, что никакие отговорки не помогут, и замолчал. И только некоторое время спустя пробормотал в ответ на мои упреки и себе в утешение: «Это зло сегодня везде есть. Покопайся — и у писателей тоже».

Справедливые слова!

Как это ни прискорбно, встречается очковтирательство и в литературе. Лет десять назад довелось мне прочесть рассказ. Есть в нем, в частности, такая сцена. Жена председателя приготовила плов и ждет мужа. По-видимому, заседание правления затянулось, на дворе полночь, а председателя все нет и нет. Председательша открывает массивную дверь и входит в дом. Всеми цветами радуги вспыхивает хрустальная люстра, отражаясь на полированных поверхностях супермодной мебели. Женщина открывает зеркальную дверцу книжного шкафа, достает книгу в роскошном переплете,

читает, потом кладет ее на рояль, подходит к окну, сдвигает в сторону тяжелую шелковую портьеру, смотрит на улицу... Наконец ближе к рассвету появляется председатель, берет из ослепительно сверкающего зеркала буфета бутылку ароматного вина, выпивает рюмку, садится кушать и т. д.

Все здесь, начиная с массивной двери председательского дома, хрустальной люстры, рояля и ароматного вина, раскрывает вкус и стиль автора и все от начала и до конца надуманно. По мнению автора, это и есть «благополучие», к которому мы стремимся. К сожалению, сторонников такого «благополучия» среди писателей можно насчитать немало. Они даже теоретическую основу под свои измышления находят: необходимо, дескать, показывать завтрашний день наших людей.

Но измышления и предвидение — разные вещи. И не измышленый ждет от нас партия, а всесторонне обоснованного реалистического предвидения перестройки нашего общества, показа путей к достижению будущего.

Высокую и трудную социальную задачу литературы нельзя подменять описанием картин мещанского быта. Общество будущего никто не преподнесет нам на золотой тарелочке. Оно создается трудом всех членов общества, руками, умом, талантом каждого из нас.

Хлопчатник — очень трудоемкая сельскохозяйственная культура. И хотя почти все процессы его возделывания, кроме уборки, сегодня полностью механизированы, наибольшая доля труда по его уборке ложится на плечи женщин.

Есть у нас труженицы, собирающие за сезон до 20 тонн хлопка. Представить себе, что это такое, можно хотя бы по таким цифрам: одна коробочка содержит 3—3,5 грамма хлопка. Чтобы собрать 20 тонн, сборщице нужно очистить шесть-семь миллионов коробочек. Сколько сотен тысяч раз надо склоняться сборщице над кустами хлопчатника, сколько сотен километров отшагать по полям всего за какие-то два с половиной месяца!

И вот эта поистине великая труженица в «шедеврах» некоторых наших сочинителей выглядит вечно улыбающейся, веселой, с песней и огромным удовольствием одерживающей одну трудовую победу за другой. Отработав на поле от зари до зари, она успевает еще и на лекции в клубе побывать, и книги прочитать на сон грядущий... Но если все так прекрасно и просто, зачем нужны хлопкоуборочные машины? Сочинителям эта мысль почему-то в голову не приходит.

На один только день поставить такого сочинителя на место сборщицы хлопка — наверняка по-другому станет писать!

Редко, но все же встречается еще один вид литературного прыща. Это писатели, роняющие авторитет литературы в глазах читателя. Одни из таких писателей пришли в литературу в поисках денег и славы, другие забавлялись по молодости лет писаниной, да так и доигрались до седых волос и ни на что другое теперь уже не способны. Попытаются кое-как, с важным видом изрекают на собраниях «перлы мудрости». Третьи за всю свою жизнь ни одной книги не прочитали. Пишут потому, что уверены — писать легче, чем читать. Как говорится: «Слепой слепого и в темноте узнает». Вся эта братия поддерживает друг друга, хвалит друг друга, превозносит произведения друг друга до небес. Ну а наша мягкотелая деликатность создает для них самые благоприятные условия. И появляются в докладах а то и в статьях произведения, которых никто не видел и не читал. И автор заполучает тем самым в руки охранную грамоту. И, заручившись ею, с улыбочкой на устах открывает двери театров, редакций и издательств. И, если улыбочка не срывается, без колебаний переходит к угрозам. Не помогли угрозы — пишет заявления и жалобы во все инстанции, кроме, разве что, аптекоуправления. И в результате нет-нет да и протаскивает свое «творение».

И на его счастье критика обходит такое «произведение» молчанием. Автор прекрасно понимает, что молчание — тоже разновидность критики, однако особенно не горюет. А вот если его книга годами пылится на полках магазина или пьеса проваливается после первого же представления, такой «писатель» обрушивается на книжников, работников, на коллектив театра, обвиняя их в беспомощности, равнодушии, бездарности, потому как иначе ничем собственную бездарность не прикрыть. Если среди пишущей братии возникает распря, причину далеко искать не надо: и отец этой распри, и ее мать — эти самые горе-писатели.

О некоторых из таких «прыщей» нельзя говорить без смеха.

Есть у узбеков такие духовые музыкальные инструменты: сурнай и карнай. На сурнае (а это то же самое, что и флейта) искусный музыкант может сыграть любую прекрасную мелодию. Карнай же — в какие бы руки он ни попал, способен издавать лишь трубные звуки.

Рассказывают, будто Насреддину взбрело однажды в голову стать музыкантом. Пришел в оркестр и говорит: «Примите меня в свою группу». — «На каком инструменте умеешь играть?» — спрашивают музыканта. «На каком? — задумался Насреддин. — В сурнай дуть умею! Правда, насчет того, где и что пальцами нажимать надо, у меня слабовато. Но это не беда — вы за меня нажимать пальцами будете!»

К сожалению, и в писательской среде попадают мастера дуть в сурнай, не имеющие представления о том, где и что надо нажимать пальцами. Иными словами — «литературные прорабы», нанимающие редакторов «на подмогу», то бишь для написания их опусов. Не надо обладать богатым воображением, чтобы представить себе, какая «музыка» получится в первом случае и какая книга — во втором. Ну и остается лишь добавить, что из Насреддина в лучшем случае мог получиться специалист по дутью в карнай. Что же до «литературных прорабов»...

В прошлом году в журнале «Муштурм» была помещена такая публикация: увидела свет книга «прораба от литературы». «Прораб» на радостях обнимается с писателем, настроившим за него книгу. Тем временем в газете книгу эту разносят в пух и прах. «Болван! — в ярости верещит «прораб». — Не умеешь писать — не берись!» И гонит его вон из своего дома.

Еще пример. В Москве планируется проведение тематического совещания писателей. На него от республики решено направить писателя, чья книга отвечает обсуждаемой теме. И вдруг на сцене появляются еще два претендента на поездку в Москву, которые во всеуслышание заявляют: «С какой стати на семинар поедет он? Книгу-то за него написали мы!»

Естественно, может возникнуть вопрос, стоит ли теперь, когда литература наша вступила в пору расцвета, поднимать разговор о таких мелких «прыщах»? По-моему, стоит. Стоит хотя бы уже ради того, чтобы свести на нет эти самые «прыщи», чтобы принять меры, исключающие их появление в будущем. Борьба за чистоту нашей литературы — это борьба за повышение ее действительности, за то, чтобы она глубже и прочнее утверждалась в сердцах миллионов читателей!»

Статья «Хусбузар» под названием «Соринка в глазу» была опубликована в «Литературной газете» 22 августа 1961 года.

Прошло более четверти века. Сегодня, оглядываясь на эти годы, я невольно ловлю себя на мысли о том, как прозорлив и дальновиден был Абдулла Каххар, увидевший уже тогда зачатки тех социальных зол, о которых сегодня мы говорим во всеуслышание, и насколько меньшими были бы их масштабы, прислушайся тогда общественность республики к мужественному голосу писателя, который с партийно-принципиальных позиций предал их гласности, потому что так велела его гражданская совесть.

К сожалению, реакция на статью в «Литературной газете» была совершенно иной. По указке Шарафа Рашидова на автора статьи начались гонения. Заведующему отделом газеты «Узбекистон маданияти», перепечатавшей статью, был объявлен выговор. На городской партийной конференции прозвучали явно инспирированные сверху выступления против Абдуллы Каххара, осмелившегося «вынести сор из избы», «исказить советскую действительность», «исказить положение дел с механизацией хлопководства», «оклеветать и в неприглядном виде выставить писательскую организацию республики и ее отдельных представителей».

В каких только смертных грехах не обвиняли Абдуллу Каххара! И в отрыве от масс, и в высокомерии, и в беспринципности...

Что ж, время расставило все по своим местам. Абдулла Каххар не отступил ни от одного своего слова, не дрогнул, не покривил совестью, ни к кому не пошел на поклон. В написанной в 1962 году пьесе «Голос из гроба» он подверг едкой критике тех, кто живет нетрудовыми доходами, вымогает взятки, цепляется за религиозные пережитки.

Критика, если можно распространить это понятие на трех мастистых литераторов, встретила пьесу в штыки. В нашем обществе нет и не может быть взяточников, заявили они, автор пьесы шельмует честных советских граждан... Пьесу сняли со сцены...

Гонения на писателя достигли своего апогея после выступления Абдуллы Каххара на юбилейном собрании в честь его 60-летия. Это были уже даже не гонения, эта была травля. И Абдулла Каххар не выдержал. Ушел из жизни. Гордо. Ни перед кем не склонив головы...

А травля продолжалась. Как во времена мрачного средневековья, была сожжена отснятая режиссером Латифом Файзиевым кинолента «Птичка-невеличка». Тираж шеститомника избранных произведений Абдуллы Каххара сократили с 30 до 10 тысяч экземпляров. В течение пятнадцати лет ни одно его произведение не увидело света. Надгробный бюст писателя установили... на школьном дворе, и только после того, как стало известно, что памятник Абдулле Каххару установлен в Грузии, бюст наконец перенесли на кладбище...

Вспоминать об этом трудно и больно. Еще труднее и больнее писать. Но не вспоминать и не писать об этом нельзя!

Абдулла Каххар не был только писателем. Он был большим, искренним и бескорыстным другом узбекской советской литературы. Ее совестью. Особенно чутко и бережно относился он к пишущей молодежи. Ни один молодой писатель не оставался вне поля его зрения. Каждую появившуюся в печати вещь, будь то стихи или проза, он обязательно прочитывал и спешил поделиться с автором своими впечатлениями.

Вот, например, его мысли о вышедшем в 1940 году сборнике рассказов Саида Ахмада «Подарок»:

«Саид Ахмад взял в руки тамбур. По тому, как он его настраивает, обращается с ним, наигрывает на нем — создается впечатление, будто он неплохо владеет музыкальной грамотой. На самом же деле музыка у него пока что не получается. И все рассказы «Подарка» тому подтверждение.

Главное теперь в том, чтобы он не упустил из виду, что берут в руки и настраивают тамбур для того, чтобы извлекать из него музыку».

Все последующие годы Абдулла Каххар внимательно следил за творчеством Саида Ахмада и 26 лет спустя написал предисловие к его роману «Горизонт». Приведу выдержку из этого предисловия:

«Книга одного из лучших наших писателей Саида Ахмада «Горизонт» блистательно выделяется среди книг его ровесников. Читатель, не отрываясь, с удовольствием, на одном дыхании прочтет ее до конца.

Много лет назад, когда Саид Ахмад впервые взял в руки литературный тамбур, мы надеялись, что со временем из него получится неплохой музыкант. Сегодня можно уверенно сказать: Саид Ахмад полностью оправдал наши надежды. «Горизонт» — зрелая, написанная с вдохновением и мастерством книга, и встречающиеся в ней кое-где пессимистические нотки следует отнести за счет волнения музыканта-исполнителя».

В начале 60-х годов кинорежиссер Латиф Файзиев привел к нам смуглого худощавого юношу. Засиделись допоздна. Гость в беседе почти не участвовал и лишь уходя стеснительно и робко положил рукопись на отопительную батарею:

— Посмотрите, если будет время.

Абдулла Каххар прочел рукопись и обрадованно сообщил мне:

— А из парня неплохой писатель получится!

Парень этот был Учкун Назаров, а рукопись, так обрадовавшая Абдулла Каххара, называлась «Люди» и была первым рассказом молодого автора. Отложив все свои дела, Абдулла Каххар прошелся по рассказу карандашом и с добрым напутствием перedal в журнал «Шарк юлдузи».

Вместе с тем, Абдулла Каххар считал своим долгом одернуть молодого писателя, если он того заслужил, строго указать на его просчеты и промахи, сказать в глаза правду, пусть даже горькую.

Лето 1964 года. Мы живем на даче в Дурмене. Рядом в Доме творчества отдыхает молодой каракалпакский писатель Тулепберген Каипбергенов. Вот уже месяц они с Абдуллой Каххаром встречаются чуть ли не ежедневно, подолгу беседуют. И ни мне, ни Абдулле Каххару невдомек, что он специально привез свою рукопись, чтобы показать ее наставнику и все никак не наберется смелости сделать это. Наконец, уже перед самым отъездом, Тулепберген, смущаясь и краснея, выдает свою тайну.

Рукопись настолько понравилась Абдулле Каххару, что он лично взялся перевести ее на узбекский язык и, не откладывая в долгий ящик, подыскивал заодно и русского переводчика. Повесть Т. Каипбергенова называлась «Холодная капля».

Абдулла Каххар болел душой за узбекскую советскую литературу, за ее будущее. Отсюда его по-отечески бережное отношение к молодым дарованиям и непримиримость к бездарии.

В беседе с молодыми писателями, состоявшейся в 1965 году, он так обосновывает свою позицию:

«...Современная молодежь образованна, культурна, глубоко разбирается в сути и целях литературы. Но, помимо этого, она обладает еще тремя поистине бесценными качествами.

Первое качество заключается в том, что молодежи не свойственны такие мерзкие свойства, как зависть и жадность. И это естественно, потому что обладающий глубокими знаниями, по-настоящему талантливый человек верит в свои силы, знает, что догонит идущих впереди, пойдет с ними в одном ряду и никогда от них не отстанет. Ну а необразованный, бесталаный писатель (не писатель) не в состоянии догнать кого бы то ни было и потому старается подставить ножку, свалить, на худой конец омрачить настроение, помешать идти вперед. Истинно талантливые люди не завидуют, а восхищаются друг другом, вдохновляют друг друга. Не сводят счеты, не соперничают, а соревнуются друг с другом, содействуя тем самым прогрессу всего общества.

Второе качество современной молодежи — скромность. Каждый успех, достижение, победу она рассматривает как пробу сил в использовании имеющихся возможностей. И это тоже естественно: человек, способный своротить горы кетменем, не остановится после одного-двух взмахов, хвастливо оглядываясь по сторонам в ожидании похвал и аплодисментов. Тот же, кто так поступит, расписывается тем самым в своей неспособности сделать следующий взмах.

Третье качество — высокая мера ответственности. Молодежь требует, чтобы ее произведения оценивались общелитературными критериями, без скидок на молодость. И это правильно, ибо если писатель в молодые годы претендует на возрастные скидки, то талант его не получает должного развития, писатель преждевременно стареет, пытается опять требовать скидок — теперь уже на старость, и при одном упоминании об общелитературных критериях лопается, как мыльный пузырь... Как же не гордиться, не радоваться, когда видишь, что наша литературная смена на глазах превращается из тонконогих жеребят в лихих, быстроногих, выносливых скакунов, способных одерживать победы в любых состязаниях! Им предстоит нести нашу эстафету дальше, приумножать славу нашей литературы.

А теперь несколько слов, как говорят, при закрытых дверях, не для посторонних ушей. Есть у меня одно очень серьезное пожелание.

Всех нас радует тот факт, что подавляющее большинство нашей молодежи сегодня решительно отвергает спиртные напитки, считает позорным их употребление. Об этом говорит хотя бы тот факт, что вокруг каждого случая выпивки тотчас поднимается серьезный, нелицеприятный разговор.

Довелось и мне как-то беседовать с одним из молодых приверженцев «зеленого змия». Парню было стыдно, и, пытаюсь хоть как-то оправдать себя, он пробормотал, не поднимая глаз: «А что — раньше никто из молодых не пил?» Ну, во-первых, бессмысленно пытаться смыть свой грех ссылкой на чей-то чужой: грехом грех не смоешь. А во-вторых, разве мало у нас было случаев убедиться в том, какими трагедиями обернулось для них пристрастие к вину? Сколько молодых дарований погибло, так и не раскрыв себя из-за алкоголя и только из-за алкоголя!

Есть и другая сторона у этой проблемы. Писатель всегда на виду у всего народа. По его моральному облику судят порой о литературе в целом. Алкоголь же роняет человека в глазах окружающих, подрывает доверие к нему, превращает в лжеца и изгоя.

Ни минуты не сомневаюсь в том, что наша литературная молодежь в основе своей чиста, правдива, искренне преданна служению литературе, заботе о ее престиже. Иначе и не должно быть. Чтобы создавать литературные памятники, достойные нашей эпохи, мы должны с большим вниманием и любовью относиться друг к другу, верить, обогащать друг друга духовно, выручать в трудные минуты. Только так можно оправдать высокое доверие партии и народа, надежды, которые общество на нас возлагает.

Абдулла Каххар был убежденным и ярким сторонником трезвого образа жизни, решительно выступал против пьянства и алкоголизма. Примером тому — его публицистические статьи «Белая водка — черные дела», «Благословенны будут торжества», «Позор». Приведу несколько выдержек из последней.

«...Кое-кто рассуждает: «Пусть будет выпивка на тоях, но в меру». Допустим. Но кто может определить эту меру? И кто поручится за то, что, когда опустеют выставленные на столы бутылки, не появится «добавка», в целях конспирации разлитая по чайникам? И что черпающие веселье из поллитровок забулдыги не будут потихоньку опорожнять под столом принесенные с собою бутылки?

Иные ратуют за шампанское. Но это тоже не годится, потому, во-первых, что шампанское обходится дороже других напитков, а во-вторых, какая разница, что пить пьянице, выпрашивающему по утрам у жены рюмку вина?

Курить анашу — стыд, употреблять кокнар — срам. С этим согласны все. Так почему же украшаются праздничные столы бутылками с зельем, не уступающим по своему воздействию на человеческий организм ни анаше, ни кокнару? Мы говорим: анаша и кокнар превращают человека в наркомана, разрушают личность, делают ее неполноценной. Так почему же считается полноценным человеком пьяница? Чем пьянство лучше наркомании? Мне не приходилось слышать, чтобы любитель кокнара совершил кражу или убийство, а преступлений, совершенных пьяницами, не перечесть!»

XI

Абдулла Каххар был сдержан на похвалы. Ни разу не довелось мне увидеть, чтобы он похлопал кого-нибудь из своих учеников по плечу и сказал: «Молодец! Отличная получилась вещь!»

Литературовед Азад Шарафутдинов написал вступительную статью к шеститомнику избранных произведений Абдуллы Каххара. Помню, как он пришел к нам и, волнуясь, прочитал свою статью автору многотомника. Абдулла Каххар внимательно выслушал до конца и произнес одну-единственную фразу: «Наконец-то обо мне что-то написано». И все. Не берусь судить о том, как воспринял эту фразу Азад Шарафутдинов, но из своего опыта могу сказать: за четверть века совместной жизни я ни разу не услы-

шала из уст мужа прямой похвалы в свой адрес. Лишь однажды (и то по слухам) он на встрече с молодыми писателями якобы сказал, отвечая на вопрос о нашем творческом содружестве: «Она открыла мне дверь в персидско-таджикскую литературу. Она — хороший переводчик, хороший кулинар, хороший помощник, хороший садовник, хорошая супруга и еще обладает столькими хорошими качествами, что перечислить их все просто невозможно».

Кто-то из гостей восхитился однажды поданными на стол кушаньями:

— С такой мастерицей готовить, как Кибрия-апа, вы, Абдулла-ака, до ста лет доживете!

— А почему бы и нет? — усмехнулся Абдулла Каххар. — Она должна хорошо готовить. Если полуграмотные женщины работают поварами, то уж ей сам бог велел.

«А в самом деле, — подумалось мне, — почему образованная женщина должна готовить хуже, чем необразованная?»

Абдулла Каххар обожал плов. Когда я спрашивала его, что приготовить, он чаще всего отвечал:

— Пусть будет купол.

Под куполом подразумевалась горка плова на лягане. Обычно, если ничто не отвлекло меня от дела, на приготовление плова уходило сорок пять минут. Абдулла Каххар привык к этому и, когда однажды в гостях слишком долго не подавали на стол, начал нервничать. Наконец принесли манты. Абдулла Каххар ковырнул вилкой и отложил в сторону. В ответ на мой вопросительный взгляд пробурчал вполголоса:

— Не стану есть. Слишком толстая покрыва.

А еще минуту спустя ласково:

— Вы у меня лучше.

— Вот как? — спросила я, стараясь не показать охватившую меня радость. — Оказывается, вы и похвалить умеете.

— Понимаете... — он помолчал. — Человек хвалит вещь, которую несет на базар продавать. Жена мне самому нужна. С какой стати мне ее хвалить?

Вот и все. «Вы у меня лучше...» И ни одной похвалы больше я от него не слышала. Жалею ли я об этом? Нет, не жалею. Сдержанность в похвалах — это одна из складок занавески, о которой Абдулла Каххар говорил в день, когда мы решили пожениться.

В семейной жизни я старалась буквально во всем быть правой рукой Абдуллы Каххара. Снова и снова перепечатывала на машинке его произведения, водила «Москвич», когда это было нужно. После того, как врачи установили у Абдуллы Каххара сахарный диабет, стала его медсестрой.

Почти все комедии Абдуллы Каххара ставились на сцене театра имени Хамзы, режиссером которого был в те годы Александр Осипович Гинзбург. Он не знал узбекского языка, и всякий раз я шла с ним вместе в театр и слово в слово переводила комедию.

В 1953 году Латышский драматический театр ставил комедию «Шелковое сюзанэ». Из Риги на имя Абдуллы Каххара пришло приглашение на премьеру. Он в это время работал над комедией «Больные зубы». Предложил:

— Поезжайте вы вместо меня. Мнения у нас совпадают. Скажете то же самое, что сказал бы я.

Полностью на моих плечах лежала и переписка с переводчиками произведений Абдуллы Каххара.

XII

В последние годы жизни творческая активность Абдуллы Каххара несколько не снизилась. В 1966 году он приступил к работе над новой комедией «Мои милые матушки», и уже год спустя режиссер Тула Ходжаев с блеском поставил ее на сцене театра имени Хамзы. Комедия шла практически во всех театрах республики, имела успех у зрителей Таджикистана, Киргизии, Туркменистана. А Абдулла Каххар уже трудился над новой повестью «Любовь».

В сентябре 1967 года в театре имени Навои общественность республики торжественно отметила 60-летний юбилей писателя. В своем кратком выступлении на юбилее Абдулла Каххар, в частности, сказал: «...друзья нередко упрекают меня в том, что я не всегда покладист, не спешу, не раздумывая, по-солдатски выполнять команды. Отчасти они, может быть, и правы. Дело в том, что я не солдат, а сознательный член великой партии Ленина, гражданин Страны Советов, советский писатель. Все это требует от меня не солдатской исполнительности, а сознательного служения словом. Я вступил в партию не по повестке, вступил сознательно, по велению сердца. За сорок лет творческой деятельности я создал немного. Дело в том, что большая часть этого времени ушла у меня на накопление опыта. Теперь этот опыт у меня есть. Я хочу прожить долго, прожить с пользой. Не для себя — для моего народа, для моей партии».

Судьба распорядилась иначе. Осенью 1967 года состояние здоровья Абдуллы Каххара резко ухудшилось. Начались сильные боли в ногах. Он стойко боролся с недугом. Несмотря на то, что боль не давала уснуть по ночам, он, как всегда, работал после завтрака, придвинув к дивану небольшой столик.

Видя, как он мучается, я однажды не выдержала:

— Неужели хоть сегодня нельзя отложить работу в сторону?

— Нельзя, — отрезал Абдулла Каххар. — Не то сейчас время, чтобы откладывать работу на завтра.

В январе 1968 года, выходя из ванной, он ударился большим пальцем левой ноги и содрал кожу. Что это означает при диабете, думаю, объяснять не надо. По выражению его лица я поняла, что произошло, и тотчас вызвала врача. Врач распорядился немедленно госпитализировать больного. Абдулла Каххар лег в больницу, но лечение не помогло, и по его настоянию в феврале я забрала его домой. Несмотря на непрекращающиеся боли и бессонницу, Абдулла Каххар закончил работу над повестью.

Состояние его здоровья не улучшилось, и мы обратились к известному специалисту по лечению с помощью мумие профессору Адылу Шарапову. Он подробно объяснил, как надо пользоваться мумие, и сам провел курс лечения. Ощутимых результатов не последовало.

Друг Абдуллы Каххара Герой Социалистического Труда Абдуджамил Маткабулов еще задолго до этого заболел тяжелой формой диабета. У него отнялись ноги. Мы навещали его, видели, как он страдает, но помочь ничем не могли. После одного из таких визитов Абдулла Каххар долго молчал, потом отрешенно, вполголоса произнес, словно вынося приговор:

— Когда-нибудь и меня это ждет.

Он уже тогда болел диабетом, и мне стало не по себе. Теперь это страшное происшествие сбывалось. Язва размером с монету не заживала, боли продолжали терзать, и врачи посоветовали везти его в Москву. Он долго не соглашался, но в конце концов вялым моим просьбам. Восьмого апреля в сопровождении медицинской сестры мы вылетели в Москву.

В клинике при институте Вишневого, куда его поместили, мне было разрешено готовить для супруга пищу, к которой он привык. В шесть утра я спешила на Даниловский рынок, делала необходимые покупки и отправлялась на Серпуховскую улицу, где размещалась клиника, чтобы к восьми успеть приготовить ему завтрак. Потом готовила обед, ужин и только к девяти часам возвращалась на Большую Полянку, в общежитие Узбекского постпредства.

В клинике Абдулла Каххар находился под наблюдением профессора Краковского и доцента Золотаревского. Для улучшения системы кровообращения его вначале хотели поместить в барокамеру, но электрокардиограмма показала, что делать этого нельзя. Неделю спустя сам А. А. Вишневский сделал ему новокаиновую блокаду и распорядился нанести на обе ноги мазь Вишневого и забинтовать. Бинты должны были снять только через неделю, никакого другого лечения в этот период не полагалось, и я попросила А. А. Вишневого разрешить на это время перевезти Абдуллу Каххара в общежитие постпредства. Он разрешил, но лишь через неделю, когда процедура была проделана вторично. 26 апреля я привезла супруга в общежитие.

В результате двух блокад боли в ногах уменьшились, но язва на большом пальце по-прежнему не заживала. Я отправилась домой к А. А. Вишневскому, он принял меня очень тепло, внимательно выслушал и тут же вместе со мною поехал на Большую Полянку. Осмотрев больного, сказал не допускающим возражений тоном:

— Завтра приезжайте в институт. Выделим двухместную палату.

В ту же ночь, с 13 на 14 мая, у Абдуллы Каххара начался сердечный приступ. Вызвали «скорую». Врач сделал укол, снял кардиограмму и покачал головой. Инфаркт.

Наутро, оставив Абдуллу Каххара на попечении медсестры, я помчалась в институт Вишневого. Директор тотчас отправил со мной врача, чтобы установить, можно ли перевезти больного в институт. Врач тщательно обследовал Абдуллу Каххара, и в тот же день мы на носилках доставили его в клинику. Там была уже подготовлена отдельная палата (как позднее выяснилось, для этого освободили кабинет заведующего отделением).

Приступ продолжался трое суток. Я день и ночь не отходила от постели. Со мною рядом были две медсестры — приехавшая с нами из Ташкента и выделенная клиникой института. Абдулла Каххар не находил себе места от боли. Наконец не выдержал:

— Скажите им, пусть выйдут. Позовете, если будет надо. Мне и вашего присутствия достаточно.

Состояние Абдуллы Каххара ухудшалось на глазах. Он перестал есть. Наотрез отказался от питательного раствора. Предчувствуя приближение развязки, вновь и вновь требовал, чтобы я увезла его в Ташкент. Показания электрокардиограммы становились все более и более угрожающими.

По просьбе одного из наших ташкентских друзей Абдулла Каххара обследовал известный кардиолог профессор Кассирский.

— Могу я увезти его обратно в Ташкент? — спросила я.

— Только через две недели, — ответил профессор.

После его ухода я поймала на себе пристальный взгляд мужа.

— Слышали? — он помолчал. — «Через две недели». Значит, в эти две недели должно решиться все.

Одеяло сползло с его ног. Я торопливо накрыла их. Он едва заметно усмехнулся.

— Наивный вы все-таки человек. Голове конец приходит, а вы заботитесь о ногах.

После инфаркта он действительно перестал обращать внимание на свои ноги. И не потому, что они у него перестали болеть, боли продолжались, но они отступили на второй план перед лицом гораздо более опасного и грозного недуга. Абдулла Каххар понимал это и с потрясающим мужеством сохранял присутствие духа.

Однажды он потребовал, чтобы его усадили. Я позвала лечащего врача и спросила, можно ли это сделать.

— Вы перенесли инфаркт, Абдулла Каххарович, — попыталась она отговорить его. — Вам необходим полный покой. По крайней мере, два месяца надо...

— Не надо, — покачал он головой.

— Что «не надо»?

— Не надо мне два месяца лежать, уставившись в потолок. Это не жизнь. Я так не могу и не хочу. Не знаю, сколько мне осталось жить, но сколько бы ни осталось, я буду жить так, как мне хочется.

Я посоветовалась с Вишневым.

— Ваш муж — мудрый человек, — сказал он. — Очень мужественный человек. Делайте так, как он просит.

И мы усадили его на кровати, подложив за спину две подушки.

От природы человек малоразговорчивый, Абдулла Каххар теперь и вовсе молчал часами, думая о чем-то известном ему одному и лишь изредка обмениваясь со мною одной-двумя фразами.

— Очень прошу вас, — сказал он в один из таких моментов. — Обещайте никогда больше не садиться за руль машины.

Я кивнула, едва сдерживая слезы.

— Понимаете, до сих пор нас было двое. Теперь вы останетесь одна. Берегите себя. Вызовите из Самарканда братишку. Пусть Хикматулла живет с вами. Трудно вам будет одной: дом, сад...

И еще одна просьба. Не переутомляйте себя. Занимайтесь разнообразия ради переводами. Столько лет мы с вами трудились плечом к плечу. Теперь хватит. Я и писателем стал благодаря вам. Любая другая на вашем месте и недели не выдержала бы моего характера...

Он замолчал и устало откинулся на подушку. Я молча плакала, моля бога, чтобы он этого не заметил.

— Жалко, «Землетрясение» не успел дописать, — произнес Абдулла Каххар, не открывая глаз. — Не судьба, видно. Около семидесяти рассказов написано. Тридцать с небольшим включено в шеститомник. Остальные — на ваше усмотрение...

Ну и последнее. Вызовите из Ташкента близких. Пусть приедут. Я должен им кое-что сказать.

— Если ради меня, то не стоит, — сказала я. — Мне достаточно вашего доброго имени.

— В наш дом люди шли как в святилище, — он словно не слышал меня. — Пусть так останется и впредь. Вызовите ко мне поэта Шухрата. Он человек бывалый, до седых волос дожил...

Я не выдержала и тихо вышла из палаты. Я впервые в жизни решилась не исполнять желания Абдуллы Каххара.

Когда, немного успокоившись, я вернулась в комнату, он взглянул на меня и все понял.

— Ну, хорошо, позвоните хотя бы Касыму Рахимовичу в постпредство. Пусть приедет.

Я не хотела присутствовать при их разговоре, но Абдулла Каххар заставил меня остаться.

— Вы знаете мою супругу. Четверть века она охраняла меня как зеницу ока. Я хочу, чтобы и после меня в ее жизни ничего не изменилось. Передайте мою просьбу руководителям республики.

И еще об одном попрошу. Вызовите ко мне срочно поэта Шухрата. У меня есть что ему сказать...

Двадцать четвертого мая Абдулла Каххара навестил Константин Михайлович Симонов. Позднее он напишет об этой их последней встрече:

«Каххар был вообще человеком большого мужества. Именно с этой чертой его личности связано последнее мое воспоминание о нем.

Я видел его в больнице всего за один день до смерти. Он знал, что умирает, не хотел умирать, но по своей натуре был не способен проявлять страх перед лицом смерти. Он лежал на больничной койке высоко на подушках, тяжело дышал своей широкой грудью, и на его красивом, мужественном лице было такое выражение, словно ему неловко оттого, что он не может встать навстречу друзьям и обнять их у входа в свой дом.

Он умирал и знал это, но пока был жив, еще чувствовал себя хозяином на земле. И я удивился в ту последнюю встречу с ним и крепости рукопожатия, и твердости взгляда этого уже уходящего из жизни человека.

Каххар бы настоящим человеком. И оставил после себя в литературе настоящие книги».

После ухода Симонова вскоре приехал Шухрат. Поговорив с ним, Абдулла Каххар как-то сразу успокоился, словно гору с плеч сбросил. Попросил кушать впервые за тринадцать дней. Выпил полчашки куриного бульона. Однако к вечеру ему стало хуже, и он велел мне отослать из клиники приехавшую из Ташкента племянницу:

— Скажите Хуршиде, пусть идет ночевать в общежитие. Молодая, впечатлительная... Мало ли что может случиться.

За все время болезни я ни разу не слышала, чтобы он застонал. А тут впервые со стоном вздохнул. Виногато посмотрел на меня. Покачал головой.

— Не потому, что ухожу из этого мира. Обидно иметь свой дом, а умирать в этой клетушке, на железной кровати, вдали от родных и близких.

К утру ему опять стало хуже, и он снова велел позвать Шухрата. Во время обхода профессор Галанкин измерил пульс и, ни слова не говоря, вышел из палаты. По выражению его лица я поняла, что надежды на выздоровление нет. Подоспел Шухрат.

В десять появилась лечащий врач Софья Григорьевна.

— Как провели ночь?

Абдулла Каххар болезненно поморщился.

— Гапа мухтасар кунед.¹

Она хотела послушать сердце, и в этот момент судорога пробежала по телу Абдуллы Каххара и он перестал дышать...

Ушел из жизни человек, с которым я прожила рядом четверть века, верный спутник, мудрый собеседник и учитель, добрый, чуткий, любящий муж.

Тогда я была уверена, что ненадолго переживу Абдулла Каххара, не представляла себе, как буду жить без него. Но прав Лев Николаевич Толстой: любое горе, как рана, постепенно затягивается, покрываясь тоненькой кожей. И остается лишь шрам. Так и горе — постепенно проходит. И остается след. Глубокий след в сердце. На всю жизнь. Единственная мысль утешает меня сегодня: да, Абдулла Каххара нет среди нас, но жива среди людей память о нем. И память эта будет жить вечно.

¹. Пусть говорит покороче (тадж.)



БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ БЫТИЯ

Леонид Шорохов. *Володька-Освод*. Ташкент. «Еш гвардия». 1987.

Небольшая повесть Л. Шорохова «Володька-Освод» почти одновременно издана отдельной книгой в Ташкенте и опубликована журналом «Знамя» (1988 г., № 1).

Краткая аннотация в книге дает скупую информацию об авторе — инженер, работает в Бекабаде, ему чуть более сорока, он участник семинара молодых прозаиков при Союзе писателей Узбекистана.

Почему же его произведение привлекло внимание всесоюзного читателя? Разберемся.

Содержание повести несложно. Это история постепенного падения человека в чаду приобретательства, погони за рублем и положением. Герой повести — Володька-Освод, или просто Освод, как его нередко именуют и как он сам представляется окружающим.

Странное это слово легко расшифровывается. «Освод» — общество спасения на водах. Сагин (изредка его так называет автор) — злостный браконьер, удачно обдывающий свои делишки под эгидой спасателя. Ощущение вседозволенности и полного комфорта Володьки четко подкреплено тем, что местное начальство даже высокого ранга охотно делит с ним его нехитрые утехы: пьянство, обжорство, самый низкопробный разврат. И длиться бы этому житью еще долго, но, на беду, вместо старого, погрязшего в грешках рыбного инспектора назначают нового, действующего неумолимо. Создается совершенно безвыходная для Володьки ситуация: привычные методы не годятся, ни купить, ни обойти, ни обезвредить этого вытанутого в струнку «правильного» Никитина невозможно.

А Сагин не представляет себе жизни вне этих воровских, браконьерских приемов. Да и все тонко продуманное устройство его бытия существует для этого, во имя этого. Захваченный на месте преступления, не видя иного пути, Освод становится убийцей, а затем погибает и сам.

Но нет, не торопитесь с выводами. Хотя повесть выстроена по всем канонам детективного жанра, перед нами не детектив. И еще. Хотя временные и пространственные рамки повести чрезвычайно сужены (действия происходят в захолустье, круг участников событий весьма невелик, и хронологические границы повествования измеряются несколькими годами), мы вос-

принимаем «Володьку-Освода» Л. Шорохова как произведение, в котором четко и зримо обозначилось время, период застоя с его законами и беззаконием, с его верой и безверием, с его чинопочитанием, основанном на убеждении, что сильные мира сего имеют неограниченную власть. Так что за микромиром повести не просто угадывается, а реально встает макромир нашей действительности совсем недавней поры. Эта социально-нравственная достоверность, эта сопряженность с временем, нам кажется, и привлекает прежде всего внимание к произведению нашего земляка.

В самом деле, ведь вся история взлета, благоденствия и скоропалительного падения, составляющая основу сюжетно-композиционной структуры повести, к несчастью, весьма близко переключается с судьбами многих гораздо более масштабных реальных фигур, о деяниях которых мы с горечью узнаем из материалов периодической печати, открывающих сегодня эту «зону молчания». Микроскопичность делишек Сагина не умаляет точно намеченных и социально легко узнаваемых примет: стремления к начальническому креслу, к максимальной автономии, внешней благопристойности, «фасадности», скрывающих преступления, хамство к подчиненным и пресмыкательство перед вышестоящими, — все, из чего складывается механизм взаимоотношений «властителя» и «раба».

Леонид Шорохов — писатель, чутко слышащий, какое время на дворе. Мы имеем в виду не дешевое приспособленчество, не конъюнктурную гибкость, а умение «в сумятице буден» различить болевые точки бытия и воспроизвести их жестко, в максимально напряженных, экстремальных ситуациях.

Время живет как полноправный художественный образ в его произведении, соотносясь с другими образами, вторгаясь в сюжетное движение, то необратимо убыстряя, то мучительно удлинняя ход событий.

По-своему прислушиваются к времени и герои Л. Шорохова. Беда тому, кто «ослышался». Высокое начальство, «большой человек», раньше Володьки чует и на своей шкуре ощущает изменение атмосферы. Вот почему, прежний «соотрапезник» и субулыльник, он сурово встречает Освода, пришедшего в надежде на помощь и поддержку. «Лицо его начало приобретать лиловый оттенок. «Ты что? — свистящим шепотом спросил он... — Забыл, какое нынче время на дворе?»

Знамение времени — и появление строгого законника, нового инспектора рыбнадзора Ивана Никитина; не случайно знакомство со своим жалким предшественником он начинает с жесткого вопроса: «Последнюю передовицу в «Правде» читали?»

А Володька по-прежнему убаюкан преуспеванием, живет в тесном плену своих представлений о законе и правде. Суть такой жизненной платформы выражена в красноречивом монологе жены Люски, семейного «философа-идеолога», к чьей «мудрости» и на этот раз обращается Освод:

«— Да ты уж совсем рехнулся с перепугу, милый муженек,— выпалила она с сердцем.— Право слово, рехнулся. Да где это и когда было видано такое, чтоб начальнику давали, а он не брал?! Че-е-естный...— с невыразимым презрением протянула она.— Да он кто есть, министр, что ли, какой, чтоб честным-то быть? Или у него уже сто тысяч лежат в загашнике, что так загордился? Не велика птица, не ей под облаками летать. На его ли зарплате честным быть? И почище его люди копеечкой не брезгают. Тоже мне, корчит из себя девочку. Вот выбьется в большие люди, вот оперится, тогда пусть и представляется. Честный».

И в результате Володька действует невпопад, хотя тоже шкуру чувствует, что грядет опасность, что времена меняются.

Время Освода предельно сужается. И нагнетение опасности, неотвратимости конца умело высвечивается писателем через это «времяощущение» героя. Володька в конце повести то считает мгновения, то, с ужасом ожидая возмездия, воспринимает минуты, как часы; время то «мелькает молнией», то «работает против» него. И Леонид Шорохов передает это психологическое ощущение времени своего героя и ритмическим строем, и семантической озвученностью речи. Вот внутреннее состояние Сагина, только что совершившего убийство и понимающего неотвратимость кары: «Время тянулось тягуче и мучительно». Эта короткая фраза с фонетическими повторами, с четырехсложным словом, аккордно завершающим ее звучание: «му-ни-тель-но»,— воссоздает состояние Освода—тягостность ожидания расплаты, грядущего конца.

А когда Володька скрывается на маленьком островке, последнем своем прибежище, когда предельно сужается, стягивается его время-пространство, Шорохов это передает так: «Пока он дрых, как последний цуцик, время работало против Володьки... Громоздкий маховик розыска, конечно, был раскручен». Здесь главная мелодия рождается от дисгармонического сочетания звуков и рокошущего «р».

Так изнутри, в сдвигении судеб, движется В Р Е М Я в повести Шорохова. Оно не привносится извне, оно живет «реально, грубо, зримо», оно раскрывается прозаиком в ритме, интонации, звуке, слове, образе, сюжетно-композиционном развитии.

И очень, наверное, важно, что и логика коллизий, и эволюция характеров повести Шорохова являются для нас и фактом художественной правды, и фактом социальной истины.

Авторская позиция в произведении прочеркивается абсолютно откровенно, хотя открытой декларативности мы в нем не найдем. Произведение, сохраняя постоянную дистанцию между автором и героем, имеет какую-то целостную стиливую окраску. Не подумайте только, что Л. Шорохов опускается до уровня своего незадачливого Володьки и подделывается под него. Но поскольку тон его преимущественно ироничен, язвительен, то выработывается своеобразный «средний регистр», делающий естественным использование обытовленного, порой приближенного к современному городскому жаргону языка. Кроме того, в повести большое место

занимает несобственно-прямая речь, сливающаяся со своеобразными внутренними монологами «героя». Например:

«Счастье в жизни действительно было неполным, как бы несколько культипым. Володька обнаружил, что его никто не уважает. Приятельские улыбочки закадычных кентов и компаньонов по рыбе в зачет не шли. Володька нисколько не обманывался их показушной прияязью. Каждый пойманный Сагиным сазан оборачивался недочетом «красенькой» в их кармане. Фарта перестало доставать для всех, и любая случайная ночная встреча на одной из уловистых акдаринских ям легко могла окраситься кровью».

Здесь и видение самого героя, и взгляд со стороны сочетаются без всякого нажима.

Умение воспроизвести мир в зрительно осязаемых образах открывает перед писателем значительные возможности. Ему подвластно слово, деталь, сюжет, ему, стало быть, подвластны и воплощение мысли, наблюдения, эмоции. И он пользуется этим своим даром: в повести живут своей жизнью не только люди, но и рассветы и закаты, земля и вода, водоросли и рыбы. Но почти нигде описания эти не играют самоцельной роли, они в хорошем смысле этого слова функциональны, они работают на идею, делают художественно полнокровной мысль автора.

Так, ставшую расхожей от частого употребления истину о необходимости защиты окружающей среды Л. Шорохов не декларирует, а просто дает два описания реки: первое — до того, как человек стал «хозяйном природы», второе — тогда, когда он, перестав жать «милостей» от нее, «взял» их.

В повести немало точно подмеченных социальных характеристик, обретающих зримость благодаря удачно найденным художественным деталям. Ну как не увидеть вместе с Володькой хозяина большого кабинета, к которому он «не вовремя» пришел за подмогой: «Холодом и льдом встретили его немигающие, стеклянные глаза, плавающие над грудой бумаги».

Итак, перед нами произведение человека, несомненно, одаренного счастливой способностью социальные открытия поднимать на уровень художественных. И это не может не радовать.

Не всегда, к сожалению, Л. Шорохову удается быть верным своему таланту. И в повести порой ощутимо отсутствие внутреннего слуха, требовательности и взыскательности.

Поверьте, это пишется не для того, чтобы собластности необходимому мере позитивного и негативного начал в рецензионном жанре, дабы не испортить комплиментарным тоном начинающего писателя. Нелепость подобного предположения опровергается всем ходом моих дальнейших рассуждений.

Они основаны на сличении двух редакций, которыми сейчас располагает читатель: ташкентского издания и московского журнала. Я же волею обстоятельств знакома с «Володькой-Осводом» до публикации, поэтому движение повести от рукописного варианта на редакторский стол и в печать для меня особенно рельефно, хотя я и не собираюсь прибегать к этому источнику, считая подобное запрещенным приемом. Но и те различия, которые остались сейчас (то есть между книгой и журналом), говорят о многом всякому, кто захочет сличить их. Ведь не случайно наиболее удавшимся вариантом произведения представляется журнальный, подвергшийся самой жесткой редактуре. И она, на наш взгляд, в подавляющем большинстве оказалась не просто полезной автору, но и необходимой ему.

Не будем голословны. Начнем с самого существенного — с движения сюжета. Основные линии его психологически убедительны и не вызывают недоверия к автору. Но в том финале, который остался лишь в книге, Л. Шорохову явно изменяет чувство психологической правды характера. Вспомним: Володька, очутившийся в безвыходных обстоятельствах, совершенно обезумевший от безысходности и неизбежности кары, решает утопиться. Ход совершенно естественный, другого пути нет: он убийца, загнанный в тупик. Как же нарисован в книге этот последний виток в жизни Освода? Трудно поверить, но он нарисован в традициях айтматовского «Белого парохода», пожалуй, только несколько более аффектированно. Помните у Айтматова мальчика-рыбу — этого изверившегося в добре и побежденного злом ребенка, который плывет в надежде увидеть белый пароход? И здесь Володька, подонок, поправший все святое, ибо вне воровства, разврата и истребления жизнь для него теряет всякий смысл, тоже уподоблен человеку-рыбе! Дело здесь не в том, что повторение приема вызывает прямую ассоциативную связь (я вспомнила об айтматовском мальчишке, чтобы понятна была та пропасть, которая разделяет этих героев). Суть в другом: как нарисована Л. Шороховым эта картина превращения Володьки в рыбу. Автор поднимается здесь до прямой поэтизации своего «героя», он — часть прекрасного мира природы, он воссоединяется с ним. Этот мир принимает его, как бы спасая от беды!

Вдумайтесь! «Жадно вдыхая в себя родную акдарьинскую воду, он заторопился, гребя плавниками, вслед за веселой сазаньей стаей, и длинный солнечный след потянулся за ним как последнее «прости» его прошлой жизни». Так и хочется спросить у Л. Шорохова: за что, за какие подвиги и доблести ему это «прости»? И откуда у Володьки такая тонкость восприятия того бытия, которое он с таким остервенением истребляет? Ведь хотя это авторская речь, но вместе с тем — и внутреннее движение сознания героя, раскрывающее его ощущения, что кричаще, на наш взгляд, противоречит тому характеру, который создан писателем.

Такое же резкое противоречие между раздумьями героя (и, главное, самой формой этих раздумий) мы наблюдаем и в другом эпизоде повести, когда Л. Шорохов раскрывает образ Ивана Никитина. В самом произведении он чрезвычайно схематизирован, лишен живой человеческой сути. Новый рыбный инспектор — рупор, набор рецептурных истин, которые им декларируются и которым он служит с маньячной готовностью робота. Он больше идея, чем характер. Его верность букве ЗАКОНА вызывает в памяти известный образ инспектора Жавера из «Отверженных» Гюго. И вдруг такой никак не стыкующийся с его обликом sentimentalный «оживляж» — внутренний монолог Никитина, который, глядя на струи реки, мыслит: «Нет, не струи то были, а слезы; горькие слезы беззащитной реки, — нет, не кваканье то было, а реквием по убитым; слезы общей нашей матери-природы и смертные стоны ее». Не случайно и этого места нет в журнальном варианте.

Иногда автору изменяет чувство меры в стремлении «живописать» все детали происходящего, появляются «красивости» и подробности, что идет во вред целостности восприятия и вступает в противоречие с основной идейно-стилистической направленностью повести. Таких моментов в книге осталось немало.

Итак, радость узнавания нового таланта несколько пригашена горечью потерь — тех больших и менее серьезных художественных просчетов, которые не могут не тревожить, ибо путь в литературу только начал и очень важно сейчас, что возобладает в художнике: уверенность в своей непогрешимости (внимание всесоюзного журнала вселяет надежды) или жесткой взвисательности и вечного поиска.

Мы многое прощаем сейчас писателям за силу правды, верность высоким нравственным и социальным идеалам, пафос разоблачения устоявшейся лжи. Не случайно вновь вызвано к жизни такое высказывание И. В. Киреевского: «Вопрос о достоинстве художественном становится уже вопросом второстепенным; даже вопрос о таланте является неглавным; но мысль, одушевляющая поэта, получает интерес самобытный, философический...» И все-таки, все-таки не будем противопоставлять идею и форму, мысль и поэтику, ибо они в конечном счете связаны неразделимыми нитями диалектического единства. И лучшие страницы повести Л. Шорохова «Володька-Освод» убеждают именно в этом.

Л. ТАРТАКОВСКАЯ.

«И ДОЖДЬ ИДЕТ, И СОЛНЦЕ СВЕТИТ»

Тада Никитенко. Яблоко для Елены. Повесть. Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана «Еш гвардия», Ташкент, 1986.

Давно подмечено, что течение реальной человеческой жизни переменчиво: периоды стремления пожить «как все» сменяются острой жадной самоутверждения. Порой кажется, что жизнь вошла в привычную колею, но... случается событие, заставляющее пересмотреть свои взгляды, переоценить отношения с людьми. Кризисные ситуации, когда ломаются привычные стереотипы, когда после событийной «грозы» особенно ярко сияет «солнце» нравственного очищения, неизменно привлекают и писательское, и, естественно, читательское внимание. Новая повесть Тады Никитенко «Яблоко для Елены» подтверждает пристрастие молодой писательницы к отражению переломных моментов в жизни героев, что проявилось и в ее первой повести «Настя» (1984), и в рассказах «Фаина гора» и «Такое вечное лето».

Героиня повести «Настя» — молодая девушка, студентка, работающая на стройке. Настя не терпит лжи и не идет на компромиссы ни в личной жизни, ни на производстве. Неприятие потребительского отношения к жизни приводит ее к разрыву с семьей. Девушка смело идет на конфликт с нечистым на руку бригадиром строителей Абдуллиным, становится во главе коллектива и превращает его в единую трудовую семью. Характер однолинеен, незамысловат и статичен. Но в конце повести Т. Никитенко неожиданно романтизирует этот образ. Во время трудового отпуска Настя уезжает к бабушке в деревню, и... превращается в совершенно другого, незнакомого читателю человека. Здесь она «ощутила

себя неотъемлемой частичкой природы». Героиня, освобожденная автором от той роли, которую она играла в городе, становится сама собой. Этот новый внутренний облик Насти привлекает чистотой и одухотворенностью, но... никак не соотносится с ее прежней жизнью. Домысливая фабулу повести, можно предположить и такое: кончится у Насти отпуск, вернется она в город и опять станет «сильной личностью», которая всех «зажимает в свой кулак». И все-таки, видимо, главный интерес для Т. Никитенко представляет потребность человека в переменах, в достижении внутреннего лада, гармонии. Именно поэтому в рассказе «Фади́на гора», в сюжетном плане переключаемом с повестью «Настя» (у Лельки — мачеха, у Насти — отчим; Лелька не находит в своих домашних душевного тепла, и Настя уходит из дома, живет одна, так и не обретя духовного контакта с родной матерью), образ человека, слившегося с природой, займет центральное место.

В отличие от Насти, героиня рассказа как бы выключена из реальной жизни: весь день проводит в сонном состоянии, а ночью уходит на Фадину гору, чтобы научиться летать, услышать Великую тишину, неразрывно слиться со звездным миром. Тайная игра ребенка превращается в душевную потребность. Но реальная жизнь, с ее иной, обывательски пошлой системой ценностей вторгается в этот таинственный и радостный мир, обретенный девочкой-подростком, и разрушает его. На высоком романтическом звучании заканчивается рассказ. Исчезает, но остается жить в памяти читателя Лелька, сказочная героиня, отвергающая всем своим существом обыденную жизнь.

Реальное и фантастическое, таинственное и приземленно-натуралистическое переплетены в рассказе «Такое вечное лето». Сюжет здесь явно приобретает приметы «типового» для Т. Никитенко: городская девочка-подросток приезжает на каникулы в деревню к бабушке. Но если в «Насте» героиня преобразуется слишком быстро и поэтому не совсем убедительно, то в этом рассказе Т. Никитенко стремится художественно воссоздать процесс трудного осознания героиней частицей великой и могучей силы.

Приподнятость, возвышенность стиля повествования передают процесс проникновения Тани в глубины мироздания: «Она подумала, что поток любви, который изливает на нее мама, и сравниться не может со щедрой неистовой любовью, с которой земля несет на себе своих детей... И показалось ей, что столетия пронесли над землей...» Но тут же автором включена сцена с кражей поросенка — слишком резкий, пожалуй, переход от космически-возвышенного постижения мира к обыденно-тривиальному. Да и в самой сюжетной истории первой любви Тани к Гайке, намеченной автором лишь пунктиром, чувствуется недосказанность. Как-то по взрослому, слишком императивно звучат последние слова героини: «Любовь такую — как природу, саму по себе, просто. Как дар ее хочу...»

В женских образах, создаваемых Т. Никитенко, контрастно сочетаются сила воли и эмоциональная раскованность. Эта двойственность присуща и героине новой повести «Яблоко для Елены».

Журналистка Елена Волохова, находясь в командировке в г. Навои, неожиданно встречается (кстати, в этой «случайности» проглядывает ставшая расхожим штампом закономерность: автор помещает своих героев в одну гостиницу)

с человеком, в которого была влюблена десять лет назад. Всеволод же не узнает в Елене ту самую Елку, которую он встретил в г. Светлом и полюбил. Эта встреча и оказывается толчком «извне», заставляющим героиню задуматься о себе, подвести предварительные итоги жизни.

При всей тривиальности этот сюжетный ход, конечно же, отражает самочувствие реального человека, у которого с течением времени изменяется восприятие окружающего мира, уточняются нравственные критерии. Но остается память, сохраняющая время детства и юности, прошлое, которое вольно или невольно идеализируется, романтизируется. При этом минувшее не самоценно, оно обретает значение лишь в соотношении с настоящим.

Воссоздавая процесс «нравственного пробуждения» героини, Т. Никитенко уделяет значительное внимание прошлому, которое, видимо, должно было «высветить» нынешнее, стать движущим импульсом сюжета, обосновать поступки Елены в сюжетно настоящем времени. Этот замысел не реализуется в полной мере: образ Ельки существует в произведении как бы автономно, не связывается в сознании читателя с Еленой Волоховой. Автор зачастую просто констатирует различия в их жизненных позициях. Раньше Елька думала: «Мир вокруг меня — для меня», а Елена сейчас видит себя так: «Я — в огромном тревожном мире, который делает со мной, что хочет. Почему-то в итоге так получилось. Он замкнулся вокруг меня, пронизывает своими токами, вертит». Или: «Елька — Елена, десятилетие — пропасть между ними». Романтический образ Ельки никак не совпадает с повзрослевшей Еленой, и, читая повесть, все больше задаешься вопросом: что же произошло с Еленой за десять лет разлуки с любимым?

Да и сама героиня, вернувшись из командировки домой и как-то слишком поспешно приняв решение расстаться с мужем, недоумевает: «Что же меня так обезличило? Чтение под давлением, программное, выбивающее собственные мысли, не успевшие созреть? Когда и куда делась Елька?»

Лишь констатируя свершившееся, Т. Никитенко не показывает сам процесс утраты героиней активной жизненной позиции, романтического настроения, нравственных ориентиров. А многочисленные воспоминания, призванные сократить расстояние между двумя ипостасями героини, с этой задачей не справляются в полной мере. Сюжетные сцены, смонтированные по принципу контрастного сочетания унылого, «дождливого», настоящего (объяснения с мужем) с лучезарным прошлым, составляют динамическое повествование, проникнутое интонацией не столько грустного подведения итогов, сколько тревожно-радостного ожидания перемен. Особая роль здесь принадлежит притче, помогающей понять эту внезапно возникшую жажду обновления: «В пустыне высохло дерево... Омертвело... Но вдруг пошел дождь: ливень с моря прорвался, — и оно ожило, сок потек под корою, распустились листья. Во мне, оказывается, ничего не умирало, все только спало до дождя. А сейчас и дождь идет, и солнце светит, и я хочу, чтобы это продолжалось, продолжалось...»

Притча о дереве, непосредственно проецируемая героиней на свою жизнь, является тем «центром», с которым незримо соотносены основные «болевые» вопросы, требующие от Елены напряженного поиска истины. Этот символический образ в какой-то мере опосредованно объясняет, что происходило с героиней в последние

И ЭТО ПОЭЗИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ!

Встреча. Стихи молодых поэтов. Ташкент. Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана «Еш гвардия», 1987.

Открывая сборник произведений молодых поэтов, каждый раз заново ожидаешь чуда: а вдруг на небосклоне русскоязычной поэзии Узбекистана замерцала сверхновая звезда?

Сборник «Встреча» представляет Андрея Кружилина, Шамшада Абдуллаева, Нину Демази, Ольгу Кравченко, Юлию Гольдберг — поэтов, уже публиковавшихся, выступавших со стихами разными — многообещающими и разочаровывающими, несущими на себе след яркой авторской индивидуальности и перепеваящими чужие мотивы. Что же за «Встреча» ждет нас под этой несколько странной, одним глазом взирающей на читателя, блекловатой обложкой (художник Э. Изетов)?

Пять разных авторов, и не просто «авторов» — поэтов! — трудно объединить общей оценкой. Как известно, подобные книги составляют чисто механически — это пять небольших отдельных сборничков в одном. И все же это, в какой-то степени, лицо молодой русскоязычной поэзии Узбекистана, лицо поколения, призванного заложить основы поэзии завтрашнего дня. Лицо поколения со свежим, непредвзятым взглядом на жизнь, не обремененного ошибками и заблуждениями давних и недавних лет, не скованного канонами и традициями, поколения, имеющего возможность попробовать «на вкус» и «на ощупь», что же такое свобода творческого самовыявления.

Когда читаешь вошедшие в сборник произведения, возникает ощущение, что художник, наверное, сам того не желая, очень точно выразил в оформлении обложки поэтическую суть книги: окружающая нас, такая сложная и противоречивая, действительность увидена как бы «одним глазом», ограниченно и субъективно. Взгляд в себя, а не вовне — пожалуй, именно это и объединяет такие разные и по тематике, и по художественному уровню стихи.

Разумеется, лирика (а это в основном сборник лирики) — всегда в какой-то степени взгляд «в себя». Но ценность подлинной лирики в том и заключается, что «Я» поэта неотделимо от «Мы» окружающих его людей, неотделимо по общности духовной жизни, гуманистических идеалов, по глубине постижения социальной и философской сути времени и человека.

Читая стихи **А. Кружилина**, все время пытаешься ответить на вопрос: почему их так трудно читать? Почему они «проскакивают» мимо сознания, не оставив следа ни в душе, ни в мыслях? Конечно же, и потому, что они просто слабы художественно. Когда едва ли не в каждом стихотворении обнаруживаешь такие чисто стилистические и грамматические перлы, как «там окошки звездам растворились» («В час, когда дождливым утром ранним...»), «они будут здесь час от часу» («Побег на шлюпке в белую ночь»), «дом в конце пути концов» («Белая ночь над Балтикой»); когда спотыкаешься о такие смелые неологизмы, как «остров каменный, бесчаечный» («Белая ночь над Балтикой»), то тут уж «доб-

десять лет, вместившие в себя и учебу в институте, и замужество, и годы овладения профессией. Т. Никитенко психологически точно передает и мучительное желание героини вернуть прошлое, и понимание невозможности исполнения этого желания. Но после этого «момента истины» жить «как все» она уже не сможет. Своеобразным символом-проводником грядущих перемен в ее жизни оказывается и яблоко, подаренное ей Всеволодом. Эти два образа — дерево и яблоко — возникают во всех внутренних монологах героини второй части повести, когда Елена, влекомая одним лишь волевым усилием, начинает разрушать привычный стереотип жизни. Но это разрушение не самоцельно: «Я самоубийца. Я действительно сожгла, взорвала все вокруг, и себя. Но это для того, чтобы возродиться. Вырасти заново». Расставаясь с мужем, Елена вдруг осознает всю пустоту прожитых с ним лет: «Теперь не могу вспомнить ничего хорошего из супружеской жизни. Он все перечеркнул. Зачем?! За что?! Но зачеркнуть одним вечером можно только то, чего почти не было. Смелее говори: чего не было!» Вот истинная суть происшедшего: как и дерево без дождя, женщина без любви медленно умирает. В ней исчезает способность радоваться, эмоционально откликаться на происходящее вокруг. Так, в первой части повести Елена ловит себя на мысли, что ее работа из интересной почему-то превратилась в обычную, повседневную, которой она уже не может отдавать «все сердце», как это делала Елька, написав свою первую статью «Строительные Акули». Образы-мотивы «дождя», «оживающего дерева» знаменуют эмоциональное «пробуждение» героини, ее выход из замкнутого круга повседневной спокойно-размеренной жизни: «Но только когда Елена уходит с работы в улицу, в деревья, в дождь, она перестает сдерживать улыбку. Идет по самому краешку тротуара, прикрывшись зонтиком от редких капель с неба ли, с ветвей... Иногда вытягивает руку с напряженно растопыренными пальцами над мокрой, взмывшей землей, чтобы ощутить ладонью токи, исходящие от нее...»

Эти образы-мотивы в сознании героини ассоциируются с образом Всеволода — «человека из прошлого». Сконцентрированность героини на своем чувстве к нему, на анализе своего «я» придает некую ролевою ограниченность образу Всеволода, который и возникает в повести только для того, чтобы дать толчок нравственному возрождению Елены: «... Он весь из прошлого — прошлое! — говорит она своей подруге Свете. — Просто луч, упавший на мою жизнь, высветивший углы, обозначивший тени, меня — для меня разбудивший». Такая заданность, думается, лишает образ живой плоти индивидуальности, оставляет его в границах схемы.

И, конечно же, огорчаешься, когда во внутренние монологах героини порой проникают газетные интонации, слова и выражения не из ее интеллектуального и эмоционального строя.

Тем не менее образ Елены — несомненное свидетельство зрелости молодого прозаика и усложнения тех творческих замыслов, за осуществление которых берется Т. Никитенко.

О. САДУЛЛАЕВА.

рым» словом поминаешь не только поэта, но и редактора. Однако еще страшнее то, что эти, мягко выражаясь, шероховатые по своей художественной отделке стихи — элементарно пусты. Они чаще всего просто ни о чем. Вернее, они — обо всем понемногу. И о многотрудной матросской службе:

В час, когда дождливым утром ранним
Распорядок по тревоге вспорот,
Мне в морском неласковом тумане
Видится далекий южный город.
Там окошки звездам растворились
И деревья кронами сомкнулись,
Шумные кварталы заблудились
В бесконечных паутинах улиц...

И о любви — конечно же, несчастной и безответной:

Здравствуйте! Чем вы дышите
Там, от меня вдаль?
Нет ли нехватки лишнего?
Не скучаете ли?

Отыщу я ответчика
За промашку в судьбе.
Это вам моя весточка
Или это — тебе?..

(«Письмо»)

Есть стихи о благоговении автора перед «зеленоглазыми строками» «святой Марины» (Цветаевой), и о том, «Что думал Галилей» — возмущающей своей натуралистичностью и художественной недостоверностью Галилей «С подагрой. И без зубов», размышляющий на дыбе (!) в таких «изящных» выражениях: «А ход истории — ох, и скор! Черт в рыло бы вам эту вашу свечу!»

Думается, нет нужды множить примеры и комментировать столь же беспомощные строки. Во всей подборке, по замыслу представляющей лучшее из написанного А. Кружилиным, нет самого поэта! Нет характера в его сложных, неоднозначных связях со средой; нет и самой этой среды, помогающей этот характер раскрыть и осмыслить.

Может быть, и не стоило бы говорить о стихах А. Кружилина подробно, если бы именно они не открывали книгу с многозначительным названием «Встреча», не задавали тон всему сборнику.

Хотя стихотворения **О. Кравченко** совсем на другие темы, хотя и «сделаны» они более грамотно и профессионально, но почему-то говорить о них хочется теми же словами. Это просто «женский вариант» того же типа поэзии «ни о чем». Это стихи, бестревожные, такие знакомые, кажется, много раз читанные стихи о любви и весне, о радости и боли поэтического труда — стихи, к сожалению, не задержавшие взгляда ни одной талантливой, запоминающейся строчкой; стихи, облекающие даже собственные переживания и мысли в какие-то «всеобщие», стертые, бесцветные слова:

...Чтобы строки дышали зеленой рекой,
По-весеннему полной потоков и струй,
И дарили бы легкий, недолгий покой,
И сулили тревогу назавтра к утру...

(«Весна»)

Ю. Гольдберг в первом же стихотворении своей подборки как бы пытается опровергнуть нашу мысль о камерности произведений, вошедших в сборник:

Уже пришла пора: все пристальней и строже
Нам вглядываться в мир, прочитанный с листа.

Более того, ее лирическая героиня обладает важнейшим сегодня свойством души и характера: «...когда чужую боль не чувствуешь отдельно, когда чужая смерть в твою сочится кровь...».

С надеждой перелистываешь страницы: кажется, зазвучал пусть молодой и неуверенный, но страстный, глубоко чувствующий «чужую боль» поэтический голос. Увы — декларация повисает в воздухе, и за ней следуют едва ли не демонстративно уводящие от «чужой боли» прогулки в забвенье» («Ты помнишь прогулку в забвенье, а может быть, в память иных...»). Это вариации на классические темы («Эвридика» и др.); это графически четкие, исполненные искренней любви к прекрасному городу, но будто запертые внутри этой «книги оград и мостов» ленинградские зарисовки (из цикла «Ленинград»); это традиционные по художественным решениям и очень личные стихи о любви (из цикла «Расставанья», «Если сразу не бросилась в руки...», «Как страшно, радостно и странно...» и др.). Лучшие из представленных в подборке Ю. Гольдберга произведений («Вдоль каналов, и парapeтов...», «Ни слов, ни слез, ни восклицаний...», «Офелия») привлекают неординарностью образных решений, музыкальностью, лиричностью. Другие — раздражают своей вычурной красотой («... о протяжная пропасть пространства, одиночества алый ожог...») и слишком явственной знакомостью приемов и интонаций (здесь прочтываются и Окуджава, и Ахматова, и еще многие). Но главное — едва ли не все они разочаровывают все той же упоительной замкнутостью на самой себе.

Мы намеренно говорим об авторах книги не в той последовательности, в какой они «встроены» в самом сборнике. Ибо стихи Ш. Абдуллаева и Н. Демази выделяются из этого общего, к сожалению, чаще всего бесцветного ряда наличием в них яркого личностного, индивидуального начала. И хотя здесь также наталкиваешься на «увещания» вместо «увещевания» (Абдуллаев) или на «что ты ей, стихии, значить» (Демази), — не хочется ставить это «лыко в строку», так как речь идет не о грамотности авторов и профессионализме редакторов, но — о Поэзии.

Стихи **Н. Демази** отличаются непринужденностью интонации, умением одним штрихом, одной деталью создать неповторимый образ, несущий в себе и настроение, и философскую глубину, и неожиданность авторского взгляда. «Мутно-блеклы глаза-небеса, в горле привкус горелого прошлого...» — это в стихах о равнодушии, о тоске одиночества («После сечи». К. Васильев). «Сгорают минут золотая солома...» — это в интересном размышлении о «блаженной доле» женщины, которая «от веку — из Музы — в знахарки, в кухарки...» («Покуда глотают взахлеб Иппокрену...»). «Вот уж будет пустая тебе колыбель мертвой рыбкою плыть в предрассветные сны...» — это снова о женщине, но уже с иной, несчастливой судьбой, стареющей в одиночестве, познающей «горьковатую истину поздних зеркал, лишенную радости материнства («Синеватых прожилок неброская вязь...»). Веселая игра рифмами (как значимо перекликается, например, «мил мой — сужен» и «мир мой сужен»), неожиданность смысловых совмещений — все это создает ощущение поэтической легкости, уверенного владения стихом. Досадно, правда, что при достаточно высоких собственных возможностях Демази нередко заимствует и чужие интонации и мотивы: Цветаева, Блок, Есенин незримо присутствуют в ее произведениях, накладывая на некоторые из них отпечаток

вторичности («Декабрь», «В реку это — в реку боли...», «Государь мой август»).

Если проблема «как» чаще всего решается Демази без видимых усилий, то вопросы «что», «о чем», «зачем» — нередко остаются без ответа. О чем же стихи? В большинстве своем о любви, о женской сути и доле, о перипетиях интимных переживаний. Даже лучшие из них («Поле сечи». К. Васильев, «Любимой и лелеемой не быть...», «Синева ты прожилок неброская вязь...») — опять-таки устремлены «вовнутрь», в себя, заполнены лишь тем, что важно и близко самой поэтессе. Из семнадцати стихотворений, помещенных в сборнике, лишь два обращены к проблемам «внешним», к проблемам, которые принято называть острыми, живо-трепещущими. Это — «На всех углах кричала», стихотворение о трагедии немоты и позорного поклонения «бесстрастным», «пустоглазым» «божкам»:

И это — на наш взгляд, наиболее удачное не только во всей подборке Демази, но и во всей книге, единственное, которое хочется процитировать, стихотворение «На сенокосе», в котором наконец-то сливаются воедино «Я» и «Мы», общая наша боль пропускается через собственное сердце:

Мы с тобой — из Батыева войска,
Из Орды стекла и бетона.
.....
И тебя не пугает даже,
Что земле-то — куда ей деться?
Что не скажем мы ей, не скажем:
«Здравствуй, мама! Вернулись дети...»
По зеленой груди — ногами,
Перепелок пораспугали...
Что нам, собственно, до потомков?
Нам — кредиты, а им — расплата.
После нас не будет потолка —
Будет серая зыбь асфальта.

Ш. Абдуллаев с первых же строк поражает необычностью своей поэтики и своего взгляда на окружающий мир. Последовательность в утверждении этого ни на чей не похожого взгляда, осознанная подчиненность единой концепции всей художественной системы стиха, самой структуры поэтического образа — все это делает подборку Абдуллаева не просто собранием отдельных стихотворений, но цельным поэтическим «организмом» — и дает основания говорить о самостоятельности его художественного мышления, о самобытности и даже определенной зрелости его таланта.

Жизнь человека и общества увиденна Абдуллаевым в каком-то ином, непривычном измерении — в непостоянстве, импрессионистском переливании красок и полутонов, в зыбкости и непрочности. «Ландшафт» у него «бледнеет по частям», зато ветер имеет «свежие контуры»; травы «в страхе» впадают в глину «пальцами» — корнями, а «скрыченная зноем растительность... клубится, похожая на пар»; «воздух тяжелеет, как расхлябанная дверь», а «мужская рука... вдруг замирает невесомо... Эта расплывчатость и непрозрачность как бы подчеркивается общим для всех стихотворений верлибром, изначально лишенным ритмической и рифменной четкости.

Подборка Абдуллаева не случайно называется «Окраина» — автора интересуют «окраина» души, «задворки» жизни, не кипение ее, а спокойное, тихое течение. Поэт не приемлет ставших такими привычными в нашей каждодневной спешке «беглых, торопливых взглядов», когда все увиденное сливается в «хаос». Он постоянно

и подчеркнуто противопоставляет этой надоевшей спешке, символом которой становятся «полчища юрких авто», снующих по «слепой автостраде», — «родную Итаку», патриархальную «окраину», образ, в котором сливаются пространство и время, приметы прошлого — и какого-то нереального, вымечтанного настоящего, существующего, кажется, лишь в воображении поэта, искусственно замедляющего ход жизни. Настоящего, в котором «юность» соотносится с «грубостью», «торопливостью», «смелым бездельем», даже жестокостью, а «плюсовой» полюс постоянно связан с образами стариков, «доверчивых, как одуванчики», стрегущих «свои паутинные сердца» («Вокруг музыки», «Зверек», «Возвращение», «Эпизод» и др.). «Забытая местность», «Старый квартал», «Забитый фильм двадцатых годов» — уже сами названия многих стихотворений несут в себе концепцию жизни, идеалом которой оказываются «неподвижность» и «тишина» — образы, проходящие едва ли не через все стихотворения. Это не та неподвижность, которая равносильна смерти — в ней заложена «ясность более подвижная, чем наша», и еще не постигнутая человеком «даль» («Река для беглых, торопливых взглядов...»). Это и не та тишина, в которой тонет живой человеческий голос: поэт утверждает «неоспоримую **вольность** тишины — этот крик, несущийся к нам из другой стороны мира («И пруд, и черепаха...»).

Тем не менее идеал отнюдь не бесспорный, пригодный, пожалуй, скорее для недавних, печально памятных годов, когда «крик» честного человека лишь потенциально существовал в «неоспоримой вольности» тишины, а поэты могли искать утешения лишь в вымышленных «старых кварталах» канувшей в Лету «родной Итаки».

Утверждать такой идеал — право поэта. Тем более поэт — единственного из всех авторов, сумевшего по-своему увидеть и изобразить окружающий нас мир, его острые углы и болевые точки. И все же такая картина мира кажется нам неполной, лишенной как раз тех существенных черт, которые определяют «лицо» этого мира сегодня.

Бросая авторам сборника упрек в камерности и замкнутости их поэзии, мы рискуем навлечь на себя обвинения в пресловутом вульгарном социологизировании, в попытке «причесать» поэтов под общую, надоевшую «гребенку» «общественных», «гражданских» проблем. Конечно же, стихи о любви нужны человеку не меньше, чем стихи об экологии или ядерной угрозе. И, конечно же, никому не нужны рифмованные лозунги о перестройке и ускорении. И не их ждали мы, открывая сборник «Встреча». Но желание увидеть масштабную картину современного мира, желание поразмышлять вместе с поэтами о философских тайнах бытия — это желание, думается, вполне законное.

И еще одно. Мы почему-то стесняемся в оценках тех или иных книг, тех или иных художественных произведений употреблять слово «талант». А может быть, стоит именно его поставить во главу угла всех наших критических выступлений? Может быть, стоит в самом начале найти в себе мужество сказать автору: «Ты не поэт, твои гладкие рифмованные строки — еще не поэзия». Может быть, тогда, наконец, иссохнет моря рифмованной воды на страницах книг, и, говоря о сборниках молодых, можно будет писать слово «Поэт» с большой буквы?

С. КАГАНОВИЧ.



К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

ВОСПРИНИМАТЬ МИР В ГАРМОНИИ

Живописные произведения, этюды, рисунки ташкентского художника Ренана Вико представляют в целом единый тематический круг, в котором по-своему отразились основные тенденции развития живописи Узбекистана в последние десятилетия.

Пластическая структура его картин проста и ясна, но пути, приведшие художника к этой простоте, совсем не однозначны. За этой итоговой определенностью стоит упорный каждодневный труд художника, его сомнения и тревоги, восторги, а порой и разочарования.

Широкому зрителю Р. Вико более всего известен как автор больших тематических полотен на историко-революционную и современную тематику. Основная часть работ этого плана публицистична, здесь забота о богатстве палитры как бы отступает на второй план, уступая место рассказу. Но это несколько не умаляет художественных достоинств произведений.

В групповых портретах Р. Вико подкупает искренность, хотя очевиден и несколько идеализированный и даже героизированный характер портретируемых. Более всего художник предпочитает официальный портрет, причем независимо от того, кто служит его моделью — балерина или рабочий, земледелец или писатель. В работе над портретом, помимо несомненного внешнего сходства, художник стремится понять и выразить психологическое состояние человека, раскрыть мир его увлечений, социальную среду. «Для меня очень важна передача внешнего сходства, — говорит художник, — но не менее важно увидеть в человеке те качества, о которых он, может быть, в себе и не подозревал. Эту сверхзадачу я пытаюсь решать на протяжении уже многих лет и, честно говоря, полное удовлетворение от этого получаю достаточно редко».

Если в ранних портретах Р. Вико проявлялись не глубокое отношение к композиции, отход от строгой рисуночной основы, то позже художник пришел к пониманию необходимости четкой лепки формы, выявлению конструктивной основы предметов.

Некоторым его работам, таким, как портрету Бернары Кариевой, свойственны черты экспрессивного выражения человеческого характера. Внутренняя собранность, духовная напряженность передаются не только обликом портретируемой, но и трактовкой самого пространства, кажется, предельно сжатого.

В формировании и росте художника большую роль сыграли творческие поездки по республике, по стране. В пейзажах Р. Вико — и широкие просторы казахстанских степей, и трогательные русские избы, и высота весеннего голубого неба над древней землей Самарканда. В просторе пейзажных мотивов, в их спокойствии есть завораживающий восторг перед красотой земного бытия. В этих работах преобладает своеобразная техника живописи — легкий, импрессионистический мазок, передающий колебания цвета, мерцание света, состояние атмосферы.

Довольно долго в создании пейзажей Р. Вико применял этюдный метод. Но постепенно художника все больше стала привлекать работа над сложными композиционными полотнами, наполненными созерцательным раздумьем и глубиной чувств.

Пожалуй, именно в пейзажах художник обрел свой собственный стиль — ясный и чистый, сочетающий одновременно жизненность и одухотворенность. Стремясь к постижению внутреннего строя, движения природных явлений, художник непременно находит главное и второстепенное в этом процессе, подтверждает свою способность воспринимать мир в его пластическом ритме и гармонии.

Произведения Ренана Вико не обладают тем эффектным блеском, который сразу обращает внимание зрителя в пестром калейдоскопе работ на выставках. Да он и не стремится к такого рода популярности. Привлекают его произведения тем, что в них звучит пусть не громкая, но чистая, не похожая на другие, мелодия души. И каждый день, подходя к мольберту, художник продолжает поиски собственного пути в искусстве, а это значит, что пока для него важны не столько итоги, сколько ощущение движения вперед.

Н. ВАЛИУЛИНА.

КНИГОМАН

В гостиной Егор долго искал на книжной полке шеститомное собрание сочинений Н. В. Гоголя. Чуть не опрокинул напольную китайскую вазу, наконец выдернул один увесистый томик и, привычно взвесив в руке, прикинул: «Граммов триста будет». С фронтисписа на него хмуро глядел востроносый классик. Было в его взгляде что-то прокурорское. И клок волос лежал на лбу клювом. Егор поежился и бочком прошел в спальню.

На кровати вздымалось тело супруги.

— Ты, Егор?

— Я, Фрося, — буркнул Егор и присел рядышком.

Было в мужниной реплике что-то покаянное. Фросе почудилось недоброе — дальняя дорога, нечаянный интерес, казенный дом. И сидел он как-то сутуло, нахохлившись, по-птичь.

— На симпозиуме что? — тревожно спросила она.

— Страшно, Фрося, — вздохнул Егор. — Ишь, что придумали: природу-мать охранять. Штрафы, значит. Усе, баста! Катерок продам. Переметы — Мишке, а динамит в лесу закопаю. У тятиной могилки. Во как! Пущай живет рыбка золотая. Нам на старость хватит... бассейн только построю...

— С ума сошел, — всполохнулась Фрося, — мне зубы менять надо. Нинка опять замуж собралась — приданого требует.

— Не шуми! Не пропадем...

Егор мрачно поднял над головой томик.

— Новый уголовный кодекс! — ахнула Фрося.

— Гоголь! Мне верный человек сказал: в нашем-то доме Гоголь останавливался!

— Кто?

— Великий сатирик — Николай Васильевич.

— Брешут, — пришла наконец в себя Ефросинья.

— Да нет, не брешут. Публикацию показал. Аккурат в нашей квартире был, на втором этаже с флигелем. Инкогнито, конечно; проездом в Рим заворачивал.

— Что теперь будет? — охнула Фрося.

— Дом на учет поставят... а квартиру нашу в музей обратят.

— Выселят?

— Дура, пусть попробуют только. Тут надо мозгой шевелить, пользу извлечь, а ты? Это ж ведь Го-го-ль! Люди со всей страны поедут... Какой шанс, а!

На лицо Егора легла тень длинного рубля.

— Перво-наперво домоуправа раскручу — пущай дают на ремонт тыщу! В ванной кой-где кафель облупился. В прихожей плитка паркетная западает.

— Люстру сменить надо, — шептала супруга.

— Само собой. И стенку шведскую пущай райисполком покупает. Портрет в прихожую, бюстик какой-нибудь мраморный, путевку в Трускавец, пора тебе и в этом году подлечиться. Во они у меня где теперь будут!

И Егор, сладко жвав кирпичный кулачище, поднес его к Фросиному носу.

Егора знобило и качало, словно на плечах — по пудовой стерлядке.

— Вот ведь, Фрося, можно сказать, живу в исторической обстановке, ногами по ней ступаю запросто. Ставку сторожа выбью, а тебе — зрительницы в своем же доме. Спать будем, Фрося, а денежки — кап, кап, кап...

Он в изнеможении опустился на кровать, опасливо тронул рукой томик, где пряталось клювастое обличье сатирика. Казалось, тот хотел коршуном вцепиться в Егорову рожу и камня на камне на ней не оставить.

— Толстой, конечно бы, лучше был, — протянул Егор, — у него, понимаешь, больше исторического оптимизма и никакого там сарказма. Батальные сцены тоже неплохо получались. Народность, понимаешь, имелась, в этот все больше смехом старался. Да и в заграниче все ошивался, нет чтобы грабли в руки или там на сенокос по-толстовски... Хотя и другое верно: пороки бичевал, свободу лирой воспевал, памятник себе воздвиг нерукотворный...

— Это в Москве-то?

— Так точно, Фрось, вот ведь наука! Открыли!

Через полчаса супруги спали крепким сном. Ефросинье снилось мрачное грозное облачко, откуда торчал грозный перст и указывал на нее. Зато Егор во сне восхищенно улыбался. Снилось ему, как они с Гоголем набрели на тихий омут в зеленой лесной тени. Егор сказал, что, мол, нет тут ничего, дохлый номер, а тот возразил, да так метко пульнул толовой шашкой, так точно уложил ее на водяной пупок, что Егор только ахнул: во глаз-ватерпас! Одно слово — сатирик!



Николай Гацунаев

Пришельцы

Рисунки В. Будаева

ПОВЕСТЬ

«...Они шли с севера — кошмарные фиолетовые фантомы, порождение чьей-то больной психики, зловещие предвестники неотвратимой беды. Шли цепочкой, взявшись за руки, словно боясь потерять друг друга, слепо натываясь на кусты и редкие деревца, спотыкаясь о камни и проваливаясь в промоины. Их можно было перестрелять единственной пулеметной очередью. Единственной. Но пулеметы молчали...» Майкл О'Брайен, журналист.

«Они, как бы это точнее сказать... Ну, вроде эльфов на лугу, забавные крохотные человечки, одетые кто во что горазд. Плясали, взявшись за руки и образовав круг. А посредине круга стояла корова. Обыкновенная корова. Пестрая. Обмахивалась хвостом и щипала траву. Они вдруг кинулись к ней со всех ног, выставив перед собой ладошки. И в то мгновение, когда они коснулись ее, корова исчезла. Я зажмурился и протер глаза. Коровы не было. А они шли к лесу. Гуськом. Взявшись за руки и не издавая ни звука. Когда они скрылись за деревьями, я подрулил к лужайке. На траве валялся колокольчик с веревочной петлей. Видно, он был у коровы на шее. Я вышел из машины, тронул колокольчик ногой. Он упал набок и глухо звякнул. Я внимательно осмотрел лужайку. Колокольчик, веревочная петля, и ничего больше. Ни капли крови. Ни клочка шерсти». Арчи Зисман, коммивояжер.

«Я увидел их с вершины холма Сомерсет. Они вышли из леса и по тропинке направились к городу. Прошли от меня метрах в пятидесяти. Я хотел их окликнуть, но раздумал. Что-то меня насторожило. Трудно сказать, что именно. Понимаете, они шли гуськом, не переговариваясь и не глядя по сторонам. Смотрели под ноги, словно боясь оступиться, и четко держали дистанцию. У них было одинаковое выражение лиц: отрешенное и сосредоточенное. Будто все шестеро думали об одном и том же. Молча прошли мимо и скрылись в направлении Гринтауна. Шестеро мужчин, если это действительно были люди. Я говорю «если», потому что было в них что-то нечеловеческое. Словами это не объяснить. А представляю, как они вышагивают цепочкой, огибая холм, — и мурашки по коже...» Кен Дэвидсон, егерь.

Полковник Плэйтон выключил запись и обвел присутствующих красными после бессонной ночи глазами. Кроме полковника, который представлял в комиссии Вооруженные Силы, в кабинете находились еще трое: врач Антони Маклейн, физик-ядерщик Эдвард Стэнли и биолог Джон Хейлигер. Полковник сидел за массивным письменным столом, остальные члены комиссии — за приставным, образующим вместе со столом Плэйтона правильную букву «т». В окна ярко светило осеннее солнце.

— Краткое резюме. — Плэйтон зажмурился и тряхнул головой. — Около двух суток назад станции слежения на Западном побережье обнаружили объект в верхних слоях атмосферы. Расчет траектории показал, что объект упадет в океан примерно в четырехстах милях от берега. Однако в последний момент объект резко изменил траекторию, описал над континентом почти правильную полуокружность и упал здесь, на полуострове, в двухстах с небольшим милях от побережья. Падение объекта сопровождалось взрывом. Результаты анализов, полученных со спутников, показали высокую радиоактивность в районе взрыва, однако, по последним данным, уровень радиации заметно понижается.

Приняты соответствующие меры обеспечения безопасности. Прилегающая к полуострову акватория барражируется самолетами и судами береговой охраны. По суше полуостров отсечен от материка полосой отчуждения шириною двести метров. Вдоль полосы несут круглосуточное дежурство армейские подразделения.

— Грош цена вашим постам! — усмехнулся Стэнли.

— Прошу прощения, сэр, — голос Плэйтона не изменился ни на йоту, — но я еще не закончил.

— Ну так заканчивайте побыстрее! — Стэнли щелкнул зажигалкой и закурил.

— Постараюсь, — заверил полковник. — Ночь прошла без особых происшествий...

— Как это прикажете понимать? — снова перебил Стэнли.

«Цивильная крыса! — мысленно выругался Плэйтон. — Тебя бы в мою шкуру в этой идиотской неразберихе!» Усилием воли он заставил себя разжать челюсти:

— В районе падения объекта наблюдались сполохи, напоминающие полярное сияние, слышался гул. К утру все стихло. На рассвете, незадолго до восхода солнца, журналист Майкл О'Брайен с наблюдательной площадки на дереве, что позади поста номер восемьдесят семь, заметил...

— Что он заметил, мы уже слышали! — бесцеремонно вмешался Стэнли. — Можете что-то добавить к его сообщению?

Маклейн и Хейлигер обменялись недоуменными взглядами.

— Да. — Плэйтон опять стиснул челюсти. Начиналось самое трудное, и он не мог позволить себе расслабиться. — Поднятый по тревоге взвод десантников прибыл на место происшествия, но призраков там уже не застал.

— Призраков? — переспросил Маклейн.

— Призраков, фантомов... — Плэйтон презрительно фыркнул. — Словом, этой нечисти на восемьдесят седьмом уже не было.

— Вы уверены в их существовании, полковник? — Хейлигер так и впился глазами в Плэйтона.

— Это могло быть просто галлюцинацией, — предположил Маклейн.

«Если бы!» — горько подумал Плэйтон и покачал головой:

— К сожалению, это не так, доктор.

— У вас есть доказательства?

— Еще бы! — съязвил Стэнли. — Еще бы не быть!

«Явно нарывается на скандал, — с досадой отметил полковник. — Зачем это ему?» Хейлигер и Маклейн опять недоумевающе переглянулись.

— С поста, — через силу проговорил Плэйтон, — исчезли пятеро военнослужащих. Весь личный состав...

Целую минуту в кабинете царило молчание.

— Это еще ничего не доказывает, — первым нарушил молчание Маклейн. — Они могли просто удрать. Струсили и дали тягу.

— Могли. — Плэйтон с благодарностью посмотрел на медика. — Но они этого не сделали, доктор. Все пятеро оставались на своих местах до последней минуты.

— Но кто может знать это наверняка? — возразил Хейлигер.

— Я! — взорвался Стэнли. — Слышите? Я!

— Успокойтесь, Эдвард. — Маклейн хотел похлопать физика по плечу, но тот резко отшатнулся.

— Прочь руки! Не смейте ко мне прикасаться! Вы тут толчете воду в ступе, а там... — Он передернул плечами, стараясь унять колотившую его нервную дрожь. Глубоко вздохнул. — Простите меня, господа. Сейчас возьму себя в руки.

Стэнли помолчал, а когда заговорил опять, голос его звучал отчужденно и глухо:

— Я был там вместе с десантниками.

Для Плэйтона это прозвучало как гром с ясного неба. Физик достал что-то из кармана и положил на стол перед полковником. То был жетон, какие выдаются военнослужащим.

— Откуда у вас жетон? — резко спросил Плэйтон.

— Прочтите, — только и сказал Стэнли.

Не прикасаясь к жетону, Плэйтон дальноторко прищурился. «Клайд Стэнли, — значилось на овальной металлической пластинке. — № 55889. Национальные Вооруженные Силы».

— Брат? — спросил полковник. Стэнли кивнул. — Это ничего не меняет. — Полковнику было тошно произносить эти слова. Он сознавал их чудовищную несправедливость. Но поступить по-другому не мог. Не имел права. — Вы не должны были ничего брать оттуда, Стэнли. Вы вообще не имели права там появляться.

— Знаю, — устало отозвался физик.

— Я обязан отстранить вас от участия в комиссии. Это требование Инструкции.

Стэнли молча пожал плечами. Хейлигер и Маклейн безмолвно наблюдали за происходящим.

«Слова, — с неожиданным ожесточением подумал Плэйтон. — Инструкция, в конце концов, тоже всего лишь набор слов. Ее сочинили такие же умники, как этот Стэнли. В кабинете за тысячи миль отсюда. Пустая трата времени. А в результате теперь, когда нельзя терять ни минуты, когда надо действовать быстро и решительно, потому что гибнут люди и неизвестно вообще, во что все это выльется, мы упускаем время и копаемся в Инструкции, словно она нам чем-то поможет. Ну хорошо, я отстраню Стэнли, арестую его. Что дальше? В комиссии необходим ядерщик. Где я его возьму?»

Стэнли, казалось, прочитал его мысли.

— Как бы вы поступили на моем месте, полковник? Если бы там, на посту, пропал ваш брат?

«По всей вероятности, точно так же, — подумал Плэйтон. — Брат есть брат».

— И потом, — Стэнли сделал паузу. — В ближайшее время вам вряд ли удастся заполучить физика-ядерщика.

— Да, — согласился Плэйтон.

— Ну так плюньте на Инструкцию и займемся делом. Время не ждет.

«Он прав. — Плэйтону мучительно захотелось курить. Он достал из кармана сигареты и чиркнул спичкой. — Понимает, что я приперт к стенке».

— В конце концов, запросите столицу и, когда вам пришлют нового физика, отправляйте меня под арест. Только сначала я введу его в курс дела. Впрочем, это можно сделать и в катажке.

— Сукин вы сын, Стэнли! — усмехнулся полковник.

— Еще какой! — охотно согласился физик. — Вам такие и не снились. Но это не главное. Приступим к делу.

«Парень, похоже, хочет перехватить инициативу. — Плэйтон затянулся и опустил сигарету на край пепельницы. — Спешит узнать, что с братом? Или рвется в лидеры?»

— Вернемся к показаниям очевидцев. — Плэйтон взял сигарету, осторожно стяхнул столбик серого пепла. — Первый из них наблюдал пришельцев на рассвете примерно в шесть с минутами. Второй видел их с дороги где-то около одиннадцати. Третий, я имею в виду егера, столкнулся с ними в полдень.

Полковник сделал затяжку и продолжал, не сводя глаз с синеватого облачка дыма.

— Я выскажу свою версию, но она никоим образом не должна влиять на ваши. Договорились?

Все трое согласно кивнули. Полковник затянулся в последний раз и загасил окурок.

— Полагаю, что во всех трех случаях наблюдался один и тот же объект.

— Любопытная версия. — Хейлигер скептически поджал тонкие губы. — Только вот как вы ее обоснуете?

— Элементарно. О'Брайен наблюдал на рассвете семь кошмарных, как он выразился, призраков.

— Стоп! — запротестовал физик. — Возможно, я ослышался, но, по-моему, О'Брайен не называет, сколько их было.

— Верно. — Полковник выдвинул ящик стола и достал тоненькую папку. — Вначале, по горячим, так сказать, следам, очевидцы записали свои показания на магнитную ленту. Идея принадлежала О'Брайену, и он воспользовался своим репортерским магнитофоном. То, что вы слышали, это уже перезапись. Позднее очевидцы в более спокойной обстановке подробно изложили все на бумаге.

— Не много же они вам настрочили! — иронически заметил Стэнли.

Ни слова не говоря, Плэйтон раскрыл папку. Она была пуста.

— Ну и ну! — изумленно захлопал глазами Маклейн. — Как вас прикажете понимать, полковник?

— С показаний снимаются копии, — пояснил Плэйтон. — Через час они будут готовы. А пока вам придется верить мне на слово. — Полковник отложил папку в сторону и продолжил как ни в чем не бывало. — Итак, О'Брайен видел семь расплывчатых фиолетовых силуэтов, отдаленно напоминающих человеческие фигуры и втрое превосходящих их по размерам. За последнее, впрочем, О'Брайен не ручается, так как был очень испуган и не скрывает этого.

Затем последовал контакт призраков с военнослужащими поста номер восемьдесят семь. Как именно он происходил, не видел никто.

— А О'Брайен? — не выдержал Маклейн. — Он-то куда глядел?

— О'Брайен ничего не видел, — медленно произнес Плэйтон.

— Почему? — недоумевающе вскинул плечи медик. — Он что, ослеп?

— Сидел на своем шестке, зажмурил глаза и прикрываясь ладошками! — съязвил Стэнли.

— Ни то, ни другое, — покачал головой полковник. — О'Брайен потерял сознание. По крайней мере, так утверждает он сам.

— Хлопнулся в обморок, — продолжал ехидничать физик. — Кисейная барышня!

Все трое заговорили разом, перебивая друг друга. Плэйтон устало откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Нервы, — подумал он. — У всех до предела напряжены нервы. Пусть выговорятся. Какая-никакая, а все же разрядка». Проклятый Стэнли гвоздем засел в сознании, кололся, саднил, не давал покоя. Было что-то театральное, неестественное в том, как он горевал по своему брату. В том, как вздрагивал, уткнувшись лицом в ладони. Даже в том, как достал из кармана и выложил на стол жетон.

Плэйтон — уравновешенный, приучивший себя к дисциплине человек, и то в этой ситуации наверняка швырнул бы жетон, а не положил, как это сделал Стэнли. И потом, это охотное, даже с каким-то облегчением произнесенное: «Еще какой! Вам такие и не снились!» — в ответ на плэйтоновское: «Сукин вы сын!»

Со Стэнли что-то было не так. Явно не так. И в этом предстояло еще разобраться.

Ажиотаж в кабинете пошел на убыль. Не меняя позы, Плэйтон открыл глаза. Маклейн сдирал обертку с жевательной резинки, кивая Хейлигеру, который что-то ему доказывал, но уже без всякого энтузиазма. Стэнли... Стэнли в упор разглядывал Плэйтона, и в его взгляде сквозила откровенная усмешка.

Плэйтон выпрямился и негромко похлопал ладонью по столу.

— Оставим О'Брайена в покое. Как вести себя при тех или иных обстоятельствах — его личное дело. Итак, пятеро загадочно исчезнувших солдат...

— Извините, полковник, — остановил его Маклейн. — Вы сказали, что они оставались на своих местах до последней минуты. Откуда вам это известно?

— Десантники обнаружили одежду и личные вещи пропавших. — Плэйтон облизнул внезапно пересохшие губы. — Возле пулемета нашли обмундирование рядового Ваксмахера. Все в полной сохранности: каска, куртка, гимнастерка, брюки с ремнем, носки, ботинки. Часы и обручальное кольцо. Пачка сигарет, зажигалка, носовой платок. Бумажник с фотографией супруги Ваксмахера и небольшой суммой денег.

И никаких следов борьбы. Лежал человек возле пулемета и вдруг исчез, словно испарился.

— В чем мать родила! — хохотнул Стэнли.

— В чем мать родила, — невозмутимо подтвердил Плэйтон. — И не вижу в этом ничего смешного. Точно так же обстоит дело с остальными: одежда, обувь, вещи — все в полной сохранности. Исключая, по-видимому, вашего брата, Стэнли. В его вещах, насколько я понимаю, вы успели порыться.

Полковник испытующе взглянул на Стэнли, ожидая, как онотреагирует на его выпад. Реакции не последовало. Физик пожал плечами, подобрал со стола жетон и, ни слова не говоря, сунул его в карман.

— Теперь, надеюсь, с восемьдесят седьмым постом более или менее ясно? — Полковник был рассержен и не пытался скрыть это. — Тогда позволю себе высказать версию до конца и надеюсь, меня выслушают, не перебивая.

Он сделал паузу и обвел присутствующих взглядом.

— Пять часов спустя коммивояжер Зисман в десяти милях от поста номер восемьдесят семь заметил с дороги пляшущих вокруг коровы человечков. Их было шесть. Что произошло затем — вам известно. Пока, я подчеркиваю — пока, отметим следующее: пришельцы, а я почти уверен, что это были они, двигаясь строго на юг, покрыли десять миль за пять часов. И где-то на этом отрезке пути один из них отделился от группы.

Стэнли наклонился к биологу и что-то шепнул ему на ухо. Хейлигер недоуменно взглянул на него и пожал плечами.

— Еще два часа спустя егерь Дэвидсон встретил шестерых мужчин в одиннадцати милях от того места, где наблюдал пляшущих человечков Арчи Зисман. Одиннадцать миль за два часа и опять строго на юг.

Плэйтон поднялся из-за стола и подошел к карте, висящей в простенке между окнами.

— Взгляните, — он медленно вел пальцем по карте. — Красным кружком обозначено место предполагаемого приземления пришельцев. Пост № 87, лужайка, где наблюдались пляшущие человечки, холм Сомерсет, город Гринтаун — все эти точки расположены практически на прямой линии. Вывод напрашивается сам собой: пришельцы двигались в одном, строго заданном направлении. Куда и зачем — нам пока

неизвестно. Зато известно другое: на пути своего следования они убрали все живое и при этом непрерывно менялись сами: вначале — фиолетовые призраки, потом — крошечные человечки и наконец — люди.

— Убирали все живое... — вслух подумал Маклейн. — Но тогда, почему они не тронули журналиста? Коммивояжера? Егеря?

— Я думал об этом. — Полковник возвратился к столу, но остался стоять. — Вероятнее всего, они видят или ощущают лишь на ограниченном расстоянии. О'Брайен находился высоко на дереве. Зисман — на приличном удалении и к тому же в машине. А вот Дэвидсон был всего в нескольких метрах, однако они его не тронули.

— Или не захотели трогать, — предположил Стэнли.

— Возможно, — сухо согласился Плэйтон. — У меня все, господа. Копии показаний очевидцев, пробы и анализы, а также результаты экспертизы одежды и личных вещей солдат с восемьдесят седьмого поста вам доставят чуть позже.

— А ботало? — поинтересовался Хейлигер.

— Ботало? — переспросил Стэнли. — Это еще что за чертовщина?

Плэйтон едва сдержал улыбку. Несмотря ни на что, ему импонировала непосредственность Стэнли.

— Вы неподражаемы, Стэнли. Ботало — это колокольчик, который подвешивают корове на шею, чтобы знать, где она бродит.

— В наше-то время? — недоверчиво покосился на него физик.

— Фермеры достаточно консервативный народ. — И, обращаясь уже к Хейлигеру: — Ботало тоже передано в лабораторию.

Итак, господа, — он отогнул манжету и взглянул на циферблат часов, — в вашем распоряжении почти десять часов. Встречаемся здесь же, в девять вечера.

В приемной Плэйтон пробежал глазами последние сводки. Гринтаун оцеплен тремя батальонами десантников. По радио и телевидению передаются приметы шестерых неизвестных, составленные по описанию Кена Дэвидсона, и воззвание к местному населению с просьбой немедленно известить полицию о их местонахождении. Задержано несколько бродяг, но разыскиваемых среди них нет. Наряды полиции и военные патрули продолжают прочесывать Гринтаун и его окрестности.

Плэйтон опустил сводки на стол и только теперь обратил внимание на странное поведение дежурного офицера. Тот сидел, облокотившись о низенький стол, уткнувшись лбом в кулаки. Офицер прибыл в поселок всего за несколько часов до Плэйтона, но быстро освоился с обстановкой и превосходно справлялся со своими обязанностями.

«Как же его зовут?» — попытался вспомнить полковник. Вспомнить не удалось.

— Капитан, — негромко окликнул Плэйтон.

Офицер не шелохнулся.

— Капитан, — Плэйтон легонько похлопал сидящего по плечу. Плечо было как каменное.

«Тренированный малый, — отметил полковник. — А на вид не скажешь. Что это с ним?»

Офицер медленно поднял голову и открыл глаза. На белом, как мел, лице глаза казались густыми чернильными кляксами. Капитан помотал головой и резко поднялся со стула.

— Виноват, господин полковник.

— Вам нездоровится?

— Уже лучше. — Капитан достал платок и вытер выступившие на лбу капли пота. — Сейчас все пройдет.

— Вызвать врача?

— Не стоит, — капитан покачал головой. — Не тот случай.

— Вам, вероятно, лучше знать. Кстати, напомните, как вас зовут. Я становлюсь забывчив.

— Генри Крейн, господин полковник:

— Ну вот и прекрасно. На девять вечера я назначил встречу с членами комиссии. Отметьте себе где-нибудь. А я, пожалуй, пройдусь.

Он спустился с крыльца и зашагал вдоль выкрашенного в зеленый цвет штакетника к окраине поселка. Поселок был невелик и по-настоящему, видимо, оживал только в летние месяцы, когда падкие до дикой природы горожане приезжали сюда, чтобы подышать свежим лесным воздухом, поудить рыбу и пошатаваться по лесу в поисках грибов и ягод. Леса здесь были действительно великолепные.

Когда-то, давным-давно, на месте поселка стоял форт. Полуистлевшие остатки бревенчатых бастионов, как напоминание о далеком прошлом, величественно высились на северо-западной оконечности поселка. Левее, вдоль реки, спешно возводились сборные щитовые дома для войсковых частей.

Занятый своими мыслями, Плэйтон машинально свернул с дороги и направился к форту. Стэнли по-прежнему не выходил из головы. Теперь полковник вспомнил, как физик отшатнулся от Маклейна, когда тот сделал попытку прикоснуться к его плечу. Встречаются, конечно, люди, которые не переносят фамильярного обращения, но ведь тут-то было простое человеческое участие. Разумеется, каждый волен воспринимать это по-своему. И все же...

Плэйтон представил себе лицо Стэнли — стремительный калейдоскоп эмоций: негодование, гнев, брезгливость, испуг... Как он вообще мог оказаться на посту № 87? До поста верных полсотни миль. Десантников доставили на вертолетах. Пилотам строго-настрого запрещено брать посторонних. «Я был там вместе с десантниками...» Явное вранье! Но тогда откуда у него жетон?..

Окрик часового прервал размышления Плэйтона. Сам того не замечая, он вошел в форт, миновал покосившееся здание старой казармы и очутился у противоположного бастиона. В бревенчатой стене зиял огромный пролом, и посредине пролома, широко расставив ноги в массивных армейских ботсах, стоял солдат в форме воздушных десантных войск.

— Пароль! — требовательно повторил десантник. Зеленые глаза из-под каски глядели настороженно и недружелюбно. Черный зрачок автомата был направлен в грудь Плэйтона.

— Метеор, — негромко ответил полковник.

— Комета, — солдат посторонился, освобождая дорогу.

— Доложите обстановку, — скорее для проформы потребовал Плэйтон. Солдат вытянулся и взял под козырек.

— На вверенном участке происшествий нет, господин полковник. Докладывает рядовой Брюс.

— Вольно, рядовой Брюс. Давно на карауле?

— Два часа, господин полковник.

— Страшно? — Плэйтон сообразил, что говорит не то, и улыбнулся, давая понять, что вопрос не следует принимать всерьез.

— Никак нет. — Солдат улыбнулся. — Скорее любопытно.

«Тем пятерым поначалу тоже, наверное, было любопытно», — подумал Плэйтон и невольно вздохнул. Солдат истолковал это по-своему.

— Серьезно, господин полковник. Вы бы послушали, что Дитрих рассказывает!

— Кто?

— Рядовой Дитрих. Он тут ночью на посту стоял.

— И что же он рассказывает? — без особого интереса спросил Плэйтон. Но Брюс уже прикусил язык.

— Так, ничего особенного.

— Ну а все-таки?

— Да померещилось ему. Или задремал.

Плэйтон продолжал выжидающе смотреть на часового, и тому волей-неволей пришлось продолжать.

— Утром, солнце только поднялось, какой-то мужчина в форт вошел со стороны поселка. Ну вот как вы только что. Дитрих хотел его окликнуть, глядь, а отсюда, — Брюс указал рукой на пролом, — то ли облако наползает, то ли туман. Река-то рядом.

Река была действительно рядом: широкий плес с едва заметным течением, и могучие корабельные сосны на берегу.

— Только странный какой-то туман, густой, темно-синий.

— Так-так, — насторожился Плэйтон. — Дальше.

— А дальше туман ветерком вон к той казарме отнесло. И тип тот как раз в нее вошел. По малой нужде, наверно. Вот и все.

— Что все?

— Все происшествие. Дитрих подождал-подождал, а тот из казармы все не выходит. Заглянул Дитрих в казарму, а там никого нет. Всю казарму осмотрел — ни души.

— Где Дитрих сейчас? — повелительно спросил Плэйтон. Солдат невольно вытянулся.

— В части. Где же ему быть? Отсыпается.

— Рядовой Брюс!

— Да, господин полковник!

«Поздно, — с досадой подумал Плэйтон. — Молокососы слюнявые!»

— Заметите что-либо подобное, тотчас поднимайте тревогу!

— Слушаюсь, господин полковник!

Плэйтон помедлил, соображая, что делать.

— Разрешите вопрос, господин полковник?

— Разрешаю.

— Что слышно о ребятах с восемьдесят седьмого?

— Пока ничего нового. Запомнили, что я вам сказал?

- Да, господин полковник!
- Свяжитесь по рации с штаб-квартирой. Пусть дежурный офицер вызовет Дитриха. Я буду там через час.
- Слушаюсь!
- Плэйтон повернулся и напрямик зашагал к казарме.
- Фонарик возьмите! — крикнул вдогонку Брюс. — Темно там.

Свет пришелся кстати. В казарме в самом деле стояли густые сумерки, лишь кое-где прочерченные тонкими полосками солнечного света. Плэйтон включил фонарик и осветил под ноги. На пыльном полу отчетливо виднелись следы. Их было много, и полковнику потребовалось несколько минут, чтобы в них разобраться. Преобладали рубчатые отпечатки подошв армейских бот. По-видимому, Дитрих довольно долго топтался у входа, разглядывая внутренность казармы, заваленной всевозможным хламом. Затем пошел вперед: рубчатые следы тянулись вдоль левой стены, потом пересекали казарму по диагонали и возвращались к выходу параллельно правой стене. Необследованным оставался левый угол казармы. Доступ к нему преграждала баррикада из поломанной мебели, ржавых железных коек и мусора. Она-то, видимо, и остановила Дитриха. Его можно было понять: Дитрих искал человека, а человеку, не смотря на всю захламленность казармы, укрыться здесь было негде.

Плэйтон снова осветил под ноги и обнаружил то, на что не обратил внимания Дитрих: от входа к левому углу казармы тянулась идеально прямая цепочка следов, оставленных человеком, обутом в узконосые гражданские туфли. Стараясь не наступать на следы, Плэйтон дошел до самой баррикады. Она была высотой чуть больше метра. Присмотревшись, Плэйтон определил место, где владелец узконосых туфель перебрался через завал. Соблюдая осторожность, Плэйтон взобрался на баррикаду и опять осветил фонариком. Следы вели дальше и обрывались примерно в пяти метрах от стены. Полковник повел лучом вправо и влево, убедился, что следов нет, и осветил угол казармы. Слой пыли и здесь оставался нетронутым. Угол бы сплошь заткан пыльной паутиной. Серые клочья свешивались с потолочных перекрытий, и когда полковник направил туда луч фонаря, из густых сумерек, беззвучно взмахнув крыльями, скользнула ушастая тень какой-то ночной птицы. Спланировав над головой непрошеного гостя, птица плавно пронеслась по казарме и исчезла за дверным проемом. Плэйтон проводил ее взглядом, зябко поежился, отгоняя ощущение тревоги, и снова направил луч света на пол. То, что он увидел в следующее мгновение, заставило его вздрогнуть: там, где обрывалась цепочка узконосых следов, блеснула лакированная поверхность небольшого прямоугольного предмета. Полковник мог поклясться чем угодно, что еще минуту назад этого предмета на полу не было. Осторожно обходя ржавые металлические прутья и обломки мебели, Плэйтон спустился с завала и наклонился над предметом. То была продолговатая книжечка в темно-коричневой лакированной обложке. Плэйтон взял ее двумя пальцами, сдул пыль, раскрыл и несколько секунд внимательно изучал в свете электрического фонарика. Потом молча захлопнул и сунул в нагрудный карман.

В штаб-квартире он прежде всего затребовал досье Эдварда Стэнли и битый час исследовал его вдоль и поперек. Досье как досье. Лаконичное и емкое изложение биографии человека с пеленок и до членства в Национальной Академии наук. Плэйтон одобрительно пожевал губами. Не всякому удается стать академиком в тридцать с небольшим. Стэнли это удалось. Ему, если верить досье, все в жизни удавалось на удивление легко: колледж окончил с отличием, университет — тоже. На кафедре, где его оставили ассистентом, через год защитил диссертацию на тему... Да черт с ней, с темой! Что-то мудреное о природе космических излучений. Затем работа в Институте космоса. Три десятка научных трудов, добрая сотня публикаций. Восемь открытий и изобретений.

Плэйтон задумчиво почесал переносицу, взглянул на часы и опять углубился в досье. Участие в экспедиции на Марс. После возвращения почти год провалялся в госпитале и клиниках. Выписавшись, в институт уже не вернулся. Поступил на службу в Министерство обороны и вскоре возглавил одну из сверхсекретных лабораторий. Пользуется неограниченным доверием руководства. Вхож к министру...

Понятно... Плэйтон захлопнул папку и задумался. Негромко просигналил аппарат внутренней связи.

- Да?
- Рядовой Дитрих... — начал было капитан Крейн.
- Пусть подождет. Где Стэнли?
- У себя. Придет к девяти.
- Ясно. — Плэйтон покосился на часы. — Вызовите к восьми.

— Слушаюсь.

Крохотная лампочка на аппарате мигнула и погасла. Плэйтон несколько секунд продолжал сосредоточенно смотреть на нее, потом резко встал из-за стола и прошелся по кабинету.

Досье Стэнли следовало изучить еще вчера. Теперь многое становилось на свои места. И независимая манера держаться, и нетерпимость к фамильярному обращению, и то, каким образом Стэнли оказался на посту № 87. Предъявил служебное удостоверение командиру десантников, и тот не посмел ослушаться...

Снова засигналил аппарат связи. Плэйтон перегнулся через стол и включил динамик.

— Звонил Маклейн, — сообщил капитан. — Рвется к вам на прием.

— Что-то срочное?

— Утверждает, что да.

— Хорошо. — Плэйтон помолчал. — Через полчаса я готов его принять. Свяжитесь с Хейлигером. Пусть тоже приходит к восьми. Стэнли извещен?

— Извещен, господин полковник.

— Дитрих здесь?

— Да.

— Пусть войдет.

Рядовой Дитрих, долговязый, нескладный детина с короткой, как у боксера, соломенной шевелюрой, явно ожидал разноса: виновато моргал, не знал, куда девать длинные, чуть не до колен, руки. Но отрапортовал по всей форме и даже с шиком.

— Садитесь, Дитрих. — Плэйтон указал на стул. Дитрих неловко примостился на краешке сиденья.

— Итак? — зловеще изрек Плэйтон.

— Виноват, господин полковник! — Дитрих попытался вскочить, но полковник пресекал эту попытку.

— Повиниться успеете. А сейчас подробно о том, что произошло во время вашего дежурства. Не упускайте ничего. Ясно?

— Ясно, господин полковник.

— Слушаю, — Плэйтон опустил руку под столешницу и включил магнитофон.

Ничего нового рассказ рядового Дитриха не содержал. Разве что одну-две несущественные детали. Рассказывал Дитрих сбивчиво, то забегая вперед, то опять возвращаясь к началу. Когда пошли повторы, Плэйтон поморщился и выключил магнитофон.

— Достаточно.

Дитрих осекся на полуслове и уставился на полковника испуганными глазами.

— Вы успели как следует рассмотреть того типа?

— Да, — с убитым видом кивнул солдат.

— Сможете узнать, если увидите еще раз?

— Думаю, да.

— Думать надо было на посту! — рявкнул Плэйтон. — Узнаете или нет?

— Узнаю, — без особой уверенности ответил Дитрих.

Плэйтон еле сдерживал негодование.

— Сделаем так, — он поднялся и шагнул к двери в соседнюю комнату. — Пройдете сюда и будете ждать, пока я вас позову.

Дитрих молча кивнул.

— Я представлю вас трем джентльменам, — продолжал Плэйтон. — Расскажите им то, что рассказали мне. Внимательно присмотритесь. Не исключено, что среди них будет тот, кого вы видели утром возле казармы. Но даже если вы его и узнаете, не давайте вида. Вам все ясно?

— Ясно, господин полковник.

— Ну что ж, — Плэйтон отворил дверь. — Прошу. И учтите, Дитрих, ошибка исключается.

— В чем дело, док? — удивленно поинтересовался Плэйтон. — За вами гнались? Медик тяжело перевел дух.

— Слава всевышнему, нет! — Он опасливо покосился на окна, грузно плюхнулся на стул и достал из кармана таблетки. — У вас найдется стакан воды?

— Хоть десять, — заверил Плэйтон, включая переговорное устройство. — Будьте добры Крейн, бутылку минеральной для доктора. И стакан, разумеется.

Проглотив таблетку, Маклейн посидел некоторое время с отсутствующим видом и повернулся к Плэйтону.

— Господин полковник!

«Сколько патетики!» — мысленно отметил Плэйтон.

— Да, доктор?

— Поверьте, если бы не чрезвычайные обстоятельства...

— Ближе к делу, Маклейн. То, что вы хотите сообщить, связано с пришельцами?

— Пожалуй, — растерянно заморгал медик.

— Тогда не теряйте время.

— Сегодня утром... — Маклейн помолчал, собираясь с мыслями. — Пожалуй, лучше я начну все по порядку. Вы знаете дом, где нас разместили?

— Конечно.

— Одноэтажный коттедж, просторный холл и четыре комнаты. По две с каждой стороны.

— Я знаю этот коттедж, доктор.

— Тем лучше. — Маклейн отхлебнул из стакана. — Прошлая ночь была душной, и где-то уже ближе к рассвету я отворил свою дверь, чтобы устроить сквозняк. Стало чуточку прохладнее, и я задремал. Разбудил меня какой-то скрип. Я открыл глаза и прислушался. Начинало светать. В коттедже стояла тишина, и я решил, было, что мне почудилось, но тут скрип повторился. Затем послышались чьи-то крадущиеся шаги. Не поднимая головы с подушки, я стал следить за дверью сквозь полуприкрытые веки.

«Детектив, да и только! — подумал Плэйтон. — В другой ситуации я бы его слушать не стал. Но чем лучше мои похождения в казарме? Следы, которые не ведут никуда. Сова, подкидывающая сюрпризы. Ладно, пусть продолжает».

— Шаги приближались, и в дверном проеме возник, как вы думаете, кто?

— Архангел Гавриил! — не сдержался полковник.

— Понимаю ваш скепсис, — кивнул медик. — И юмор тоже. Нет, это был не архангел Гавриил. Это был Джон Хейлигер собственной персоной!

— А почему бы и нет? — Плэйтон недоуменно поджал губы. — Мало ли зачем встают люди на рассвете!

— Вначале и я подумал то же самое, — Маклейн допил воду и поставил стакан на стол. — Но потом...

— Что случилось потом? — прервал Плэйтон затянувшуюся паузу.

— Хейлигер постоял несколько секунд возле моей двери и, убедившись, что я сплю, пересек холл и стал осторожно открывать дверь в комнату Стэнли. При этом он то и дело озирался по сторонам и вздрагивал от малейшего шороха.

— Представляю, какого страха вы натерпелись!

— Я? С чего вы взяли? Это Хейлигер все время боялся чего-то!

— И чего же он, по-вашему, боялся?

— Откуда мне знать? За этим я к вам и пришел.

— Что же он натворил, этот возмутитель ночного спокойствия?

— Напрасно иронизируете, полковник. Хейлигер вошел в комнату Стэнли...

— Без стука?! — ужаснулся Плэйтон. — Какая невоспитанность!

На этот раз Маклейн пропустил насмешку мимо ушей.

— Пробыл там несколько минут...

— И задушил Эдварда голыми руками. Хотя, нет, Стэнли ведь был сегодня на совещании.

— И вышел обратно в холл, засовывая что-то в карман халата.

— Клептоман! — осенило Плэйтона. — В состоянии транса обобрал беднягу Стэнли до нитки и зарыл украденное где-нибудь под кустом. Вы случайно не психиатр, Антони?

— Перестаньте, полковник! — разозлился наконец Маклейн. — Отнесите к моему рассказу серьезно.

— Не могу, док.

— Вы не находите во всем этом ничего странного?

— Видите ли, Маклейн. — Плэйтон взял сигарету и принялся ее разминать, катая между большим и указательным пальцами. — Необычна сама ситуация, в которой мы очутились. Трудно ожидать, чтобы люди вели себя в этих условиях привычным образом. Скорее, наоборот. Я не случайно спросил, не психиатр ли вы.

— Не пойму, куда вы клоните, Плэйтон.

Полковник пристально взглянул в глаза Маклейну.

— Будем считать, что Хейлигер лунатик. И пока остановимся на этом варианте. Договорились?

— Парадом командуете вы.

— Хорош парад! — фыркнул Плэйтон. — Ладно. Мы еще вернемся к этому разговору, доктор. А теперь, — он посмотрел на часы, — с минуты на минуту сюда пожалуют ваши коллеги.

У Маклейна поползли вверх брови.

— Совещание перенесено на восемь. — Полковник включил переговорное устройство. — Что новенького, капитан?

— Получена очередная сводка, господин полковник. В Гринтауне пропали двое детей. Мальчик и девочка.

— Вот так, — полковник покосился на Маклейна. — Подробности?

— Кэтрин и Винцент Стависки. Ей пять лет, ему — семь. Последний раз их видели в городском парке шесть часов назад. Фотографии детей розданы патрулям, по телевидению и радио переданы объявления.

Продолжаются поиски шестерых неизвестных. Вертолетчики и десантные части прочесывают лес в районе поста № 87.

— Результаты?

— Пока никаких.

— Ясно. Где Стэнли и Хейлигер?

— Только что вошли, господин полковник.

— Пусть идут сюда.

— Слушаюсь.

«Пора подавать в отставку, — с раздражением и горечью подумал Плэйтон, глядя на усаживающихся за стол членов комиссии. — Что я смыслю в этой дьявольской головоломке? Другое дело — вооруженный конфликт. Там все ясно: есть противник и его надо одолеть во что бы то ни стало. А здесь? Кто нам противостоит? Фиолетовый туман? Призраки? Эльфы, пляшущие вокруг коровы? Но, с другой стороны, был взрыв. И кто-то похищает людей... Кто?... И вообще, с какого конца надо подступиться к этой проблеме?»

Стэнли раскрыл голубую пластиковую папку, достал из нее какие-то бумаги. Хейлигер положил перед собой записную книжку и фломастер. Маклейн — сплошная подозрительность — не сводил с обоих настороженного взгляда.

«Этот вряд ли сообщит что-то путное, — отметил Плэйтон. — Напуган до полусмерти и ни о чем, кроме утреннего происшествия, думать не в состоянии. Остаются двое. Кто-то из них был на рассвете в старой казарме. Если медику не померещилось, Хейлигер отпадает. Стало быть, остается Стэнли. А почему, собственно, не Маклейн? Был в это время у себя в комнате? Но кто это может подтвердить? Хейлигер, который якобы заглядывал к нему в дверь? Ну а если Маклейн сочинил свою историю специально, чтобы отвести от себя подозрение? Он, дескать, был в это время в коттедже и даже наблюдал, как биолог прокрался в комнату Стэнли. Вполне вероятно...»

— Начнем, господа. — Плэйтон зажег сигарету. — Кто первый? Вы, Стэнли?

— Как вам угодно. — Физик оторвался от лежащих перед ним бумаг. — Начну с фактов. Здесь, — он ткнул пальцем в бумаги, — анализы проб на радиоактивность, взятых с поста № 87. Одежда военнослужащих, оружие, личные вещи, растения, почва не содержат ни малейших следов радиоактивного распада. Никаких отклонений от нормы.

Не располагая исчерпывающей информацией, делать какие-либо выводы преждевременно. Лично я не вижу прямой связи между взрывом в глубине полуострова и появлением здесь тех, кого мы называем пришельцами.

Да, мы впервые услышали о них только теперь, после взрыва. Но, учитывая обширность территории полуострова, большая часть которого расположена за полярным кругом и практически не заселена, мы с таким же успехом можем предположить, что пришельцы обосновались там еще задолго до взрыва и что именно он явился причиной их миграции, а стало быть, и встреч с людьми.

Ну а если принять это мое предположение, то мы имеем дело с аномальными явлениями, которым не находят объяснения, но которые в общем-то не новы. Достаточно вспомнить хотя бы Бермудский треугольник. У меня все, господа.

Плэйтон слушал физика вполуха, мысленно фиксируя все: интонации голоса, выражение лица, жесты, манеру держаться. На первый взгляд, в поведении Стэнли ничего подозрительного не было. Внешне он был абсолютно спокоен, но именно это спокойствие резко контрастировало с его полуистерическими выходками на утреннем совещании и невольно настораживало.

— Ну что же, — Плэйтон кивком поблагодарил физика. — Послушаем остальных членов комиссии. Что у вас, Хейлигер?

— Примерно то же, что и у Стэнли. — Глухой, невыразительный голос биолога удивительно соответствовал его внешности — редкие грязновато-пепельного цвета волосы, незапоминающееся лицо, заурядное телосложение, серый поношенный костюм. О таких говорят: глазу зацепиться не за что. — Обследования не обнаруживают ничего инородного на одежде и предметах, принадлежавших солдатам с восьмидесят седьмого поста. Ни растения, ни микроорганизмы почвы в тех местах, где наблюдались пришельцы, не претерпели решительно никаких изменений.

На лужайке остались четкие следы коровьих копыт. Нарушения растительного покрова и раздавленный богомол вызваны пребыванием этого животного. И только. Никаких других следов не обнаружено.

Тропинкой возле холма Сомерсет пользуются, видимо, не так уж часто. Здесь обнаружены следы шести пар ног, обутых в стандартную обувь сорокового—сорок третьего размера. По-видимому, они принадлежат тем, кого видел егерь Дэвидсон.

Если это так, то материальные следы своего пребывания, а именно — отпечатки подошв, пришельцы начали оставлять только в непосредственной близости к Гринтауну. Следы эти ведут к шоссе и на нем теряются.

— А исчезновение солдат? — Плэйтону хотелось встретиться взглядом с биологом, но тот не отрывал глаз от записной книжки. — Это, по-вашему, не следы пребывания пришельцев?

— Следы со знаком минус, — мрачно сыронизировал Стэнли.

— Да, — согласился Хейлигер. — Со знаком минус. Точнее не скажешь.

— Ваши выводы? — напомнил Плэйтон.

— Если бы не исчезновение солдат и коровы, я бы считал, что пришельцы не существуют вовсе. — Хейлигер, наконец, оторвался от записной книжки, взглянул на Плэйтона. Глаза у биолога были серые, пристальные, пронизывающие насквозь. — Я хотел бы лично обследовать одежду солдат и ботало, полковник.

— Результаты лабораторных исследований вас не устраивают?

— И все же я хотел бы взглянуть на эти вещи собственными глазами.

— Думаю, в этом нет необходимости. — Полковник перевел взгляд на Маклейна. — Что вы нам скажете, док? Можете не вставать.

— Первая группа десантников тотчас после возвращения с поста № 87 прошла тщательное медицинское обследование. Тесты и анализы не выявили практически никаких отклонений от нормы.

«Мужи науки, — скорее снисходительно, чем с уважением отметил Плэйтон. — Стоит им сесть на своего любимого конька, сразу же начинают чесать как по писаному. Одинаковый стиль, одинаковые обороты. Школа. Неужели нельзя изложить все это своими словами?»

— Вы сказали — практически никаких?

— Да, — Маклейн поправил пенсне. — Почти у всех повышенное содержание адреналина в крови. Но если учесть, что они только что вернулись с операции, это вполне объяснимо. Психиатр, обследовавший Зисмана, Дэвидсона и О'Брайена, считает, что с психикой у них все в порядке. У последнего, правда, установлена некоторая склонность к истерии. Вот, собственно, и все.

— Не совсем, док, — поправил его Плэйтон.

— Что вы имеете в виду? — сухо поинтересовался Маклейн.

— Только то, что к вашим пациентам сейчас добавится новый, необследованный. Полковник поднялся из-за стола и шагнул к двери в смежную комнату.

— Еще один очевидец, наблюдавший аномальное, как выразился Стэнли, явление.

Мужество не значилось в списке достоинств рядового Дитриха. Плэйтон убедился в этом, как только солдат вошел в комнату. Вид у Дитриха был такой, словно его вели на расстрел.

— Рядовой Дитрих! — приказным тоном отчеканил Плэйтон. — Повторите присутствующим все, что вы рассказали мне об утреннем происшествии!

Полковник возвратился на свое место и выжидающе уставился на Дитриха. Тот сработал. Дитрих мгновенно подобрался и заговорил, не сводя глаз с Плэйтона. Тот движением головы указал в сторону членов комиссии.

— Обращайтесь к ним, Дитрих.

Рядовой кивнул и перевел взгляд на ученых.

Делая вид, что просматривает лежащие на столе бумаги, Плэйтон незаметно наблюдал за членами комиссии. Все трое смотрели на Дитриха. Стэнли — слегка иронически, Хейлигер и Маклейн — изучающе. «Если кто-то из них и замешан в утреннем происшествии, то в выдержке ему не откажешь», — мысленно отметил Плэйтон.

Сквозь обитую мягким пластиком дверь доносился невнятный гул голосов. Капитан Крейн отстучал на машинке отчет на имя генерала Розенблюма, положил в папку с документами на подпись, встал и прошелся по комнате.

Телефоны молчали. Крейн постоял с минуту возле окна, машинально барабанил костяшками пальцев по подоконнику, потом оглянулся на дверь в кабинет и, словно приняв какое-то решение, быстро пересек приемную и скрылся за дверью туалета. Опустил крышку унитаза, сел, облокотился о колени и замер, уткнувшись лицом в ладони.

Плэйтон бесшумно выдвинул средний ящик письменного стола и только потом опустил глаза. Браунинг лежал на месте. Не задвигая ящика, полковник выпрямился

и обвел взглядом присутствующих. Дитрих кончил свой рассказ и отвечал на вопросы членов комиссии.

Начиналось главное, ради чего, собственно, полковник и собрал их в своем кабинете. А поскольку это главное могло быть чревато любыми неожиданностями, Плэйтон заранее, еще до прихода ученых, переложил браунинг из кобуры в ящик стола.

— Есть еще вопросы к Дитриху?

Вопросов не было.

— В таком случае, господа, у меня есть вопрос к вам.

Плэйтон помедлил, выжидаяще глядя на членов комиссии. Те вели себя как ни в чем не бывало: Стэнли изящным жестом поправил узелок модного галстука, Хейлигер не спеша завинчивал колпачок фломастера, Маклейн поерзал, удобнее устраиваясь на стуле, но особого беспокойства не проявлял.

— Мне хотелось бы знать, — полковник опять сделал паузу, — кто из вас, господа, побывал сегодня утром в казарме старого форта?

Стэнли с Хейлигером недоумевающе переглянулись и, как по команде, взглянули на Маклейна. Тот опустил голову. Матово отсвечивающая плешь в обрамлении густо вьющихся волос придавала ему сходство с упитанным священником-францисканцем.

— Неужели это были вы, Антони? — искренне удивился физик. — Как вас угораздило подняться в такую рань?

— Не говорите глупостей! — вспылil доктор. — Вы прекрасно знаете, что это был не я!

— Тогда кто же? — Стэнли перевел взгляд на Хейлигера. — Вы, Джон?

— Терпеть не могу ранние прогулки! — поморщился биолог.

— Странно, — хмыкнул физик и обернулся к Плэйтону. — А вы уверены, что это был кто-то из нас?

Рука Плэйтона сама собой потянулась к ящику стола.

— Да! — отрезал он, не сводя глаз с лица физика. — Это он, Дитрих?

Ответ прозвучал обескураживающе.

— Никак нет, господин полковник. Того типа среди присутствующих нет.

Стэнли ухмыльнулся. Маклейн робко захихикал. Даже невозмутимый Хейлигер изобразил некое подобие улыбки.

Плэйтон лихорадочно прикинул в уме «за» и «против». Терять было уже нечего, и он решил.

— Как попало в казарму ваше удостоверение, Стэнли?

— Мое удостоверение?

— Ваше, Стэнли! Хотите на него взглянуть?

— Не откажусь! — Стэнли продолжал ухмыляться.

«Сейчас ты у меня по-другому запоешь, голубчик!» — злорадно подумал Плэйтон, сунул руку в нагрудный карман и замер: карман был пуст...

Растерянность продолжалась считанные секунды. Плэйтон мгновенно «прокрутил» в памяти минувший день с той минуты, как он подобрал в казарме удостоверение, вложил его в нагрудный карман мундира и застегнул пуговицу: книжечка не могла никуда деться, но факт оставался фактом — удостоверение исчезло. Плэйтон обвел взглядом лица членов комиссии и неожиданно для самого себя громко расхохотался.

Позднее, вновь и вновь мысленно возвращаясь к этому эпизоду, Плэйтон понял, что произвольный взрыв хохота сработал как предохранительный клапан, давая выход огромному нервному напряжению, и неудивительно, что уже мгновение спустя хохотали все, кто был в кабинете.

— Здорово же вы разыграли нас, полковник! — Стэнли вскочил со стула и, с трудом сдерживая смех, принял угрожающую позу.

— Хотите взглянуть? — Он состроил зверскую гримасу, злобно уставился на Плэйтона и ткнул пятерней в карман воображаемого мундира. На секунду лицо его приняло глуповато-растерянное выражение и тотчас расплылось в широченной улыбке.

Маклейн покатывался со смеху. Хейлигер смеялся, то и дело прикладывая к глазам аккуратно сложенный носовой платок. Где-то за спиной Плэйтона по-лошадиному ржал Дитрих.

«Балаган! — продолжая смеяться, с холодной яростью подумал полковник! — Дешевый фарс! Никто из них не верит в розыгрыш. Разве что эта дубина Дитрих. Хотел бы я знать, чьих это поганых рук дело?» Только теперь он ощутил боль в сведенных судорогой пальцах правой руки, мертвой хваткой вцепившихся в рукоять браунинга. С трудом разжал их и медленно пошевелил плечом.

— Довольно, господа. — Он положил руку на стол и принялся массировать ноющие пальцы. — Не смею вас больше задерживать. Останьтесь, Дитрих, вы мне нужны.

Выпроводив членов комиссии, Плэйтон велел солдату сесть за приставной стол, положил перед ним авторучку и несколько листов писчей бумаги.

— Опишите, как можно точнее, как выглядел тот тип у казармы. Одежда, рост, комплекция, цвет волос. Все, что запомнили. Понятно?

Дитрих кивнул.

— Принимайтесь за дело. А я пойду попробую организовать кофе. Вам с молоком или черный?

— Черный, господин полковник.

— Прекрасно. Пишите, Дитрих.

Капитан стоял у окна спиной к Плэйтону напряженно разглядывая что-то на улице.

— Генри! — негромко позвал Плэйтон.

Крейн вздрогнул и резко обернулся.

— Да, сэр?

— Что вы там углядели?

— Ничего, сэр. Просто смотрю.

По вечерней улице, оживленно жестикулируя, шли Маклейн и Стэнли. Чуть поотстав, неторопливо вышагивал Хейлигер. Крейн перехватил взгляд полковника и чуть заметно поежился.

— Что выдумаете об этих господах, Генри?

— Я? — смешался Крейн. — Почему вы решили, что я о них думаю?

— Я ошибаюсь?

— Н-нет. — Крейн вздохнул. — Можно, я повременю с ответом?

— Разумеется. — Плэйтон огляделся. — По-моему, я видел здесь кофеварку.

— Хотите кофе? — участливо спросил Крейн.

— Да. И, если можно, покрепче.

Некоторое время Плэйтон молча наблюдал, как Крейн достает из шкафчика кофеварку, чашечки, банку с кофе.

— Мне бы очень хотелось знать ваше мнение о них, Генри.

Он скорее догадался, чем увидел, как удивленно поползли вверх брови на лице Крейна, вошел в кабинет и прикрыл за собой дверь.

— Я кончил, господин полковник.

Дитрих неуклюже поднялся, едва не опрокинув стул.

— Посмотрим, что вы насочиняли. — Плэйтон взял листок, стоя, пробежал глазами по написанному. — Кстати, как вас зовут, Дитрих?

— Отто, господин полковник.

— Ваши предки были выходцами из Европы?

— Из Германии, господин полковник.

— Садитесь, Отто. Кофе скоро будет готов.

Он кончил читать и положил листок на стол.

— Вы уверены, что никогда прежде не видели этого типа?

— Уверен, господин полковник.

Засигналил аппарат внутренней связи.

— Да, Генри?

— Кофе готов. Принести?

— Спасибо, Генри. Это сделает Дитрих. — Он вопросительно взглянул на солдата.

— Конечно, господин полковник! — Дитрих вскочил с такой поспешностью, что чуть не перевернул стол.

— Полегче, Отто. Пожалейте казенное имущество.

Кофепитие пришлось отложить.

— Центр на связи, — сообщил Крейн. — Соединяю?

— Конечно, — Плэйтон глазами указал Дитриху на дверь в приемную и включил динамик. Рядового словно ветром сдуло. — Плэйтон на связи.

— Хеллоу, Ричард! — зарокотал в кабинете бархатистый генеральский бас. — Как там у вас дела?

— Идут, — осторожно ответил Плэйтон.

— Медленно идут, старина. Слишком медленно. Не воображайте, что вы на пикнике. Где результаты?

— Результаты будут, господин генерал.

— Что вы там бормочете, Дик? — судя по благодушному тону, отсутствие результатов не очень тревожило генерала. Он явно играл в строгое начальство, работал на публику. Следующая фраза подтвердила догадку Плэйтона. — У меня тут кабинет полон журналистов. Что им ответить? Выручайте, дружище.

«Дружище!..» Плэйтон саркастически усмехнулся. Когда-то, еще в военной ака-

демии, они действительно были накоротке. Но с той поры утекло много воды. Лилась она явно не на мельницу Плэйтона, и чаще всего виноват в этом был Розенблюм.

После академии тот окопался в Министерстве национальной обороны, вначале в интендантских службах, а позднее — в департаменте оборонной индустрии. Какое-то время отношения между ними оставались прежними, но потом Розенблюм круто пошел в гору, стал генералом, возглавил департамент, и связи между ними оборвались сами собой. Поначалу Плэйтон не придавал этому значения, но последовавшая затем полоса служебных неприятностей заставила его призадуматься. Неприятности следовали одна за другой, простым совпадением это быть не могло, и, наведя кое-какие справки, он без труда установил, что источником и первопричиной их является не кто иной, как генерал Розенблюм. Собственно, удивляться тут было нечему: еще в академии непомерное честолюбие сочеталось в Розенблюме с такой чудовищной завистливостью, что малейший успех у кого бы то ни было воспринимался им чуть ли не как личное оскорбление, и он, не гнушаясь никакими средствами, пакостил всем, кому только мог. Плэйтон счел ниже своего достоинства выяснять отношения с Розенблюмом, но взял за правило при каждом удобном случае ставить его в дурацкое положение безобидными на первый взгляд репликами, истинный смысл которых приводил генерала в состояние, близкое к истерике.

— Скажите им, что работы ведутся полным ходом, Джек,— снова усмехнулся Плэйтон на этот раз не без злорадства.— В ближайшее время мы разгадаем эту чертову головоломку.

Ответная фамильярность явно не пришлась по вкусу на другом конце провода. Толстяк Розенблюм и в академии не блистал юмором, а, судя по теперешней реакции, генеральский чин вовсе лишил его этого чувства.

— Нам не до шуток, полковник Плэйтон! — раздраженно забубнил генерал.— Налогоплательщики хотят знать, что там у вас происходит. Имеют на это право.

Налогоплательщики! Плэйтон почувствовал, как утихшее было раздражение вновь заполняет все его существо. Конечно, налогоплательщики! Кто же еще? Только о них и печется генерал Розенблюм!

Плэйтон отчетливо представил себе заплывшую салом уродливую фигуру своего бывшего однокашника. В академии Розенблюма называли крысой. За глаза, разумеется, но Розенблюм это знал.

— Вы что — оглохли, полковник?

— Слышу.— Плэйтон набрал полные легкие воздуха, медленно выдохнул сквозь сжатые губы.— Я тоже плачу налоги, господин генерал. И не меньше других хочу знать, что здесь происходит.

— Ну так действуйте! — генерал явно терял самообладание.— Что вам мешает?

— Крысы! — Плэйтона колотила нервная дрожь, но он сдерживал себя и старался говорить спокойно.— Великое множество вонючих разевшихся крыс!

— Истребите их к дьяволу! — взорвался Розенблюм.— И по-настоящему беритесь за дело! Вы меня поняли?

— Да, господин генерал. Истребить крыс и взяться за дело.

— У меня все! — Розенблюм, видимо, спохватился и сбавил тон.— Ближайшие час-полтора не отлучайтесь из кабинета.

«Ясно,— Плэйтон не испытывал ни тревоги, ни раскаяния.— Предстоит разнос. Уж чего-чего, а крыс Розенблюм не простит». Он выключил динамик и достал из кармана пачку сигарет. Пачка оказалась пустой. Он скомкал ее и швырнул в корзину для бумаг.

Если бы и с прошлым можно было вот так же: скомкал, швырнул, забыл. И распечатал новую пачку, в которой каждая сигарета — день твоей жизни. Наверняка сто раз подумаешь, прежде чем решить, где, как и когда ее закурить. И уж в этой новой жизни он бы ни за что не дал Элен уйти к другому.

Элен... Даже теперь, много лет спустя, воспоминание об этой женщине причиняло ему острую, почти физическую боль. Плэйтон до мельчайших подробностей помнил свой последний разговор с Элен накануне своего очередного отъезда за границу.

Элен пришла к нему в аляповатый номер столичной гостиницы, как всегда элегантная, красивая, какой и должна быть восходящая телезвезда. От Элен веяло бодрящей свежестью тонких французских духов, удивительно гармонирующих с цветом ее глаз — лазурных, как небо за иллюминатором реактивного лайнера. У Элен были ласковые податливые губы и шелковистая, почти атласная кожа.

Они были обручены уже более года, но свадьба всякий раз откладывалась, так как, едва возвратившись из очередной поездки, он должен был снова лететь сломя голову куда-нибудь на край света, где срочно требовался военный советник с его опытом, знанием дела и способностями. Так было и теперь, и Элен, казалось бы, примирилась с этим. Ночь они провели вместе, а утром...

— Я устала ждать, Ричард.— Она отбросила со лба волнистую прядь каштановых волос.— Я не могу так жить дальше, пойми.

— Понимаю, Элен. Но постарайся понять и ты. Это — моя работа. То, к чему меня готовили годы и годы.

— Обучать людей убивать друг друга? — Глаза у нее были синие, холодные, как льдинки, и ему стало не по себе под их чужим, почти враждебным взглядом.

— Армии существуют не для парадов, Элен. Кто-то должен защищать интересы отечества.

— Но почему это должен быть именно ты, Ричард? Всегда ты?

— А почему не я? — Он пожал плечами. — Когда-то я даже гордился этим.

— А теперь?

— Теперь это моя работа. Наверное, я умею выполнять ее лучше других. Вот и все.

— А я? Каково мне месяцами ждать от тебя вестей, не зная, где ты и что с тобой?

— У меня нет выбора, Элен.

— Есть. — Она достала из пачки длинную сигарету с позолоченным фильтром, закурила. — Ты мог бы заняться бизнесом, например.

— Нет, — грустно улыбнулся он. — Бизнес не для меня.

— Почему? — глаза ее, чуть было потеплевшие, опять приобрели льдистый оттенок.

— Потому что я люблю тебя, Элен.

— Не понимаю! — Она брезгливо поморщилась и расплющила сигарету о пепельницу.

— В бизнесе свои законы. Я по ним жить не могу. А значит, неизбежен крах. Тебя устраивает перспектива стать женой разорившегося неудачника?

— Не говори глупостей. Чем тебе не по душе законы бизнеса?

— Хотя бы тем, что зачастую противоречат элементарной человеческой морали.

— А то, что делаешь ты, никогда не противоречит морали?

— Думаю, нет. Я честно выполняю свой долг.

— Оставим этот разговор, Ричард. Ему не будет конца, а тебе пора собираться в дорогу.

Он взглянул на часы и негромко присвистнул.

— Ты права. Но минут пятнадцать мы можем еще побыть вместе.

— Собирайся, Ричард, — вздохнула она. — Твои пятнадцать минут все равно ничего не изменят.

По дороге в аэропорт она вдруг спросила ни с того ни с сего:

— Какого ты мнения о Розенблюме?

— Штабная крыса, — снисходительно усмехнулся Плэйтон. — А почему ты спросила?

— Просто так, — ответила она и достала из сумочки тюбик с губной помадой. Через два месяца после его отъезда Элен вышла замуж за Джека Розенблюма.

... В дверь негромко постучали.

— Войдите! — чуть помедлив, откликнулся Плэйтон.

— Ваш кофе, господин полковник. — Крейн держал в руках поднос, накрытый белой салфеткой.

— А где Дитрих? — вспомнил полковник.

— Я отослал его в часть. — Крейн поставил поднос на стол и включил свет. — Что-то не так?

— Все верно, Генри. Рядовому вовсе не обязательно слышать, как распекают его начальство. Садитесь, выпьем по чашечке бразильского.

— Арабского, — уточнил капитан. — Бразильский кончился.

— Если бы я в этом разбирался! — Плэйтон вдруг поймал себя на мысли, что ему в высшей степени наплевать на предстоящий разговор с Розенблюмом, и облегченно хмыкнул. — Деготь от кофе, пожалуй, отличу. Но... и только.

— С сахаром? — поинтересовался Крейн.

— Деготь? — попытался сострить Плэйтон.

— Не надо, господин полковник. — Капитан поднял на него пристальные глаза. — Я слышал ваш разговор с генералом.

— Ну и что из того? Насколько я понимаю, это входит в ваши обязанности, не так ли?

Лицо Крейна слегка порозовело.

— Теперь моя очередь сказать «не надо», — ухмыльнулся Плэйтон. — Америку вы для меня не открыли, Генри. Что же до моральной стороны вопроса, то обсуждать ее не наше с вами дело. Так что не смущайтесь, Крейн. Тут все в порядке.

Полковник взял с подноса чашечку и поднес к губам.

— Вас еще интересует мое мнение о членах комиссии? — Крейн помешал кофе ложечкой и аккуратно опустил ее на блюдце.

— Да. — В голосе Плэйтона прозвучало удивление.

— Они мне не нравятся.

— Даже так?

— Да.— Крейн сосредоточенно смотрел в свою чашку, словно собираясь гадать на кофейной гуще.— В их присутствии мне бывает не по себе.

— Они давят на вас своей ученостью,— понимающе кивнул полковник.

— Не в этом дело.— Крейн помолчал.— Они в самом деле угнетают меня, но это скорее из области физиологии.

— Физиологии? — поперхнулся Плэйтон и опустил чашечку на стол.— При чем здесь...

Резкая трель телефонного аппарата прервала его на полуслове. Звонили по секретному кабелю. Крейн сделал попытку встать, но полковник жестом велел ему оставаться на месте, прошел к рабочему столу и снял трубку.

— Плэйтон слушает.

— Вы что — окончательно свихнулись, полковник? — ворвался в комнату разъяренный генеральский бас.— Какого дьявола вы себе позволяете!

Плэйтон демонстративно положил трубку на стол, выдвинул ящик и достал из него неначатую пачку сигарет. Вопли генерала продолжали сотрясать воздух. Полковник, не торопясь, распечатал пачку и закурил. За окном над темной зубчатой линией леса догорала полоска заката.

Розенблюм бушевал минут десять. Потом гроза постепенно пошла на убыль и, наконец, затихла совсем.

— Где вы там, Плэйтон? — почти миролюбиво изрек Розенблюм.— Почему молчите?



— Выбираюсь из-под обломков, сэр.— Плэйтон выпустил к потолку длинную струю дыма.— Вы тут камня на камне не оставили.

— Вы неисправимы, Ричард. Вы злоупотребляете моим добрым отношением к себе.

— К кому, генерал? — ехидно переспросил Плэйтон и подмигнул Крейну.

— К вам, черт бы вас побрал! — снова взорвался Розенблум.— Имейте в виду, Плэйтон, что в один прекрасный день мое терпение лопнет и...

— Вы разжалуете меня в рядовые,— подсказал Плэйтон.— Пятидесятишестилетний новобранец Ричард Плэйтон — краса и гордость Национальных Вооруженных Сил. Неплохо звучит, а?

— Заткнетесь вы, наконец, или нет?! — взвыл генерал.— Вот паршивый язык...

— Вечно путается под ногами.

— Под ногами? — опешил Розенблум.— Язык? Что вы плетете?

— Неважно, господин генерал. Куда важнее другое — вы правы. Именно мой паршивый, как вы только что выразились, язык испортил мне всю карьеру.

— Слава богу, хоть это вы понимаете,— облегченно вздохнул Розенблум.

— Стараюсь, господин генерал.

— Слушайте меня внимательно, Ричард.

— Да, господин генерал. Я весь — слух и внимание.

— Хорошо вам зубоскалить,— ворчливо позавидовал Розенблум.— У вас там небось тишь да гладь, птички чирикают.

«Что верно, то верно,— Плэйтон еле сдерживался, чтобы не заскрипеть зубами.— Мне хорошо. Тишь да гладь. Птички поют. И никаких проблем».

— А здесь...— генерал вздохнул.— События принимают угрожающий характер, Плэйтон. Посмотрели бы вы, что тут творится! Все как с ума посходили. Только и разговоров, что об этих проклятых пришельцах. Оракулов развелось — плюнуть некуда. И все в один голос светопреставлением пугают. Беспорядки, волнения. Вот-вот паника начнется. Полиция с ног сбилась. Пресса неистовствует. От репортеров отбиваться не успеваю, того и гляди на части разорвут.

Словом, в вашем распоряжении двенадцать часов, Ричард. Выбейте дух из этих ученых бездельников. Поднимите на ноги авиацию, бронетанковые подразделения, десантников. Прощупайте каждый дюйм на полуострове. Разыщите пришельцев где бы они ни были: на земле, в небе, на море. Уничтожьте их. С сегодняшнего дня вам подчинена ракетная база Пайнвуд. Действуйте, Ричард. Умоляю вас. В противном случае я ни за что не ручаюсь. Слышите?

— Слышу.— Плэйтон раздавил о пепельницу окурочек.— Сделаю все, что в моих силах.

Розенблум тяжело перевел дух.

— Держите меня в курсе, Плэйтон. Связь только по секретному кабелю. У меня все. И да поможет вам бог.

— Да поможет мне бог! — Плэйтон стиснул зубы и грохнул трубкой по аппарату.— Как вам это нравится, Крейн?

— Никак.— Капитан допил кофе, вопросительно взглянул на Плэйтона.— Налить вам горячего?

— Налить.— Полковник выплеснул остатки кофе в корзину для бумаг и протянул чашку Крейну.— И не скупитесь, Генри.

— Вы неосмотрительны, господин полковник,— заметил Крейн, наполняя чашку.

— Вы тоже,— Плэйтон, улыбаясь, указал глазами на чашку.— Куда теперь прикажете сахар класть?

Капитан пропустил реплику мимо ушей.

— Не следовало говорить с Розенблумом в таком тоне. Генерал обидчив и злопамятен.

— И только? — Плэйтон отхлебнул из чашки и поморщился.— Розенблум невежествен, самовлюблен, двуличен, завистлив, вероломен, мнителен, как старая дева, ленив, дремуче глуп... Продолжать?

Крейн пожал плечами.

— Все это в разных вариантах я не раз высказывал ему лично. Были на то причины. Думаете, по чьей милости я так и «засох» в полковниках?

С чашкой в руке Плэйтон машинально прошелся по кабинету.

— Слушаете вы меня, а про себя, наверное, думаете: зависть говорит в человеке. Представьте себе, нет. Все суета, Генри. Генералом мне уже не стать, да, честно говоря, я и сам не хочу этого. Лучше быть полковником и оставаться порядочным человеком.

Он отхлебнул от чашки и состроил страдальческую гримасу.

— Побойтесь бога, Крейн. Дайте хоть кусочек сахару. Как-никак, а я пока еще

ваш начальник. Ну вот, теперь совсем другое дело. И все-таки я, наверное, так никогда и не пойму, что находят в этой бурде индусы.

— Арабы, сэр,— улыбнулся Крейн.

— Я оговорился. Конечно, бразильцы.

— Арабы,— поправил капитан.

— Какие еще арабы?

— Те, которые выращивают кофе.

— А сами предпочитают пить чай.

— Никогда не встречал арабского чая.

— Я тоже. Но они ведь могут закупать его в Китае, не так ли? — Лицо полковника стало строгим. — Вот что, Генри, свяжитесь с Пайнвудом. Объявите готовность номер один. И по всем остальным войсковым подразделениям — тоже.

Капитан поднялся, и Плэйтон воскликнул:

— Куда же вы, Крейн? А кофе? Нет уж, давайте допьем его вместе. Не представляю, что бы я без вас делал сегодня вечером? Выл бы, наверное, на луну, как койот.

— Койоты не воют на луну, господин полковник.

— И все-то вы знаете, Крейн. Может быть, и луны этой ночью не будет?

— Не будет, господин полковник. Новолуние наступит только послезавтра.

Плэйтон шагнул к окну и открыл его.

Дохнуло свежестью, запахом опавшей листвы. За окном была ночь. Небо в ярких россыпях звезд. Курлыканье улетающих на юг журавлей. И где-то далеко-далеко «Грезы любви» Шумана.

«Еще кому-то не спится»,— подумал Плэйтон и через плечо покосился на Крейна. Того уже не было в кабинете, но через приоткрытую дверь четко просматривалась его тень на стене приемной. Судя по ней, капитан убирал в шкаф поднос с кофейником и посудой.

«Сейчас сядет звонить в Пайнвуд»,— подумал Плэйтон. Тень качнулась и вдруг исчезла, словно стертая со стены взмахом невидимой руки.

Плэйтон протер глаза. Тень по-прежнему отсутствовала. Неслышно ступая, полковник подошел к двери и заглянул в приемную. В комнате не было ни души.

Это уже пахивало мистикой. Плэйтон попытался вспомнить, что в таких случаях рекомендуют психиатры, но ничего путного на ум не шло, и, мысленно выругавшись, он толкнул входную дверь. Дверь была заперта изнутри. Единственное окно закрыто на задвижку. Плэйтон для верности потрогал ее рукой — задвинута наглухо — и в полном недоумении огляделся по сторонам.

Рядом что-то оглушительно заклокотало. Плэйтон отпрянул к противоположной стене и снова выругался про себя, но теперь с облегчением. Клокотанье сменилось плеском, перешло в журчание, и на пороге туалета возник сконфуженный Крейн.

— Желудок.— Он виновато развел руками.— Схватило вдруг ни с того ни с сего.

— Можете не оправдываться, Генри,— понимающе кивнул Плэйтон.— Дело житейское.

А про себя подумал: «Еще немного, и я, кажется, сойду с ума».

На составление плана предстоящей операции ушло около часа. Плэйтон перечитал его еще раз, подправил фразу-другую и, отложив в сторону авторучку, потер слезящиеся глаза.

«Крейн, вероятно, прав.— Полковник устало пошевелил плечами.— Не стоило говорить с Розенблюмом в таком тоне. Особенно сейчас, когда после разоблачения скандальных махинаций министр национальной обороны вынужден был уйти в отставку и еще неизвестно, кто сядет в его кресло. Но с другой стороны, что я теряю? Уволят в запас? Невелика потеря! Куда страшнее потерять уважение к самому себе. Так что все правильно».

Плэйтон взглянул на часы: четверть одиннадцатого. Жалко беспокоить людей в такое время, но ничего не поделаешь. Он потянулся к аппарату внутренней связи, но тот включился сам.

— Господин полковник,— голос Крейна звучал глуше, чем обычно.

— Да, капитан?

— С вами хочет говорить господин Хейлигер.

— Соедините.

— Он здесь, господин полковник.

— Вот как? Пусть войдет. И вы тоже, Генри. Нужно размножить и разослать кое-какие бумаги.

— Слушаюсь, господин полковник.

... Джон Хейлигер подождал, пока Плэйтон кончит говорить с Крейном, проводил его взглядом до самой двери и, лишь убедившись, что она плотно прикрыта, обернулся к полковнику.

Хейлигер был чем-то взволнован и не пытался это скрыть.

— Добрый вечер, Джон. Что привело вас ко мне в столь неурочный час, как говорили в старину?

— Мне не до шуток, полковник.

Не до шуток так не до шуток. Плэйтон хотел закурить, но раздумал и подвинул пачку к Хейлигеру.

— Не курю. Перейдем к делу, полковник.

Я вас слушаю.

— Я — экстрасенс.

«А я — Иисус Христос», — чуть было не брякнул Плэйтон, но вовремя удержался.

— Экстрасенс, экстрасенс... — Полковник помассировал переносицу большим и безмянным пальцами. — А, ну да! Ясновидение, телекинез, левитация... В средние века их величали колдунами и жгли на кострах. И что же, Джон?

— Для своих шуточек поищите более подходящее время, господин полковник! — окрысился Хейлигер. — А сейчас извольте выслушать меня до конца!

«Спятил, — горестно констатировал Плэйтон. — Буйное помешательство. Этого мне еще не хватало».

— Успокойтесь, Хейлигер. — Он старался говорить как можно мягче. — И выкладывайте все по порядку.

— Включите магнитофон! — потребовал биолог.

— Зачем?

— Я настаиваю!

— Пожалуйста. — Полковник щелкнул тумблером. — Говорите, Хейлигер.

Несколько секунд биолог собирался с мыслями, а когда заговорил, голос его звучал гораздо спокойнее.

— Полковник Плэйтон! Считаю своим гражданским долгом официально заявить следующее: ваш дежурный офицер, выдающий себя за капитана Национальных Вооруженных Сил, на самом деле не является ни офицером, ни человеком в общепринятом значении этого слова. Не далее как полчаса назад это существо имело непродолжительный контакт с себе подобными, а затем вернулось обратно и опять заняло место в вашей приемной.

«Бедняга, — с жалостью глядя на биолога, подумал Плэйтон. — Подглядывал с улицы в окно и видел, как я суетился в приемной, разыскивая Крейна».

— За время своего отсутствия, — монотонно продолжал Хейлигер, — существо, выдающее себя за капитана Национальных Вооруженных Сил, побывало на инопланетном космическом корабле, находящемся на околоземной орбите...

«Несчастный вы человек, Хейлигер, — мысленно посочувствовал Плэйтон. — В туалете он побывал. Пыхтел на унитазе».

— Поскольку истинные цели и намерения этого существа неизвестны и непредсказуемы, — повысил голос биолог, — со всей ответственностью требую, чтобы оно было немедленно изолировано и взято под стражу до прибытия компетентных специалистов.

— Вы закончили, Хейлигер?

— Да.

— Запись можно выключить?

— Да.

— Благодарю вас, — Плэйтон остановил магнитофон. — Вы добросовестно исполнили свой гражданский долг, Хейлигер. Ваша совесть чиста. Отправляйтесь спать.

— И у вас нет ко мне никаких вопросов?

— Есть. Но мне надо над ними поразмыслить.

— Но...

— Никаких «но», Хейлигер. Отправляйтесь к себе. Это приказ.

— Хорошо, — биолог поднялся со стула. — Я подчиняюсь. Что вы намерены делать с этим чудовищем?

— Каким чудовищем? — не понял Плэйтон.

— С так называемым, — Хейлигер мотнул головой в сторону приемной, — дежурным офицером.

— Вон вы о ком! — Плэйтон чуть заметно пожал плечами. — Пока ничего. Соберемся утром, тогда и решим, как с ним поступить. Надеюсь, он никуда не сбежит до утра.

— Как знать, — многозначительно изрек Хейлигер. — Вы очень многим рискуете, полковник.

— Ну, не так мрачно, Хейлигер! — улыбнулся Плэйтон и через стол протянул биологу руку. — Спокойной ночи.

После ухода биолога Плэйтон внимательно прослушал запись и удрученно покачал головой. Биолог был явно не в своем уме.

Снова включился аппарат внутренней связи.

- Господин Стэнли просит его принять,— сообщил капитан.
- Ну и ночка! — вздохнул Плэйтон, поднимаясь из-за стола.

Он встретил физика возле двери. Поздоровался за руку.

- Рад видеть вас, Эдвард.
- В самом деле? — В отличие от Хейлигера, Стэнли был абсолютно спокоен.— Что же вы не спросите, с чем я пожаловал?
- С чем вы пожаловали, Эдвард?
- С вопросом.— Стэнли подошел к столу и бесцеремонно взял сигарету из пачки.— Не возражаете?
- Курите, Эд.
- Благодарю.
- Физик закурил и вопрошающе посмотрел в глаза Плэйтону.
- Что вы намерены делать, полковник?
- Не посоветовавшись с вашей святой троицей,— ничего.
- «Святой!» — усмехнулся физик.— Положим, святостью от нас и не пахнет.
- Он обвел взглядом кабинет и понимающе кивнул.
- Ладно. Не хотите отвечать, не надо. Я, собственно, просто проходил мимо. Увидел свет в окнах, ну и забрел на огонек. Почему бы вам не пройтись по свежему воздуху, Плэйтон? Погода чудесная. А тут у вас хоть топор вешай. Идете?
- Уговорили,— кивнул Плэйтон.

Ночь и в самом деле была великолепная. Пряный аромат увядающих листьев ощущался на воздухе острее, чем в комнате, словно многократно усиленный знобящим холодком приближающейся зимы. Музыка звучала громче, мрачно величественная и торжествующе скорбная.

— Бетховен? — предположил Стэнли. Они шагали по тротуару под черными на темно-фиолетовом фоне неба кронами деревьев.

- Брамс.
- Вы уверены?
- Да. — Плэйтон отвел от лица ветку. Листья были холодные, чуть влажные. — В детстве из меня пытались сделать музыканта. Потом юриста. А получился военный. — Он грустно усмехнулся. — Это «Немецкий реквием».

— Реквием? — переспросил физик. — Подходящая музыка, ничего не скажешь. Так что вы намерены делать, Плэйтон?

- Почему это вас так волнует?
- Будто не знаете.
- Представьте себе, нет.
- Да ладно вам, Плэйтон! Подписка подпиской, а хоронить это дерьмо нам с вами.
- «Подписка? — насторожился Плэйтон. — Подписка, подписка... Что-то новое. Какие тут могут быть секреты? Пресса всю трубит о пришельцах. Розенблум строит глазки репортерам. Странно...»

— Ну, что же вы молчите?

— Думаю.

— Было бы над чем! — проворчал Стэнли. — Поиграли в пришельцев и довольно. Пора закругляться.

- Генерал Розенблум того же мнения.
- Тем более.
- Требуется в течение двенадцати часов отыскать базу пришельцев и разнести в пух и прах. В Пайнвуде объявлена готовность номер один.
- Подвезли контейнеры? — оживился физик. — Наконец-то!

Они миновали контрольно-пропускной пункт и зашагали по лесной дороге. Под ногами мягко пружинили опавшие листья.

— Какие контейнеры? — негромко спросил Плэйтон. — По-моему, мы говорим о разных вещах, Эдвард.

— По-моему, тоже. — Физик остановился. — Не пойму только, зачем вам это нужно. Разве генерал не предупредил вас?

- О чем?
- Обо мне и Хейлигере.
- Конкретно о вас — нет.
- Та-ак... — Стэнли растерянно переступил с ноги на ногу. — Но вы, надеюсь, осведомлены об истинном положении дел на полуострове?
- Конечно. И я информировал вас о нем на утреннем совещании.
- Веселенькое дело! — Стэнли шагнул к Плэйтону, испытующе взгляделся в его лицо. — Признайтесь, Плэйтон, вы разыгрываете меня?

— С какой стати мне вас разыгрывать?
— Непонятно. — Физик провел ладонью по лицу, словно вытирая пот.
— Что вам непонятно? — все так же негромко спросил Плэйтон.
— По-видимому, случилась накладка, полковник. Кретины из Министерства обороны забыли, а может быть, просто не удосужились ввести вас в курс дела.
— Какого дела? — игра в вопросы-ответы начинала действовать на нервы.
— История с пришельцами — сплошной блеф, Плэйтон. Произошел взрыв на секретном ЦПП. Причина, как это ни чудовищно, никого не интересует. Правительству куда важнее упрятать концы в воду до того, как сюда нагрянут эксперты из МАГАТЭ: центр-то нигде не зарегистрирован.

Вот они там в верхах и засуетились. Скормили обывателю сказочку о пришельцах. А чтобы выглядела убедительнее, наскоро сколотили правительственную комиссию с готовой программой: отыскать пришельцев, вступить в контакт, выяснить, зачем пожаловали. И, если не с добром, уничтожить.

Стэнли глубоко вздохнул.

— Все это, конечно, бред собачий, но в обстановке всеобщего ажиотажа сойдет: людям сейчас не до рассуждений. А тем временем в Пайнвуд доставят контейнеры с жидким бетоном и с помощью ракет забросают ими то, что осталось от ЦПП. Так забросают, чтобы ни одна собака не докопалась, что захоронено под горой затвердевшего бетона.

— Что значит ЦПП?

— Центр по производству плутония. А вы что — не знали?

— Представьте себе, нет.

— Странно. Ну а теперь-то вам все понятно, Плэйтон?

— В общих чертах.

— И то хлеб. — Физик похлопал себя по карманам. — Закурить дадите?

Огонек зажигалки высветил резко очерченный подбородок, впалые щеки, темные провалы глазниц. Стэнли жадно затянулся и медленно выпустил дым.

— Так что миссия наша подходит к концу. Десятка три залпов по ЦПП, денек на то, чтобы схватился бетон, проверка на месте — и можете рапортовать своему другу Розенблюму.

— Другу? — переспросил Плэйтон.

— Слышали бы вы, как он распинался по вашему адресу! «Мой старый друг, кадровый офицер, опытнейший специалист». Послушать Розенблюма — не ему, а вам следовало бы носить генеральские погоны.

— Если я правильно вас понял, — Плэйтон достал сигарету из пачки и принялся разминать ее, — исчезновение солдат, показания очевидцев, пропажа детей — все это фикция?

— Ну конечно! — Физик коротко рассмеялся. — Параллельно с нами работают специальные группы. Они-то все и организуют.

— Тогда, — Плэйтон вдруг ощутил во рту нестерпимую горечь, — я поздравляю вас, Стэнли. Вы прекрасно разыграли роль убитого горем брата. Только вот вопрос, перед кем вы ее разыгрывали?

— Не догадываетесь?

— Нет.

— Я был о вас лучшего мнения, полковник. Вы, что, не знакомились с личными делами членов комиссии?

— С вашим — да.

— А с остальными?

— Не дошли руки.

— Ну так знайте: личного дела Маклейна у вас нет. Вместо него должен был приехать профессор Лунц, но перед самым вылетом старика хватил инфаркт и его заменили Маклейном. На инструктаж времени не оставалось, так что он пребывает в полном неведении.

— А жетон? — жестко спросил Плэйтон. — Вы приготовили его заранее, не так ли?

— Вы неподражаемы, Плэйтон! — расхохотался физик. — Не было никакого жетона!

— Как не было? — опешил полковник. — Я видел его собственными глазами.

— И все-таки его не было. Дело в том, Ричард, что Хейлигер — экстрасенс. А они и не такое умеют.

— Так... — Плэйтон наконец закурил, машинально, не ощущая вкуса. Если Стэнли говорит правду, то и визит Маклейна, и его рассказ, и феномен, наблюдавшийся с Дитрихом, обретают под собой реальную почву. Остается необъяснимым то, что он, Плэйтон, видел в казарме. Но если Хейлигер экстрасенс, то почему бы ему не подшутить над старым воякой? Наверное, так и есть, иначе куда могло подеваться удостоверение Стэнли? С этим, стало быть, тоже более или менее ясно.

Плэйтон вдруг ощутил огромную, ни с чем не сравнимую усталость. «Пропади все

пропадом, — подумал он с тупым безразличием. — В конце концов, я всего лишь исполнитель. И мое участие в комиссии такая же липа, как и все остальное. Старая крыса Розенблом даже не посчитал нужным ввести меня в курс дела...»

И все-таки что-то не укладывалось в схему, нарисованную физиком.

— Эдвард, — полковник кашлянул, прочищая горло. — Вы уверены, что все обстоит именно так?

— Не пойму, куда вы клоните.

— У вас не возникает никаких сомнений?

— Сомнений? — задумался физик. — А в чем именно?

— Перед вами у меня был Хейлигер.

— Любопытно, — заинтересовался Стэнли. — И что он?

— Уверяет, будто нащупал космический корабль пришельцев.

— Вот как? И что же он предлагает? Всадить в него контейнер с бетоном?

— Для начала арестовать Крейна.

— Какого еще Крейна?

— Моего дежурного офицера.

— Господи! Этот-то тихоня чем ему не угодил?

— Уверяет, что Крейн пришелец.

— В каком смысле?

— В прямом. И даже потребовал, чтобы я записал его заявление на пленку.

— Он что, рехнулся?

— Вначале мне тоже так показалось.

Стэнли пристально взглянул на полковника.

— Неужели вы всерьез допускаете, что...

— Не знаю. Единственное, в чем я убежден, это в том, что я зря впутался в эту историю. Хотя, что от меня зависело?

Казалось, физик его не слышит.

— Вы полагаете — Хейлигер прав?

— А почему бы и нет?

— И что ЦПП взорвали пришельцы?

— А почему бы и нет? — повторил Плэйтон. — Хейлигер, правда, этого не утверждал, но за последнее время я здесь такого насмотрелся и наслышался, что меня уже ничем не удивить. Было официальное сообщение о неопознанном объекте в космосе?

— Да, но...

— Было или нет?

— Ну, было.

— И что он рухнул где-то в этих краях?

— Да.

— А тогда почему не предположить, что это была диверсия?

— Ну, знаете! На это даже наши ультра не решились.

— И почему он шлепнулся именно здесь, а не у русских? И прямехонько на секретный ЦПП?

— Да не было никакого космического объекта! — взорвался физик. — Я же вам человеческим языком объяснил. — Не бы-ло! Вранье все это!

Но полковника не так-то легко было остановить.

— И где гарантия, что не пришельцы или не красные подсунули мне в качестве дежурного офицера своего агента?

Стэнли восхищенно присвистнул.

— А вы, я смотрю, не промах, Плэйтон! Выходит, Хейлигер решил переплюнуть этих болванов из правительства? Пропади он пропадом этот секретный центр, пусть горят голубым огнем те, кто скрывал его от МАГАТЭ. Он, Хейлигер, в одиночку раскрыл заговор против нации! Разгадал и сорвал агрессивные планы красных и их космических единомышленников! Молодчина Хейлигер! Кандидат в национальные герои!

— Поговорим серьезно, Стэнли. Вы действительно не находите ничего странного во всей этой истории?

— А тут и искать не надо. Странного во всей этой истории столько, что голова кругом идет. Начать хотя бы с того, что в результате взрыва всегда, — я подчеркиваю, — всегда образуется грибовидное облако. В этот раз его практически не было.

Дальше: уровень радиации. Вначале он был таким, как и следовало ожидать. Но только вначале. И сразу же резко пошел на убыль. Уже через несколько часов радиация в зоне катастрофы снизилась до нормы.

Ну и еще целый ворох загадок, не укладывающихся ни в какие рамки. Вы это имели в виду, Плэйтон?

— И это тоже. — Полковник вдруг понял, что теряет интерес к разговору. — Пойдемте, Стэнли. Я что-то продрог. И вообще, утро вечера мудренее.

Некоторое время они шли молча. В кронах деревьев по-осеннему шумел ветер. Где-то далеко-далеко сонно прокукарекал петух-полуночник.

— Знаете, что меня больше всего бесит, полковник?

Плэйтон покосился на физика. Тот шел, опустив голову, сосредоточенно думая о чем-то своем.

— Что?

— Наша идиотская система секретности, когда правая рука не ведаает, что творит левая. — Стэнли угодил ногой в лужицу, чертыхнулся вполголоса. — Ну, сказочки о пляшущих вокруг жертвенной коровы эльфах и шестерке храбрых молодцов, которые вышли из леса, шиты белыми нитками. Но ведь парни с восемьдесят седьмого поста действительно исчезли!

— Откуда вам это известно? — спросил Плэйтон. — Вы в самом деле побывали на посту?

— Нет, конечно. И О'Брайена в глаза не видел. Я ведь вам говорил, что Хейлигер — экстрасенс. Так вот он может по голосу определить, врет человек или говорит правду.

— И он считает, что О'Брайен...

— Да, полковник. И очень этим встревожен.

Они поравнялись с штаб-квартирой. В приемной горел свет, и желтый квадрат окна казался нарисованным на черном фоне ночи.

— Стэнли, — физик и располагал к себе, и настораживал чем-то, — Что понадобилось Хейлигеру в вашей комнате минувшей ночью?

— Хейлигеру? — Физик удивленно взглянул на Плэйтона. — Ночью?

— На рассвете, — уточнил Плэйтон.

— Так бы и говорили. Это было уже сегодня утром. Джон приходил взять у меня сигарету.

— Хейлигер курит?

— Изредка. Он бросил курить, но иногда... А откуда вам это известно, полковник?

— Не имеет значения, Эдвард. Читайте, что я вас ни о чем не спрашивал.

Стэнли отвел взгляд от лица полковника и покачал головой.

— Ладно. — Он помолчал. — И все-таки, что вы намерены делать, Плэйтон?

— Выполнять приказ. — Плэйтон зябко передернул плечами. — Прикажу вывести людей из зоны и обстрелять ЦПП ракетами с Пайнвуда. А теперь спокойной ночи, Эд.— Полковник протянул руку и с удовольствием ощутил крепкое мужское пожатие. — И выкиньте из головы все постороннее. В этой сумасшедшей ситуации главное для всех нас — голову сохранить трезвой.

Окончание следует.

«Звезда Востока» во втором полугодии 1988 года

Во втором полугодии 1988 года журнал планирует публикацию романа **РАУЛЯ МИР-ХАЙДАРОВА «ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ»** о теневой экономике и сращивании в недавнем прошлом преступного мира с органами управления; роман **ШУКУРА ХАЛМИРЗАЕВА «НАД ПРОПАСТЬЮ»** — о ликвидации басмаческой банды Ибрагимбека, а также сатирические повести **СТАНИСЛАВА КУЛИША «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»** и **ЛЬВА БЕЛОВА «МУЖЧИНЫ ПО СОСЕДСТВУ»**.

Интересные публицистические и исторические материалы появятся под новыми рубриками **«ПЕРЕСТРОЙКА: ИДЕИ И ПРАКТИКА»**, **«РУССКИЕ ПОДВИЖНИКИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ»** и **«НЕРАЗГАДАННЫЕ ТАЙНЫ ВОСТОКА»**. Своими мыслями о роли писателя в современном мире поделится каракалпакский писатель, лауреат Государственной премии СССР **ТУЛЕП-БЕРГЕН КАИПБЕРГЕНОВ** в своем эссе **«КАРАКАЛПАК НАМЕ»**.

Во втором полугодии состоится новая встреча читателей с комиссаром Мегрэ, любимым героем **ЖОРЖА СИМЕНОНА**, увидит свет на наших страницах роман **СТАНИСЛАВА ЛЕМА «МИР НА ЗЕМЛЕ»**.

Роман **ДИКА ФРЕНСИСА «ОТРАЖЕНИЕ»** переносится на начало 1989 года в связи с тем, что объем рукописи намного превысил запланированный, и редакция не сочла возможным ущемлять интересы читателя, предлагая ему сокращенный вариант.

О НАШИХ АВТОРАХ

БАЙКАБУЛОВ Барот Тилляевич родился в 1937 году в селе Кенекас Ургутского района Самаркандской области.

Стихи Б. Байкабулова печатаются с 1954 года. Он ввел в узбекскую поэзию форму сонета, написал венки сонетов и поэмы в сонетах.

Работает он и в области перевода. Перевел на узбекский язык сонеты Петрарки, Шекспира, Мицкевича, стихи Бехера, Неруды, Гамзатова, М. Турсун-заде и других.

В 1973 году за поэму «Третье поколение», сборник «Сонеты» и книгу стихов «Статуи говорят» Б. Байкабулову присуждена премия Ленинского комсомола Узбекистана.

ИКРАМОВ Камил Акмалевич родился в Самарканде в 1927 году. Окончил филологический факультет Московского педагогического института. Заведовал отделом литературы и искусства в журнале «Наука и религия». Автор книги рассказов «Злая мачеха», повестей «Караваны уходят — пути остаются», «Махмуд-канатоходец», «Улица оружейников», «Круглая печать», «Скворечник, в котором не жили скворцы», «Семёнов», «Ты с этим шел ко мне...», романов «Пехотный капитан», и «Все возможное счастье». Народный писатель Узбекистана.

АСКАД МУХТАР родился в Фергане в 1920 году. Окончил Ташкентский государственный университет. Работал в редакциях республиканских газет, редактировал журналы «Шарк юлдузи» и «Гулистан». Секретарь Союза писателей Узбекистана. Автор многих поэтических сборников, романов «Сестры», «Каракалпакская повесть», «Рождение», «Время в моей судьбе», «Чинара». В последние годы автором написаны повести «Как будто в бурях есть покой», «Узкие улицы Бухары», «Молнии над обрывом», «Истоки» и другие произведения. Народный писатель Узбекистана, лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы.

ГАЦУНАЕВ Николай Константинович родился в Хиве в 1933 году. Учился в Одесском институте иностранных языков. Работал учителем в школе, преподавателем в институте, в газетах, на телевидении. Сейчас — заместитель главного редактора издательства имени Г. Гуляма. Автор поэтических книг «Алые облака», «Дэв-кала», «Город детства», повестей «Концерт для фортепьяно с оркестром», «Серая кошка в номере на четыре персоны», «Не оброни яблоко», «Эхо далекой грозы», «Западня», «Экспресс «Надежда», фантастического романа «Звездный скиталец» и других произведений.

Технический редактор Ф. Я. Викнянская.
Корректор З. Г. Байбазарова.

Адрес редакции: 700000, Ташкент, ГСП, ул. Ленина, 41.
Телефоны: главного редактора — 33-42-68, заместителя редактора и отв. секретаря — 33-40-43;
отделов: прозы, поэзии — 33-77-64, публицистики, литературной критики — 33-07-78.

Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.

Сдано в набор 2.03.88 г. Подписано к печати 8.04.88 г. Формат 70×108¹/₁₆. Фотонабор. Офсетная печать. Условных печ. л. 18,2+0,35 (вкл.) Уч.-изд. л. 20,95+0,35 (вкл.) Тираж 178228. Р-01554.
Заказ № 2869. Цена 1 рубль.

Ташкент, ордена Трудового Красного Знамени
типография Издательства ЦК Компартии Узбекистана.

© «Звезда Востока», 1988 г.

По городам Узбекистана

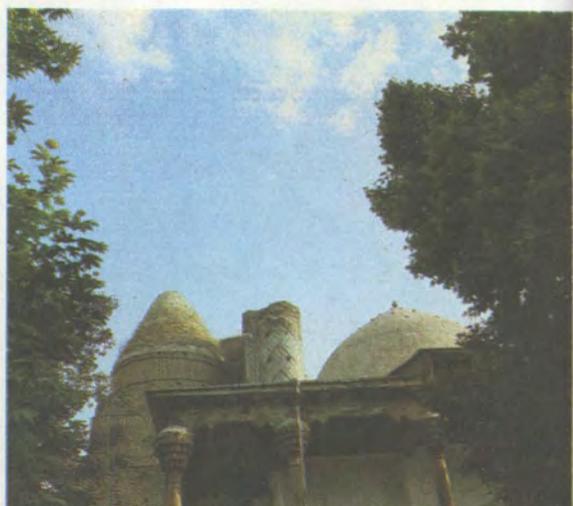
ШАХРИСАБЗ



Центральная площадь



Монумент защитникам Родины



Мечеть Хазрата

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РЕНАНА ВИКО



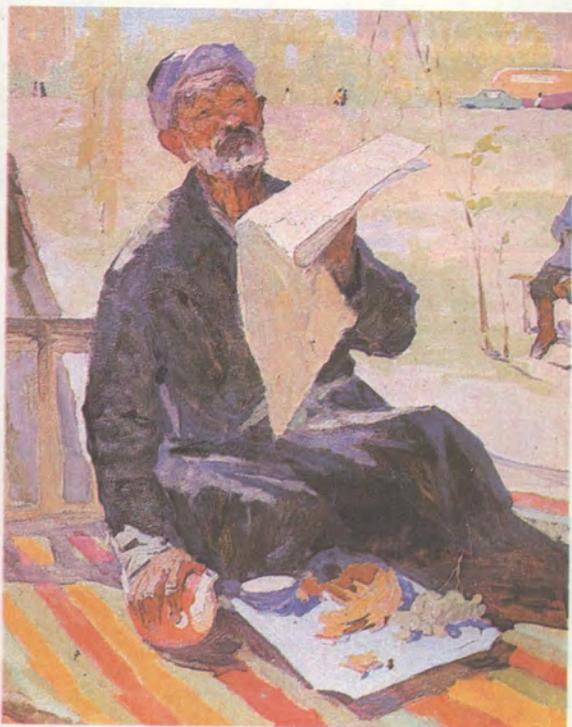
Династия



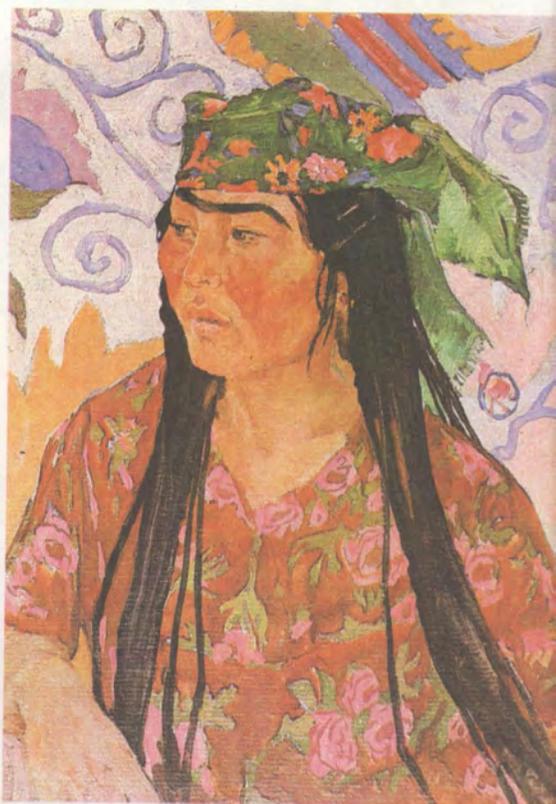
Отец и сын



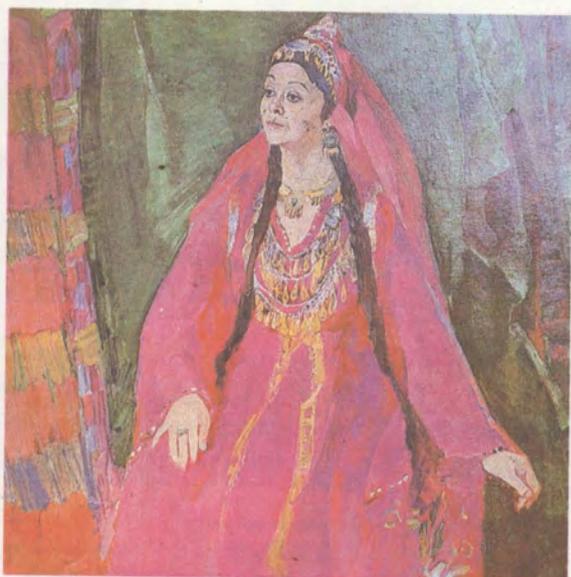
Чабан



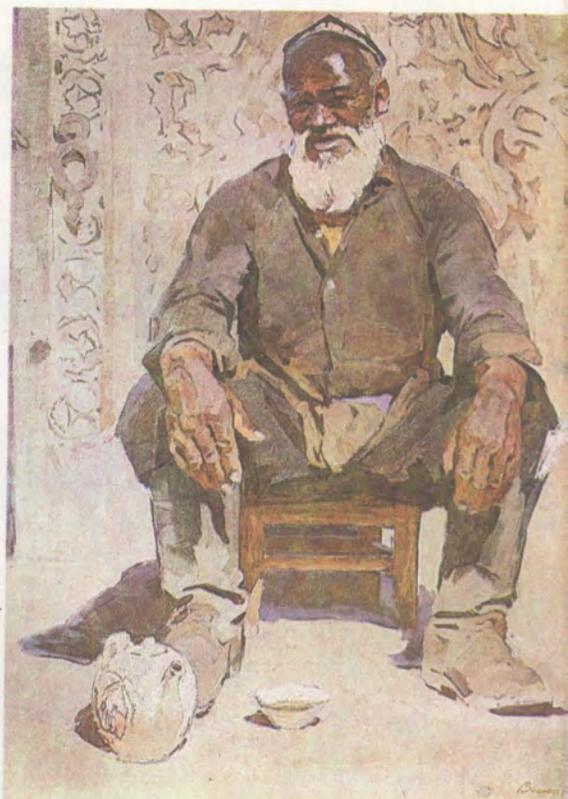
В чайхане



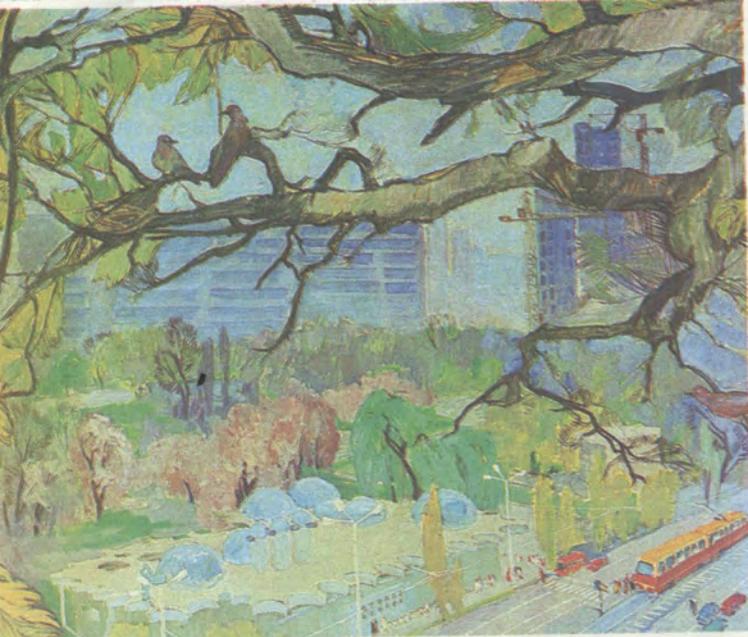
Девушка из Джизака



Солистка ансамбля



Старец



Уголок весеннего города



Цветущие деревья



Солнечный день

Цена 1 рубль
Индекс 75273